РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе Н. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

ИВАН ВАЗОВ

ПОД ИГОМ

ПЕРЕВОД С БОЛГАРСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА • 1970

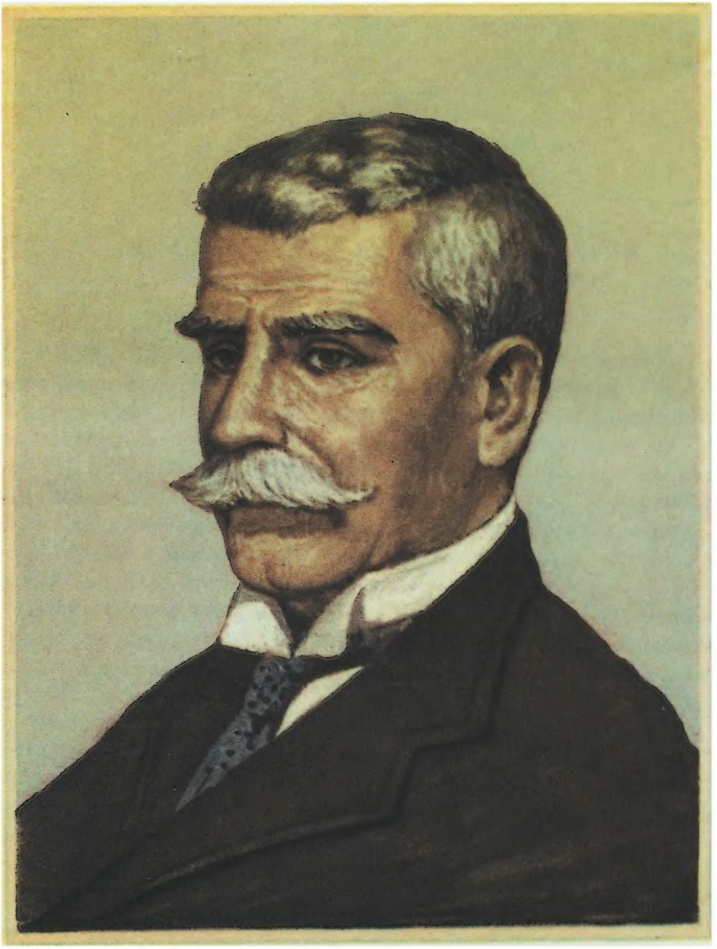
Вступительная статья
Петра Динекова

И (Болг)
В13

Перевод
В. Володина,
М. Клягиной-Кондратьевой,
Я. Слонима

Иллюстрации
Тодора Панайотова

7—3—4
подп. изд.



ВЫДАЮЩЕЕСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЕ БОЛГАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Роман «Под игом» был первым крупным произведением, которое представило миру новую болгарскую литературу. Выйдя в свет в конце 80-х годов прошлого столетия, этот роман очень скоро завоевывает широкую популярность и переводится на многие иностранные языки. Переводят его и по сей день, что свидетельствует о непреходящем интересе к книге Вазова и о ее неувядающей свежести и силе. Для зарубежного читателя она является как бы окном в Болгарию, позволяющим увидеть жизнь страны и национально-освободительную борьбу, которую вел болгарский народ на протяжении второй половины XIX века.

Автор романа «Под игом» Иван Вазов (1850—1921) хорошо известен в Советском Союзе: здесь неоднократно издавались отдельные его произведения, а в 1956—1957 годах на русском языке вышло Собрание его сочинений в шести томах.

Вазов родился в эпоху турецкого владычества в маленьком городке Сопоте, находящемся в центральной Болгарии, в обширной долине между горными цепями Стара-планины и Средна-горы. Ему не удалось получить систематического образования. Он учился в Сопоте, Карлове, Пловдиве, потом уехал в Румынию, куда отец направил его к родственникам-эмигрантам, чтобы юноша подготовил себя к деятельности торговца. Однако тот не испытывал к коммерции никакого влечения, у него была склонность к поэзии, и литература интересовала его больше всего на свете. Еще в школьные годы он с увлечением читал русских и французских писателей XIX века, ставших его учителями в области поэтического творчества.

Статья болгарского ученого, академика П. Динекова написана специально для нашего издания.

Отрочество и молодость Вазова совпадают с исключительно важным периодом в истории болгарского народа — усилением национально-освободительного движения против турецкого владычества. В 60—70-е годы главные организационные центры этого движения находились в среде болгарской эмиграции в Сербии и Румынии. В 70-е годы движением руководил Болгарский Центральный революционный комитет в Бухаресте; в Румынии издавались и основные революционные газеты: «Свобода», «Независимость», «Дума на българските емигранти» («Слово болгарских эмигрантов»), «Знаме», «Нова България» и др.

В Румынии Вазов попадает под сильное влияние болгарской революционной эмиграции, восхищается ее вождями — Г. С. Раковским, В. Левским, Л. Каравеловым, Хр. Ботевым. В 1875 году он возвращается в свой родной город и как член местного революционного комитета принимает участие в подготовке восстания, которое вспыхнуло в апреле 1876 года. Перу Вазова принадлежит гимн повстанцев «Бой наступает, сердца наши бьются». В самом Апрельском восстании он участия не принимал, потому что угроза ареста вынудила его накануне восстания бежать в Румынию. Здесь он становится членом Болгарского благотворительного общества в Бухаресте (преемника Болгарского Центрального революционного комитета), пишет патриотические стихи, в которых воспевает революционный порыв народа (цикл «Знамя и гусла»), оплакивает павших за свободу и — в 1877 году — радостно приветствует русскую армию-освободительницу (цикл «Избавление»).

После освобождения Болгарии от турецкого ига (1878) Вазов некоторое время занимает должность судьи в Северной Болгарии, а потом переезжает в Южную Болгарию, ставшую после Берлинского конгресса автономным государством «Восточная Румелия», где принимает деятельное участие в общественно-политической и культурной жизни. В последующие годы, когда в Болгарии развернулась бурная политическая борьба и к власти пришли русофобские силы, Вазов эмигрирует в Россию и два года живет в Одессе (1887—1889). Здесь он создает роман «Под игом». Возвратившись в Болгарию, он в последний раз принимает непосредственное участие в политической жизни страны — становится на короткий срок министром просвещения, а затем безраздельно отдается литературной деятельности. Вазов — писатель чрезвычайно плодовитый, он выпускает большое количество сборников стихотворений и рассказов, пишет несколько повестей, романов и драм, публикует многочисленные очерки, путевые заметки, статьи, в первые годы после Освобождения выступает и как редактор журналов и газет.

В истории болгарской литературы Иван Вазов занимает особое место. Он был современником двух эпох: последних трех десятилетий турецкого владычества и первых четырех десятилетий независимого болгарского государства. То было время глубоких общественных сдвигов, силь-

ных драматических конфликтов. Вазов жил патриотическим воодушевлением и героической борьбой в канун Освобождения, когда высокая доблесть нации проявила себя в деятельности таких замечательных борцов за свободу народа, как Георгий Раковский, Хаджи Димитр, Стефан Караджа, Васил Левский, Любен Каравелов, Христо Ботев, Георгий Бенковский, Тодор Каблешков, Панайот Волов и другие, а также многочисленных безымянных борцов из народа. С другой стороны, после Освобождения Вазов наблюдал быстрое крушение многих чаяний периода освободительной борьбы, алчное стремление буржуазно-капиталистической верхушки к власти и наживе, падение нравственных норм. Он не раз выражал недовольство новыми общественными порядками и, пером критического реалиста, разоблачал новую действительность в своих стихотворениях, рассказах, повестях и комедиях. Его идеалом по-прежнему оставались демократизм и свободолюбивый дух предосвобожденческой эпохи. Поэтому в своем творчестве Вазов очень часто обращался к жизни болгарского народа в канун Освобождения, к героям национально-освободительной борьбы. В первые годы после Освобождения Вазов создал замечательную книгу стихов «Эпопея забытых», в которой воскресил образы выдающихся деятелей болгарского национального Возрождения — Паисия Хилендарского, Георгия Раковского, братьев Миладиновых, Тодора Каблешкова, защитников Перуштицы, героев Шипки. Эта книга поражает поэтическим вдохновением, патриотическим пафосом, эмоциональной силой, взлетом поэтической мысли, высоким художественным мастерством. Вазов возвращается к жизни болгарской эмиграции в Румынии в своей чудесной повести «Отверженные», пишет несколько рассказов из жизни Васила Левского, с неподдельным юмором рисует патриархальные нравы своего родного города в повести «Наша родня».

В этой атмосфере тяготения к миру недавнего прошлого с его чистыми патриотическими устремлениями, с его здоровыми нравственными основами и неповторимым героизмом возникает и роман «Под игом». Вазов обращается к Апрельскому восстанию 1876 года — этой кульминации национально-освободительной борьбы болгарского народа в XIX веке, его героизма и его страданий. Неверно, однако, думать, что возвращение к миру прошлого означает идеализацию этого мира. Писатель-реалист, Вазов рисует болгарскую действительность со всеми ее положительными и отрицательными сторонами; ему чужд приподнятый, патетический тон, стиль его реалистичен, он широко использует юмор в изображении лиц и событий, видит жизнь болгар в 70-е годы прошлого века со всеми ее глубокими политическими и социальными конфликтами, во всем ее трагизме.

Роман Вазова «Под игом» — одно из бессмертных творений болгарской литературы, одна из тех редких книг, которые вызвали восторг уже при первом своем появлении и спустя десятилетия сохраняют свое оча-

рование для читателя, живо волнуют его, оказывают сильное влияние на целые поколения людей. В чем секрет этого очарования? Иногда у нас в Болгарии говорят, что «Под игом» читают, главным образом, в детстве и в юности, когда произведения с острой, романтически-запутанной интригой и героическими образами производят наиболее сильное впечатление и оставляют в воображении неизгладимый след. Это верно лишь отчасти — «Под игом» действительно играет большую роль в художественном и патриотическом воспитании болгарского юношества, но эта книга таит очарование не только для юной души. Да и Вазов вовсе не имел в виду написать книгу для юношества. Взрослый читатель, возвращаясь к роману, не только не испытывает разочарования, но, наоборот, ощущает его непреходящее обаяние.

Своей долговечностью, силой своего воздействия роман обязан правдивому и яркому изображению жизни болгарского народа, богатой галерее образов, патриотическому воодушевлению, которым пронизана книга, прекрасному языку, юмору, высокому художественному мастерству писателя. Вазов поставил перед собой задачу создать широкую эпическую картину жизни своего народа, но он рисовал эту картину при особых обстоятельствах — в изгнании, за границей, тоскуя по родине. И это отразилось на книге, придало ей особую тональность, новые нюансы в характеристике эпохи — ведь это было нечто большее, чем обыкновенная ностальгия, сквозь призму которой все родное приобретает особую прелесть.

В статье «Тридцать лет назад» Вазов сообщает некоторые подробности относительно той атмосферы, в которой создавалось «Под игом»: «Долго, с любовью, работал я в Одессе над этой книгой. Дорогими воспоминаниями, пробужденными в моей душе, она держала меня в постоянной связи с покинутым отечеством, была единственной мне утехой в моей скитальческой жизни. Я прочел некоторые главы моим соотечественникам — эмигрантам, жившим в Одессе. Один из них, мой земляк, офицер Ат. Иванов дополнил мои воспоминания о Сопоте своими. Я воспользовался ими при описании представления «Геновевы» [1].

В своих беседах с проф. Шишмановым, первым издателем романа, Вазов приводит еще некоторые сведения о том, что побудило его сесть за роман.

В Одессе поэт был очень хорошо встречен славянофильскими кругами и болгарской колонией. «Но и эта шумная жизнь стала мне докучать. Мысль о Болгарии вновь властно захватила меня. Несмотря на ласковый прием, я чувствовал себя на чужбине «отверженным», никчемным и бесполезным. И тогда, чтобы занять свое время и заглушить скуку бездея-

[1] «Сборник, посвященный проф. Ив. Шишманову», София, 1920, стр. 14—16.

тельной жизни, я задумал написать роман «Под игом». Я положил себе целью изобразить жизнь болгар в последние дни рабства и революционный дух в эпоху Апрельского восстания. Идея, родившаяся однажды ночью в моей голове, вскоре начала осуществляться. С усердием и воодушевлением отдался я работе и зажил образами своей творческой фантазии, испытывая большой подъем. Многие эпизоды романа — плод моих личных воспоминаний и наблюдений. Большинство действующих лиц — подлинные жители Сопота, только имена придуманы или изменены»[1].

Такова обстановка, в которой родился замысел романа и была написана большая его часть. Родина увидена в романе глазами изгнанника. Отсюда особое тепло, особое очарование, излучаемое героями, событиями, пейзажами, картинами из прошлого болгарского народа. За внешне спокойным тоном повествования, не прерываемого личными исповедями и лирическими отступлениями, кроется, в сущности, глубоко эмоциональное отношение к изображаемой действительности. Это явствует и в изображении лиц, и в описаниях природы. Вазов создал целый ряд образов, подкупающих своим благородством или душевной искренностью и красотой, — Огнянов, Соколов, Рада, слепец Колчо, чорбаджи Марко, Гинка, Лалка и другие. По признанию самого Вазова, большинство из них лично знакомы ему, потому что действие развивается, главным образом, в его родном городе Сопоте (названном в романе Бяла-Черква), а с некоторыми его даже связывают близкие отношения. Первая картина, которой открывается роман, в сущности, вводит нас в семью Вазова, в его отчий дом; в лице чорбаджи Марко он рисует своего отца.

Вдали от родины, удрученный ее настоящим (то было время диктатора Ст. Стамболова, который проводил активную русофобскую политику), чувствуя себя неуютно в большом и шумном черноморском городе, Вазов ищет в недавнем прошлом все хорошее, светлое, благородное, чтобы перенести его на страницы романа. Изгнание Вазова обладает одной особенностью: поэт живет в России, стране, которой его родина обязана своим освобождением; в то же время современные ему болгарские правители ожесточенно преследуют все русское, всякую симпатию к России. Это вызывает у писателя сильные душевные терзания. Встреченный на русской земле очень сердечно, получив то признание, которого он заслуживал как крупнейший болгарский поэт, Вазов еще болезненнее ощущает несправедливость всего того, что совершается на его родине по отношению к великой русской стране. Именно поэтому он подчеркивает в своем романе ту большую любовь, которую испытывает болгарский народ к русскому народу и ко всему русскому. Это одна из наиболее важных тем, звучащих в книге. Россия упоминается в первой же

---

[1] Ив. Шишманов, Иван Вазов. Воспоминания и документы, София, 1930, стр. 75—76, 238.

главе, когда чорбаджи Марко расспрашивает одного из сыновей, о чем в тот день им рассказывали в школе на уроке истории.

Маленький Васил отвечает:

«— О войне за испанское наследство.

— Это насчет гишпанцев, что ли? А ну их, они нам ни к чему... Расскажи что-нибудь о России.

— Что рассказать? — спросил мальчик.

— Например, об Иване Грозном, о Бонапарте, как он поджег Москву...»

О России в романе говорят постоянно. Великолепно написана сцена на школьных экзаменах, когда маленькая ученица выражает народные надежды и чаяния, заявляя с наивной убежденностью, что Россия и русский царь избавят Болгарию от турецкого рабства. Вазов рисует и русофилов-фанатиков, таких, как Мичо Бейзаде, который «вспылил, когда на экзамене один ученик сказал, что Россия была побеждена под Севастополем.

— Ошибаешься, сынок, Россию нельзя победить! Возьми назад свои деньги у учителя, что тебя учил,— сердито проговорил чорбаджи Мичо».

Образ России, великой и непобедимой страны, витает в этом романе в сердцах порабощенных болгар, исполненных надежды и ожидания. Вазов широко показывает эту глубокую симпатию болгарского народа к России, что полностью соответствует исторической правде и одновременно является реакцией эмигранта, нашедшего приют на русской земле.

«Под игом» — не единственное крупное художественное произведение в европейской литературе, написанное на чужбине и исполненное тоски по родине. В своих воспоминаниях, приведенных профессором Шишмановым, Вазов говорит, что жизнь болгар-эмигрантов после 1886 года очень напоминала атмосферу эмиграции, обрисованную в поэме «Пан Тадеуш» (Вазов хорошо знал это произведение Мицкевича — он перевел на болгарский знаменитый эпилог поэмы). Это упоминание не случайно. Как и «Под игом», поэма «Пан Тадеуш» написана в изгнании, в Париже. Мицкевич так же, как и Вазов, тоскуя по родной земле, воссоздавал ее образ в поэтических видениях, с глубоким волнением рассказал о жизни польского народа и красоте польской природы, стремлении поляков к свободе и вере в близость освобождения.

Не дышит ли и роман Вазова той же верой в силы и будущее своего народа, той же любовью к человеку и жизни? Это произведение порождено мрачной эпохой, когда в Болгарии властвовал жестокий иноземный угнетатель и над беззащитным болгарским населением на каждом шагу совершались бесчеловечные насилия. На первых же страницах романа читатель становится свидетелем турецких насилий и зверств. Вазов не жалел красок, чтобы нарисовать наряду с турками и болгарских насильников — богатеев, предателей, подлецов. Можно было бы ожидать,

что это придаст книге мрачность, что она будет производить тяжелое, давящее впечатление. На деле же «Под игом» — произведение жизнерадостное, оптимистическое, несмотря на жестокий разгром Апрельского восстания. Ибо на первый план в романе выступает, с одной стороны, народный быт, патриархальная нетронутость и чистота нравов, а с другой — патриотический подъем, революционные устремления народа. Вдали от родины, сквозь призму ностальгии, Вазов видит самые лучшие, самые благородные черты своего народа, воплощенные и в повседневной его жизни, и в революционном подъеме, который он удачно назвал «опьянением народа».

Вазов обращает свой взор к родине не для того, чтобы воскресить идиллию патриархального быта. Его старший современник (умерший сразу же после Освобождения Болгарии) Любен Каравелов пишет повесть под названием «Болгары старого времени» — лучшее произведение болгарской прозы эпохи Возрождения. Каравелов сосредоточивает свое внимание на двух чрезвычайно интересных типах болгар «старого времени» — Хаджи Генчо и деде Либене, мастерски рисует их облик. Правда, молодое поколение восстает в повести против их житейских и нравственных принципов, но во всей книге господствует атмосфера старых общественных порядков, старых нравов и взглядов на жизнь. Вазов же ставит перед собой иную задачу: нарисовать жизнь болгарского народа в решающий исторический момент, когда рушатся старые патриархальные понятия, старые общественные устои. Не быт в его спокойных, застывших, традиционных формах интересует писателя; бытовые сцены не играют самостоятельной роли в концепции и композиции произведения. Они подчинены главной задаче — показать глубокие изменения, происходившие в жизни болгарского народа в 70-е годы прошлого века, в канун Освобождения. Эти изменения проявляются прежде всего в революционизировании народных масс, то есть в серьезнейших сдвигах в жизни людей.

Это хорошо видно уже в первых сценах. Роман начинается с прекрасно нарисованной картины: семья чорбаджи Марко, торговца среднего достатка в городке Бяла-Черква, прохладным майским вечером ужинает во дворе. Семья большая, со множеством чад и домочадцев, с патриархальным укладом. Чорбаджи Марко здесь и хозяин, и строгий судья, и мудрый наставник, и любящий отец. В многочисленном семействе каждый день возникают свои заботы и мелкие неурядицы, но в целом все идет заведенным, строго соблюдаемым порядком. В начале описания нет никаких признаков того, что установленный традицией распорядок жизни этой семьи может быть чем-то нарушен. Но это впечатление обманчиво, потому что уже к концу первой главы спокойствие резко нарушено: появляется «гость» (именно так и названа первая глава — «Гость») — революционер Иван Кралич, впоследствии — организатор восстания в Бяла-

Черкве Бойчо Огнянов, бежавший из заточения с азиатской территории Турции. С этого момента меняется не только судьба чорбаджи Марко, но вообще начинается новая страница в жизни городка. Речь идет не о чудодейственном влиянии одного человека, а о процессе, уже начавшемся, в котором привлекательная личность революционера Бойчо Огнянова играет, однако, несомненно революционизирующую роль. С приездом Огнянова национально-освободительная борьба в городке вступает в новую, решающую фазу. Все очевиднее становится тяжкое положение порабощенного народа, активизируются носители революционной идеи, выявляются противоборствующие силы.

Изображение быта означает для Вазова показ пробуждения общества; все бытовые сцены, все события и происшествия, все действующие лица увидены с одной определенной позиции — позиции подготовки к восстанию. Это придает произведению особую целенаправленность, единую идейную и эмоциональную атмосферу, динамичность повествования и композиции. Действие развивается стремительно: появление Кралича в первой же главе; насилия двух турок и их убийство Огняновым на мельнице: новые моменты в борьбе народа против угнетателей в главах «Ночь продолжается», «Письмо» и «Геройство». Мы все больше погружаемся в патриотически-революционную атмосферу эпохи, наблюдаем рост революционного сознания, нас волнует взрыв патриотических чувств, готовность этих людей к борьбе и самопожертвованию. С замечательным мастерством художника-реалиста Вазов в главе «Волнения Рады» раскрывает надежды и мечты о близком освобождении; в «Представлении» рисует подобную внезапной грозе вспышку революционного воодушевления; в спорах и разговорах главы «В кофейне Ганко» показывает, насколько созрела идея борьбы за свободу; в главах «Победители угощают побежденных», «Два полюса», «У ствола», «Новая молитва Марко» и других воссоздает конкретные эпизоды подготовки восстания.

В этих главах нарисованы незабываемые картины — живые, впечатляющие глубиной жизненной правды. Лучше всего раскрыты здесь и человеческие образы, начиная с героических фигур Огнянова и Соколова и кончая врагами и предателями — такими, как чорбаджи Юрдан Диамандиев и Кирпак Стефчов. Правдивость и живость изображения достигаются и посредством введения многочисленных бытовых подробностей, помогающих воссоздать обстановку и атмосферу эпохи. Вазов прекрасно знает время, которое описывает, он современник этих событий и людей, он сам вырос и сформировался в этой среде. Он сумел увидеть и ощутить не только величие исторического момента, но и мещанскую ограниченность населения провинциального городка. Жизнь предстает в романе и со своими героическими чертами, и с комичными проявлениями провинциальных нравов. Писатель смеется над ними — отсюда свежий, чистый юмор нарисованных им картин. Великое и мелкое дано в нера-

сторжимой связи — и это бесконечно увеличивает жизненную правдивость романа, освобождает его от искусственного, внешнего пафоса и схематизма.

Чем глубже знакомит нас роман с революционным кипением той эпохи, с обстановкой, в которой шла подготовка Апрельского восстания, а затем и с эпизодами самого восстания, тем острее встает перед нами вопрос о том, насколько верно отношение Вазова к эпохе и крупным историческим событиям его времени. Мы наталкиваемся на нередкий в истории литературы парадокс: художник-реалист порой опровергает мыслителя. То в авторском тексте, то в речах кого-нибудь из героев (особенно в словах Бойчо Огнянова) Вазов изображает революционное движение как дело всех общественных классов, как результат некоего объединения всех национальных сил: «Всюду со стихийной силой проникали освободительные идеи, охватывая все и всех — и горы, и равнины, и хижину, и келью отшельника. Даже чорбаджии, этот заклейменный класс, постоянный тормоз поступательного движения народа,— поддались обаянию идеи, волновавшей умы окружающей их среды. Правда, они принимали только очень небольшое участие в патриотическом движении, но и не препятствовали ему, не становились на путь предательства. Предательство, подлость со стороны всех и вся явились уже после катастрофы как ее неразлучные спутники, ее исчадия. ...Напрасно некоторые в ущерб исторической истине и не беспристрастно пытались приписывать это всеобщее воодушевление только тем слоям населения, ноги которых были обуты в царвули» (Глава «Опьянение народа»).

Последние слова имеют в виду книгу Захария Стоянова «Записки о болгарских восстаниях» — самое замечательное произведение болгарской мемуарной литературы, великолепное изображение национально-освободительного движения 70-х годов прошлого века и, в особенности, Апрельского восстания. Захарий Стоянов в известной мере недооценивает участие интеллигенции в восстании, и в этом отношении Вазов прав. Но с другой стороны, Вазов в своих теоретических рассуждениях представляет восстание как общенациональное, надклассовое движение. Однако конкретное изображение исторических событий в романе опровергает автора. В образах чорбаджи Юрдана Диамандиева и его зятя Стефчова он весьма убедительно показал противодействующие, контрреволюционные силы. Силы эти принадлежат к четко определенной классовой среде — крупных торговцев, богатых землевладельцев. Употребляемый Вазовым термин «чорбаджия» следует толковать по-разному в разных конкретных случаях — он не всегда обозначает у Вазова представителя класса крупных землевладельцев, ростовщиков, эксплуататоров крестьянского населения, приближенных турецких властей и ее орудий — типа чорбаджи Юрдана Диамандиева. «Чорбаджиями» зовутся и Марко Иванов, и Мичо Бейзаде, средней руки торговцы и рядовые горожане; в данном случае

слово «чорбаджия» является скорее почетным званием. Но подлинные чорбаджии изображены как враги восстания. Таким образом, Вазов-художник сумел показать социально-классовые корни революционного освободительного движения.

Вазов раскрывает свои мысли о надклассовом характере борьбы против турецкого ига и в тех сценах романа, где говорится о социализме. Лучше всего эти мысли развиты в главе «Силистра Йолу»: Вазов вкладывает их в уста Бойчо Огнянова во время спора его со студентом-социалистом Кандовым. На возражения Кандова, что революция должна иметь более широкие задачи — уничтожение эксплуатации слабых сильными, труда — капиталом, уничтожение «таких нелепых, созданных вековыми предрассудками, явлений, как трон, религия, право собственности», Огнянов отвечает так: «Пока что мы видим только одного врага — турок и против них восстаем. Что касается принципов, которыми вы нас угощаете, то они не годятся для нашего желудка; болгарский здравый смысл их отвергает, и ни сейчас, ни когда бы то ни было они не смогут найти почвы в Болгарии...» — и далее: «Мы опираемся только на свой народ, а значит, и на чорбаджийство и на духовенство: они сила, а раз так, мы должны использовать их. Уничтожая турецкую полицию, народ воплощает в жизнь свой идеал. Если у вас есть другой идеал, народ не может считать его своим».

Представления Вазова расходятся с идеологией деятелей болгарской революции. Лучше всего эта идеология выражена руководителями национально-освободительной борьбы — Г. Раковским, В. Левским, Л. Каравеловым и Хр. Ботевым. В сущности, во взглядах Вазова на социализм отразились настроения более поздней эпохи — конца 80-х годов, когда социалистические идеи стали все глубже проникать в Болгарию и болгарское буржуазное государство повело с ними жестокую борьбу. В 1885 году вернулся из России Д. Благоев и начал в Болгарии активную социалистическую пропаганду. Ведутся горячие споры о том, есть ли в Болгарии почва для социализма. В 1891 году Д. Благоев издает свою знаменитую брошюру «Что такое социализм и есть ли для него почва у нас»; в том же году были заложены основы болгарской социал-демократической партии. Вазов, который в этот период был связан с одной из консервативных политических партий, задним числом переносит эти споры о социализме на эпоху Апрельского восстания. И это, безусловно, одно из самых слабых мест в его романе. Неверно также передана — в словах Каблешкова — позиция революционной партии относительно будущего государственного устройства в стране.

Но сила романа «Под игом» не в этих страницах. Реализм и глубокая историческая правдивость романа — в изображении основных сил, двигавших общественное развитие страны в канун Освобождения, в раскрытии демократических и революционных устремлений народных масс,

в разоблачении врагов революции, в волнующем изображении воодушевления, патриотизма, боевого духа народа, в показе благородства и мужества обыкновенных, простых людей из народа. Отсюда — заразительный оптимизм романа, его живое патриотическое воздействие.

Вазова иногда упрекают за патетику в обрисовке Бойчо Огнянова, главного героя романа, за устаревшие приемы композиции, почерпнутые им из романов Эжена Сю и Виктора Гюго, за недостаточно полное изображение самого восстания, представленного в районах, где оно проявилось слабее всего. Романтическая школа действительно оказала на Вазова свое влияние. Оно проявилось и в изображении некоторых лиц и ситуаций (например, отношений между Огняновым, Радой и Кандовым). Но сила образа Огнянова — в его внутренней идейно-эмоциональной направленности; этот образ становится символом освободительной борьбы. Читатель воспринимает его в его целостности, и он оказывает на читателей сильнейшее воздействие, в особенности на молодых. Только придирчивые литературные критики отмечают теперь некоторые слабости в психологических характеристиках персонажей. То же относится и к композиции — композиция динамической интриги не лишена, разумеется, ряда внешних эффектов. Но она соответствует динамизму изображаемых в книге событий.

Вазов действительно не показывает хода восстания в тех центрах, где оно развернулось всего сильнее и ярче. Он рисует скорее разгром восстания, чем последовательное его развитие. Но это имеет свое объяснение. Художник-реалист, Вазов стремится рисовать только то, что ему хорошо знакомо. Поэтому в центре его внимания — его родной город Бяла-Черква (Сопот). Он великолепно показывает подготовку восстания в Бяла-Черкве — он сам участвовал в ней, как член местного революционного комитета. Но в Бяла-Черкве восстание так и не вспыхнуло, и Вазов выбрал район Клисуры, расположенный недалеко от Бяла-Черквы.— тем более что в Одессе он располагал сведениями о ходе восстания в Клисуре. Последние главы, в которых рисуется ход восстания и, главным образом, его разгром, проникнуты общей идейно-патриотической атмосферой романа. Если восстание в целом и потерпело поражение из-за того, что было недостаточно хорошо организовано, то личный героизм его участников проявляется многократно. Очень живо очерчены отдельные сцены, в особенности в главе «Батарея на Зли-доле», где героическое и комическое сочетаются органически и естественно. А последнее сражение на брошенной мельнице и геройская смерть Бойчо Огнянова, Соколова и Рады озаряют своим сиянием все произведение и обращают трагическое в героическое.

Нет необходимости подробно анализировать художественное мастерство Вазова, чтобы отметить пластичность рисунка, яркость, рельефность образов, выразительную силу и богатство языка. Книга говорит сама за

себя, читатель непосредственно ощущает эстетическое воздействие этого замечательного произведения. Интерес, с которым вот уже столько десятилетий читается эта прекрасная книга, объясняется не только темой, как таковой, и не какой-то там сентиментальностью или инерцией. Этот интерес — результат художественных достоинств романа, в которых воплощен талант большого писателя-реалиста. Именно потому и пришла к роману «Под игом» национальная и мировая слава.

Иван Вазов — писатель большого национального масштаба; все его творчество связано с судьбами его народа. Никто в болгарской литературе не воплотил более могуче, более полно и эмоционально национальную судьбу болгарского народа, чем это сделал Вазов. И в этом самая большая его сила.

ПЕТР ДИНЕКОВ

ПОД ИГОМ

Роман в трех частях из жизни болгар
в канун Освобождения

I. ГОСТЬ

В этот прохладный майский вечер чорбаджи Марко, одетый по-домашнему, в халате, с непокрытой головой, ужинал вместе со своими домочадцами во дворе.

Хозяйский стол, как всегда, был накрыт под виноградными лозами между прозрачным и холодным ручьем, который, как ласточка, пел день и ночь в своем каменном желобе, и высокими кустами вечнозеленого самшита, темневшими у ограды. Зажженный фонарь висел на ветке сирени, и пахучие кисти дружески клонились над головами сотрапезников.

А сотрапезников было много.

Вместе с дядюшкой Марко, его старухой матерью и женой за столом сидела целая стайка детей, больших и маленьких; вооруженные ножами и вилками, они мгновенно опустошали все, что появлялось на столе, вполне оправдывая турецкое выражение: «На хлеб кидаешься, как на врага».

Отец время от времени добродушно поглядывал на детей, которые, пыхтя, работали острыми зубами, наполняя несокрушимо здоровые желудки, улыбался и говорил веселым голосом:

— Ешьте, детки, да растите большие! Пена, принеси еще вина!

Служанка шла к ручью, в котором охлаждалось искристое вино, наполняла большую фарфоровую миску и ставила ее на стол. Дядюшка Марко передавал миску детям, приговаривая благодушно:

— Ну, пейте, озорники!

И миска обходила всех сидевших за столом. Глаза загорались, щеки покрывались румянцем, а Марко с наслаждением облизывался. Когда жена его неодобрительно нахмурила брови, Марко, обернувшись к ней, проговорил строгим тоном:

— Пусть пьют у меня на глазах, чтоб не было для них вино приманкой... Я не хочу, чтоб они стали пьяницами, когда подрастут.

Дядюшка Марко смотрел на воспитание детей со своей собственной, практической точки зрения. Человек старосветский, необразованный, он от природы был одарен здравым смыслом, хорошо разбирался в людях и знал, что запретный плод всегда кажется слаще. Поэтому, дабы уберечь своих детей от наклонности к воровству, он доверял им ключ от денежного сундука.

— Гочо, поди открой кипарисовый ларец и принеси мне кошелек с деньгами,— говорил он иногда.

Или приказывал другому сыну:

— Сынок, вынь из шкафчика золотые и отсчитай двадцать червонцев. Дашь их мне, когда я вернусь.

И уходил.

В те времена, когда отцы обедали, дети должны были стоять в сторонке, чтобы научиться почитать старших. Но Марко всегда усаживал своих ребят за стол вместе с собой, даже когда у него бывали гости.

— Пусть учатся, как вести себя в обществе,— объяснял он,— что пользы, если они будут дичиться и теряться на людях, как Анко Распопов.

Надо сказать, что Анко Распопов прямо-таки умирал от застенчивости, когда встречал человека в костюме из черного сукна.

Вечно занятый торговыми делами, Марко только за едой видел всех близких вместе и, пользуясь случаем, довольно своеобразным способом занимался их воспитанием.

— Димитр, не протягивай руку за куском прежде бабушки; не веди себя как фармазон!

— Илия, не держи нож, как мясник, не руби, а режь хлеб по-человечески.

— Гочо, что ты расстегнулся, словно деревенщина? Да снимай феску, когда садишься за стол. У тебя опять волосы отросли, как у дикаря; сходи к Ганко, пусть он тебя подстрижет, да на казацкий манер.

— Васил, убери ноги,— надо и другим дать место. Вот пойдем в поле, там сможешь развалиться на просторе.

— Аврам, ты кто?! Протестант? Встал из-за стола и не перекрестился!

Но подобные наставления детям Марко делал, только когда бывал в хорошем расположении духа; если же он сердился, за столом царило гробовое молчание.

Глубоко верующий и набожный, Марко всячески старался внушить своим сыновьям религиозные чувства. Каждый вечер старшие дети обязаны были слушать, как он читает вечернюю молитву перед божницей. А по воскресеньям и праздникам всем предписывалось ходить в церковь. Это правило соблюдалось очень строго. Нарушение его вызывало в доме настоящую бурю.

Однажды, великим постом, Киро должен был причащаться, и Марко приказал ему пойти на исповедь. Киро вернулся из церкви что-то слишком скоро. Надо сказать, что он и в глаза не видел священника.

— Исповедался? — спросил его отец подозрительно.

— Исповедался,— ответил сын.

— У кого?

Киро смутился, но ответил уверенным тоном:

— У отца Эпю.

Он солгал; Эню был молодым священником и еще не исповедовал.

Поняв, что Киро лжет, Марко вскочил, разъяренный, схватил его за ухо, выволок на улицу и так, держа за ухо, привел в церковь, где и передал сына с рук на руки духовнику, отцу Ставри, попросив: «Батюшка, исповедай этого осла!» И остался ждать конца исповеди.

Еще нетерпимее относился Марко к тем, кто бросал учиться. Сам он так и остался неучем, но ученость и ученые люди внушали ему уважение. Марко был из числа тех патриотов, ревностных поклонников просвещения, стараниями которых Болгария за короткое время была покрыта сетью школ. Он имел лишь смутное представление о том, какую практическую пользу может принести знание землепашцам, ремесленникам, торговцам, и с тревогой видел, что окончившие обучение не получают ни работы, ни хлеба. Но он чувствовал, понимал сердцем, что наука — это какая-то таинственная сила, которая призвана изменить мир. Марко верил в науку так же, как верил в бога,— не рассуждая. Поэтому он по мере сил старался служить делу просвещения. Им владело лишь одно честолюбивое стремление — быть бессменным школьным попечителем в родном городишке Бяла-Черкве. И его всякий раз избирали, так как он пользовался общим доверием и уважением. Занимая эту скромную

общественную должность, Марко работал не жалея ни труда, ни времени, но зато уклонялся от других должностей, сопряженных с властью и материальными благами, а особенно от службы в копаке.

Когда со стола убрали, Марко встал. Это был человек лет пятидесяти, исполинского роста, слегка сутулившийся, но все еще стройный. Его румяное лицо, загорелое и огрубевшее от солнца и ветра во время частых поездок по полям и ярмаркам, всегда,— и даже когда он улыбался,— казалось серьезным и холодным. Косматые брови, нависшие над голубыми глазами, придавали ему выражение строгости. Но было в этом лице что-то добродушное, честное, искреннее, неизменно внушавшее людям симпатию и уважение.

Марко сел на покрытую красным ковром тахту, стоявшую под высоким самшитом, и закурил трубку с длинным чубуком. Его домочадцы удобно расположились на домотканой подстилке у журчащего источника, и служанка принесла кофе.

В этот вечер у Марко было хорошее настроение. Он с интересом следил за возней своих румяных малышей, оглашавших двор громким хохотом. Они сбегались и разбегались, и до отца доносились звонкие вскрики, веселый смех, сердитые голоса — ни дать ни взять стая птичек, щебечущих и порхающих среди ветвей. Но вот безобидная веселая игра приобрела воинственный характер: замелькали детские ручонки, посыпались удары маленьких кулаков, раздались угрожающие крики, а затем и плач; птичий концерт превратился в сражение... Все, и победители и побежденные, побежали к отцу, кто жаловаться, кто оправдываться. Один выбирал бабушку в защитники, другой просил маму взять на себя роль прокурора. И Марко из бесстрастного зрителя превратился в судью. По праву и долгу отцовства он обязан был решать, кто прав, кто виноват. Однако вопреки судебной практике судья не захотел выслушивать ни обвинение, ни защиту, а сразу же вынес приговор: одних погладил по головке, другим надрал уши, а младших — они-то и были обиженные — расцеловал в щечки.

И все утихомирились.

Но тут, разбуженный шумом, заплакал самый маленький, спавший на руках у бабки Иваницы. Бабка стала укачивать его на руках, приговаривая:

— Спи, внучек, спи, а то турки придут и тебя заберут!

Марко нахмурился.

— Ну, будет,— проговорил он,— довольно пугать детей турками! Чего доброго, трусами вырастут.

— Уж как умею,— возразила бабка Иваница.— Нас тоже турками пугали... да и как не пугать, разрази их господь! Семьдесят лет живу на свете, а, видать, до могилы покоя не найду: не дожить мне до счастливого времечка!

— Бабушка, когда я вырасту большой,— и брат Васил и брат Георги тоже,— мы возьмем нашу саблю и перерубим всех турок! — крикнул Петарчо.

— Оставьте хоть одного, внучек!

Жена Марко вышла из дома во двор.

— Как Асен? — спросил ее Марко.

— Уснул; жар у него спал,— ответила она.

— И зачем только он смотрел на такие страсти?! — сокрушенно проговорила бабка Иваница.— Вот теперь захворал.

Марко слегка нахмурил брови, но не отозвался ни словом. Надо сказать, что в тот день с поля на церковный двор привезли обезглавленный труп сына Генчо — маляра, и маленького Асена, который увидел это из окон школы, затрясла лихорадка. Марко, спеша переменить разговор, обратился к детям:

— Ну, теперь сидите спокойно, послушаем, что нам расскажет ваш старший брат... Потом все вместе споете песенку. Васил, чему вас нынче учили в школе?

— Всеобщей истории.

— Так; и что же вам рассказывали из истории?

— О войне за испанское наследство.

— Это насчет гишпанцев, что ли? А ну их, они нам ни к чему... Расскажи что-нибудь о России.

— Что рассказать? — спросил мальчик.

— Например, об Иване Грозном, о Бонапарте, как он поджег Москву...

Не успел Марко договорить, как в темном углу двора что-то обрушилось, и с кровли каменной ограды посыпались черепицы. Куры и цыплята испуганно раскудахтались и, растопырив крылья, забегали по двору. Служанка, которая снимала рубашки, развешанные на веревке, закричала не своим голосом:

— Разбойники! Разбойники!

Поднялся переполох. Женщины спрятались в доме, детей и след простыл, а Марко, мужчина неробкого десятка, окинул взглядом темный угол, из которого донесся шум, и бросился в дом. Немного погодя он выбежал из другой двери, той, что была поближе к конюшне. В руках он держал два пистолета.

Все эти действия, столь же решительные, сколь и неблагоразумные, были совершены так быстро, что жена Марко не успела опомниться и удержать мужа. И лишь когда он

выскочил на порог, из дома донесся ее перепуганный голос, которому вторил отчаянный лай собаки, в страхе удравшей к ручью.

В темном углу между курятником и конюшней действительно стоял какой-то человек; но в густом мраке рассмотреть что-нибудь было трудно, тем более что Марко быстро перебежал из освещенной фонарем половины двора в темную.

Марко на цыпочках вошел в конюшню, похлопал по крупу коня, чтобы тот не пугался шума, потом посмотрел в окно, забранное деревянной решеткой. То ли глаза его привыкли к темноте, то ли ему просто показалось, но теперь он был убежден, что в углу двора, у окошка, недвижно стоит человек.

Пригнувшись, Марко прицелился и громко крикнул:

— Давранма! [1]

Несколько секунд он ждал ответа, не снимая пальца с курка.

— Дядя Марко,— послышался шепот.

— Кто тут? — спросил Марко по-болгарски.

— Дядюшка Марко, не бойтесь, я свой!

И неизвестный подошел к самому окошку. Марко отчетливо увидел его темный силуэт.

— Кто ты? — настороженно и подозрительно спросил он, опустив пистолет.

— Иван, сын деда Манола Кралича из Видина.

— Не узнаю тебя... Что ты здесь делаешь?

— Я все тебе расскажу, дядюшка Марко,— ответил пришелец глухо.

— Никак тебя не разгляжу... Откуда ты?

— Издалека, дядюшка Марко... Потом расскажу.

— Откуда — издалека?

— Из очень далекого места,— едва слышно прошептал ночной гость.

— Откуда?

— Из Диарбекира.

Это слово, как вспышка молнии, осветило все в памяти Марко. Он вспомнил, что у деда Манола сын заточен в крепости Диарбекир. Дед Манол был его старым товарищем по торговым и другим, более важным делам.

Марко вышел на темный двор и, подойдя к ночному гостю, схватил его за руку и через конюшню провел на сеновал.

---

[1] Руки вверх! *(турецк.)*

— Иванчо, ты ли это? Я же тебя помню мальчонкой...— тихо проговорил Марко.— Переночуй здесь, а завтра подумаем, как быть дальше.

— Благодарю вас, дядюшка Марко... Кроме вас, я никого здесь не знаю,— прошептал Кралич.

— Не о чем говорить! Мы с твоим отцом — друзья. У меня ты все равно что у себя дома. Тебя кто-нибудь видел?

— Нет, когда я вошел, на улице, кажется, никого не было.

— Вошел! Да разве так входят, сынок? Скажи лучше — вломился! Ну, не беда, сын деда Манола для меня всегда дорогой гость, а тем паче когда он идет из таких далеких мест... Есть хочешь, Иванчо?

— Спасибо, дядюшка Марко, не хочется.

— Нет, тебе надо подзакусить. Пойду успокою домашних, потом вернусь, и поговорим... обдумаем, как тебя получше устроить. Эх, сохрани тебя господь, чуть было я не наделал дел! — проговорил Марко, осторожно спуская курок пистолета.

— Прости, дядюшка Марко; сам понимаю — оплошал я.

— Подожди, я сейчас вернусь.

И Марко вышел, закрыв за собой дверь конюшни.

Жену и мать он застал полумертвыми от страха; увидев его живым и невредимым, они вскрикнули в один голос и схватили его за руки, словно боясь, как бы он опять не убежал. Марко с напускным спокойствием уверил их, что во дворе никого не нашел; должно быть, чья-то кошка или собака столкнула несколько черепиц с ограды, а глупая Пена подняла крик.

— Только весь околоток переполошили,— сказал он, убирая пистолеты в кобуры, висевшие на стене.

Домашние успокоились.

Бабка Иваница позвала служанку:

— Пена, чтоб тебе пусто было! Как напугала нас! Скорей выведи детей помочиться на синий камень.

Но тут раздался громкий стук в ворота. Марко вышел во двор и спросил:

— Кто там?

— Эй, хозяин, отопри! — крикнул кто-то по-турецки.

— Онбаши! — прошептал Марко в тревоге.— Надо спрятать Кралича в другое место.

И, не обращая внимания на новый стук, побежал к конюшне.

— Иванчо! — позвал он, заглянув на сеновал.

Ответа не последовало.

— Уснул ты, что ли, Иванчо? — проговорил он громче.

Никто не ответил.

— Эх, наверное, убежал, бедняга,— проговорил Марко, только сейчас сообразив, что дверь в конюшню была открыта. И добавил озабоченно: — Что же теперь с ним будет?

На всякий случай он еще несколько раз позвал Кралича и, не получив ответа, вернулся к воротам, в которые колотили так сильно, что, казалось, они вот-вот разлетятся в щепки.

II. ГРОЗА

Действительно, при первом же стуке в ворота Иван Кралич, не помня себя, кинулся к ограде, снова перелез через нее и спрыгнул на улицу. Несколько секунд он стоял в замешательстве. Потом настороженно осмотрелся, но ничего не увидел в непроглядной тьме. Черные грозовые тучи затянули небо: тихая вечерняя прохлада отступила перед порывами ветра, жалобно завывавшего на безлюдных улицах. Кралич свернул в первый попавшийся переулок и прибавил шагу; нащупывая дорогу, он хватался руками за стены, но то и дело попадал ногой в лужу. Все ворота, ставни и окна были закрыты наглухо. Через их щели не проникало ни луча света; нигде не было ни малейших признаков жизни. Как и все провинциальные города, этот городишко еще задолго до полуночи казался мертвым. Кралич долго шел наудачу, надеясь где-нибудь выйти на окраину. Но вдруг он вздрогнул и, остановившись под широким навесом над воротами, замер. Он увидел впереди чью-то темную фигуру. Не трогаясь с места, Кралич слегка прислонился к воротам. Рычание, а затем сердитый лай заставили его отскочить в сторону. Он разбудил дворового пса, спавшего за оградой у самых ворот. Неосторожное движение и собачий лай выдали Кралича. Ночная стража засуетилась, забряцало оружие, и кто-то крикнул по-турецки: «Стой!» В минуты неотвратимой опасности рассудок коварно покидает людей, и ими движет только слепой инстинкт самосохранения. В такие минуты у человека, как говорится, нет головы; есть только руки — для сопротивления и ноги — для бегства. Стоило Краличу отступить назад, и мрак сразу же образовал бы непроницаемую преграду между ним и стражей. Но Кралич бросился вперед, вихрем пронесся между полицейскими и побежал дальше. Стражники погнались за ним, и улица огласилась топотом и криками. Среди них выделялся визгливый голос полицейского-болгарина, оравшего: «Стой! Стрелять будем!»

Кралич бежал не оборачиваясь. Сзади раздалось несколько выстрелов, но в спасительной темноте пули не задели его. Однако он бежал, видно, не слишком быстро, потому что вскоре кто-то схватил его сзади за рукав. Выпростав руки из рукавов, Кралич рванулся вперед и ускользнул от преследователя, оставив ему свою куртку. Вслед ему раздалось еще два выстрела. Кралич бежал вперед, сам не зная куда; он еле переводил дух, ноги у него заплетались от усталости. С каждым шагом ему все больше хотелось повалиться на землю и уже не вставать. Но вот ослепительная молния внезапно осветила все вокруг, и Кралич увидел, что он уже посреди поля, а погоня осталась где-то далеко позади. В изнеможении он опустился на землю возле орехового дерева, чтобы хоть немного прийти в себя. С гор дул сильный свежий ветер, и шелест листвы сливался с его завыванием и глухими раскатами грома. Вскоре гроза приблизилась, гром угрожающе прогрохотал над головой беглеца и заглох где-то в беспредельном пространстве. Короткий отдых и свежий воздух вернули беглецу силы. По всему было видно, что сейчас начнется дождь, и Кралич быстро пошел дальше, ища, где бы ему укрыться от грозы. Вокруг него жалобно стонали деревья, высокие вязы пригибались к земле под напором ветра, шуршала трава; казалось, вся природа насторожилась и угрожающе ворчит. Редкие крупные капли дождя, как пули, застучали по земле. Снова молния очертила неровный силуэт горного хребта, и могучий раскат грома прокатился по небу, словно стремясь обрушить небосвод. Хлынул дождь, под бешеными порывами ветра косые его струи хлестали землю; молнии, сверкающие в тучах, бороздили тьму, озаряя деревья и горы своим фантастическим бледно-голубым светом. Это волшебное зрелище, что открывалось лишь на миг, сменяясь глубокой тьмой, напоминало какую-то страшную, грозную феерию. Дивное очарование таилось в этой борьбе стихий, в этой перекличке стран света, в этой адской иллюминации бездн. Казалось, будто все это — величественное представление, игра безграничных и таинственных сил, борющихся друг с другом и в то же время сливающихся в какой-то неземной демонической гармонии... В грозу природа поднимается на вершины высочайшей поэзии.

Кралич промок до нитки; молнии ослепляли его, раскаты грома оглушали, но он шел, не разбирая дороги, то продираясь сквозь кустарники, то под деревьями, то по бахчам и нигде не находя убежища от дождя. Наконец до него донесся плеск падающей воды, заглушивший все остальные шумы. Он подошел к мельничной плотине. Новая вспышка молнии внезапно осве-

тила крышу мельницы, стоявшей под ветвистыми ивами. Кралич подбежал к ней и укрылся под навесом над дверью. Немного погодя он толкнул дверь. Она открылась, и он вошел. Внутри было темно и тихо. Вскоре гроза прошла; дождь прекратился как-то сразу, перестал дуть ветер, и месяц позолотил кромки рваных облаков. Ночное небо прояснилось. Так быстро погода меняется только в мае.

Послышались приближающиеся шаги, и Кралич поспешно спрятался в узком проходе между рундуком для зерна и стеной.

— Смотри-ка, дверь открылась; должно быть, от ветра,— услышал он во тьме грубый мужской голос, и сразу же кто-то зажег керосиновую лампочку.

Выглянув из своего убежища, Кралич увидел мельника, рослого сухопарого крестьянина, а рядом с ним босую девочку в коротком фиолетовом сукмане. Девочка — вероятно, это была дочь мельника — силилась запереть дверь на засов. Ей было уже лет тринадцать — четырнадцать, но держалась она как ребенок, а ее черные глаза с длинными ресницами смотрели по-детски кротко. Простой грубый наряд не мог скрыть стройности ее стана, и в будущем она обещала сделаться красавицей. По-видимому, отец и дочь уходили куда-то недалеко, быть может, на какую-нибудь мельницу по соседству,— одежда их не успела промокнуть.

— Хорошо, что мы закрепили колесо, не то сломало бы его в этот ливень,— проговорил мельник.— Уж этот дед Станчо! Как начнет рассказывать, конца не видно... Ну, слава богу, никто, кажется, сюда не забрался и не обворовал нас с тобой.— Он оглянулся кругом.— Иди-ка ложись, Марийка. И зачем только мать прислала тебя сюда? Того и гляди, натерпишься из-за тебя страху.

И мельник, что-то мурлыкая себе под нос, стал прибивать гвоздем оторвавшуюся доску.

Марийка послушно отошла в угол, постелила себе и отцу и, положив несколько земных поклонов, легла на козью кошму; как всякое беззаботное существо, она заснула немедленно.

Кралич смотрел на все это с трепетным любопытством. Огрубевшее, но добродушное лицо мельника внушало ему доверие. Человек с таким честным лицом не мог быть предателем. И Кралич решил выйти из своего убежища и попросить у мельника совета и помощи. Но в эту минуту снаружи донеслись чьи-то голоса; мельник умолк, выпрямился и стал прислушиваться. В дверь громко постучали.

— Эй, мельник, отопри! — крикнул кто-то по-турецки.

Мельник подошел к двери, получше задвинул засов и обернулся; лицо его побелело.

Снова раздался стук в дверь, кто-то крикнул, залаяла собака.

«Охотники,— догадался мельник, узнав по лаю, что собака — гончая.— Что они еще задумали, проклятые? Не иначе, как это Эмексиз-Пехливан».

Эмексиз-Пехливан — злодей, каких свет не видывал,— днем и ночью наводил ужас на окрестных жителей. Две недели назад он вырезал всю семью Ганчо Даалии в деревне Иваново. Поговаривали, и не без основания, что это он отрубил голову ребенку, труп которого вчера на подводе привезли в город.

Дверь трещала под ударами.

Мельник стоял в оцепенении, схватившись за голову, как человек, который не знает, что делать. На лбу у него выступили крупные капли пота. Но вот он быстро пагнулся и, вытащив из-под пыльной скамьи топор, встал с этим топором у двери, которая, казалось, готова была разлететься в щепы. Однако стоило ему бросить взгляд на спящую дочь — и решимости его как не бывало. Страх, безнадежность, скорбь — все эти чувства отражались на лице мельника. Отцовская любовь победила вспыхнувшее в его душе возмущение. Он вспомнил болгарскую пословицу: «Повинную голову меч не сечет»,— и, отказавшись от борьбы с немилостивыми, решил просить у них милости. Поспешно забросив топор за рундук — туда, где прятался Кралич,— он тщательно прикрыл Марийку одеялом и отпер дверь.

На пороге стояли два вооруженных турка с охотничьими сумками за спиной. Один из них держал на привязи гончую. Другой,— это действительно был кровожадный Эмексиз-Пехливан,— сначала окинул все помещение испытующим взглядом и только тогда вошел. Это был высокий, сутулый, сухощавый человек, без бороды и усов. Впрочем, лицо его не внушало того страха, какой внушали его имя и его деяния. Только маленькие выцветшие серые глаза сверкали коварством и злобой, точно у обезьяны. Его спутник, приземистый, мускулистый, хромой и, судя по выражению лица, зверски жестокий человек со скотскими инстинктами, вошел вслед за ним с гончей и прикрыл дверь.

Эмексиз-Пехливан вперил злые глаза в мельника.

— Отвечай, мельник, почему не открывал? — спросил он.

Мельник невнятно пробормотал что-то в свое оправдание и смиренно поклонился до земли, бросив беспокойный взгляд в глубь мельницы, туда, где спала Марийка.

— Ты здесь один? — обернулся к нему Эмексиз.

— Один,— поспешил ответить мельник, но, решив, что лгать бесполезно, добавил: — И ребенок спит вон там.

В эту минуту Марийка откинула одеяло и повернулась лицом к вошедшим. Тусклый свет лампочки упал на ее белую полную шею. Турки плотоядно уставились на спящую девочку. Лоб у мельника покрылся холодным потом. Эмексиз повернулся к нему и с притворно-добродушным видом сказал:

— Слушай, хозяин, поди-ка ты купи нам бутылку водки.

— Пехливан-ага, сейчас уже за полночь, и все харчевни в городе закрыты,— отозвался мельник, дрожа от страха при мысли о том, что придется оставить Марийку одну с этими людьми.

— Иди, иди,— настаивал хромой,— для нашей милости найдется хоть одна открытая. Нам хочется, чтобы ты нас угостил; выпьем вместе — друзьями станем...

Хромой издевался над мельником, уверенный в том, что добьется своего. Он даже не считал нужным скрывать свои намерения от несчастного отца.

Эмексиз не сводил глаз с девочки, непринужденно раскинувшейся на постели. Оглянувшись, он убедился, что мельник все еще не ушел; брови его сдвинулись, но он вновь сдержал себя и сказал добродушным тоном:

— А у тебя, хозяин, оказывается, дочка-то красавица! Вот она и попотчует гостей... Ну, иди за водкой, а мы останемся сторожить мельницу.— И добавил угрожающим тоном: — Тебе известно, кто такой Эмексиз-Пехливан!

Мельник давно понял, какой гнусный умысел скрывается за этим неуклюжим обманом. Вся его бесхитростная, честная душа кипела негодованием. Но он был как в ловушке: один против двух вооруженных злодеев. Сопротивление было бы сейчас бесполезным безумством; он был готов умереть, но это не спасло бы девочку. И он снова сделал попытку умилостивить злодеев:

— Господа, смилуйтесь над старым человеком... Я хворый, кости болят... Нынче прямо с ног валюсь после работы... Позвольте мне лечь спать... не позорьте.

Но это было все равно, что говорить с глухими.

— Ну, неси, неси скорей водки, хозяин, нам пить охота,— зарычал хромой.— Много мелешь, недаром на мельнице живешь!.. Ступай за водкой!

И он подтолкнул старика к двери.

— Я в такое позднее время никуда не ухожу с мельницы,— глухо проговорил мельник,— оставьте меня в покое.

Тогда оба турка сбросили личину добродушия, и их хищные взгляды, как стрелы, вонзились в мельника.

— Ах ты, свинья! Он еще огрызается! А это видел? — рявкнул Эмексиз, обнажая свой ятаган. Глаза его налились кровью.

— Хоть убейте, а ребенка я не оставлю! — проговорил мельник тихо, но с решительным видом.

Эмексиз встал.

— Топал-Хасан, выгони отсюда этого пса, чтобы мне не пачкать пожа.

Хромой кинулся на мельника, сшиб его на пол у самого порога и, пиная ногами, стал выталкивать за дверь. Но мельник вскочил и стремительно бросился назад, внутрь мельницы, с криком:

— Сжальтесь! Сжальтесь!

Марийка проснулась от шума и в испуге вскочила с постели. Увидев обнаженный ятаган Эмексиза, она закричала и кинулась к отцу.

— Смилуйтесь, господа, пощадите! — кричал несчастный отец, обхватив руками дочь.

По знаку Эмексиза сильный Топал-Хасан, как тигр, набросился на мельника сзади и вывернул ему руки за спину.

— Так, так, Топал-Хасан, давай-ка свяжем эту старую мельничную крысу; раз уж ему так хочется, пусть останется и поглядит на представление... Поделом ему, дураку... Свяжем его, потом подожжем мельницу; тогда сами на него полюбуемся.

И, не обращая внимания на крики мельника, разбойники стали привязывать его веревкой к столбу.

Мельник, обезумев от ужаса при мысли о том, что ему предстояло увидеть. кричал как зверь, призывая на помощь, хоть и знал, что в этой глуши спасения ждать неоткуда.

Вся в слезах, Марийка распахнула дверь и тоже стала звать на помощь. Но ей ответило только эхо.

— Эй ты, мельничиха, ни с места! Ты нам сейчас понадобишься! — крикнул Эмексиз и, боясь, как бы она не убежала, схватил ее и оттащил в глубь мельницы, потом бросился на подмогу к Топал-Хасану.

— Смилуйтесь! — взывал в отчаянии мельник.— Люди, спасите! Неужто некому помочь?.. Марийка, сюда!..— дико кричал он, не сознавая, что просит помощи у слабой девочки.

Все это время Кралич стоял как громом пораженный, следя за сценой, разыгравшейся у него на глазах; ноги его дрожали, волосы шевелились на голове, по спине бегали мурашки.

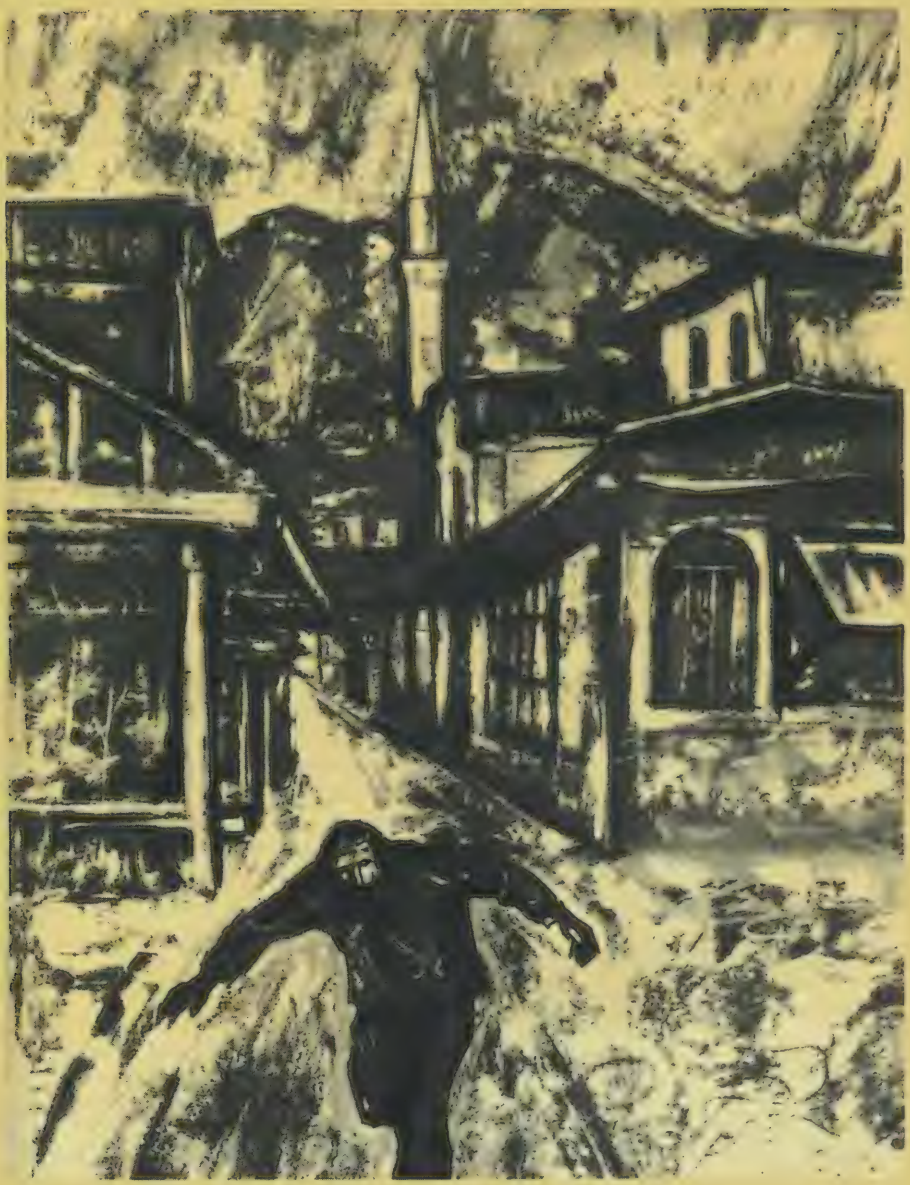
Все, что он увидел и пережил в этот вечер, начиная со своего вторжения во двор Марко и до этой минуты, было так неожиданно и страшно, что ему казалось, будто он видит сон. Свист пуль и раскаты грома все еще звучали у него в ушах. Мысли его путались. Сначала он подумал, что турки пришли за ним и судьба его решена. Сознание своей полной беспомощности убило в нем энергию — ее хватило бы лишь на то, чтобы отдать себя в руки турок и тем самым избавить мельника от наказания за укрывательство беглеца. Но когда стало ясно, что ему предстоит увидеть нечто гораздо более страшное, чем все, что он видел раньше, когда он услышал, как мельник зовет на помощь Марийку, кровь у него вскипела от бешеного гнева и ярости. Ему еще не доводилось биться не на жизнь, а на смерть, но в этот миг турки показались ему ничтожными, как мухи. Усталости, бессилия, колебаний как не бывало. Кралич машинально протянул руку, поднял топор и, выскочив из своего убежища, пробежал, пригнувшись, за мешками с зерном; потом выпрямился, бледный как мертвец, и, кинувшись к Эмексизу, вонзил топор ему в затылок. Все это он проделал как во сне.

Турок, не успев вскрикнуть, рухнул на пол.

Внезапно увидев перед собой нового и опасного врага, Топал-Хасан бросил веревку, которой привязывал мельника, выхватил пистолет и разрядил его в Кралича. Мельницу заволокло дымом; от выстрелов лампа погасла, и все погрузилось в кромешную тьму. И вот во мраке началась смертельная схватка: в ход пошли руки, ноги, ногти, зубы. Дерущиеся — сначала двое, потом трое — катались по полу, раздирая ночную тишину дикими криками, пыхтеньем, стонами, которым вторил яростный лай гончей. Топал-Хасан, сильный как бык, отчаянно боролся со своими двумя противниками, а тем надо было победить во что бы то ни стало, иначе им грозила гибель...

Наконец лампу снова зажгли. Топал-Хасан еще корчился в предсмертных судорогах, но вскоре затих и он,— во время борьбы Краличу удалось дотянуться до его кинжала и перерезать противнику горло. Турки лежали мертвые в луже крови.

Мельник выпрямился и, потрясенный, смотрел на незнакомца, пришедшего к нему на помощь невесть откуда. Перед ним стоял смуглый, высокий, бледный как смерть юноша с черными, глубоко сидящими, проницательными глазами. Его длинные, взлохмаченные волосы были покрыты пылью; рваный мокрый пиджак испачкан грязью; на жилете не осталось ни одной пуговицы, и под ним не было рубашки. Штаны у незнакомца были обтрепанные, сапоги дырявые,— словом, он походил на че-



ловека, который либо убежал из тюрьмы, либо неизбежно должен в нее попасть. Мельник так и подумал.

— Господин, я не знаю, кто ты такой и как ты очутился здесь,— взволнованно проговорил он, с состраданием глядя на незнакомца,— но мне не отблагодарить тебя, живи я хоть до ста лет. Ты спас меня от смерти и от еще большего зла: ты спас от позора мое дитя и мои седины... Бог тебя награди и благослови!.. Да и все люди скажут тебе спасибо... Знаешь, кто это? — Он показал рукой на Эмексиза.— Это такой злодей, что даже дети в утробе матери и те плакали от его злодеяний. Наконец-то земля избавилась от этого зверя. Дай тебе бог здоровья, сынок!

Со слезами на глазах выслушал Кралич эти искренние, простодушные слова.

— Ничего особенного я не сделал, дедушка,— проговорил он, все еще тяжело дыша.— Мы с тобой убили двоих, но таких зверей, как они,— тысячи и тысячи. Болгарский народ только тогда вздохнет свободно, когда все возьмутся за топоры и уничтожат этих кровопийц!.. Но вот что ты мне скажи, дедушка, где нам зарыть трупы? Нельзя оставлять улики.

— Тут неподалеку есть готовая могила для этой падали,— ответил старик.— Помоги мне только их вытащить.

И вот два человека, отныне навеки связанные этой кровавой ночью, потащили трупы к зарослям бузины, темневшим за мельницей. Здесь под кустами когда-то была выкопана яма, и в нее бросили трупы, хорошенько засыпав их землей, чтобы ничего не было заметно. Когда Кралич и мельник с киркой и заступом в руках возвращались на мельницу, мимо них пробежало что-то белое.

— Гончая!..— воскликнул Кралич.— Она будет рыскать здесь и, чего доброго, выдаст нас...

Подкравшись к собаке, Кралич ударил ее по голове; жалобно воя, гончая поползла к реке. Кралич киркой столкнул ее с берега, и она исчезла под водой.

— Надо было и этого пса вместе с теми,— заметил мельник.

Они принялись замывать свою окровавленную одежду и засыпать песком пятна крови на земле.

— Слушай, да ты, кажется, ранен? — воскликнул мельник, увидев, что из руки Кралича течет кровь.

— Пустяки! Этот дьявол укусил меня, когда я схватил его за горло.

— Дай завяжу скорее.— И мельник перевязал юноше руку своим измятым носовым платком. Потом выпустил ее и, глядя

Краличу прямо в глаза, спросил: — Прости, сынок, скажи, откуда ты идешь?

И опять посмотрел на Кралича в недоумении.

— После все узнаешь, дед; а пока скажу одно: я болгарин, истинный болгарин. Не сомневайся во мне.

— Боже упаси! Что, у меня глаз нет, что ли? Ты служишь народу, а за таких я душу отдам...

— Где бы мне, дедушка, переночевать? Да и переодеться хорошо бы.

— Я тебя отведу в монастырь, к дьякону Викентию. Он мне родня и сделал много добра таким, как ты... И он тоже истинный болгарин... Ну, пойдем; у него все и переночуем. Хорошо, что нас никто не видел.

Однако дед Стоян ошибался: в стороне, под ореховым деревом, освещенный луной, стоял, не шевелясь, высокий человек. Так он стоял и когда закапывали турок. Но наши герои ничего не заметили.

Немного погодя мельник, Кралич и Марийка, которая во время борьбы спряталась под вязом и теперь всхлипывала с перепугу, направились к монастырю, высокие стены которого, залитые лунным светом, белели вдали меж темными ветвями тополей и орешин. Следом за тремя путниками двинулся и неизвестный человек.

III. МОНАСТЫРЬ

Они пересекли полянку, усеянную крупными валунами, прошли под ветвями столетних орешин, дуплистых от старости, и перед ними предстали высокие стены монастыря. В лунном сиянии он казался таинственным, точно сказочный средневековый замок с фантастически причудливыми очертаниями.

Некогда эта старинная обитель гордилась могучей сосной с усыпанной множеством птичьих гнезд пышной кроной, под которой ютилась древняя церковка. Но буря повалила сосну, а игумен воздвиг на месте старой церкви новую. Построенная в новомодном стиле, с высоким куполом, она никак не вязалась с остальными зданиями монастыря — обветшалыми памятниками прошлого — и, нарушая архитектурный ансамбль, была как лист бумаги, приклеенный к древнему пергаменту. Старинная церковь и могучая старая сосна пали под ударами судьбы, и с тех пор монастырь пришел в упадок; уже не радует взор гигантское дерево, уходящее в облака; не возвышают благочестивую душу написанные на стенах лики святых, архангелов, преподобных

отцов и мучеников, оставшиеся без глаз по милости кырджалиев и делибашей.

Трое наших знакомых обошли монастырь и остановились перед задней стеной,— вскарабкаться на нее было легче, и она стояла ближе к келье дьякона Викентия. Здесь можно было не бояться разбудить монастырских собак или привлечь внимание сторожей,— поблизости шумели горные водопады, наполняя все вокруг диким грохотом.

Кто-то должен был первым перелезть через стену, отыскать на заднем дворе лестницу и передать ее остальным. За это, разумеется, взялся Кралич, начавший ночь со штурма стены во дворе Марко. Вскоре все трое перебрались через стену, рискуя попасться на глаза воинственному игумену, который не задумался бы пальнуть в них, если бы случайно выглянул в окно. Они очутились в маленьком заднем дворе, сообщавшемся с большим передним двором через запертые изнутри ворота. Дьякон жил в первом этаже, и окно его кельи выходило на задний дворик; но дверь в нее вела с переднего. Мельник подошел к окну, в котором горел свет.

— Викентий еще читает,— проговорил он, поднявшись на цыпочки и заглянув в келью.

Он постучал по стеклу. Окно открылось, и кто-то спросил:

— Это ты, дядя Стоян? Чего тебе?

— Дай мне, дьякон, ключ от ворот. Я тебе все расскажу. Ты один?

— Один, все спят. Вот ключ!

Мельник исчез во тьме, но через две-три минуты вернулся, провел Кралича и дочь в передний двор и запер ворота.

В большом дворе царило безмолвие. Тишину нарушало только монотонное, дремотное журчание источника — казалось, кто-то читает псалтырь по покойнику. Темные ряды открытых галерей, мрачных и безжизненных, окружали двор. Кипарисы, черные и таинственные, как исполинские привидения, устремлялись ввысь.

Дверь дьяконской кельи открылась, и ночные гости вошли.

Дьякон, еще совсем молодой человек с черными умными глазами и подвижным лицом, опушенным бородкой, которой пока не касалась бритва, по-дружески поздоровался с Краличем, о подвиге которого мельник уже успел коротко рассказать. С удивлением и почтением смотрел дьякон на этого героя, который играючи расправился с двумя злодеями, спасая старика и девочку. Честное сердце дьякона угадало в госте человека благородного и смелого. Благословляя своего избавителя, дед

Стоян продолжал торопливо и взволнованно рассказывать обо всем, что случилось на мельнице. Но Викентий, заметив, что гость очень изнурен и бледен, предложил отвести его в нежилую келью и там устроить на ночлег. Они ушли. Дьякон с узлом под мышкой, в котором была одежда и ужин, первым прошел через спящий двор. Подойдя к крыльцу трехэтажного здания, Викентий и Кралич поднялись по ступенькам. Они шли по коридорам и поднимались по лестницам, стараясь ступать неслышно, но половицы под ними скрипели, как это бывает в пустом деревянном доме. Наконец они добрались до верхнего этажа и вошли в одну келью. Викентий зажег свечу. В этой мрачной комнате с голыми стенами не было никаких вещей, кроме соломенного тюфяка да кувшина для воды. Такое убежище напоминало тюремную камеру, но Кралич сейчас и не мечтал ни о чем лучшем.

Немного поговорив о происшествии на мельнице, Викентий решил, что пора пожелать гостю спокойной ночи.

— Вы с ног валитесь от усталости, вам надо поскорее лечь. Не стану утомлять вас расспросами. Да в них нет и надобности. Ваше геройское поведение сегодня ночью красноречивее слов. Утром увидимся, а сейчас скажу лишь одно: не беспокойтесь ни о чем,— дьякон Викентий весь в вашем распоряжении... Спокойной ночи!

И Викентий протянул Краличу руку.

Кралич сжал ее и задержал в своей.

— Нет,— сказал он,— вы приютили незнакомца и подвергаете себя опасности. Вам надо знать хотя бы, кто я. Меня зовут Иван Кралич.

— Иван Кралич? Тот, что был заточен?.. Когда же вас освободили? — с удивлением спросил дьякон.

— Освободили? Я бежал из крепости Диарбекир! Я беглец.

Викентий снова крепко пожал ему руку.

— Добро пожаловать, Кралич,— теперь вы стали для меня еще более дорогим гостем и братом. Болгарии нужны хорошие сыновья. У нас теперь много работы, очень много. Нет больше сил терпеть турецкую тиранию, и народное негодование скоро дойдет до своей высшей точки. Пора готовиться... Останьтесь у нас, Кралич, вас здесь никто не узнает. Хотите работать с нами? — быстро и горячо говорил молодой дьякон.

— Этого именно я и хочу, отче Викентий.

— Утром поговорим подробнее... Здесь вы в полной безопасности. В этой келье я прятал Левского. Сюда никто не заходит... Привидений здесь можно бояться больше, чем людей,—

шуткой закончил разговор дьякон, направляясь к двери.— Спокойной ночи!

— Вам также, отче,— отозвался Кралич и запер за ним дверь на крючок.

Он быстро переоделся и поужинал. Потом лег, задул свечу, но еще долго ворочался на своем ложе; сон все не шел к нему. Душу его тревожили тяжелые воспоминания. В памяти с отвратительной и жестокой ясностью всплывали страшные события и образы этой ночи... Не скоро избавился он от этого мучительного состояния. Наконец природа победила; силы Кралича были исчерпаны до дна, и, не устояв перед неодолимой потребностью в отдыхе, он уснул. Но среди ночи вздрогнул и открыл глаза. Кто-то шел тяжелыми медленными шагами по галерее мимо кельи. Потом послышалось заунывное пение, лучше сказать — завыванье. Шаги приближались, и странное пение звучало все отчетливее, напоминая не то заупокойную молитву, не то жалобные стоны. Кралич решил было, что это поют где-то далеко, а из-за монастырской тишины звуки кажутся близкими и какими-то искаженными... Но нет, шаги явно доносились с галереи. И вдруг за окном возникла чья-то тень и наклонилась внутрь кельи. Кралич в ужасе уставился на нее и заметил, что она делает какие-то странные и неуклюжие знаки руками, словно подзывая его к себе. Все это было ясно видно в лунном свете. Кралич не сводил глаз с окна, и вдруг ему начало казаться, что эта неведомая тень напоминает Эмексиз-Пехливана — человека, которого он убил. Решив, что все это сон, Кралич протер глаза. Но когда он снова раскрыл их, тень по-прежнему маячила за окном, наклоняясь внутрь.

Кралич не был суеверен, но это пустое, нежилое здание и гробовая тишина приводили его в трепет. Вспомнив шутку дьякона насчет привидений, он поддался безотчетному страху, и ему стало не по себе. Но он тут же устыдился. Ощупью отыскав свой револьвер, он встал, бесшумно открыл дверь и босиком вышел на галерею. По ней, напевая, бродила взад и вперед таинственная высокая фигура. Кралич отважно приблизился к ней. Но, вместо того чтобы исчезнуть, как в сказках, поющий призрак испуганно вскрикнул, так как сам Кралич в нижнем белье дьякона был еще больше похож на призрак.

— Кто ты? — спросил этот второй «призрак», хватая за грудь первого.

Но несчастный от страха онемел. Он только крестился, в испуге таращил глаза и крутил головой, как идиот. Кралич понял, что он не в своем уме, и вернулся в келью.

Викентий забыл предупредить гостя о ночных привычках безобидного дурачка, юродивого Мунчо, уже много лет жившего в монастыре. Мунчо и был тем неизвестным человеком, который видел, как закапывали турок.

IV. СНОВА У МАРКО

Когда Марко, убедившись, что Кралич исчез, открыл ворота, перед ним предстал онбаши со своими подчиненными. Они с опаской вошли во двор.

— Что здесь произошло, чорбаджи Марко? — спросил онбаши.

Марко спокойно объяснил, что ничего не произошло; просто пугливой работнице что-то почудилось. Онбаши поспешил удовлетвориться этим удобным для него объяснением и, довольный, что избежал возможных неприятностей, убрался восвояси.

Не успел Марко запереть ворота, как появился его сосед.

— Ну как, беда миновала, дядя Марко?

— А, Иванчо, заходи, выпьем по чашке кофе.

К ним скорым шагом приближался высокий молодой человек.

— Добрый вечер, дядюшка Марко. Скажите, Асену лучше? — спросил он, еще не дойдя до ворот.

— Заходи, заходи, доктор...

Проводив гостей в комнату, Марко зажег две спермацетовые свечи, вставленные в блестящие бронзовые подсвечники.

Эта маленькая комната, веселая и уютная, предназначалась для приема гостей. Она была обставлена в нехитром, но своеобразном вкусе того времени, который и в наши дни еще не вышел из моды в некоторых провинциальных городах. Пол ее устилали пестрые половики, а две широкие лавки со спинками были покрыты домотканными красными коврами и выложены подушками. У одной стены стояла железная печка, которую топили только зимой, но оставляли в комнате и на лето — для украшения. Напротив в божнице, перед которой горела лампада, стояли иконы, из-за которых торчали афонские лубочные картинки — дары благочестивых паломников. Иконы были очень древнего письма, и потому бабка Иваница ценила их, как любители ценят старинное оружие. Одну из них она почитала особенно благоговейно. Бабка Иваница с гордостью рассказывала, что эту замечательную икону писал ее прадед, отец хаджи Арсений, причем — не рукой, а ногой, и никому не приходило

в голову опровергать слова старушки,— так убедительно они звучали. Над божницей висели букетик базилика и верба, хранившаяся здесь еще с вербного воскресенья. По народному поверью, они приносили в дом здоровье и благодать. Вдоль стен тянулись полки с фарфоровыми блюдами — неотъемлемая принадлежность каждого почтенного дома, а по углам стояли угольники с цветочными горшками. По стенам были развешены трубки с длинными чубуками, желтыми янтарными мундштуками и позолоченными головками; давно уже вышедшие из моды, они теперь служили только украшением. Марко в угоду традициям оставил себе для курения лишь один «чубук». Стена, расположенная против окон, служила здесь «картинной галереей». Это был «Эрмитаж» Маркова дома. Он состоял из шести литографий, привезенных из Румынии и вставленных в позолоченные рамки. Своеобразный подбор этих литографий свидетельствовал о примитивном художественном вкусе того времени. На первой литографии была изображена сцена из домашнего быта немцев; на второй — султан Абдул Меджид на коне, со свитой; на трех других — эпизоды из Крымской войны: бой при Альме, бой под Евпаторией, снятие осады Силистры в 1852 году. Под этой последней картинкой стояла не соответствующая действительности надпись на румынском языке: «Resboiul Silistriei» [1],— по чья-то мудрая рука написала внизу болгарский перевод: «Разбой у Силистры»! На шестой литографии были портреты русских полководцев времен Крымской войны. Все они были изображены только до колен. Поп Ставри уверял, что ядра англичан оторвали им ноги, и бабка Иваница называла их «мучениками».

— Кто это опять трогал мучеников? — сердито спрашивала она детей, заметив непорядок.

Над «мучениками» висели большие стенные часы с маятником, гири которых опускались до самых подушек на лавке. Эти старинные часы давно уже отслужили свою службу: их механизм износился, пружины ослабели, белая эмаль циферблата потрескалась, а погнутые стрелки еле держались на месте,— не часы, а развалина. Но всякий раз, как они останавливались, Марко очень старательно и умело возвращал их к жизни. Он всегда сам чинил их: разбирал, заводил, смазывал, окунув перо в деревянное масло, обматывал бумажками оси колесиков — для большей сохранности — и таким образом оживлял часы на некоторое время, после чего они опять останавливались. Марко в шутку называл их «мой чахоточный»; но и сам он, и его близ-

[1] Бой под Силистрой.

кие так привыкли к этому «больному», что, когда у часов «исчезал пульс», или, иными словами, переставал качаться маятник, в доме становилось как-то пусто и тихо. Когда Марко брался за цепи, чтобы завести часы, из груди «чахоточного» вырывались такие громкие и сердитые хрипы, что кошка убегала вон из комнаты. Две семейные фотографии на той же стене служили дополнением к сокровищам этой «картинной галереи», которую древние часы превращали прямо-таки в музей.

Один из гостей, доктор Соколов, был домашним врачом Марко и пришел навестить больного Асена.

Это был молодой человек лет двадцати восьми, статный, с голубыми глазами, светло-русыми волосами и открытым добродушным лицом; нрав он имел довольно буйный и грешил легкомыслием. В бытность свою фельдшером одного турецкого лагеря на черногорской границе он в совершенстве изучил язык и обычаи турок; по вечерам пил водку и якшался с онбаши, а по ночам, чтобы не давать ему покоя, стрелял в печную трубу и, кроме всего прочего, дрессировал медведя. Чорбаджии смотрели на него косо, больше доверяя лекарю Янелии, но молодежь горячо любила доктора Соколова за веселость, общительность и пламенный патриотизм. Доктор всегда был первым и в подпольной работе местного комитета, и на дружеских пирушках и этим двум занятиям посвящал все свое время. Он не кончил никакого медицинского учебного заведения, но молодежь, стремившаяся возвысить его над греком-лекарем, присвоила ему звание доктора, а он не считал нужным протестовать. Что касается лечения больных, Соколов целиком возлагал его на двух своих верных помощников — природу и благодатный климат этого горного края. Надеясь на них и к тому же ничего не смысля в латыни, он редко прибегал к своей фармакопее, и вся его аптека умещалась на одной полке. Не мудрено, что доктор Соколов скоро стал намного популярнее, чем его конкурент.

Другим гостем был Иванчо Йота [1]. Как добрый сосед, он решил зайти поболтать с Марко, чтобы успокоить его. Несколько минут разговор вертелся вокруг вечернего происшествия, причем Иванчо очень красноречиво рассказывал о своих переживаниях и тревогах.

---

[1] Это лицо, как и Хаджи Смион, Мичо Бейзаде, господин Фратю, поп Ставри и Мунчо, которые будут в дальнейшем фигурировать в романе, автор уже обрисовывал в повести «Наша родня», написанной в 1884 году. Действие обоих этих произведений разыгрывается в одной и той же местности Южной Болгарии — в Бяла-Черкве.

— Так вот,— говорил он,— не успела моя Лала убрать со стола, и все такое прочее, как слышу я у вас на дворе страшнейшую пропаганду. Собака и та лаяла чрезвычайно. Я испугался, точнее, не испугался, а сказал Лале: «Лала, что случилось у Марко? Погляди с галереи, что у них там творится во дворе...» Потом подумал: «Нет, не женское это дело». И вот я сам дерзновенно поднялся на галерею; поглядел — во дворе у вас темно... «К чему эта пропаганда была? — спросил я себя мысленно,— точнее, с чего весь околоток перебудили?» А Лала стоит сзади и держит меня за полу. «Куда ты? — говорит.— Уж не собрался ли к Марко во двор прыгать?» — «Да нет, у них там все спокойно, душенька,— отвечаю я.— Запри-ка калитку в их двор».

— Зря беспокоился, Иванчо, ничего худого не произошло,— улыбаясь, заметил Марко.

— Тогда,— продолжал Йота,— я сказал себе мысленно: «Надо сообщить в конак; ведь господин Марко мой сосед, нельзя искушать его безопасность». И я быстро сбежал по лестнице, а Лала что-то кричит мне вслед крамольным голосом... «Молчи ты!» — мужественно говорю я ей... Вышел на порог, посмотрел на улицу — всемирная тишина.

— Дядюшка Марко, Асенчо уже спит? — начал было доктор, чтобы прервать разглагольствования Иванчо. Но тот перебил его и продолжал:

— Убедившись, что на улице всемирная тишина, я сказал себе: «Вот этого-то тебе и надо бояться, Иванчо». Повернулся, вышел через черный ход в переулок, точнее, в тупик, из тупика выбрался через калитку Недко во двор Махмудкиных, прошел мимо мусорной кучи дядина сына Генко и — прямо в конак. Вхожу, осматриваюсь и дерзновенно заявляю ошбаши, что у вас разбойники и куры носятся по двору как угорелые.

— Да говорю я тебе, ничего у нас не случилось; зря ты трудился, Иванчо,— уверял его Марко.

С улицы донесся шум сильного ветра; начиналась гроза.

— Да, дядя Марко, забыл тебя спросить,— проговорил доктор, видимо что-то внезапно вспомнив,— приходил к тебе сегодня вечером один молодой человек?

— Какой молодой человек?

— Один странный молодой человек, довольно плохо одетый... Но, как мне показалось, интеллигентный... Спрашивал, как пройти к тебе.

— Не знаю, меня никто не спрашивал,— отозвался Марко, заметно смутившись, на что его гости, впрочем, не обратили внимания.— А где ты его видел?

— В сумерки, около сада хаджи Павла, меня догнал какой-то молодой человек,— спокойно продолжал доктор свой рассказ.— Догнал и спрашивает вежливо: «Вы не можете мне сказать, сударь, далеко ли отсюда живет Марко Иванов?.. Хочу его разыскать, говорит, а в этих местах я впервые...» Случайно я шел в твою сторону и предложил ему пойти со мной. По дороге я к нему присмотрелся,— худой, слабый, едва держится на ногах, бедняга, и почти раздетый... Насколько я сумел разглядеть в темноте, одет он был в тоненький рваный пиджачок, а на улице похолодало. Я не решился спросить, откуда он и почему в таком виде, но мне стало жаль несчастного и как-то тяжело на душе. Посмотрел я на свою гарибальдийку — вся потертая: как говорится, заплата на заплате. «Вы не обидитесь, сударь, если я вам предложу свою одежонку? — спросил я.— А то простудитесь!» Он поблагодарил и взял мою куртку. Так мы дошли до вашего дома, и я с ним расстался. Вот я и хотел спросить: кто он такой?

— Я же тебе сказал, что ко мне никто не приходил.

— Странно,— проговорил доктор.

— Уж не он ли и есть тот разбойник, что карабкался на вашу ограду, дядя Марко? — спросил Иванчо.— Пропаганда была не всуе.

— Нет, не может быть, чтобы этот юноша был разбойником... Тех можно сразу узнать — по роже,— заметил доктор.

Хозяину этот разговор был не по душе и, желая переменить тему, он обратился к Соколову:

— Читал газету, доктор? Как восстание в Герцеговине?

— Тяжело читать, дядюшка Марко. Героический народ творит чудеса, но что он может сделать против такой силы?

— И всего-то их, герцеговинцев, горсточка, но как долго держались! Нам такое не по плечу! — проговорил Марко.

— Да разве мы пытались? — возразил доктор.— Нас в пять раз больше, чем герцеговинцев, но мы еще не знаем своих сил.

— Эх, доктор, не говори ты так,— сказал Марко.— Герцеговинцы — это одно, а мы — другое; мы в самом чреве адовом; только шелохнись, и всех нас перережут, как овец. И помощи нам ждать неоткуда.

— А я опять спрашиваю: разве мы пытались? — с жаром повторил свой вопрос доктор.— Хоть мы ничего и не делаем, нас все равно режут и бьют. И чем больше мы будем похожи на овец, тем больше нас будут бить. Ну что им сделал невинный Генчев сынок? А ему вчера отрубили голову. Нам грозят висе-

лицей, как только мы пытаемся протестовать против тирании, а Эмексиз-Пехливану и ему подобным разрешается зверствовать безнаказанно. Где же справедливость? Самый бездушный человек и тот не в силах все это вынести. «И у решета есть сердце»,— как говорят у нас.

Вошла бабка Иваница.

— А вы знаете,— промолвила она.— Пена давеча слышала,— еще до грозы,— как палили из ружей... Что бы это могло быть?.. Пресвятая богородица, должно, опять какую-нибудь христианскую душу загубили...

Марко вздрогнул и переменился в лице. Он заподозрил, что случилось что-то дурное с Краличем. Сердце его сжалось от боли, и скрыть этого он не мог.

— Дядюшка Марко, что с вами? — спросил доктор, пристально всматриваясь в его огорченное лицо.

Дождь перестал. Гости собрались уходить. Новость встревожила их тоже.

— Должно быть, просто ставни хлопнули, а служанке опять что-то почудилось... Не бойтесь! Будьте дерзновенны! — храбрился Иванчо Йота.— Бабушка Иваница, а что, калитка открыта? Та, что ведет в мой двор?

И пока Марко провожал доктора до ворот, Иванчо спешил к калитке, которую ему открыла жена.

V. НОЧЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Доктор Соколов постучал в ворота своего дома.

Старуха хозяйка открыла ему, и он вошел, бросив скороговоркой:

— Что делает Клеопатра?

— О тебе спрашивала,— ответила старуха, улыбаясь.

Доктор пересек продолговатый двор и вошел в свою комнату. Просторная, почти без мебели, с большим камином и вделанными в стену шкафами, она служила ему и кабинетом, и аптекой, и спальней. На полочке были расставлены все его лекарства, на столике стояла ступка и валялось несколько медицинских книг; среди них лежал револьвер. Над кроватью висели двустволка и ягдташ. Стены были украшены только портретом черногорского князя Николы и висевшей под ним фотографией какой-то актрисы. В комнате было неубрано, тихо, пусто; все говорило о том, что в ней живет беспечный холостяк. Полуоткрытая дверца вела в чулан.

В этом чулане три года назад ночевал покойный Левский.

Доктор, небрежно скинув фес и пиджак, подошел к чулану и, хлопнув в ладоши, крикнул:

— Клеопатра! Клеопатра!

Никто не ответил.

— Клеопатра, выходи, голубушка!

Из-за дверцы послышался рев.

Доктор сел на стул посреди комнаты и позвал:

— Сюда, Клеопатра!

Из чулана вышел медведь, точнее — молодая медведица. Она подошла к доктору, шаркая огромными лапами по полу и радостно урча. Потом поднялась на задние лапы, положив передние на колени хозяина, и раскрыла широкую пасть с белыми острыми зубами. Медведица ласкалась к доктору, как собачонка. Он погладил ее по пушистой голове и не отнял руку, когда Клеопатра облизала ее и легонько захватила зубами.

Эта медведица, пойманная на Средна-горе еще совсем маленьким зверенышем, была подарена Соколову одним крестьянином-охотником, сына которого он вылечил от опасной болезни. Доктор привязался к медвежонку и ничего не жалел, чтобы его вырастить. Под нежной опекой Соколова Клеопатра благополучно росла, усваивала уроки гимнастики, и ее любовь к хозяину крепла с каждым днем.

Клеопатра уже научилась плясать медвежью польку, прислуживать и подавать доктору шапку. Она, как собака, сторожила комнату, хотя это было, что называется, «медвежьей услугой», так как ее присутствие в доме отпугивало больных. Впрочем, доктор об этом не очень беспокоился.

В разгаре пляски Клеопатра так ревела, что весь околоток знал, когда она танцует. Тогда и весельчак Соколов пускался с нею в пляс.

В этот вечер доктор чувствовал особенное расположение к «деликатной» Клеопатре. Он подал ей кусок мяса прямо с руки.

— Кушай, моя голубушка. «Голодному медведю не до пляски», говорят старые люди, а я хочу, чтобы ты сейчас поплясала для меня, как танцуют принцессы.

Медведица, должно быть, поняла эти слова и заревела. Это означало: «Я готова!» Доктор схватил подпос и принялся бить в него, распевая веселую песню:

Свет Димитра, белокурая красотка,
Ты скажи-ка своей матери, Димитра:
«Не рожай мне, мать, сестер и братьев!..»

Воодушевившись, Клеопатра встала на задние лапы и пустилась в пляс, не переставая реветь. Но вдруг она бросилась к окну и яростно зарычала. Доктор с удивлением увидел, что во двор вошли какие-то люди.

Он сразу же схватил свой револьвер.

— Кто там? — громко спросил он и толкнул Клеопатру, чтобы она умолкла.

— Доктор, пожалуйте в конак! — крикнули в ответ со двора.

— Это ты, Шериф-ага? За каким чертом меня туда вызывают? Кто-нибудь заболел?

— Сначала запри медведя.

Доктор сделал знак рукой Клеопатре, и медведица, недовольно урча, ушла в чулан. Доктор прикрыл за ней дверцу.

— Нам приказано отвести тебя в конак. Ты арестован,— проговорил онбаши строгим голосом.

— Почему арестован? Кто меня арестовал?

— Там все узнаешь. Иди с нами.

И полицейские увели доктора, смущенного, растерянного, охваченного предчувствием беды.

Выходя из ворот, он услышал душераздирающий рев Клеопатры,— она плакала, как дитя.

В конаке была суматоха. Доктора отвели к бею.

Бей сидел на своем обычном месте, в углу. Рядом с ним расположился Кириак Стефчов; он читал какие-то бумаги, в которые заглядывал и Нечо Пиронков — член совета конака.

Бей — шестидесятилетний старик — нахмурился при виде доктора, но все-таки предложил ему сесть. Подобную тактику турки иногда применяли по отношению к обвиняемым, чтобы расположить их к признаниям. К тому же Соколов был домашним врачом бея, и старик его любил.

Доктор внимательно осмотрелся и с удивлением увидел на диване свою куртку, ту самую, которую он подарил Краличу. Это сразу пролило свет на все его недоумения.

— Скажи, доктор, это твоя куртка? — спросил бей.

Соколов не хотел да и не мог отрицать этого и ответил утвердительно.

— А почему она не у тебя?

— Я вчера подарил ее одному бедняку.

— Где же это было?

— На Хаджи-Шадовой улице.

— В котором часу?

— В два часа по турецкому времени.

— Ты знаком с этим человеком?

— Нет, но мне стало жаль его. Он был в лохмотьях.

— Как врет, несчастный! — проговорил Нечо презрительно.

— Чего ты хочешь, Нечо? — прошептал его сосед.— Утопающий хватается и за соломинку.

Бей лукаво усмехнулся — мол, стреляного воробья на мякине не проведешь. Он не сомневался, что куртка была снята с плеч самого доктора. Так показывали и стражники.

— Кириак-эфенди, подай то, что нашли в куртке... А это тебе знакомо?

Доктору предъявили номер газеты «Независимость» и печатную крамольную листовку. Он сказал, что никогда их не видел.

— Кто же положил их тебе в карман?

— Я уже вам сказал, что подарил свою куртку незнакомому человеку; может, это он их туда положил.

Бей опять усмехнулся. Доктор почувствовал, что дело принимает плохой оборот: его обвиняли по меньшей мере в сношениях с бунтовщиками.

Так вот кто он такой, этот вчерашний незнакомец! Если бы доктор узнал это вовремя, он спас бы от беды и его и себя.

— Позовите раненого Османа! — приказал бей.

Вошел полицейский, рука которого была забинтована выше локтя. Это был тот, что сорвал куртку с плеч Кралича, и в этот момент в него попала пуля, пущенная другим полицейским. Но Осман — то ли по ошибке, то ли по злому умыслу — утверждал, что его ранил бежавший мятежник.

Осман подошел к доктору.

— Это он и есть, эфенди,— проговорил он.

— Ты с него сорвал куртку? Узнаешь его?

— Он в меня и пулю пустил на Петканчовой улице.

Доктор смотрел на полицейского, ошеломленный. Тяжкое да к тому же и ложное обвинение вызвало в нем бурю негодования.

— Полицейский врет без зазрения совести! — крикнул он.

— Выйди, Осман-ага!.. Ну, как,— снова обратился к Соколову бей, и лицо его стало серьезным,— ты отрицаешь все это?

— Ложь и клевета! Я никогда не ношу револьвера, а по Петканчовой улице вчера даже и не проходил.

Онбаши поднес к свече и осмотрел револьвер, взятый во время ареста доктора с его стола, и проговорил многозначительным тоном:

— Четыре пули... а пятую он выпустил.

Бей столь же многозначительно кивнул головой.

— Ошибаетесь! Вчера вечером я не брал с собой револьвера.

— А где ты был вчера вечером, когда все это произошло,— часа в три по турецкому времени?

Для Соколова этот неожиданный вопрос прозвучал как гром среди ясного неба. Доктор густо покраснел от смущения, но ответил уверенным тоном:

— В три часа я был у Марко Иванова — у него ребенок болен.

— Ты пришел к чорбаджи Марко в четыре часа без малого; мы тогда только что вышли от него,— возразил онбаши, встретившийся с доктором у дома Марко.

Доктор молчал, подавленный. Обстоятельства сложились против него. Он чувствовал, что запутывается.

— Лучше ответь нам чистосердечно: где ты был после того, как отдал свою куртку на Хаджи-Шадовой улице, и перед тем, как зашел к чорбаджи Марко? — спросил бей.

Прямой вопрос требовал столь же прямого ответа. Но доктор Соколов молчал. Он не умел скрывать своих чувств, и мучительная внутренняя борьба исказила его черты.

Это смущение, это молчание были красноречивее исповеди. Они дополнили улики, собранные против него. Бей не сомневался в виновности доктора, но все-таки спросил его еще раз:

— Скажи, где ты был в это время?

— Не могу сказать,— тихо, но решительно ответил доктор.

Этот ответ поразил всех присутствующих. Нечо, советник, иронически подмигнул Стефчову, как бы желая сказать: «Попался в ловушку, несчастный!»

— Отвечай! Где ты был тогда?

— Этого я никак не могу сказать... Это тайна, и моя совесть — и лекарская и просто человеческая — не позволяет мне открыть ее. Но на Петканчовой улице я не был!

Бей настоятельно требовал ответа и грозил доктору, что молчание приведет к тяжелым для него последствиям. Но доктор уже смотрел спокойно, как человек, сказавший все, что он считал нужным.

— Так ты не хочешь отвечать?

— Я все сказал.

— В таком случае ты этой ночью будешь нашим гостем... Отведите его в тюрьму! — приказал бей строгим тоном.

Доктор вышел растерянный, ошарашенный всеми этими обвинениями; опровергнуть их было не в его власти, потому что, как он сам признался, он ни в коем случае не мог сказать, где он был вчера вечером.

VI. ПИСЬМО

Марко спал плохо. События этой ночи отняли у него душевный покой. Он встал раньше обычного и отправился в кофейню Ганко выпить кофе. Ганко только что открыл свое заведение и разжигал печку. Марко был его первым посетителем.

Содержатели кофеен — словоохотливые люди, и Ганко, отпустив несколько острот, которые он неизменно повторял всем посетителям, подавая кофе, поспешил сообщить Марко о происшествии с доктором на Петканчовой улице и о том, к каким последствиям оно привело. Все это Ганко рассказывал с большим воодушевлением, сдабривая свою повесть множеством всяких нелепостей.

У людей с мелкой душой несчастья ближних обычно пробуждают три чувства: во-первых, удивление; во-вторых, внутреннее удовлетворение,— ведь беда свалилась не на их голову; и, в-третьих, скрытое злорадство. Эти темные чувства таятся в самых глубинах человеческой натуры. А у Ганко, кроме того, был зуб на доктора, который однажды потребовал списать с его счета стоимость двенадцати чашек кофе взамен гонорара за визит. Ганко не мог простить доктору этого неслыханного поступка.

Удивлению Марко не было границ. Ведь он вчера вечером разговаривал с доктором, но ни в его лице, ни в словах не заметил никаких следов пережитого волнения. Да Соколов и не стал бы скрывать от Марко такие вещи.

В кофейню вошел онбаши, и Марко воспользовался случаем расспросить у него, как было дело. Из разговора с онбаши Марко понял, что доктор стал жертвой заблуждения полиции, но Кралич ускользнул из ее когтей. Радость озарила его лицо.

— Я голову даю на отсечение, что доктор невиновен! — сказал он.

— Дай бог,— проговорил онбаши,— но не представляю себе, как он сможет оправдаться.

— Смог бы, да не успеет... замучают... Когда бей явится в конак?

— Через час. Он рано приходит.

— Отпустите доктора, я возьму его на поруки; заложу дом и детей, но возьму. Он не виновен ни в чем.

Онбаши посмотрел на него с удивлением.

— В поручителях нет надобности; его уже увели,— сказал он.

— Когда? Куда? — вскричал Марко.

— Ночью мы под конвоем отправили его пешком в К.

Марко вспыхнул, не сумев скрыть своего негодования.

Онбаши, уважавший Марко, проговорил дружелюбным, но наставительным тоном:

— А вам, чорбаджи Марко, лучше бы не вмешиваться в это грязное дело. Зачем это вам нужно? В теперешние времена никто ни за кого не может ручаться.

Допив кофе, онбаши продолжал:

— Через полчаса и я поеду в К. с письмом бея, к которому приложена крамольная литература, найденная у доктора. Если хотите знать, из-за нее-то вся каша и заварилась; это его и погубит... А все остальное... пустяки! Османа ранил не доктор, а кто-то из наших, по ошибке... Это по ране его видно... А впрочем, начальство разберется... Ганко, дай мне какую-нибудь ненужную бумагу, завернуть письмо, чтоб не измялось.

Он вытащил из-за пазухи большой конверт с красной печатью и завернул его в бумагу, взятую у содержателя кофейни. Выкурив еще одну папиросу, онбаши попрощался с Марко и ушел.

Глубоко задумавшись, Марко долго сидел, не двигаясь с места. Ганко, кофейня которого была в то же время и цирюльней, стоя спиной к Марко, принялся мыть голову другому посетителю — Петко Базуняку.

Немного погодя Марко встал и вышел.

— В добрый час, дядюшка Марко! Что так скоро убегаешь? — крикнул ему вслед Ганко, покрывая голову клиента хлопьями белой мыльной пены.— За доктора волнуешься, что ли? Он сам виноват. Что посеешь, то и пожнешь. Ведь не забрали же они Петко Базуняка? Базуняк, что ты на это скажешь?

Клиент, весь покрытый мыльной пеной, пробурчал в ответ что-то невнятное.

Потрудившись еще, Ганко смыл остатки пены, вытер Базуняку голову и лицо полотенцем сомнительной чистоты и, подав ему надтреснутое зеркало, сказал:

— На здоровье!

Выпося на улицу грязную воду, Ганко столкнулся в дверях с Марко.

— Табакерку забыл,— объяснил Марко, быстро направляясь к лавке, на которой лежала его табакерка.

Тем временем Базуняк, оставив на зеркале монету, вышел из кофейни. Ганко вернулся.

— Слушай, Ганко, скажи пока что, сколько я тебе должен? — обратился к нему Марко.— Надо расплатиться. В конце месяца я ведь всегда рассчитываюсь с тобой.

Ганко показал пальцем на потолок, который был испещрен отметками, сделанными мелом.

— Вот тебе моя приходо-расходная книга, подсчитай и плати,— сказал он.

— Так здесь же нет моей фамилии!

— Я веду счета на французский манер.

— С такой бухгалтерией тебе скоро придется протянуть ноги,— пошутил Марко, вынимая кошелек.— Эге, смотри-ка, онбаши забыл свое письмо,— добавил он, показывая на полочку.

— И правда, его письмо! — вскрикнул удивленный Ганко и вопросительно посмотрел на Марко, словно ожидая, что тот скажет.

— Отошли ему это письмо, да поскорее,— проговорил Марко нахмурившись.— Вот тебе двадцать восемь грошей и один червонец, разорил меня совсем!

Ганко удивленно посмотрел на Марко.

— Странный человек этот Марко,— пробормотал он.— Дома своего не жалеет для медвежатника, а не догадается бросить письмо в огонь. Миг — и нет его...

Но тут вошли новые посетители и, быстро наполнив кофейню клубами дыма, занялись пересудами о несчастье, случившемся с доктором.

VII. ГЕРОЙСТВО

Солнце поднялось высоко, и лучи его проникли сквозь зеленые виноградные лозы, затенявшие монастырский двор. Ночью здесь в каждом углу мерещились привидения, и двор казался мрачным и жутким, но сейчас в нем было светло, тихо, покойно и весело. Певчие птицы оглашали его радостным чириканьем; прозрачные струи источника журчали мелодично и ласково; с гор веял утренний ветерок, шевеля ветви стройных кипарисов и тополей, и листва их нежно шелестела. Все здесь

сейчас казалось каким-то ясным и праздничным. Сумрачные кельи и те смотрели приветливо, а в примыкавших к ним открытых галереях звонко щебетали ласточки, свившие здесь гнезда.

Посреди двора, под лозами, прогуливался величавый старец с белой бородой до пояса, облаченный в длинную фиолетовую рясу, и с непокрытой головой. Это был восьмидесятипятилетний отец Иеротей, величественный памятник минувшего века, уже почти развалина, но развалина еще импозантная и почитаемая. Тихо и мирно доживал он последние дни своей долгой жизни. Каждое утро он прогуливался по двору, дышал свежим горным воздухом и, как ребенок, радовался солнцу и небу, к которому уже держал путь.

Невдалеке, под виноградной лозой — словно для контраста с этим памятником прошлого — стоял с книгой в руках дьякон Викентий. (Он готовился ко вступительному экзамену в русскую семинарию.) Молодостью и надеждой веяло от юношеского лица дьякона, сила и жизнерадостность светились в его мечтательном взгляде. Этому юноше принадлежало будущее, и в будущее он смотрел с такой же верой, с какой старец обращал свои взоры к вечности.

Ничто так не способствует созерцанию, как тишина, царящая за монастырской оградой.

На каменных ступеньках, ведущих в церковь, сидел круглый, как шар, отец Гедеон, увлекшийся наблюдением за индюками, которые прогуливались по двору, распустив хвосты веером. Он мысленно сравнивал их с гордыми евангельскими фарисеями, а их клохтанье вызывало в его памяти образ мудрого царя Соломона, который понимал язык птиц. Углубившись в свои благочестивые размышления, отец Гедеон спокойно ожидал желанного звона к полуденной трапезе и, предвкушая ее, вдыхал приятные запахи кухни.

На пороге кухни, на самом солнцепеке, стоял косоглазый человек, приятель Мунчо, тоже юродивый, живший при монастыре. Он с не менее философским глубокомыслием наблюдал за индюками. Впрочем, слова «наблюдал за индюками» не совсем точны — юродивый видел не только индюшиное семейство, но и многое другое, так как один его глаз смотрел на восток, а другой — на запад.

Тут же стоял и Мунчо, ломая руки, вертя головой и со страхом поглядывая на галерею верхнего этажа. Почему она внушала ему страх, знал он один.

Других обитателей в монастыре не было, если не считать

игумена, который сейчас был в отъезде, да нескольких батраков-послушников.

Но игумен как раз вернулся — неожиданно для братии. Прискакав на коне, он спешился, бросил поводья косоглазому и хмуро проговорил, обращаясь к Викентию:

— Везу из города плохие вести.

И он во всех подробностях рассказал о том, как Соколов попал в беду.

— Бедный Соколов,— заключил он со вздохом.

Игумен Натанаил был крупный, сильный, подвижной человек с мужественным лицом и густыми курчавыми волосами. Если бы с него сняли рясу, в нем не осталось бы почти ничего монашеского. Он был меткий стрелок, и стены его кельи были увешаны ружьями; он умел лечить огнестрельные раны, умел и наносить их, а ругался артистически. Ему бы не игуменом быть, а воеводой на Балканах. Поговаривали, впрочем, что когда-то он действительно был воеводой, но потом ушел в монастырь на покаяние...

— Где отец Гедеон? — спросил игумен, осматриваясь.

— Вот я! — крикнул визгливым голосом отец Гедеон, появляясь на пороге кухни. Он ходил узнать, скоро ли будет готов обед.

— Опять залез на кухню, отец Гедеон! Или не знаешь, что чревоугодие смертный грех?

И Натанаил приказал монаху оседлать осла, съездить в деревню Войнягово и обойти косцов, косивших монастырские луга.

Отец Гедеон был приземист, тучен, пузат, а лицо у него лоснилось, как бурдюк с кунжутным маслом. Те несколько шагов, которые он сделал, чтобы подойти к игумену, вызвали обильный пот на его лице. Он стоял, сложив руки на животе, и ему явно не хотелось совершать путешествия по грешному миру.

— Отче игумен,— задыхаясь, проговорил умоляющим голосом отец Гедеон,— отче игумен, не лучше ли избавить вашего покорного брата от этой горькой чаши?

И отец Гедеон низко поклонился.

— Что это еще за горькая чаша? Разве я тебя посылаю пешком? Поедешь верхом на осле; и весь-то труд — одной рукой держать поводья, а другой благословлять, когда будешь проезжать по деревням.

И Натанаил бросил на монаха насмешливый взгляд.

— Отец Натанаил, не о труде толк; ради труда и подвиж-

нической жизни мы и спасаемся в этой святой обители, но не время теперь разъезжать.

— Почему не время? Погода плоха, что ли? В мае месяце полезно прокатиться,— здоровей будешь.

— Времена, отче, времена-то какие! — с жаром воскликнул отец Гедеон.— Сами видите — доктора связали вервием, и, может статься, христианин дойдет до погибели. Агаряне род жестокосердый... А если, упаси бог, на меня наклепают, что я, дескать, народ бунтую, тогда и монастырь пострадает!.. Опасность великая.

Игумен громко расхохотался.

— Ха-ха-ха!..— неудержимо хохотал он, хватаясь за бока и глядя на тучного отца Гедеона.— Так ты думаешь, турки могут тебя заподозрить? Выходит, отец Гедеон у нас политический деятель! Ха-ха-ха!.. Недаром говорят: заставь лентяя работать, он и тебя научит, как от работы отлынивать! Грешно тебе: рассмешил меня, когда на сердце такое горе. Дьякон Викентий! Дьякон Викентий! Иди сюда, послушай, что говорит Гедеон... Мунчо, ступай позови Викентия, не то я умру от смеха.

И действительно, игумен хохотал так громко и раскатисто, что пробудил эхо во всех соседних галереях.

Выслушав приказание игумена, Мунчо пуще прежнего завертел головой, и в его выпученных глазах появилось выражение тупого страха.

— Русс-и-я-н! — крикнул он, весь дрожа и показывая пальцем на галерею, на которую незадолго до того поднялся дьякон.

И тут же, опасаясь, как бы его не заставили выполнить приказание, быстро зашагал в противоположную сторону.

— Руссиян? — удивился игумен.— Какой такой «руссиян»?

— Злой дух, ваше преподобие,— пояснил отец Гедеон.

— С каких это пор Мунчо стал таким пугливым? До сих пор он жил, как филин в лесной чаще...

— Воистину, отче Натанаил, некий дух ночной бродит по галереям... Нынче ночью Мунчо прибежал ко мне сам не свой от страха. Говорил, будто видел злого духа в белом одеянии, когда тот вышел из кельи,— той, где окошко застеклено... И еще рассказывал разные разности, прости ему господи! Надо бы окропить святой водой верхнюю галерею.

Мунчо, остановившись в отдалении, со страхом смотрел вверх.

— Что же он видел? — спросил игумен.— Впрочем, пойдем, отче, посмотрим сами,— решил он вдруг, заподозрив, что в келью забрались воры.

— Сохрани боже! — проговорил Гедеон, крестясь.

Игумен один отправился на галерею.

Надо сказать, что как раз в ту минуту, когда игумен позвал Викентия, тот входил к Краличу.

— Что нового, отче? — спросил Кралич, заметив, что Викентий чем-то встревожен.

— Опасности никакой нет,— поспешил успокоить его дьякон.— Но игумен привез очень неприятную весть: сегодня ночью забрали Соколова и отправили его в К.

— Кто он такой, этот Соколов?

— Доктор, живет в нашем городе, хороший малый. У него в кармане будто бы нашли крамольные листовки... Может, и правда? Я лично знаю одно: он пламенный патриот,— проговорил дьякон и, видимо озабоченный, умолк, но вскоре продолжал: — Еще, говорят, когда вчера за ним погнались стражники, он выстрелил из пистолета и ранил полицейского, а тот сорвал с него куртку... Пропадет бедный доктор... Слава богу, что вам удалось от них ускользнуть... и что в городе о вас вообще ничего не слышно.

Не успел дьякон произнести эти слова, как его собеседник схватился руками за голову и, болезненно охая, заметался по комнате, как безумный. Казалось, его охватило безнадежное отчаяние. Ничего не понимая, дьякон удивленно смотрел на Кралича.

— Что с тобой, душа моя? Ведь, слава богу, тебе ничто не угрожает! — воскликнул Викентий.

Кралич остановился перед ним,— лицо его было искажено душевной мукой,— и крикнул страстно:

— Не угрожает, говоришь? Легко сказать! — И он ударил себя по лбу.— Что смотришь, Викентий? Не понимаешь? Ах, боже мой, я забыл тебе сказать, что эта куртка была на мне. Вчера в городе какой-то любезный молодой человек показал мне, как пройти к Марко, и подарил мне свою куртку,— ведь я был в лохмотьях. Видно, это и был Соколов. Потом эта куртка попала в руки стражника... В ее карман я переложил из рваного кармана своего пиджака газету «Независимость» и листовку, которую мне дали в одной троянской хижине, когда я там ночевал... Мало того, его еще обвинили в том, что он стрелял в полицейского, а я даже не дотрагивался до револьвера! Ах, проклятые! Теперь понимаешь? Этот человек пострадал из-за меня... Я проклят судьбой,— приношу несчастье тем, кто мне делает добро.

— Да, плохо дело,— горестно проговорил Викентий.— А самое грустное, что ему не поможешь... так уж все сошлось.

Кралич повернулся к нему; лицо его пылало.

— Как это не поможешь? Да разве я допущу, чтобы такой великодушный человек и, как ты сам сказал, хороший патриот погиб из-за меня? Это было бы подлостью!

Дьякон молча смотрел на него.

— Нет, сложу голову, но спасу его!

— Но что же можно сделать? Скажи! Я готов на все! — воскликнул Викентий.

— Я сам его спасу.

— Ты?

— Да, я. Я его спасу... Один я должен и один я могу спасти его! — крикнул в исступлении Кралич и снова заметался по келье; лицо его отражало непоколебимую решимость и отвагу.

— Ты что же, хочешь, чтобы мы напали на тюрьму?

Викентий смотрел на него изумленный и даже немного испуганный. «Уж не сошел ли он с ума?» — подумал дьякон.

— Как же ты собираешься спасти доктора? — спросил он.

— Ты не догадываешься?

— Нет.

— Пойду и отдамся в руки властей.

— Как? Сам пойдешь и отдашься?

— А что ж, просить других отвести меня? Послушай, Викентий, я честный человек и не хочу покупать себе жизнь ценой чужих страданий. Не за тем я шел сюда чуть не месяц, чтобы сделать подлость. Если я не могу отдать свою жизнь со славой, то могу пожертвовать ею честно... Понял? Если я сегодня же не отдамся в руки турецких властей и не скажу: «Соколов не виновен; я с ним не знаком; куртку сняли с меня, и листовки мои; опасный человек — я, во всем виноват я, и даже в стражника стрелял я, делайте со мной, что хотите», если я так не скажу, доктор Соколов пропал, особенно раз он не мог или не хотел оправдываться... Скажи, разве есть другой выход?

Дьякон молчал. В глубине своей честной души он понимал, что Кралич прав. Чувство справедливости и человечности требовало от него, чтобы он пожертвовал собой, не дожидаясь, пока ему об этом напомнят. Теперь этот человек казался Викентию еще более достойным и обаятельным, чем раньше. Лицо Кралича светилось тем благородным, ясным, как бы неземным светом, каким озаряет человеческое лицо только истинная доблесть. Правдивые, страстные, проникновенные слова Кралича наполнили сердце Викентия каким-то сладостным торжеством. Дья-

кому хотелось быть на месте Кралича: тогда он сам сказал бы такие слова и выполнил бы свой долг. Он был так растроган, что глаза его затуманились от слез.

— Покажи мне дорогу в К.,— попросил Кралич.

В эту минуту за окном появилась большая косматая голова игумена — в пылу разговора молодые люди не услышали его шагов. Кралич вздрогнул и вопросительно посмотрел на дьякона.

Дьякон выскочил за дверь, отошел с игуменом к перилам галереи и долго с жаром говорил ему что-то, размахивая руками и то и дело поглядывая на окно кельи, в которой его нетерпеливо ждал волновавшийся Кралич.

Когда дверь наконец открылась и в келью вошли Викентий и Натанаил, Кралич шагнул навстречу игумену и нагнулся, чтобы приложиться к его руке.

— Не надо, не целуй, недостоин я этого! — воскликнул игумен, прослезившись, и, обняв Кралича, горячо поцеловал его, как отец сына после долгой разлуки.

VIII. У ЧОРБАДЖИ ЮРДАНА

В этот день старый чорбаджи Юрдан давал обед по случаю семейного торжества. Были приглашены родственники, друзья и единомышленники хозяина.

Юрдан Диамандиев, человек уже в годах, болезненный, хмурый и нервный, принадлежал к числу тех зажиточных болгар, которые опозорили самое слово «чорбаджия». Богатство его росло, многочисленная семья жила в достатке, с его словами считались, но никто его не любил. В молодости он якшался с турками, угнетал и грабил бедняков, поэтому его ненавидели и теперь, хотя он уже не делал да и не мог делать зла. Он во всех отношениях был человек прошлого.

Обед проходил весело, несмотря на то что сам хозяин сидел насупившись. Тетка Гинка, замужняя дочь Юрдана, все еще недурная собой, болтливая, взбалмошная бабенка, колотившая, когда считала нужным, своего смиренного мужа, забавляла гостей шутками и остротами, непрерывно сыпавшимися с ее неутомимого языка. Больше всех смеялись три монахини. Одна из них госпожа Хаджи Ровоама, сестра Юрдана, хромая, злая сплетница, вторила тетке Гинке, то и дело отпуская язвительные шутки по адресу отсутствующих. Хаджи Смион, зять хозяина, набив полный рот едой, давился от смеха. Хаджи Пав-

лин, сват Юрдана, тоже хохотал не переставая и ел вилкой, взятой из прибора Михалаки Алафранги, а тот, рассерженный такой неучтивостью, хмуро озирался по сторонам.

Михалаки получил прозвище «Алафранга» вполне заслуженно: лет тридцать назад он первый в городе начал носить брюки вместо шаровар и щеголять французскими словечками. Правда, этим все и кончилось. Он до сих пор носил пальто времен Крымской войны, а его скудный французский лексикон не пополнился ни одним новым словом.

Но льстившее ему прозвище и репутация ученого мужа сохранились за ним и по сей день. Не забывая об этом ни на минуту, Михалаки задирал нос, держался высокомерно, говорил важно и никому не разрешал называть себя «дядя Михал» — из боязни, как бы его не спутали с Михалом стражником. В этом отношении Михалаки был очень придирчив. Он много лет был в ссоре со своим соседом Иванчо Йотой, который дважды назвал при людях Михалаки Алафрангу Михалаки Малафранзой, полагая, что это одно и то же.

Против Алафранги сидел Дамянчо Григоров, длинноликий, сухопарый, смуглый человек лет пятидесяти, с лукавыми, задорными глазами; тонкие губы его вечно кривила ироническая усмешка, а по лицу была разлита важность и серьезность. Словоохотливый, красноречивый и неутомимый рассказчик, он обладал фантазией, неисчерпаемой, как родник, и богатой, как сокровищница Халима; каплю воды он превращал в море, муху — в слона, а когда не было мухи, обходился и без нее. Главное, он сам верил всему, что рассказывал, а это единственный способ внушить доверие слушателям. При всем том Дамянчо был один из самых видных в городе торговцев и хороший патриот.

Муж тетки Гинки ел молча, уткнувшись в тарелку, ибо стоило ему вымолвить слово или громко рассмеяться, как жена бросала на него свирепый взгляд, означавший: «Не смей!» Слабохарактерный и мягкий человек, он был под башмаком у жены, и, вместо того чтобы называть ее по мужу — Гинка Генкова, люди его самого звали Генко Гинкин.

Рядом с ним сидел Нечо Пиронков, советник; он то и дело шептал что-то щегольски одетому Кириаку Стефчову, а тот поддакивал ему, не слушая, и, улыбаясь, поглядывал на дочь Юрдана Лалку. Однако он вскоре был наказан за невнимание к словам соседа: Нечо чокнулся с ним, и вино пролилось на белые брюки Стефчова.

Этот юноша (мы уже видели его у бея, и в дальнейшем он будет играть важную роль в нашем рассказе) был истинный

чорбаджия по духу и воспитанию, а отец его был того же поля ягода, что и Юрдан Диамандиев. Молодой годами, Кириак Стефчов придерживался, однако, безнадежно устаревших взглядов; он не поддавался благородному влиянию новых, свободолюбивых идей. Понятно, что турки смотрели на Стефчова с одобрением, а молодежь, считавшая его турецким наушником, чуждалась его. Этому отчуждению способствовали и его падменный характер, злобная, завистливая душа и развращенное сердце. Но несмотря на это или, может быть, именно поэтому, чорбаджи Юрдан питал слабость к Стефчову и никогда не скрывал своего расположения к нему. Вот почему молва, обоснованно или необоснованно, прочила Стефчова Юрдану в зятья.

Со стола убрали и подали кофе; его разносила высокая румяная девушка в черном платье, на которую никто не обращал внимания. Начавшись за обедом, разговоры не прекращались, ибо тетка Гинка ловко умела поддерживать их своей неутомимой словоохотливостью. Вскоре разговор незаметно перешел на злобу дня — историю, случившуюся с доктором Соколовым. Эта тема сразу возбудила всеобщее внимание и внесла новое приятное оживление в послеобеденный отдых.

— А что же теперь делает докторша? — со смехом проговорила мать Серафима.

— Какая докторша? — спросила сватья.

— Неужто не понимаешь, сватья? Клеопатра, конечно.

— Давайте-ка навестим ее и надоумим послать письмо доктору; а то он небось тоже стосковался по своей хозяйке,— сказала тетка Гинка.

— Михалаки,— обратилась сватья к Алафранге,— что это за кличка — Клеопатра? Бабка Куна никак не может ее выговорить; все у нее не получается...

Михалаки нахмурился, глубокомысленно помолчал и, наконец, произнес, растягивая слова:

— Клеопатра — эллинское, сиречь греческое, имя. Клеопатра — значит: «плачет по... плачет о...».

— Плачет о докторе, попросту говоря,— сказал, ухмыляясь, Хаджи Смион и без всякой надобности полез в карман своего пиджака.

— Имя ничего не значит,— заметила госпожа Хаджи Роваама.— А вот кто-то другой будет плакать о докторе еще горше, чем его Клеопатра.

И, наклонясь к Хаджи Смионовице и другой молодой женщине, монахиня прошептала им что-то. Все три засмеялись лукавым смехом, заразив остальных гостей.

— Ты только подумай, Гина! Неужто сама жена бея? — удивлялась Мичовица.

— Почему бы и нет? Волк и из стада овцу уведет,— сказала тетка Гинка.

И опять раздался взрыв смеха.

— Кириак, а что за бумаги нашли у Соколова? — спросил Юрдан, не понимавший, над чем смеются гости.

— Сплошную крамолу — от первого до последнего слова. Бей вызвал меня ночью и приказал сделать перевод. В этих листках написана такая чушь и льются такие помои, дядя Юрдан, каких и сумасшедшим не придумать. Листовка бухарестского комитета призывает нас к борьбе за освобождение, хотя бы ценой того, что все превратится в прах и пепел.

— Хоть подохни, но освободись,— заметил с издевкой Нечо Пиронков.

— Ну, конечно! Эти негодяи хотят все сжечь, превратить в прах и пепел; но чье добро, спрашивается? Чужое. Ведь у них самих ни кола, ни двора. В прах и пепел — легко сказать! Вот мерзавцы! — проговорил чорбаджи Юрдан сердито.

— Сущие разбойники,— добавил Хаджи Смион.

Дамянчо Григоров, с нетерпением ждавший случая рассказать какой-нибудь длинный анекдот, ухватился за последнее слово Хаджи Смиона и начал:

— Ты сказал, Хаджи, разбойники, а я подумал: разбойник разбойнику рознь... Мне как-то довелось выехать в Штип. Дело было в тысяча восемьсот шестьдесят третьем году, тоже в мае месяце, но в субботу двадцать второго числа, в три часа ночи, в пасмурную погоду...

Тут Дамянчо рассказал очень длинную историю, в которой, кроме разбойников, фигурировали двое пашей, содержатель постоялого двора в Штипе, капитан греческого судна и сестра валашского князя Кузы.

Все очень внимательно слушали захватывающий рассказ Дамянчо, хоть не совсем верили ему, и с удовольствием прихлебывали кофе.

— Уж если они хотят сжигать все подряд, так и монастырь тоже спалят? — спросила мать Серафима.

— Чтоб их самих спалило огнем небесным! — пробурчала госпожа Хаджи Ровоама.

— Подумать только,— продолжал Стефчов,— ведь это прямо разврат! Распространять такие пакости! В молодых людях это убивает все хорошее; они становятся бездельниками,

докатываются до виселицы. Взять хотя бы Соколова. Жаль парня, очень жаль!

— Да, очень жаль,— согласился Хаджи Смион.

В разговор вмешался Михалаки Алафранга:

— А я еще вчера беседовал с доктором и понял, какие мысли у него на уме. Он сетовал, что нет у нас Любобратичей.

— Что же ты ему сказал?

— Сказал, что если нет Любобратичей, то есть висельники!

— Правильно,— проговорил Юрдан.

— А кто такие эти Любобратичи? — спросила любопытная сватья.

Генко Гинкин, который регулярно читал газету «Право» и был в курсе политических событий, раскрыл было рот, чтобы ответить, но тетка Гинка пронзила его взглядом и ответила сама:

— Любобратич — это вождь герцеговинцев, бабушка Дона. Эх, будь у нас здесь хоть один такой человек, как Любобратич... я бы стала его знаменосцем... и пошли бы мы резать турецкие головы, как капусту!

— Да, будь здесь хоть один такой, как Любобратич, все пошло бы по-другому... и я бы встал под его команду,— сказал Хаджи Смион.

Юрдан бросил на них строгий взгляд:

— Так и в шутку нельзя говорить, Гина. А ты, хаджи, тоже сболтнул лишнее.— И, повернувшись к Алафранге, Юрдан спросил: — Что теперь будет с доктором?

— По закону,— ответил Стефчов вместо Алафранги,— за посягательство на слугу султана полагается смертная казнь или пожизненное заточение в Диарбекире.

И он окинул победоносным взглядом все общество.

— Поделом,— проворчала Хаджи Ровоама.— Ну что ему сделали монастыри? За что он хотел их сжечь?

— Сам виноват,— заметил советник Нечо.— Неспроста, видно, вчера была такая гроза.

— Нечо сказал «гроза» и напомнил мне один случай,— не преминул вставить свое слово Дамянчо Григоров.— Во время Крымской войны, как сейчас помню, отправились мы с Иваном Бошнаковым в Боснию, дня за два до зимнего Николы. Заночевали около Пирота, и вдруг началась гроза. Да какая гроза!..

И Дамянчо Григоров рассказал, как молния ударила в ореховое дерево, под которым сидели путники, зажгла его, убила пятьдесят овец и оторвала хвост у его гнедого коня, которого потом пришлось продать за бесценок.

Он рассказывал все это столь красноречиво и с такими подробностями, что публика внимательно выслушала всю историю с начала и до конца. Стефчов и советник Нечо, правда, переглянулись, насмешливо улыбаясь. Но Михалаки сидел все так же важно, слегка наклонившись вперед, а Хаджи Симон раскрыл рот, пораженный сокрушительной силой Дамянчевой молнии, сверкавшей посреди зимы.

Пока Дамянчо рассказывал свою историю, тетка Гинка оглядывалась по сторонам, ища глазами Лалку.

— Рада, куда это Лалка запропастилась? Пойди-ка позови ее,— приказала Хаджи Ровоама молодой девушке в черном.

После того как Стефчов отозвался о докторе с такой жестокой холодностью, Лалка потихоньку вышла в другую комнату, бросилась на диван и, уткнувшись в него лицом, громко зарыдала. Потоки слез хлынули из ее глаз. Бедная девушка всхлипывала и захлебывалась слезами. Черты ее были искажены тяжким горем. Эти люди, так цинично насмехавшиеся над горькой участью доктора, возмущали ее до глубины души, и при мысли о них ей становилось еще тяжелее. «Боже мой, боже мой, какие они злые!» — думала она.

Но слезы облегчают и безнадежное горе. А судьба доктора еще не была решена, и Лалка могла надеяться.

Девушка встала, вытерла платком свое красивое белое лицо и села у открытого окна, чтобы скорее исчезли следы слез. Она рассеянно смотрела куда-то вдаль, не видя проходивших по улице беззаботных и равнодушных людей. Для нее уже не существовал этот жестокий мир: она никого не хотела видеть, ничего не хотела слышать, потому что все ее мысли были заняты одним человеком.

Но вдруг ее внимание привлек быстрый конский топот. Она выглянула в окно и обомлела. Верхом на белом коне, веселый, мчался доктор Соколов, возвращаясь домой. Он учтиво поздоровался с Лалкой и проехал мимо. Ошеломленная радостью, она даже не ответила на поклон и, вся во власти какой-то непреодолимой силы, бросилась к гостям, взволнованно крича:

— Доктор Соколов вернулся!

Неприятное удивление отразилось на лицах многих гостей. Стефчов побледнел и проговорил с притворным равнодушием:

— Должно быть, его поведут на новый допрос. Не так-то легко ему избежать Диарбекира или виселицы.

Повернувшись, он встретил презрительный взгляд Рады и, жестоко уязвленный, густо покраснел от злости.

— Не надо так говорить, Кириак! Хоть бы он спасся, бедняга. Жалко... такой молодой! — с чувством проговорила тетка Гинка.

Снова посыпались насмешки по адресу доктора, но они лишь по привычке срывались с языка; сердце в этом не участвовало. Чужое страдание, ударив по человеческой душе, всегда высекает искру света, если только он теплился в душе.

К чести Хаджи Смиона нужно отметить, что и он искренне обрадовался возвращению доктора, но не посмел выразить это в присутствии хозяина дома, как это сделала своевольная дочь Юрдана, тетка Гинка.

IX. ВСЕ ОБЪЯСНИЛОСЬ

Не успел доктор вернуться домой, как снова вышел на улицу и, направляясь к Марко, быстро прошел мимо кофейни Ганко. Многие из сидевших в ней завсегдатаев окликнули его и поздравили с освобождением, а горячее всех — сам хозяин. У дома Марко доктор столкнулся со Стефчовым, который шел от Диамандиевых.

— Кланяюсь вам, господин переводчик! — крикнул доктор, презрительно улыбаясь.

Марко уже отобедал и сидел на скамейке под самшитом, попивая кофе. Доктора он встретил с величайшей радостью.

Поздоровавшись со всеми домашними и весело ответив на поздравления, Соколов сказал хозяину:

— Расскажу тебе сейчас, дядюшка Марко, целую комедию.

— Как же это все произошло, душа моя?

— Да я и сам ничего не понимаю... Даже как-то не верится,— не быль, а прямо сказка. Забрали меня ночью из моего дома, только я вернулся от вас, и повели в конак. Ты уже слышал, как меня там допрашивали и в чем обвиняли. Кто бы мог подумать, что из-за какой-то потертой куртки выйдет такая история? Меня посадили под замок. Не прошло и часа, как входят два полицейских. «Доктор, собирайся!» — «Зачем?» — спрашиваю. «Пойдешь в К., бей приказал». Ладно. Выходим; один впереди меня, другой сзади, оба с ружьями. К рассвету дошли до К. Там меня тоже посадили под замок — время было раннее, и здания суда еще не открывали. Взаперти я просидел часа четыре, и эти часы показались мне годами. Наконец меня привели к судье. Вместе с ним заседало несколько советников и видных горожан; мне прочитали какой-то протокол, в котором я ничего

не понял. И здесь допрашивали, и здесь плели всякий вздор об этой несчастной куртке. А куртка моя лежит себе на зеленом столе и смотрит на меня жалобно. Судья вскрыл письмо, должно быть, присланное нашим начальством, вынул из него какую-то газету и листовку и спрашивает меня: «Эта газета и листовка твои?» — «Нет, не мои!» — «А как же они попали к тебе в карман?» — «Я их туда не клал». Судья опять принялся читать письмо. Тогда Тинко Балтоолу взял газету и развернул ее. «Эфенди,— говорит он судье тихо,— в этой газете нет ничего противозаконного, она издается в Царьграде». И смотрит на меня, улыбаясь. Я решительно ничего не понимаю; стою как столб. Судья спрашивает: «Значит, это не та крамольная газета, что издается в Румынии?» — «Нет, эфенди,— отвечает Балтоолу.— В этой нет ничего о политике, пишут только о вере; это протестантская газета». Гляжу я на нее, дядюшка Марко, и глазам своим не верю: да это же «Зорница»! Тинко Балтоолу берет печатную листовку, просматривает ее, бросает взгляд на меня и опять смеется: «Эфенди, а это просто объявление»,— говорит он и читает вслух: «Практический лечебник доктора Ивана Богорóва». Судья растерянно смотрит вокруг. Все хохочут; рассмеялся и он, рассмеялся и я. Что же мне оставалось делать? Можно ли было не смеяться? Но вот что самое интересное: как произошло это чудодейственное превращение?.. Что бы там ни было, но после краткого совещания с заседателями судья говорит мне: «Ну, доктор, произошла ошибка; извини за беспокойство». Я валялся по тюрьмам, меня таскали ночью из конака в конак, а у них это называется «беспокойство»! «Укажи, говорит, одного поручителя и отправляйся домой подобру-поздорову». Я был прямо ошарашен.

— А насчет раненого полицейского речь не заводили?

— О нем даже и не спрашивали. Как я понял, наш бей тщательно расследовал дело,— уж не знаю, сам ли догадался или кто его надоумил, но, так или иначе, он написал, что не считает меня виновным в ранении полицейского. Очевидно, тот сам признался, что соврал.

Лицо у Марко засияло от удовольствия. Он был уверен, что в полицейского стрелял сын деда Манола, и только сейчас перестал беспокоиться.

— Ну, теперь ты, слава богу, свободен,— сказал он.

— Как видишь. Но подожди. Еще удивительней другое,— сказал доктор, оглядываясь кругом. Убедившись, что поблизости никого из домашних нет, он продолжал: — Николчо поручился за меня, и он же дал мне своего коня — вернуться домой.

Выехал я из К., поравнялся с еврейским кладбищем, смотрю, со стороны гор идут двое, один из них дьякон Викентий, и он окликает меня: «Вы куда, господин Соколов?» — спрашивает он, явно удивляясь, что я на свободе. «Возвращаюсь домой. Все в порядке». У него глаза на лоб полезли. Я рассказал ему, как дело было, а он бросился мне на шею и ну меня обнимать да целовать. «А это кто, друже Викентий?» — спрашиваю я, кивая на его спутника. «Это господин... Бойчо Огнянов». И знакомит меня со своим товарищем. Присмотрелся я и, можешь себе представить, узнал его! Это был тот, кому я вчера отдал свою куртку!

— Как? Сын деда Манола? — невольно вскрикнул Марко.

— А ты разве его знаешь? — удивился доктор.

Марко прикусил язык.

— Продолжай,— сказал он, волнуясь.

— Поздоровались, познакомились. Он благодарил меня за куртку и с отчаянием в голосе просил извинить его. «Ничего, господин Огнянов,— сказал я,— когда мне случается оказать кому-нибудь небольшую услугу, я в этом не раскаиваюсь. А вы куда идете?» — «Господин Огнянов шел разыскивать вас»,— ответил Викентий. «Меня?» — «Да, хотел вас выручить».— «Меня выручить?» — «Да, хотел отдать себя в руки властей и признать себя виновным во всем».— «Неужели вы для этого шли сюда? Ах, господин Огнянов, на что вы решились?» — воскликнул я, пораженный. «Это был мой долг»,— ответил он просто. Я не удержался от слез и посреди дороги обнял его, как родного брата. Каково? Что за благородная душа, дядюшка Марко! Какое рыцарство! Такие вот люди и нужны Болгарии.

Марко слушал, не говоря ни слова. Две слезы медленно скатились по его щекам. Он думал, что дед Манол может гордиться таким сыном.

Немного помолчав, доктор продолжал:

— Мы распрощались, они пошли полем, а я прямо сюда; но я и сейчас никак не могу прийти в себя после этой встречи. А еще больше меня изумляет загадка с письмом бея. Здесь, в конаке, я своими глазами видел газету «Независимость» и воззвание,— уверяю тебя. А там оказались «Зорница» и объявление о книге Богорова! Как их подменили? Кто это сделал? Уж не ошибся ли сам бей? Ломаю себе голову, но ничего не могу понять. Скажи, что ты об этом думаешь, дядюшка Марко!

И доктор скрестил руки в ожидании ответа.

Марко затянулся и с еле уловимой улыбкой на губах проговорил:

— А тебе не пришло в голову, что это сделал кто-нибудь из твоих друзей? Какая там ошибка бея! Где он возьмет протестантскую газету и богоровское объявление?

— Но кто это мог быть? Кто тот неизвестный благодетель, что спас меня от опасности, а Огнянова от верной гибели? Помоги мне узнать... Я должен его отблагодарить; я готов руки и ноги ему целовать.

Марко наклонился и сказал доктору на ухо:

— Слушай, доктор. О том, что я тебе сейчас скажу, ты должен молчать до гроба.

— Даю честное слово.

— Газету и листовку подменил я.

— Ты, дядюшка Марко? — крикнул доктор, вскочив с места.

— Сиди и молчи... Теперь слушай, как все это произошло. Сегодня утром я спозаранку зашел в кофейню и впервые услышал от Ганко о твоем аресте. Я был поражен. Тут входит онбаши и рассказывает мне, что почью тебя отправили в К., а сам он должен ехать туда с письмом бея, к которому приложена крамольная литература. «Как быть?» — думаю. Онбаши посидел еще немного и вышел. Смотрю — письмо-то он позабыл! Ганко в это время мыл голову одному посетителю и не смотрел в мою сторону. Я подумал, уж не разорвать ли мне это письмо? Но какой толк? Тебя бы все равно потащили на допрос и оставили под подозрением. Что делать? А времени на размышление нет. И вот мне приходит в голову то, чего я за всю свою жизнь в мыслях не имел... Надо тебе знать, доктор, что я поседел на торговле и ни одного чужого письма в жизни не распечатал. На мой взгляд, нет поступка бесчестней, а вот сегодня, да простит меня бог, я сделал это в первый и последний раз. Побежал домой, заперся в конторе, осторожно подрезал красный сургуч, вынул то, что лежало в конверте, и вложил туда другую газету и объявление,— первое, что попалось под руку. Турки ведь недогадливы, сам знаешь... Потом я отнес письмо в кофейню и положил его на прежнее место,— Ганко ничего не заметил. Слава богу, все кончилось хорошо. Теперь, по крайней мере, совесть будет мучить меня меньше.

Доктор слушал Марко, потрясенный.

— Дядюшка Марко,— проговорил он растроганно,— я вечно буду тебе благодарен. Ты называешь свой поступок бесчестным, но это славное дело, это подвиг! Ты с риском для себя спас двоих. Отец не оказал бы такой услуги сыну.

И доктор умолк — он не мог говорить от волнения.

Марко продолжал:

— Вчера вечером сын деда Манола действительно разыскивал меня. Но он полез через ограду и поднял такой шум, что переполошил всю полицию.

— Бойчо Огнянов?

— Так вот как вы его теперь называете? Да, да, он самый. Мы с его отцом большие друзья; он, бедняга, никого здесь не знает и хотел укрыться у меня. Это ты указал ему дорогу. Но он вскоре убежал. Я не хотел тебе говорить об этом при Иванчо.

— Откуда он пришел? — спросил доктор, на которого незаурядная личность Бойчо Огнянова произвела сильнейшее впечатление.

— А он тебе не говорил? Бежал из Диарбекира.

— Из Диарбекира?

— Тише... Куда ты? — спросил Марко доктора, поднявшегося с места.

— Пойду в монастырь — там его приютил дьякон. Я должен поговорить с ним... Ты разрешишь доверить ему, и только ему одному, твое признание? Он должен знать, кому обязан жизнью,— ведь если бы меня не освободили, он отдался бы в руки властей.

— Нет! И заклинаю тебя, молчи и постарайся забыть об этом. Я только тебе признался, можно сказать — исповедался, чтобы легче было. Передай привет сыну деда Манола; попроси его зайти ко мне, только пускай теперь входит в ворота.

Доктор ушел.

X. ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Не в пример мужскому монастырю, затерянному в горах, всегда безмолвному и безлюдному, женский монастырь в Бяла-Черкве был очень оживленным местом.

Отделенные высокой оградой от суетного и грешного мира, человек шестьдесят — семьдесят монахинь, молодых и старых, целый день сновали по двору и окружавшим его галереям, оглашая их веселым гомоном. Жизнь кипела здесь с утра до вечера.

Монастырь слыл самым рьяным распространителем новостей в городе. Это была колыбель всех сплетен, что носились из дома в дом, смущая грешных мирян; здесь предсказывались и подготовлялись помолвки, расстраивались свадьбы. Всякие истории, как будто безобидные, исходили отсюда, чтобы, обойдя весь город, вернуться в целости и сохранности, только разду-

тыми до огромных размеров; бывало и наоборот: попадая в монастырь крошечными, как пылинка, слухи вырастали здесь в целую гору. Этот многошумный центр привлекал, особенно в праздничные дни, толпы гостей-мирян, которых благочестивые монахини потчевали анекдотами из жизни города и вишневым вареньем.

Госпожа Хаджи Ровоама, с которой мы познакомились у ее брата Юрдана, слыла заядлой сплетницей, мастерицей выпохивать городские тайны. Когда-то она была игуменьей, но ее свергли во время одного «восстания» в монастырской «республике»; однако ее авторитет был непоколебим до сих пор. Хаджи Ровоаму спрашивали обо всем на свете. Она подтверждала достоверные новости и опровергала ложные; она умышленно распускала слухи, которые несколько дней служили духовной пищей монахиням и постепенно просачивались за пределы монастыря.

В эти дни госпожа Хаджи Ровоама была не в духе; ее уязвило освобождение доктора Соколова — опасного врага монастыря. Затаив в душе злобу, она недоумевала: кто ему помог? Кто лишил ее удовольствия ежедневно выслушивать да и самой выдумывать все новые предсказания его судьбы? Это было просто безобразие! Вот уже четыре или пять дней, как ее мучила бессонница,— сон не слетал на ее веки. Хаджи Ровоама ломала себе голову, стараясь отгадать, почему доктор не захотел сказать бею, где он был вечером, перед тем как его арестовали в ту знаменательную ночь. И потом: кто подменил газету?.. Наконец блестящая мысль осенила монахиню. Это случилось во время вечерней молитвы. Хаджи Ровоама так обрадовалась, что всплеснула руками, как Архимед, когда он открыл свой великий физический закон. Она вышла из своей кельи и направилась к сестре Серафиме, которую застала уже раздетую.

— Сестра, ты знаешь, где был доктор в ту самую ночь и почему он не захотел ответить бею? — спросила она дрожащим голосом.

Сестра Серафима навострила уши.

— У жены бея! — сказала Хаджи Ровоама.

— Не может быть, хаджийка!

— Именно у нее, Серафима; потому он и отказался отвечать: ведь он еще не сошел с ума. Пресвятая богородица, и как я сразу не догадалась! — говорила Хаджи Ровоама, стоя перед божницей и крестясь.— А ты знаешь, кто выпустил доктора?

— Кто, сестра хаджийка? — спросила сестра Серафима.

— Опять-таки она!.. Жена бея!

— Что ты говоришь, хаджийка!

— Боже мой, пресвятая богородица! Как это мне тогда же в голову не пришло!

Излив свою взволнованную душу, Хаджи Ровоама вернулась к себе, дочитала вечернюю молитву и легла, чувствуя, что у нее гора с плеч свалилась.

Наутро во всем монастыре говорили только об одном. История о докторе и жене бея разрасталась, принимая угрожающие размеры. Когда ее рассказывали, слушатели неизменно задавали вопрос:

— А кто узнал об этом?

— Конечно, Хаджи Ровоама,— следовал ответ.

Это имя обезоруживало любого скептика. И все направлялись к Хаджи Ровоаме за пикантными подробностями.

В течение двух часов слух облетел весь город.

Но всякая новость, даже самая интересная, за три дня становится старой. Обществу, начавшему позевывать, нужна была новая пища. Появление в городе Кралича, которого никто почти не знал, снова вызвало оживление в монастыре, и монахини заволновались. Кто он? Откуда приехал? Зачем? Никто не знал. Наиболее любопытные обитательницы монастыря отправились в город. Но они узнали только, что приезжего зовут Бойчо Огнянов, а насчет его намерений принесли самые противоречивые сведения.

Мать София говорила, что он приехал поправить свое здоровье.

Госпожа Рипсимия уверяла, что он торгует розовым маслом.

Сестра Нимфодора рассказывала, что он собирается поступить в учителя.

Мать Соломона и госпожа Парашкева давали понять, что ни те, ни другие сведения не соответствуют действительности, а приехал он высмотреть себе невесту, и они даже знают, кого он хочет посватать...

Сестра Апраксия клялась, что он переодетый русский князь, приехавший посмотреть старую крепость и пожертвовать ризы монастырской церкви. Но сестре Апраксии не очень верили, потому что в лучших домах она не бывала, а черпала новости у жены Петко Базуняка и свахи Фачко Добиче, да к тому же была глуховата.

Госпожа Хаджи Ровоама слушала эту болтовню и улыбалась себе в усы,— а усики у нее действительно были.

Она знала, что это за человек, но ей хотелось помучить сестер. И только поздно вечером оракул заговорил.

Наутро весь монастырь уже знал, что этот незнакомец, этот Огнянов — турецкий соглядатай!

Главной, а может быть, и единственной причиной, побудившей Хаджи Ровоаму распространить столь гнусные слухи об Огнянове, послужило то обстоятельство, что он не почтил ее своим посещением; этим он нанес кровное оскорбление ее честолюбию и нажил в ее лице опасного врага.

День был воскресный. Уже подходила к концу служба в монастырской церкви, битком набитой молящимися женщинами. Они толпились и во дворе, и у церковных окон, и под огромной ветвистой грушей.

Одну группу составляли мирянки — женщины молодые и пожилые, разукрашенные и разодетые, как куклы, в пестрые платья. Они весело болтали, то и дело оборачиваясь, чтобы разглядеть наряды других представительниц прекрасного пола, беспрерывно входивших в ворота. Другая группа состояла из монахинь, в большинстве молодых. Они вели себя не менее шумно, чем мирянки, озирались по сторонам, перешептывались и громко хохотали. Время от времени они гурьбой бросались за какой-нибудь спелой золотистой грушей, упавшей с дерева, и старались вырвать ее друг у друга из рук: потом, раскрасневшись, возвращались к молящимся и крестились.

Служба кончилась.

Поток мирян хлынул из церкви; одни разбрелись по двору, другие разошлись по кельям.

Маленькая, уютная, довольно богато обставленная келья Хаджи Ровоамы едва вмещала гостей. Монахиня, улыбаясь, принимала и провожала их, а Рада, в чистом черном платье и косынке, разносила на красном подносе варенье и кофе. Спустя час наплыв посетителей стал уменьшаться. Но Хаджи Ровоама частенько посматривала в окно, словно поджидая каких-то особенно желанных гостей. Наконец вошло несколько человек: это были Алафранга, Стефчов, поп Ставри, Нечо Пипонков и один молодой учитель. Лицо монахини засияло. Очевидно, их-то она и ждала. Она дружески поздоровалась с новыми гостями, а те обменялись рукопожатием с Радой. Стефчов, тот даже подмигнул молодой девушке и с силой стиснул ее руку. Раду бросило в жар от смущения, и она покраснела, как пион.

— Послушай, Кириак, я опять хочу тебя расспросить, что это за история вышла с доктором,— обратилась Хаджи Ровоама

к Стефчову после обычного обмена любезностями.— У нас тут, знаешь, всякие небылицы рассказывают...

— А что именно? — спросил Стефчов.

— Говорят, будто ты обманул бея — сказал ему, что газеты крамольные, потому что хотел оклеветать Соколова.

Стефчов вспыхнул.

— Кто это говорит — тот осел и подлец. В кармане докторовой куртки нашли газету «Независимость», номер тридцатый, и воззвание. Спросите Нечо.

Нечо Пиронков охотно подтвердил слова Стефчова.

— К чему спрашивать Нечо? Что он знает? — вмешался поп Ставри.— Насчет доктора нам самим все известно. Он, что называется, носит с собой веревку, на которой его повесят. Я еще позавчера говорил это Селямсызу. Ходил к нему в гости пробовать его новую водку... Ну и мастер он приготовлять анисовку! А ты, хаджийка, как себя чувствуешь? Здорова?

— Как видишь, батюшка: живу с молодежью и сама молодею,— ответила монахиня и опять обратилась к Стефчову: — А ты не знаешь, кто подменил газеты?

У Хаджи Ровоамы явно чесался язык рассказать о своем открытии.

— Полиция все узнает.

— Ваша полиция гроша ломаного не стоит... Лучше я тебе сама скажу — кто. Сказать?

Она игриво улыбнулась и, наклонившись, шепнула на ухо Стефчову некое имя. Но шепот ее был так громок, что тайну узнали все. Советник Нечо подбросил свои четки и рассмеялся, молодой учитель многозначительно переглянулся с другими гостями, а поп Ставри пробормотал:

— Сохрани нас, боже, от соблазна нечестивых!

Рада смутилась и спряталась в чуланчике.

— Посмотрите на него, посмотрите! — крикнул вдруг Стефчов, показывая пальцем на двор.

Доктор Соколов шел по двору с двумя приятелями. Один из них был дьякон Викентий, другой — Кралич, в новом костюме из серого домотканого сукна, сшитом по французской моде. Все бросились к окну.

Это дало повод монахине рассказать и о втором своем открытии:

— А вы знаете, кто этот человек?

— Приезжий-то? Это некий Бойчо Огнянов,— ответил Стефчов,— сдается мне, он того же поля ягода.

Хаджи Ровоама отрицательно мотнула головой.

— Разве нет? — спросил Стефчов.

— Нет, совсем нет; давай спорить...

— Бунтовщик?

— Нет, шпион! — отчетливо проговорила монахиня.

Ошеломленный Стефчов посмотрел на нее.

— И глухие об этом слышали, один ты не знаешь.

— Анафема! — пробормотал поп Ставри.

Хаджи Ровоама следила злым взглядом за доктором и его спутниками. Куда же они зайдут?

— К сестре Христине направились! — крикнула она.

Сестра Христина пользовалась дурной славой. Ходили слухи, что она патриотка, связана с революционными комитетами. Однажды у нее ночевал сам Левский.

— И любят же ее дьяконы, эту проклятую Христину! — заметила Хаджи Ровоама, злобно улыбаясь.— А вы знаете, Викентий хочет снять с себя камилавку! И хорошо сделает малый. Зачем пошел в чернецы смолоду?

— Нет, он поступил правильно: женись молодым или постригись молодым,— возразил поп Ставри.

— Мне кажется, батюшка, он выберет первое.

— Сохрани боже!

— Викентий задумал послать сватов к дочке Орлянковых. Собирается снять с себя рясу и камилавку, как только от него примут обручальное кольцо, а венчаться будет в Румынии... Но мне думается, что ничего у него не выйдет.

Монахиня бросила многозначительный и покровительственный взгляд на молодого учителя, которого собиралась женить — и как раз на дочери Орлянковых. Учитель смутился и покраснел.

К дому подошли новые гости.

— А, братец пришел! — воскликнула Хаджи Ровоама, бросившись навстречу Юрдану Диамандиеву.

За ней поднялись и стали выходить гости. Стефчов немного отстал и, поймав руку Рады, чтобы пожать ее на прощанье, дерзко чмокнул девушку в заалевшую щеку. Рада ударила его по лицу и быстро отскочила.

— Как не стыдно! — пролепетала она сдавленным голосом и, чуть не плача, скрылась в чулане.

Стефчов, всегда важный и чопорный в обществе мужчин, но бесцеремонный с женщинами, остолбенел. Он поправил фес, съехавший набок, свирепо погрозил пальцем Раде и вышел вслед за остальными.

XI. ВОЛНЕНИЯ РАДЫ

Рада Госпожина (так ее называли потому, что она была келейницей госпожи Хаджи Ровоамы) была высокая, стройная и красивая девушка, с простодушными, чистыми глазами и миловидным ясным лицом, белизну которого оттеняла черная косынка.

Рада осталась сиротой в раннем детстве и вот уже много лет была воспитанницей Хаджи Ровоамы. Когда девочка подросла, покровительница заставила ее сделаться послушницей — то есть готовиться к пострижению в монахини — и одела в черную иноческую одежду. Теперь Рада преподавала в первом классе школы для девочек, получая за это тысячу грошей в год.

Тяжела участь девушек-сирот. Рано лишившиеся отцовской любви и защиты и материнской нежной заботливости, брошенные на произвол судьбы, они всецело зависят от людской милости или людского жестокосердия, они растут и расцветают среди чужих, равнодушных людей, не согретые ничьей ласковой, ободряющей улыбкой. Они, как цветы, выращенные под крышей,— хилые и без запаха. Но дайте животворным лучам солнца пролиться на эти цветы, и их скрытый дотоле аромат наполнит воздух благоуханием.

Рада выросла в душной, мертвящей атмосфере келейного быта под строгим, неласковым надзором старой сплетницы. Казалось бы, можно было относиться к сироте хоть немного более сердечно, но Хаджи Ровоаме это и в голову не приходило; она не могла понять, что Раде больно и трудно переносить деспотизм, и тем труднее, чем больше развивалось в ней чувство собственного достоинства. Недаром мы уже видели, как Рада, работавшая учительницей, прислуживала за хозяйским столом у брата Хаджи Ровоамы.

Последнее время Рада была очень занята в школе, потому что приближался годовой экзамен. И вот этот день настал. Еще с утра школу заполнили девочки, приодетые и причесанные матерями, нарядные, как бабочки. Они сидели за раскрытыми книжками и в последний раз повторяли свои уроки; казалось, в классе жужжит пчелиный рой.

Богослужение окончилось, и, по заведенному обычаю, люди направились в школу узнать об успехах учениц. Гирлянды цветов украшали двери, окна и кафедру; а икона святых Кирилла и Мефодия была обрамлена великолепным венком из роз и полевых цветов, еловых веток и самшита. Вскоре передние парты заполнились школьницами, а все свободное простран-

ство — публикой, причем наиболее важные гости стояли впереди, а некоторые даже сидели на стульях. Среди присутствующих были и наши знакомые. Несколько стульев оставалось свободными в ожидании важных гостей, пока еще не пришедших.

Рада усаживала школьниц за парты и, явно стесняясь, шептала им какие-то наставления. Ее миловидное лицо с большими блестящими глазами, оживленное волнениями этого торжественного часа, было прелестно и обаятельно. Нежный румянец, игравший на щеках, выдавал трепет ее застенчивой души. Рада чувствовала, что на нее устремлены сотни любопытных взглядов, и это смущало ее до потери самообладания. Но как только старшая учительница, начав свою речь, привлекла внимание публики к себе, у Рады стало легче на душе. Осмелев, девушка посмотрела вокруг. С радостью заметила она, что Кириака Стефчова в зале нет, и к ней вернулось мужество. Старшая учительница закончила речь среди торжественной тишины,— в те времена еще не было принято аплодировать. В соответствии с программой начался экзамен первоклассниц.

Добродушное и спокойное лицо главного учителя Климента и его теплые слова внушили девочкам уверенность в своих силах. Рада с напряженным вниманием слушала, как отвечают ее ученицы, и стоило им запнуться, как это болезненно отражалось на ее лице. Эти маленькие розовые губки, которые хотелось расцеловать, эти звонкие, чистые голоса сейчас решали ее судьбу. Рада согревала девочек своим ясным взглядом, ободряла их ласковой улыбкой и готова была вложить всю душу в их трепещущие уста.

Но вот у дверей толпа расступилась и дала дорогу двум опоздавшим гостям; стараясь не шуметь, они сели на свободные стулья. Рада бросила взгляд на вошедших. Один из них, старший, был чорбаджи Мичо, попечитель школы, а другой — Кириак Стефчов. Девушка слегка побледнела, но решила не обращать внимания на этого неприятного человека, который ее всегда смущал и пугал.

Кириак Стефчов кивком ответил на приветствия, но с доктором Соколовым, своим соседом, не нашел нужным поздороваться; а доктор, тот и не взглянул на него. Положив ногу на ногу, Кириак хмуро и высокомерно разглядывал присутствующих. Слушал он рассеянно, а больше смотрел в ту сторону, где стояла Лалка, дочь Юрдана. Раду он только раз или два смерил с головы до ног суровым пренебрежительным взглядом. Лицо его отражало душевную сухость и жестокость. Время от времени Кириак подносил к носу гвоздику, потом снова смотрел

перед собой, важно и безучастно. Главный учитель протянул учебник Михалаки Алафранге и предложил ему задавать вопросы ученицам. Михалаки отказался, заявив, что будет экзаменовать по французскому языку. Учитель повернулся направо, к Стефчову, и повторил предложение. Кириак согласился и передвинул свой стул вперед.

В толпе стали шушукаться. Все устремили глаза на Кириака. Экзамен шел по истории Болгарии. Стефчов положил учебник на стол, почесал себе висок, как бы желая сосредоточиться. и громко задал вопрос экзаменующейся ученице. Она молчала. Холодный, неприветливый взгляд Стефчова замораживал детскую душу. Девочка так смутилась, что позабыла вопрос, и жалобно взглянула на Раду. словно прося у нее помощи. Стефчов повторил вопрос. Опять молчание.

— Пусть сядет,— сухо проговорил экзаменатор, обращаясь к учительнице,— вызывайте следующую.

Вышла другая девочка. Стефчов задал вопрос ей. Она выслушала его, но не поняла и стояла, не говоря ни слова. Молчали и все присутствующие, испытывая мучительное чувство. Девочка стояла как вкопанная, на глазах у нее выступили слезы, но заплакать она тоже не смела. Сделав над собой усилие, она попыталась что-то ответить, но запнулась и умолкла. Стефчов бросил на Раду ледяной взгляд и проворчал:

— Преподавание велось небрежно. Вызовите следующую ученицу.

Рада глухим голосом произнесла новую фамилию.

Третья ученица ответила невпопад: она тоже не поняла вопроса. Заметив во взгляде Стефчова неодобрение, она пришла в замешательство и безнадежно оглянулась кругом. Стефчов задал ей другой вопрос. Девочка не ответила. Взгляд ее помутнел от смущения, побледневшие губы задрожали, она внезапно разрыдалась и побежала к матери. Это произвело на всех очень тяжелое впечатление. Женщины, дочери которых еще не были вызваны, озирались в недоумении и тревоге. Каждая дрожала от страха, боясь услышать фамилию своего ребенка.

Рада стояла как громом пораженная. Ни кровинки не было в ее лице; ее бледные щеки подергивались, с чистого, ясного лба скатилось несколько крупных капель пота. Молодая учительница не смела поднять глаза. В пору было хоть сквозь землю провалиться. Что-то сдавило ей грудь; хотелось громко заплакать, и она с трудом удерживалась от слез.

Публика беспокойно зашумела. Все растерянно смотрели друг на друга, как бы спрашивая: что здесь происходит? Каж-

дому хотелось найти выход из положения. Одно лишь торжествующее лицо Стефчова выражало самодовольство. Шум и ропот нарастали. Но вдруг наступила гробовая тишина, и все взоры обратились в одну сторону. Из толпы вышел Бойчо Огнянов, который до сих пор стоял поодаль, стараясь остаться незамеченным, и, подойдя к Стефчову, проговорил решительным тоном:

— Господин, не имею чести быть с вами знакомым, но прошу извинить меня. Ваши вопросы недостаточно ясны; они носят отвлеченный характер, и ответить на них было бы трудно даже ученицам пятого класса... Пожалейте этих неискушенных детей... Разрешите мне, госпожица? — обратился он к Раде.

И попросил вызвать одну из проэкзаменованных девочек.

У всех точно гора с плеч свалилась. Своим поступком Огнянов вызвал сочувственный и одобрительный гул, привлек к себе все взгляды, завоевал все симпатии. Клевета Хаджи Роваомы в миг была забыта. Одухотворенное лицо молодого человека, бледное от перенесенных страданий и освещенное смелым взглядом живых глаз, подкупило все сердца. Лица людей прояснились, все вздохнули свободно. Все поняли, что Огнянов нашел выход, и были довольны.

Огнянов спросил девочку то же самое, что спрашивал Стефчов, но вопрос задал в самой простой форме. Девочка ответила. Матери облегченно вздохнули и с благодарностью посмотрели на Огнянова. Его имя, незнакомое и странное, стало передаваться из уст в уста, запечатлеваясь в сердцах.

Вызвали другую девочку. И она ответила вполне удовлетворительно для своего возраста.

И вот все эти дети, напуганные до полусмерти предыдущим экзаменатором, устремили дружеские взгляды на Огнянова. У всех поднялось настроение. Девочки заспорили, кому выходить раньше и отвечать этому доброму дяде, которого они уже успели полюбить.

Рада снова оживилась. Удивленная, до слез растроганная и растерянная, она с благодарностью смотрела на великодушного человека, который помог ей в такую тяжелую минуту. Впервые она встретила теплое, дружеское участие — и со стороны незнакомого человека. Это он-то шпион? Да он сейчас стал ее ангелом-хранителем! Он раздавил Стефчова, как червя. Рада торжествовала; снова воспрянув духом, она гордо и счастливо оглянулась кругом и встретила лишь сочувственные взгляды. Сердце ее забилось от взволнованной признательности, и слезы затуманили ее взор...

Третьей девочке Огнянов задал такой вопрос:

— Райна, ну-ка скажи мне, при каком болгарском царе болгары крестились и стали христианами?

И он ласково, по-дружески заглянул в детские заплаканные глазенки, доверчиво смотревшие на него.

Девочка немного подумала, беззвучно пошевелила губами и выкрикнула чистым, тонким голоском, звонким, как голос жаворонка, поющего по утрам в небе:

— Болгар крестил болгарский царь Борис!

— Очень хорошо, молодец, Райна... Теперь скажи мне: кто составил болгарскую азбуку?

Этот вопрос озадачил девочку. Стараясь вспомнить, что нужно ответить, она молча мигала глазками; раскрыла было рот, но так и не решилась произнести ни слова.

Огнянов ей помог:

— Наши буквы, Райна, кто первый их написал?

Глаза у девочки засияли. Райна подняла голую до локтя ручонку и молча показала на Кирилла и Мефодия, которые благосклонно смотрели на нее с иконы.

— Так, так, милая, святые Кирилл и Мефодий,— послышались голоса из передних рядов.

— Умница, Райна! Святые Кирилл и Мефодий да помогут тебе стать царицей,— пробормотал растроганный поп Ставри.

— Отлично, Райна, можешь идти,— ласково проговорил Огнянов.

Сияющая Райна с видом победительницы побежала к матери. Мать обняла ее, прижала к груди и со слезами на глазах осыпала поцелуями.

Огнянов повернулся к главному учителю и возвратил ему учебник.

— Вызовите и нашу Сыбку, сударь,— попросил Огнянова чорбаджи Мичо.

Живая белокурая девочка уже стояла перед Огняновым и кротко смотрела ему в глаза. Немного подумав, он спросил:

— Сыбка, скажи мне, какой царь освободил болгар от греческого рабства?

— От турецкого рабства болгар освободил...— начала было девочка, обмолвившись, но чорбаджи Мичо перебил ее:

— Постой, Сыбка! Ты скажи, родная, какой царь освободил болгар от греческого рабства, а от турецкого ига найдется кому их освободить...

— Что богу угодно, тому и быть,— изрек поп Ставри.

Незамысловатый намек чорбаджи Мичо вызвал улыбку со-

чувствия на лицах большинства присутствующих. Послышался шепот, приглушенный смех.

Сыбка звонко крикнула:

— От греческого рабства болгар избавил царь Асен, а от турецкого рабства их избавит русский царь Александр!

Она плохо поняла, что ей сказал отец.

После ответа Сыбки весь зал замер.

Недоумение и беспокойство отражались на многих лицах. Все невольно посмотрели на Раду, а та покраснела и в замешательстве опустила глаза. Она тяжело дышала от волнения. Одни смотрели на молодую учительницу с укоризной, другие — с одобрением. Но всем было неловко. Стефчов, еще минуту назад сидевший с убитым видом, снова поднял голову и победоносно огляпулся вокруг. Все знали о его дружбе с беем, о его связях с турками и теперь стремились хоть что-нибудь прочесть на его лице. Общая симпатия к Раде и Огнянову внезапно охладела, смешалась с молчаливым неодобрением. Единомышленники Стефчова громко роптали, злорадствуя, а те из присутствующих, что хорошо относились к учительнице, безмолвствовали. Поп Ставри, тот был сам не свой от тревоги. Старик теперь испугался собственных слов и про себя молился: «Помилуй мя, боже!» Но среди женщин враждебные лагери определились более резко. Хаджи Ровоама, разъярепная тем, что Стефчова только что опозорили при всех, бросала свирепые взгляды на учительницу и Огнянова и что-то громко кричала. Она даже назвала молодого человека «бунтовщиком», забыв о том, что еще недавно выдавала его за турецкого осведомителя... Были и такие, кто не менее громогласно вступались за Раду и Огнянова. Тетка Гинка кричала так, что ее было слышно во всем зале:

— Да что вы обмерли со страху? Христа, что ли, распяла эта девочка? Правду сказала! И я говорю, что нас избавит царь Александр,— никто, как он!

— Сумасшедшая! Замолчи! — шептала ей мать.

Сыбка растерялась. Она каждый день слышала такие слова от отца и гостей и не понимала, почему теперь все волнуются.

Стефчов встал и обратился к сидящим в передних рядах:

— Господа, тут проповедуются революционные идеи, направленные против правительства его величества султана. Я не могу оставаться здесь и ухожу...

Нечо Пиронков и еще три-четыре человека пошли за ним. Остальные же не последовали его примеру.

После минутного замешательства все вдруг поняли, что ничего особенного не произошло. Ребенок по неведению сказал

несколько неуместных, но правдивых слов... Ну и что же? Опять водворилась тишина, а вместе с нею вернулось сочувствие к Огнянову, и все снова стали смотреть на него дружелюбно. Сегодня он был героем; на его сторону перешли все честные люди и все матери школьниц.

Экзамены спокойно продолжались и вскоре закончились.

Ученицы спели песню, и все разошлись довольные. Огнянов подошел к Раде проститься, и она сказала ему с волнением:

— Господин Огнянов, сердечно вас благодарю за себя и за моих девочек. Я не забуду вашей услуги.

Во взгляде ее светилось глубокое и горячее чувство.

— Я сам работал учителем, госпожица, и потому понял, как вам было тяжело. Вот и все... Поздравляю вас с хорошими успехами ваших учениц,— участливо проговорил Огнянов и, тепло пожав руку молодой девушке, ушел.

После этого Рада уже не видела гостей, подходивших к ней прощаться.

XII. БОЙЧО ОГНЯНОВ

Бойчо Огнянов (Кралич стал называть себя тем именем, которое непроизвольно сорвалось с языка у Викентия, когда тот представлял Соколову своего спутника у еврейского кладбища), так быстро привлекший к себе всеобщее внимание, появился в городе с согласия своих новых друзей — Викентия, игумена и доктора Соколова. Вначале они не пускали туда Огнянова, но он стоял на своем и легко развеял все их опасения. Он уверил их, что в его родном городе, далеком Видине, не бывает почти никто из бяло-черковцев, кроме Марко Иванова; к тому же если б кто и знал его раньше, вряд ли узнает теперь, после того как восьмилетнее заточение в Азии, тамошний климат и перенесенные страдания до неузнаваемости состарили и изменили его.

Но и заточение и страдания не только не охладили преданности Огнянова той идее, ради которой он столько вытерпел, а наоборот, способствовали тому, что он вернулся на родину еще более пламенным и бескорыстным борцом, смелым до безумия, честным до самопожертвования, любящим Болгарию до фанатизма. Мы уже видели, как он вел себя в трудных случаях жизни. Да, он вернулся в Болгарию, чтобы работать для ее освобождения. Такого человека, как он,— бежавшего из крепости, живущего под чужим именем, лишенного всяких семейных и общественных связей, ежечасно подвергающегося опасности быть

узнанным и выданным, не ожидающего от жизни никаких радостей — такого человека одна лишь великая идея могла заставить приехать в Болгарию и не покинуть ее даже после того, как он совершил два убийства... Как он будет работать и приносить ей пользу? Каковы здесь условия? Что он может сделать? Достижима ли цель, к которой он стремится? Этого он не знал. Он знал только, что ему придется преодолеть множество препятствий и опасностей. Они и обрушились на него сразу же после приезда.

Но для таких рыцарских натур препятствия и опасности — родная стихия, в которой закаляются их силы. Сопротивление их укрепляет, гонения не страшат, опасности воодушевляют, ибо все это — борьба, а борьба вдохновляет и облагораживает. Она красива, даже когда борется червь, поднимающий голову, чтобы ужалить наступившую на него ногу, она героична, когда человек борется из чувства самосохранения, и она священна, когда люди ведут ее во имя человечества.

В первые дни слух, пущенный Хаджи Ровоамой, отталкивал от Огнянова тех, с кем его хотели познакомить друзья. Но его благородный поступок на экзамене, вызванный низостью Стефчова, мгновенно заткнул рты клеветникам и открыл для него все дверп и все сердца. Весь городок видел в нем желанного гостя. Огнянов с радостью принял предложение Марко Иванова и Мичо Бейзаде работать в школе учителем — особенно потому, что это объясняло его переселение в город.

Его товарищами по работе были: главный преподаватель Климент Белчев, учителя Франгов и Попов и учитель пения Стефан Мердевенджиев, который преподавал и турецкий язык. Первый получил образование в русской семинарии и, как многие семинаристы, был добродушен, непрактичен и склонен к восторженности; всякий раз, как школу посещали попечители, он декламировал им стихи Хомякова и оду Державина «Бог». Но Марко предпочитал, чтобы Климент Белчев рассказывал ему о величии России и о Бонапарте... Учитель Попов, молодой человек довольно буйного нрава, когда-то был другом Левского и бредил комитетами, революциями, повстанцами. Он с радостью принял нового товарища и страстно к нему привязался... Из всей этой компании только Мердевенджиев был человек неприятный. Он благоговел перед церковным пением и обожал турецкий язык. Первое свидетельствовало о косности и заплесневелости его ума, второе — о преклонении перед бичом: ведь любить турецкий язык мог только тот болгарин, который любил и самих турок или ждал от них благ земных. Не удивительно, что

Мердевенджиев был дружен со Стефчовым,— их связывало сходство вкусов.

Огнянов преподавал и в женской школе, а значит, ежедневно виделся с Радой. С каждой встречей он открывал новые прекрасные черты в душе этой девушки и, проснувшись однажды утром, понял, что любит ее. Нужно ли говорить, что и она уже любила его втайне? Еще в тот день, когда он так по-рыцарски ее защитил, она почувствовала к нему ту горячую благодарность, которая в первый момент — только благодарность, а во второй — уже любовь. Это бедное сердце, стосковавшееся по нежной ласке и сочувствию, воспылало к Огнянову горячей, чистой и беспредельной любовью. Рада увидела в нем воплощение доселе неясного идеала своих грез и надежд и под влиянием этого животворного чувства похорошела и расцвела, как роза в мае.

Этим двум беспорочным и честным сердцам не нужно было ни многих месяцев, ни многих слов, чтобы понять друг друга. Каждый день Огнянов расставался с девушкой все более очарованный и счастливый. Любовь к Раде стала цвести и благоухать в его душе рядом с другой любовью — к родине. И одна любовь была как исполинская сосна, ожидающая бурь и метелей, другая — как нежный цветок, жаждущий солнечного света и росы; но обе выросли на одной почве, только под двумя разными солнцами...

И все-таки тревожные мысли часто вонзались, как пули, ему в сердце. Что будет с этой простодушной девушкой, которую он хочет связать со своей судьбой, таящей так много неизвестного? Куда он ведет ее? Куда идут они оба? Борец, которому грозят всевозможные опасности и случайности, он увлекает на свой тернистый путь этого чистого, любящего ребенка, так недавно вступившего в жизнь и лишь теперь согретого благодатными лучами любви. Рада хочет, ждет от него счастливого светлого будущего, радостных и безмятежных дней под новым небом, созданным в ее мечтах. Почему должна эта девушка переносить удары, которые судьба готовит Огнянову?

Нет, он обязан открыть ей все, сорвать пелену с ее глаз, сказать ей, с каким человеком она готова связать свою жизнь. Эти мысли жестоко терзали его честную душу, и он решил поговорить с Радой откровенно, исповедаться ей во всем.

Он отправился к Раде.

Рада переселилась из монастыря в комнату при школе, скромно, даже бедно обставленную. Единственным украшением этой комнаты была сама хозяйка.

Огнянов толкнул дверь и вошел.

Рада встретила его, улыбаясь сквозь слезы.

— Рада, ты плакала? О чем, голубка?

Он нежно обнял девушку и погладил ее по раскрасневшимся щекам. Она отстранилась, вытирая глаза.

— Что с тобой? — спросил Огнянов, растерявшись.

— Здесь только что была госпожа Хаджи Ровоама,— ответила Рада дрожащим голосом.

— Она тебя оскорбила, эта монахиня? Опять мучила тебя? А, мои стихи!.. Смотри-ка, их топтали ногами! Рада, объясни мне, что случилось?

— Ах, Бойчо, госпожа Хаджи Ровоама увидела их на столе. Закричала: «Крамольные стихи!» Принялась их топтать и наговорила о тебе столько гнусностей... Как же мне не плакать?

Лицо Огнянова стало серьезным.

— Что она могла сказать обо мне?

— Чего только не говорила! Ты и бунтовщик, и разбойник, и убийца!.. Боже мой, неужели эта женщина не знает жалости!

Огнянов озабоченно взглянул на Раду и сказал:

— Слушай, Рада, мы с тобой познакомились, но до сих пор не знаем друг друга, или, вернее, ты меня не знаешь... Это моя вина. Скажи, ты могла бы меня полюбить, будь я таким, каким меня хотят изобразить некоторые люди?

— Нет, Бойчо, я хорошо тебя знаю. Ты благородный человек, и потому я тебя люблю.

И она с детской непосредственностью бросилась ему на шею и ласково заглянула в глаза.

Тронутый этой простодушной доверчивостью, Огнянов горько улыбнулся.

— И ты меня знаешь, правда? Иначе мы не полюбили бы друг друга,— шептала Рада, глядя на него большими блестящими глазами.

Огнянов нежно поцеловал их и проговорил:

— Рада, дитя мое, если я благородный человек, как ты сейчас сказала, значит, я должен признаться тебе в том, о чем ты и не подозреваешь. Моя любовь не позволяла мне огорчать тебя, но этого требует совесть. Ты должна знать, с кем связываешь свою жизнь... Я больше не имею права молчать...

— Расскажи мне все, но для меня ты все равно останешься таким, как был,— промолвила она, смутившись.

Огнянов усадил ее и сел рядом с нею.

— Рада, Хаджи Ровоама сказала, что я бунтовщик. Но она не понимает значения этого слова; она называет каждого честного молодого человека бунтовщиком.

— Правда, правда, Бойчо, она очень злая,— быстро проговорила Рада.

— Но я действительно бунтовщик, Рада.

Девушка бросила на него удивленный взгляд.

— Да, Рада, и — не только на словах, но и на деле: я веду подготовку к восстанию.

Он умолк, она тоже не проронила ни слова.

— Весной мы начнем восстание; поэтому я и живу в этом городе,— продолжал он.

Девушка молчала.

— Вот мое будущее; будущее, полное неизвестности, грозящее всякими опасностями.

Рада растерянно посмотрела на него, но ничего не сказала. В этом холодном молчании Огнянов увидел свой приговор. Ему казалось, будто с каждым его словом любовь этой девушки угасает. Сделав над собой усилие, он продолжал свою исповедь:

— Вот мое будущее. А теперь расскажу тебе о своем прошлом.

Глаза Рады, полные тревоги, впились в его лицо.

— Мое прошлое, Рада, было еще более тяжким и бурным. Знай, что я восемь лет пробыл в заключении, в Азии, как политический преступник... и бежал из Диарбекира!

Девушка молчала, пораженная.

— Скажи мне, Рада, монахиня говорила и об этом?

— Не помню,— сухо ответила Рада.

Немного помолчав в мрачной задумчивости, Огнянов продолжал свой рассказ:

— Она меня называет разбойником и убийцей... Сама не знает, что говорит: не так давно обзывала меня шпионом. Но послушай...

Тут Рада почувствовала, что на душе у него есть что-то еще более страшное, и побледнела.

— Послушай, я убил двух человек, и это было совсем недавно.

Девушка невольно отодвинулась от него.

Огнянов не смел на нее взглянуть; он говорил, обернувшись к степе. Сердце его разрывалось на части, словно его терзали железными клещами.

— Да, я убил двух турок; я, который мухи не обидел... Я был вынужден их убить, потому что они на моих глазах хотели изнасиловать девочку... и на глазах у ее отца, которого они

связали. Да, я убийца, и мне опять грозит Диарбекир или виселица.

— Говори, говори...— прошептала она, сама не своя.

— Больше говорить нечего, теперь ты знаешь обо мне все,— дрожащим голосом ответил Огнянов.

На лице Рады он прочел страшный приговор и ждал его теперь из ее уст.

Рада бросилась ему на шею.

— Ты мой, ты самый благородный! — крикнула она.— Ты мой герой, мой прекрасный рыцарь.

И они обнялись крепким, страстным объятием, трепеща от любви и счастья.

XIII. БРОШЮРА

С лестницы послышались тяжелые шаги. Кто-то взбегал по ней так быстро, что дрожал весь этот деревянный дом. Рада вырвалась из объятий Огнянова.

— Это доктор мчится,— сказал Бойчо, прислушавшись.

Рада отошла к окну и пылающей щекой прижалась к стеклу, чтобы скрыть свое волнение.

Доктор, как всегда, шумно ввалился в комнату.

— Читайте,— проговорил он, подавая Огнянову какую-то брошюру.— Огонь, братец, огонь! С ума сойти можно!.. Поцеловать бы ту золотую руку, что это написала!

Огнянов раскрыл брошюру. Она была издана эмигрантами в Румынии. Как большая часть подобных книг, эта брошюра была довольно посредственным произведением, полным избитых патриотических фраз, приторной риторики, отчаянных восклицаний и ругательств по адресу турок. Но она возбуждала громадный энтузиазм болгар, жадных до каждого нового слова. Судя по жалкому состоянию страниц, испачканных, измятых, почти истлевших от множества прикосновений, она прошла через сотни рук и зажгла тысячи сердец.

Соколов от этой брошюры был как пьяный. Даже Огнянов, более искушенный в литературе, увлекся, просмотрев несколько страниц, и не мог уже оторвать от них глаз. Доктор ревниво смотрел на него и, не вытерпев, выхватил у него брошюру.

— Послушай, послушай, дай я тебе почитаю! — крикнул доктор и начал читать громким голосом, воодушевляясь все больше и больше; при каждом сильном выражении он левой рукой рассекал воздух, топал ногами и метал пламенные взгляды на Раду и Бойчо, которые позабыли о своих недавних сладост-

ных волнениях и заразились его воинственным пылом. Комната да и вся школа сотрясались от его раскатистой октавы. Прочитав большую часть брошюры и дойдя до длинного стихотворения, которым она заканчивалась, доктор, весь дрожа и обливаясь потом, оборвал чтение и повернулся к Огнянову.

— Огонь, братец, огонь! На, читай... Я устал... Нет, дай я сам; ты читаешь стихи, как поп Ставри «Отче наш»; испортишь все впечатление. Нет, читай ты, Рада!

— Возьми брошюру, Рада, ты хорошо читаешь стихи! — сказал Огнянов.

Девушка начала читать.

Как и прозаическая часть брошюры, стихотворение было написано достаточно бездарно: в нем было много восклицаний, много искусственного пафоса. Но читала его Рада хорошо и с чувством. Ее звонкий вибрирующий голос придавал жизнь и силу любому стиху.

Доктор глотал каждое слово и громко топал ногой. На самом интересном месте дверь открылась без стука, и вошла старуха, которая прислуживала в церкви.

— Вы меня звали? — спросила она.

Бросив на старуху свирепый взгляд, доктор молча вытолкал ее вон, захлопнул дверь и опустил щеколду. Бедная старуха сошла к себе вниз совсем растерянная и приказала детям церковного сторожа не шуметь, потому что учительница дает урок учителю и доктору.

— Кого опять черт несет? — заорал в отчаянии Соколов, снова услышав чьи-то шаги.— Вот я его выброшу в окно! — И он открыл дверь.

Вошла девочка с письмом в руках.

— Кому это? — буркнул доктор.

Девочка подошла к Раде и отдала ей письмо.

Рада, увидев на конверте незнакомый почерк, удивилась, но вскрыла письмо и стала читать.

Бойчо смотрел на девушку в недоумении. Он заметил, что на лице у нее проступили красные пятна, потом появилась улыбка.

— Что это? — спросил Бойчо.

— Письмо. На, читай!

Он взял листок.

Это было любовное послание от Мердевенджиева.

Бойчо громко рассмеялся.

— Уж этот Мердевенджиев! Теперь он мой соперник, Рада, и к тому же — опасный. Удивительно, как только эта пустая

голова смогла сочинить такое послание. Не посмотреть ли в письмовнике, с каких страниц оно списано?

Рада, смеясь, разорвала письмо.

— Зачем ты его разорвала? Ответь! — сказал ей Соколов.

— Что же ему ответить?

— Напиши: «О-о-о-о сладкоголосый соловей! О-о-о-о музыкальнейший селезень! О-о-о-о-о нежносердечный удод! Мне выпала высокая честь сегодня, часов в шесть...» — дурачился Соколов, но, взглянув на часы, не кончил фразы и обратился к Бойчо: — Видишь, какой он подлый человечишка?.. Видишь, какой это гнусный интриган? Может, он шпион, а? Поздравляю вас в таком случае! Слушай, когда ты сегодня придешь в школу, плюнь ему в лицо. На твоем месте я бы дал ему по физиономии...

— Просто дурак; ну что с него взять?

— Нет, нет, презирать подлецов мало, их надо наказывать... Разреши мне! — проговорил доктор тоном заговорщика.

— Зачем? К чему это тебе? Не бросай камень в грязь — обрызгает.

— Ага! Постой! — крикнул доктор и хватил себя по лбу, как бы желая удержать какую-то мысль, мелькнувшую у него в голове.

— Что такое?

— Придумал! — И Соколов громко рассмеялся.

Огнянов посмотрел на него вопросительно.

— Ничего, ничего... до свидания. И не забудь: завтра отправляемся на Силистра-Йолу.

— Опять? Да что это ты все кутежи затеваешь, душа моя?

— Завтра увидимся, до свидания! — И доктор выбежал.

Вернувшись домой, он написал женским почерком следующую записку, адресованную Мердевенджиеву:

«Благодарю. Не нахожу удобным ответить письмом. Жду Вас вечером в саду бабушки Якимчи. Калитка будет открыта. Ах! Ах!

Известная Вам...

28 сентября 1875 года».

Певчий явился на любовное свидание в назначенное время. Но вместо Рады его встретила страшным ревом Клеопатра, которую Соколов привязал в темном углу сада, примыкавшего к его дому.

XIV. СИЛИСТРА-ЙОЛУ

Так называлась расположенная на берегу монастырской реки красивая лужайка, опушенная ветвистыми вербами, высокими вязами и ореховыми деревьями. Уже настала осень, но этот прелестный тенистый уголок, словно остров нимфы Калипсо,— царство вечной весны,— был еще свеж и зелен. К северу от этой чудесной лужайки сквозь пышные ветви деревьев виднелись две вершины горной цепи Стара-планина: Кривины и Остробырдо. Между ними пролегало ущелье с крутыми скалистыми склонами, на дне которого шумела река. Лесной прохладный ветерок нежно шевелил листву, донося сюда благоухание гор и глухой рокот водопадов. По ту сторону реки вздымались высокие белые обрывы, изрезанные и изрытые потоками дождевой воды. Солнце подходило к зениту, и его лучи, пронизывая листву, осыпали лужайку золотым дождем трепещущих зайчиков. Чудесной прохладой и очарованием веяло от этого поэтического уголка, носившего такое прозаическое и неподходящее название — «Путь к Силистре». Ведь никакая торпая дорога — ни силистрийская, ни какая-нибудь другая — не проходила через эту уединенную лужайку, так уютно притаившуюся в отрогах неприступной здесь Стара-планины. Но название лужайки объяснялось не ее местоположением, а другим обстоятельством, так сказать, историческим. Уединенность этой лужайки, ее прелесть и прохлада давно сделали ее излюбленным местом для пикников, пирушек и кутежей. В этой бяло-черковской Капуе разорялись многие мелкие торговцы, моты и кутилы, а разорившись, уходили наживаться в Силистрийский уезд — дикий край изобилия, где все они легко находили себе дело и заработок, а иные даже богатели. Удача первых «искателей сокровищ» из Бяла-Черквы привлекла и других в эту обетованную землю — на силистрийскую низменность.

Вот почему в Сплистре и окружавших ее деревнях теперь проживало множество выходцев из Бяла-Черквы; в этих новых местах они стали «пионерами цивилизации»,— помимо всего прочего, они дали этому краю человек десять священников и двадцать два учителя. Итак, для бяло-черковцев самая прямая дорога в Сплистру пролегала здесь.

Хотя Силистра-Йолу сыграла роковую роль в судьбах многих людей, но слава ее не меркла по сей день и привлекала охотников кутить и пировать. А их было много. Чужеземное иго, при всех своих дурных сторонах, имеет и одно достоинство: делает народы веселыми. Там, где арена политической и духов-

ной деятельности заперта на ключ, где ничто не возбуждает жажды быстрого обогащения, а честолюбивым натурам негде развернуться,— там общество растрачивает свои силы на узко местные распри и личные ссоры, а утешения и развлечения ищет и находит в мелких жизненных благах. Кувшин вина, выпитый в прохладной тени верб близ шумливой кристально чистой реки, помогает забыть о рабстве; кусок мяса, тушеного с алыми помидорами, ароматной петрушкой и забористым перцем, съеденный на траве под нависшими над головой ветвями, сквозь которые синеет высокое небо, делает жизнь царской, а если еще захватить с собой скрипачей, покажется, будто все это — верх земного блаженства. Чтобы хоть как-нибудь мириться с жизнью, порабощенные народы создают свою философию. Безвыходно запутавшийся человек пускает себе пулю в лоб или лезет в петлю. Но ни один порабощенный народ, как ни безнадежно его положение, не кончает с собой. Он ест, пьет и рожает детей. Он веселится. Вспомните народную поэзию, в которой так ярко отражены народная душа, жизнь и мировоззрение простого человека. В этой поэзии тяжкие муки, длинные цепи, темные темницы и гнойные раны перемежаются с жирными жареными барашками, красным пенистым вином, крепкой водкой, шумными свадьбами, веселыми хороводами, зелеными лесами и густой тенью; и все это претворилось в целое море песен.

Когда Соколов и Огнянов пришли на Силистра-Йолу, там уже было шумно от криков веселой компании. Среди других пировали Николай Недкович, развитой и просвещенный юноша; Кандов, студент одного русского университета, приехавший сюда поправить здоровье, человек начитанный, крайне левых убеждений, увлекающийся социализмом; господин Фратю; учитель Франгов — горячая голова; Попов — восторженный патриот; поп Димчо, тоже патриот, но пьяница, и Колчо-слепец. Колчо, молодой человек невысокого роста, с испитым, страдальческим и одухотворенным лицом, был совершенно слеп. Он прекрасно играл на флейте, с которой бродил по всей Болгарии, был остроумным рассказчиком, шутником и непременным участником всех веселых сборищ.

На пестрой скатерти, разостланной по траве, уже лежала еда. Две больших бутыли, одна с белым, другая с красным вином, охлаждались в мельничной запруде, примыкавшей к лужайке. Музыканты-цыгане играли на гадулках, громко распевая турецкие песни. Один кларнет и два бубна с жестяными колокольчиками дополняли этот шумный оркестр. Обед проходил

очень весело. Тосты следовали один за другим и, по тогдашним обычаям, произносились сидя.

Первый тост предложил Илийчо Любопытный:

— Будьте здоровы, друзья! Кто чего хочет, подай ему, боже; кто нам зла желает, того бог накажет, кто нас ненавидит, пусть добра не видит!

Все громко чокнулись.

— Да здравствует честная компания! — крикнул Франгов.

— Я пью за Силистра-Йолу и ее завсегдатаев! — провозгласил поп Димчо.

Попов поднял стакан и крикнул:

— Братья, пью за балканского льва!

Оркестр, делавший передышку, заиграл опять и прервал тосты; однако господин Фратю, еще не успевший произнести своего тоста, махнул музыкантам, чтобы они умолкли, встал, осмотрелся и, подняв стакан, восторженно крикнул:

— Господа, предлагаю тост за болгарскую liberté [1]. Vivat! [2]— и выпил до дна.

Остальные, не поняв толком его слов и глядя на его возбужденное лицо, держали в руках полные стаканы, полагая, что он еще не кончил говорить. Господин Фратю, немало удивленный тем, что никто не откликнулся на его призыв, смутился и сел.

— Что вы хотели сказать, господин Фратю? — холодно спросил Кандов, сидевший против него.

Фратю насупился.

— Мне кажется, я выразился довольно ясно, милостивый государь: я поднял бокал за свободу Болгарии.

Два последних слова Фратю произнес совсем тихо и бросил опасливый взгляд на цыган.

— Что вы понимаете под словом «свобода»? — не отставал от него студент.

— А по-моему, тебе лучше выпить за болгарское рабство,— вмешался доктор Соколов,— никакой «свободы Болгарии» не существует.

— Пока нет, но мы ее добудем, дорогой мой.

— Каким образом?

— Наливая вино,— вставил кто-то иронически.

— Нет, проливая кровь! — сказал Фратю с жаром.

— Фратю, не забывай: вола привязывают за рога, а человека — за язык! — насмешливо сказал Илийчо Любопытный.

---

[1] Свободу *(франц.)*.

[2] Да здравствует! *(лат.)*

— Да, мы добудем ее мечом, господа! — кипятился господин Фратю, поднимая кулак.

— Раз так, я пью за божество рабов — за меч! — провозгласил Огнянов, поднимая стакан.

Эти слова воодушевили всю компанию.

— Музыканты! — крикнул кто-то.— Сыграйте «Захотел гордый Никифор».

В те времена эта песня была болгарской марсельезой.

Оркестр заиграл, и все подхватили песню. Когда дошли до стиха «Руби, коли, чтоб родину освободить!», воодушевление дошло до своей высшей точки, и над головами замелькали ножи и вилки.

Господин Фратю схватил большой нож и принялся яростно рассекать им воздух. Размахнувшись, он сгоряча ударил по бутыли с красным вином, которую нес мальчик. Вино пролилось и залило летний пиджак и брюки господина Фратю.

— Осел! — заорал пострадавший.

— Господин Фратю, не сердись,— проговорил поп Димчо,— уж если рубить и колоть, так без крови не обойдешься!

Все громко кричали, но не слышали друг друга, так как оркестр заиграл какой-то турецкий марш и бубен заглушал все другие звуки.

Огнянов и Кандов отделились от остальных и, сидя под деревом, горячо спорили о чем-то. К ним подошел Николай Недкович.

— Вы мне говорите, что нужно начать борьбу,— продолжал разговор Кандов,— потому что борьбой мы добудем свободу. Но что это за свобода? У нас опять будет князь, а это все равно что султан, только мелкий; чиновники по-прежнему будут грабить, монахи и попы — жиреть за наш счет, а армия — высасывать все жизненные соки из народа! И это, по-вашему, свобода? За такую свободу я не отдам и капли крови из своего мизинца.

— Позвольте, господин Кандов,— возразил ему Недкович,— ваши взгляды уважаю и я, но здесь они неприменимы. Нам прежде всего нужна политическая свобода, иначе говоря, мы сначала должны стать хозяевами своей земли и своей судьбы.

Кандов отрицательно покачал головой.

— Однако вы сейчас толковали мне другое. Вы просто ищете новых властителей, чтобы заменить ими старых; вы не хотите шейх-уль-ислама и потому бросаетесь в объятия другого владыки, который носит титул экзарха, иными словами, меняете

деспота на тирана. Вы навязываете народу начальников и вконец уничтожаете идеи равенства; вы освящаете право эксплуатации слабых сильными, труда — капиталом. Ведите свою борьбу ради достижения более современной, более человечной цели; боритесь не только против турецкого ига, но и за торжество современных принципов, то есть за уничтожение таких нелепых явлений, как трон, религия, право собственности и право сильного,— явлений, освященных вековыми предрассудками и возведенных в степень нерушимых принципов отсталостью людей. Читайте, господа, Герцена, Бакунина, Лассаля... Откажитесь от этого узкого обывательского патриотизма и поднимите знамя современного разумного человечества и трезвой науки... Тогда я буду с вами...

— Высказанные вами взгляды,— горячо возразил Огнянов,— говорят лишь о вашей начитанности, но они же весьма красноречиво свидетельствуют о том, что вы не понимаете болгарского вопроса! Под вашим знаменем окажетесь только вы один: народ вас не поймет. Запомните, господин Кандов: в настоящее время мы можем поставить перед народом только одну разумную и реальную цель — свержение турецкого ига. Пока что мы видим только одного врага — турок и против них восстаем. Что касается социалистических принципов, которыми вы нас угощаете, они не годятся для нашего желудка; болгарский здравый смысл их отвергает, и ни сейчас, ни когда бы то ни было они не смогут найти почвы в Болгарии. В такое время громко провозглашать подобные принципы и поднимать знамена «современного мыслящего человечества, трезвых наук и разума» — значит затушевывать первоочередной вопрос. Ведь сейчас дело идет о том, чтобы спасти свой очаг, свою честь, свою жизнь от первого попавшегося шелудивого турка-полицейского. Прежде чем разрешать общечеловеческие вопросы или запутанные проблемы, необходимо сорвать с себя цепи... Те, чьи творения вы читаете, не думают, даже не знают о нас и наших страданиях. Мы опираемся только на свой народ, а значит, и на чорбаджийство и на духовенство: они сила, и мы должны использовать и их. Уничтожь турка-полицейского, и народ увидит свой идеал воплощенным в жизнь! Если у вас есть другой идеал, народ не может считать его своим.

Оркестр перестал играть, и шум утих. Слепой вынул флейту, и зазвучала необычайно прекрасная мелодия.

— Идите-ка сюда, что вы там философствуете? — крикнули товарищи тоном собеседникам, сидевшим под деревом.

Но те даже не оберпулись — так горячо они спорили.

Слепой играл в торжественной тишине; как ни разгорячены были головы от выпитого вина, пирующие молча наслаждались упоительными звуками, лившимися из черной флейты Колчо. Но вот он внезапно оборвал игру и сказал:

— Знаете, что я сейчас вижу?

Все улыбнулись.

— Отгадайте!

— А что ты нам дашь, Колчо, если угадаем? — послышались вопросы.

— Свой телескоп.

— Где же он сейчас?

— На луне.

— Постойте, я угадал: ты сейчас видишь красные щеки Милки Тодоркиной,— сказал поп Димчо.

— Ошибся: мне легче их ущипнуть, чем увидеть.

— Ты видишь господина Фратю,— сказал Попов, так как в эту минуту господин Фратю стоял против Колчо и махал руками перед его носом.

— Нет, разве можно увидеть ветер?

— Может быть, солнце?

— Нет, вы же знаете, что я с ним повздорил и даже клятву дал, что, пока я жив, мои глаза его не увидят.

— Ты видишь почь? — предположил доктор.

— И не это... Я вижу стакан вина, который мне подносят. Эх вы, забыли про меня!

Несколько человек тут же налили вина в стаканы и, улыбаясь, поднесли их слепому.

— За здоровье честной компании! — провозгласил он и осушил стакан.— А что я получу за то, что вы не отгадали?

— Остальные стаканы, что уже налиты для тебя.

— Сколько их?

— Святая неделя.

— Я больше уважаю день сорока мучеников,— заметил поп Димчо.

— На здоровье!

— Будь здоров!

— Vive la Bulgarie, vive la république des Balcans! [1] — крикнул господин Фратю.

Колчо запел один тропарь, высмеивающий монахинь.

---

[1] Да здравствует Болгария, да здравствует Балканская республика! *(франц.)*

Веселье не угасало до вечера. Наконец вся компания собралась возвращаться в город.

— Братцы, завтра пожалуйте в школу на репетицию! — крикнул вслед уходящим Огнянов.

— Какой ставите спектакль? — спросил Огнянова студент.

— «Геновеву».

— Откуда это выкопали такое старье?

— Мы выбрали «Геновеву» по двум причинам: во-первых, это не крамольная вещь, а на этом настаивали чорбаджии; во-вторых, все ее читали и хотят видеть на сцене. Приходится угождать вкусам публики. Ведь мы стремимся получить как можно больше прибыли. Деньги нужны на покупку газет и книг для читалища, да и на многое другое.

Шумно и весело возвращались в город молодые люди. Вскоре они затерялись среди садов, уже окутанных вечерним полумраком. Спустя четверть часа вся компания, громко распевая бунтарские песни, победоносно вступила на темные улицы города. Это мятежное шествие привлекало к воротам кучки женщин и детей.

Одного лишь Огнянова не было среди них. На лугу к нему подошла какая-то девочка, что-то шепнула, и он незаметно отделился от товарищей.

XV. НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Огнянов направился на север. Он держал путь к горному ущелью.

Вечерело.

Солнце заходило медленно и величаво... Но вот угасли его последние лучи, позолотив высокие пики Стара-планины. Только на западе несколько облачков с золотой кромкой еще улыбались солнцу с поднебесной высоты. Вся долина была окутана тенью. На западе белые обрывы тонули в вечерних сумерках, все больше сгущавшихся над монастырскими лугами, скалами, вязами и грушами, очертания которых расплывались, теряя четкость. Не слышно было ни птичьего щебета, ни стрекотанья кузнечиков. Крылатое племя, днем оглашавшее эту долину веселым шумом, теперь молча ютилось в своих гнездах, свитых на ветвях деревьев или прятавшихся под карнизами монастырских стен. Вместе с темнотой пришла удивительная меланхолическая тишина ночи, и тишину эту будил только грохот горных водопадов. Время от времени легкий ветер доносил в долину отдален-

ный звон колокольчиков — это запоздалые стада возвращались в город. Вскоре показалась луна и одарила этот блаженный час новым очарованием. Серебристый лунный свет залил луга, и деревья отбросили на землю причудливые тени. Обрывистый склон, теперь отчетливо видный, напоминал стену каких-то древних развалин; новый купол церкви, весь белый, возвышался над монастырской оградой и тополями, а за ними высоко вздымались вершины Стара-планины, сливаясь с темным почным небом.

Огнянов обошел монастырь с задней стороны, спустился в темный овраг и, поблуждав несколько минут по его каменистому дну, подошел к мельнице.

Дед Стоян встретил его у дверей.

— Что случилось? — быстро спросил Огнянов.

— Пришел друг.

— Какой друг?

— Наш человек.

— Наш человек?

— Ну да, из тех, что за народ.

— Кто он такой?

— Не знаю. Нынче вечером спустился с гор и — прямо ко мне. Я сначала испугался: подумал — разбойник. Ты бы посмотрел, на что он похож... Ноги как палки... А оказалось — свой человек. Я дал ему хлеба.

— Отведи меня к своему гостю!

— Я его спрятал, иди за мной.

И дед Стоян повел Огнянова на мельницу.

Внутри ее было темно.

Мельник зажег коптилку, провел Бойчо между стеной и жерновами, потом между двумя ларями и остановился перед дверцей, над которой висели клочья рваной паутины,— признак того, что эта дверь долго стояла запертой.

— Как? Он здесь заперт?

— Ну да! Береженого бог бережет... разве не так, учитель?

Дед Стоян постучал в дверь и крикнул:

— Эй, господин! Выходи!

Дверь открылась, и какой-то человек, согнувшись, вышел из чулана. Это был юноша небольшого роста, сухощавый, белобрысый, с очень мелкими чертами лица, давно уже не бритого, с живыми глазами и легкими движениями; Огнянова он поразил своей необычайной худобой. Он был одет в хорошо облегавшую его тощее тело белую хэшовскую одежду, распестренную традиционными кистями и обшитую на спине, груди и коленях

цветной тесьмой и шнурами, но такую рваную, что сквозь лохмотья виднелось голое тело скитальца.

Гость мельника и Огнянов, взглянув друг на друга, оба враз вскрикнули:

— Муратлийский!

— Кралич!

Крепко пожав друг другу руки, они расцеловались.

— Как ты очутился здесь? Откуда ты? — спрашивал Огнянов Муратлийского, своего бывшего товарища по повстанческому отряду.

— Я?.. А ты где был и как сюда попал? Неужели это и вправду ты, Кралич?

Кралич оглянулся, растерянно окинул взглядом мельницу и деда Стояна, который застыл на месте, раскрыв рот и продолжая держать коптилку перед товарищами.

— Дедушка Стоян, погаси свет и закрой дверь... Или нет, мы выйдем на двор. Здесь такой шум, что мы друг друга и не услышим.

Дед Стоян пошел вперед с коптилкой и закрыл за ними дверь.

— Ну, беседуйте,— сказал он.— а я пойду лягу. Захочется и вам спать, входите и ложитесь, где понравится!

Дно оврага потонуло во мраке, но обрывистый его склон был хорошо освещен луной. Огнянов и Муратлийский отошли подальше — в самое темное место — и устроились на большом камне, у которого тихо журчала извилистая речка.

— Давай опять расцелуемся, брат,— с чувством проговорил Огнянов.

— Скажи, Кралич, откуда ты взялся? А я-то думал, что ты все еще в диарбекирском раю!

— Так, значит, тебя еще не повесили? — отшучивался Бойчо.

Они говорили как друзья... Схожие судьбы и страдания сближают и чужих людей. А Бойчо и Муратлийский были братьями по оружию и по идеалам.

— Ну, теперь рассказывай,— начал Муратлийский.— Ты пришел издалека... Поэтому тебе первому говорить. Когда ты вернулся из Диарбекира?

— Ты хочешь сказать, когда я бежал?

— Как? Ты бежал?

— В мае.

— И сумел благополучно пробраться сюда? Как же ты шел?

— Из Диарбекира шел пешком до русской Армении, а там через Кавказ пробрался в южную Россию, затем в Одессу,— все с помощью русских. Из Одессы пароходом до Варны. Оттуда через горы — в троянские хижины. Перевалил Стара-планину и очутился в Бяла-Черкве.

— А почему ты выбрал именно этот городок?

— Боялся идти туда, где никого не знаю. В некоторых местах у меня были знакомые, но я не знал, что у них теперь на уме, и не был уверен в них. Вспомнил, что в Бяла-Черкве живет лучший друг отца, благороднейшей души человек. К тому же я был убежден, что меня там никто не знает, кроме него; да и он бы не узнал, не скажи я ему сам, кто я такой.

— Ну, я-то узнал тебя сразу. Итак, ты остался здесь?

— Да. Этот человек, друг отца, помог мне устроиться учителем, и пока, слава богу, все идет хорошо.

— Значит, ты теперь за преподавание взялся, Кралич?

— Официально — за преподавание, а неофициально — за прежнее ремесло.

— Апостольство?

— Да, революция...

— Ну, как у вас тут идут дела? Мы-то оскандалились.

— Дела пока хороши. Настроение очень приподнятое, почва — что твой вулкан. Ведь Бяла-Черква была одним из пристанищ Левского.

— Какой у вас план?

— Плана еще нет. Готовимся к восстанию, но, так сказать, лишь теоретически и ждем, пока время нас научит. А брожение усиливается с каждым днем и в городе и в окрестностях; рано или поздно восстание вспыхнет.

— Молодец, Кралич! Герой!

— Теперь ты расскажи о своих мытарствах.

— Да ты уже знаешь. В Стара-Загоре мы так оскандалились, что стыдно смотреть в глаза людям...

— Нет, нет, рассказывай с самого начала: что произошло с тех пор, как разбили отряд и мы с тобой расстались. За те восемь лет, что я пробыл в Диарбекире, я ничего не слышал ни о тебе, ни о наших товарищах.

Муратлийский лег на камень, положив руки под голову, и, устроившись поудобнее, начал. Рассказывать ему пришлось долго. Он участвовал в Софийском заговоре Димитра Общти и в ограблении орханийской почты. Попав в тюрьму в результате предательства, он чудом избежал Диарбекира, а может быть, и

виселицы. Затем отправился в Румынию, где полтора года скитался, терпя нужду, а оттуда опять перешел в Болгарию с поручением и снова боролся с опасностями и трудностями, сопутствующими агитатору. Этой весной он очутился в Стара-Загоре и активно участвовал в подготовке к восстанию. Восстание кончилось печально. Муратлийский был легко ранен турками в небольшой стычке у Элхова и ушел на Стара-планину, преследуемый турецкой погоней и даже иными болгарами, к которым обращался с просьбой дать хлеба и крестьянское платье, чтобы переодеться. Десять дней скитался он таким образом по горам, подвергаясь тысячам опасностей и лишений. Нестерпимый голод заставил его спуститься с гор, причем он решил, что попросит хлеба у первого встречного, приставив ему к груди пистолет... К счастью, ему повстречался дед Стоян. И Муратлийский с чувством рассказал о том, как хорошо его принял мельник,— ведь с тех пор как он начал скитаться по Стара-планине, это был первый человек, отнесшийся к нему по-братски.

Огнянов с волнением слушал все то, что рассказывал Муратлийский о своих приключениях и пережитых опасностях. Он переживал вместе с ним его тревоги, страдания, горькие разочарования и стыд за подлое поведение людей, неизбежное, впрочем, после крушения всякой революции. С братским участием он сейчас принялся обдумывать, как бы получше устроить друга.

Муратлийский умолк. Река шумела у их ног. Кругом было пусто и тихо. Против того места, где сидели друзья, высились освещенные луной немые громады скал; ночной ветерок покачивал растущие на их вершинах низкорослые деревца и кусты дикой сирени.

XVI. МОГИЛА ГОВОРИТ

Утром Огнянов решил вернуться в город. Миновав ущелье, он вышел к монастырю. На поляне перед монастырем, под большими ореховыми деревьями, прогуливался игумен. Наслаждаясь утренней красотой этих романтических мест, он обнажил голову и полной грудью вдыхал живительный, свежий горный воздух. Теперь, осенью, от природы веяло новым меланхолическим очарованием, золотились листья деревьев, желтели бархатные склоны гор, и повсюду был разлит сладостно-нежный запах увядания.

Огнянов поздоровался с игуменом.

— Красивые места, отче,— сказал Огнянов,— ваше счастье, что вы живете среди природы и можете спокойно радоваться ее божественной красоте. Если я когда-нибудь вздумаю уйти в монастырь, то лишь из любви к природе, которая всегда прекрасна.

— Из апостолов да в монахи! Берегись, Огнянов, сразу скатишься на несколько ступенек ниже. Оставайся в миру. К тому же я бы тебя и не принял в свой монастырь,— ты такой безбожник, что, чего доброго, заразишь неверием самого отца Иеротея,— пошутил игумен.

— А что он за человек, этот старик? — спросил Бойчо.

— Весьма благочестивый и почтенный брат, очень похожий на господа Саваофа: но есть у него один грешок — закапывает свои деньги в землю, и они там зарастают плесенью. Сколько раз мы ему намекали, советовали отдать их для общего дела. Притворяется, что не понимает... О нем уже поговорку сложили. «Недогадлив, как отец Иеротей»,— говорим мы в подобных случаях. Откуда идешь в такую рань?

— Ночевал на мельнице у деда Стояна.

Игумен посмотрел на молодого человека немного удивленно.

— Тебе что-нибудь угрожает?

— Нет... Я встретился там с одним товарищем.

И Огнянов рассказал о своей встрече с Муратлийским.

— Почему же вы не пришли в монастырь? — укоризненно проговорил игумен.— Там вы, наверное, спали на мешках с зерном.

— Нашему брату революционеру не привыкать стать.

— Благослови вас господь!.. А как вы собираетесь его окрестить, твоего товарища?

— Ярослав Бырзобегунек, австрийский чех, фотограф, решивший обосноваться в Бяла-Черкве.

Отец Натанаил рассмеялся.

— Ну и дерзкие же вы люди, апостолы! Смотрите, как бы крышка не разбилась в третий раз...

— Не беспокойся! И у революционеров, как и у разбойников, есть свой бог,— многозначительно проговорил Бойчо и улыбнулся.— Ба, ты, оказывается, с оружием,— проговорил он, заметив ружье Натанаила, прислоненное к стволу вербы.

— Да вот надумал пристрелять его сегодня утром. Давно уже я не брал ружья в руки... Ты всех точно с ума свел: я теперь каждый день эту музыку слышу... перед самым монасты-

рем... Такая пальба, что и мертвого взбодрит, а про меня, старого грешника, и говорить нечего...

— Ну что ж, не мешает и тебе поупражняться, отец игумен.

Так они говорили, пока не добрались до мельницы — той самой, где Огнянов однажды провел страшную ночь. Он вспомнил все и нахмурился.

Теперь мельница не работала. С той ночи мельник Стоян забросил ее и снял другую, на монастырской реке.

Запущенная и заросшая бурьяном, мельница как-то не вязалась с этой прекрасной местностью и походила на гробницу.

Между тем к собеседникам незаметно подкрался Мунчо и, остановившись возле них, уставился на Огнянова. По тупому лицу помешанного блуждала какая-то странная усмешка. А в глазах отражались и дружелюбие, и страх, и удивление — чувства, которые Огнянов пробуждал в душе Мунчо. Надо сказать, что несколько лет назад Мунчо обругал пророка Магомета в присутствии одного онбаши, и тот избил юродивого до полусмерти. С тех пор в его затемненной душе осталось только одно чувство, только одна мысль, только один проблеск сознания: ужасная, нечеловеческая ненависть к туркам. Оказавшись случайным свидетелем убийства двух турок на мельнице и погребения их трупов в яме, Мунчо стал испытывать к Огнянову благоговейное удивление и почтительный страх. Эти чувства походили на поклонение божеству. Почему-то юродивый называл Огнянова «Руссиан». В ту ночь на галерее он испугался Огнянова, но позднее привык к нему, так как часто встречал его в монастыре. Завидев Огнянова, Мунчо уже не мог оторвать от него глаз и, должно быть, считал его своим покровителем. Когда его обижали монастырские батраки, он их пугал Руссианом: «Вот погодите, скажу Русс-и-ану, чтоб он и вас-с-с за-резал!» — и проводил пальцем поперек горла. Эти же слова он твердил, бродя по городу, но, к счастью, никто не понимал их смысла.

Игумен и Бойчо не обращали внимания на Мунчо, а тот беспрерывно вертел головой и дружески улыбался.

— Смотри, онбаши идет! — сказал игумен.

Действительно, невдалеке показался онбаши с ружьем через плечо и сумкой за спиной. Он шел на охоту.

Это был человек лет тридцати пяти, с опухшим желтоватым лицом, большим выпуклым лбом и сонным ленивым взглядом маленьких серых глаз. Подозревали, что он курит опиум. Обменявшись приветствиями, игумен и онбаши немного погово-

рили об охоте в этом году; затем турок взял ружье игумена и, как это делает всякий страстный охотник, внимательно осмотрел его.

— Хорошее ружье, деспот-эфенди,— проговорил он.— Куда будешь целиться?

— Да вот как раз выбираю место, Шериф-ага... Несколько лет не брал ружья в руки, надо же хоть разок его разрядить.

— А в какую мишень? — спросил онбаши и снял с плеча свое собственное ружье, явно желая показать, какой он меткий стрелок.

— Видишь, вон там на обрыве бурьян, похожий на шапку,— сказал игумен,— около него когда-то копали глину.

Онбаши посмотрел на него немного удивленно.

— Далековато!

Шериф-ага присел на корточки у большого камня, положил на него ружье и прицеливался секунд десять.

Грянул выстрел; пуля подняла пыль в нескольких шагах от «мишени».

Легкая досада отразилась на внезапно покрасневшем лице онбаши.

— Еще раз,— сказал он и, снова присев, стал целиться; теперь он целился почти минуту.

Выстрелив, онбаши поднялся и стал всматриваться в бурьян. Но на этот раз пыль на обрыве поднялась еще дальше от цели.

— Эх, чтоб тебя! — проворчал он, разозлившись.— Деспот-эфенди, нельзя выбирать такую далекую цель! Ну-ка, стреляй теперь ты! Но предупреждаю, зря пропадет пуля... Хоть в обрыв-то попади,— добавил он шутливо.

Игумен поднял ружье, стоя прицелился и сразу же выстрелил.

Облачко пыли взвилось над самым бурьяном.

— Все еще слушается меня эта штучка!..— воскликнул игумен.

— Постой! — закричал онбаши.— Ну-ка, еще раз...

Игумен опять прицелился и выстрелил. Пуля снова попала в бурьян. Онбаши побледнел и сердито проговорил:

— Глаз у тебя меткий, ваше преподобие, и не верится мне, что ты несколько лет не стрелял... Тебе бы впору поучить вашу молодежь, ту, что здесь что ни день увлекается пальбой...— Потом добавил со злобой: — Очень уж распустились, что-то не сидится им на месте... Ну, да когда-нибудь свернут себе шею!

И опбаши смерил Огнянова злым, ненавидящим взглядом.

Все это время Мунчо спокойно стоял поодаль. Но как он изменился теперь! Безумный испуг, смешанный с лютой ненавистью, исказил черты его лица, и оно стало страшным. Разинув рот и широко раскинув руки, он с угрожающим видом уставился на опбаши, словно готовясь кинуться на него. Опбаши, случайно повернувшись в сторону юродивого, бросил на него презрительный взгляд. Глаза Мунчо загорелись звериным бешенством.

— Погоди, Ру-сс-и-ан зарежет и тебя! — крикнул он, брызгая слюной от ярости, и крепко выругался.

Опбаши немного знал по-болгарски, но невнятных слов Мунчо не разобрал.

— Что он промычал, этот скот? — спросил турок игумена.

— Да так просто, эфенди. Или ты его не знаешь?

— Почему это Мунчо здесь так разошелся? В городе он тихий,— заметил Бойчо.

— Неужели не понимаешь? Всякий петух поет в своем курятнике.

Тем временем невдалеке показалась великолепная гончая с черными подпалинами на боках и в кожаном ошейнике, на котором болтался обрывок веревки; гончая бежала по лугу к мельнице.

Все повернулись в ее сторону.

— Сбежала от хозяина,— заметил игумен.— Очевидно, где-нибудь поблизости бродят охотники.

Огнянов невольно вздрогнул.

Гончая добежала до мельницы, остановилась, обнюхала дверь и стала кружить по траве, жалобно воя.

Ледяная дрожь пробрала Огнянова.

— Смотрите-ка, да это гончая пропавшего Эмексиз-Пехливана! — воскликнул опбаши.

Гончая — Огнянов хорошо ее помнил — бегала вокруг мельницы, царапала когтями порог, рыла лапами землю у кустов и скулила. Но вдруг она подняла длинную влажную морду и, как бы желая обратить на себя внимание, сердито залаяла. Сердце у Огнянова сжалось от этого угрожающего лая! Он переглянулся с игуменом: оба они были поражены. Опбаши внимательно смотрел на собаку, удивленный и недоумевающий.

Гончая то лаяла, то выла, повернув морду в их сторону.

И вдруг она кинулась к Огнянову. Весь бледный, он отскочил, а собака, яростно лая, бросалась на него по-волчьи.

Он выхватил кинжал и стал обороняться от рассвирепев-

шего животного, а игумен, не видя поблизости ни одного камня, безуспешно пытался оттащить собаку.

Онбаши молча наблюдал за этой странной сценой. На Огнянова и его сверкающий кинжал он смотрел подозрительно и зловеще. Но, защищаясь, Огнянов мог убить собаку, которая то и дело ловко увертывалась от кинжала, чтобы кинуться на врага с другой стороны, и онбаши отогнал ее.

— Чорбаджи, почему эта собака так зла на тебя? — обратился он к раскрасневшемуся и тяжело дышавшему Огнянову.

— Как-то раз, не помню где, я ударил ее камнем,— ответил Огнянов с напускным спокойствием.

Онбаши посмотрел на него испытующе и недоверчиво. Очевидно, он не был удовлетворен ответом.

В голове у него зародилось смутное подозрение. Но он решил все обдумать потом, а пока сделал вид, что объяснение Огнянова кажется ему вполне правдоподобным.

— Что правда, то правда, собаки этой породы очень злопамятны,— сказал он.

Попрощавшись с игуменом, онбаши пошел к ущелью и вскоре скрылся из виду.

Гончая, подняв хвост, уже трусила по лугу, догоняя своего нового хозяина.

— Ведь вы же убили эту гадину? — проговорил игумен в недоумении.

— Я бросил ее, полумертвую, в заводь, думал, что утонет, но она, к несчастью, осталась жива! — пробормотал Огнянов озабоченно.— Прав был дед Стоян: лучше было зарыть ее вместе с теми двумя псами. И надо же было так случиться, что здесь оказался этот дубина Шериф! Беда там и нагрянет, где ее не ждешь!

— А тех-то вы прикончили как следует? Как бы кто из них не воскрес вроде этой собаки,— проговорил игумен укоризненно.— Когда берешься за такое дело, нужно доводить его до конца, а не бросать на полдороге... Новичок ты еще, Бойчо, в этом ремесле, ну, да, может быть, обойдется. Ведь мы распустили такой слух насчет пропавших турок, что о них перестали беспокоиться. Но придется мне опять разузнать, что про них говорят.

Между тем Огнянов устремил глаза на то место, где были зарыты турки, и с удивлением увидел там большую кучу камней. Ни он, ни мельник Стоян этих камней не бросали. Огнянов высказал свое удивление игумену. Натанаил его успокоил, говоря, что камни, очевидно, попали на это место случайно. Они не знали, что Мунчо каждый день ходит сюда и с проклятиями

бросает камни на могилу турок, так что уже подобрал все камни, валявшиеся поблизости.

Огняпов протянул руку игумену.

— Куда ты?

— До свидания, спешу. У меня куча дел со спектаклем. Из-за этой проклятой собаки я забыл про свою роль.

— Кого ты играешь?

— Графа.

— Графа? А где же твое графство?..— пошутил игумен.

— Диарбекирская крепость... Дарю ее тому, кто пожелает.

И Огняпов ушел.

XVII. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Драма «Многострадальная Геновева», которую в этот вечер играли в мужском училище, неизвестна большинству молодых читателей. А между тем лет тридцать назад эта пьеса наряду с «Александрией», «Хитрым Бертольдом» и «Михалом» воспитывала литературные вкусы целого поколения и приводила в восторг тогдашнее общество. Вот вкратце ее содержание. Один немецкий граф, по имени Зигфрид, уехал в Испанию воевать с маврами и оставил в неутешном горе свою жену, молодую графиню Геновеву. Не успел он уехать, как его наместник Голос явился к графине с оскорбительным предложением, которое она с негодованием отвергла. Тогда мстительный Голос убил Драко — верного графского слугу, графиню бросил в тюрьму, а графу написал, что графиня изменила ему с Драко. Разгневанный граф прислал ему приказ убить неверную супругу. Но палачи, на которых Голос возложил эту миссию, сжалившись над графиней, отвели ее с ребенком в лес и, оставив в пещере, бросили на произвол судьбы, а Голосу сказали, что казнили ее. Спустя семь лет злосчастный граф вернулся с войны и, узнав из письма, оставленного Геновевой, что она невинна, стал оплакивать ее раннюю смерть, а Голоса заковал в цепи, и тот сошел с ума от угрызений совести. Как-то раз граф, чтобы развлечься, поехал на охоту в лес и случайно нашел в пещере графиню с ребенком: при них жила серна, кормившая их молоком. Супруги узнали друг друга и, счастливые, вернулись во дворец. Эта наивная и трогательная история вызывала слезы у всех женщин в городе — и пожилых и молодых. Легенду о Геновеве все помнят доныне, а многие дамы даже знали пьесу наизусть.

Вот почему предстоящий спектакль уже много дней волновал бяло-церковское общество. Его ждали с нетерпением, как большое событие, которое должно было внести приятное разнообразие в монотонную жизнь городка. Все население собиралось идти смотреть пьесу. Богатые женщины шили себе наряды, а бедные, продав на базаре пряжу, покупали билеты немедленно, чтобы не истратить деньги на соль или мыло. Только и было разговоров что о спектакле, и они отодвинули на задний план обычные сплетни о семейной и общественной жизни горожан. В церкви старухи спрашивали друг друга: «Гена, вечером пойдешь на «Геновеву»?» И уже готовились плакать о многострадальной графине. В каждом доме с интересом говорили о том, кто какую роль получил, и с удовлетворением узнавали, что Огнянов будет играть графа. Роль коварного, а впоследствии свихнувшегося Голоса взял господин Фратю — любитель сильных ощущений. (Стремясь произвести на публику как можно более глубокое впечатление, господин Фратю вот уже целый месяц не стриг себе волос.) Илийчо Любопытный играл слугу Драко и в день спектакля раз двадцать репетировал сцену своей смерти от меча Голоса. Он же должен был воспроизводить лай охотничьей собаки графа. И эту роль он разучивал с не меньшим усердием. Играть Геновеву предложили было дьякону Викентию, так как у него были красивые длинные волосы, но, узнав, что духовному лицу не разрешается выходить на сцену, эту роль дали другому парню, снабдив его какой-то белой мазью, чтобы он замазал себе усы. На остальные, второстепенные, роли тоже нашлись желающие.

Труднее было с декорациями и бутафорией, так как требовалось достать уйму всяких вещей, а денег было мало. Впрочем, потратиться пришлось только на занавес: его сшили из красного кумача и заказали одному дебрянскому иконописцу нарисовать на нем лиру. Лира получилась похожей на вилы, которыми ворошат сено. А для обстановки графского дворца собрали всю лучшую мебель в городе. У Хаджи Гюро взяли оконные занавеси с изображением тополей; у Карагезоолу — два малоазиатских кувшина; у Мичо Бейзаде — изящные стеклянные цветочные вазы; у Мичо Саранова — большой ковер; у Николая Недковича — картины на темы из франко-прусской войны; у Бенчоолу — старую продавленную кушетку, единственную в городе; у Марко Иванова — большое зеркало, привезенное из Бухареста, и групповой портрет «мучеников»; из женского монастыря взяли пуховые подушечки; из школы — карту Австралии и звездный глобус, а из церкви — малую лю-

стру, которой предстояло освещать всю эту всемирную выставку. Кое-что позаимствовали даже из тюрьмы копака, а именно — кандалы для Голоса. Костюмы же были те самые, в которых три года назад играли «Райну-княгиню». Таким образом, граф надел Святославову порфиру, а Геновева — багряницу Райны. Голос нацепил себе на плечи что-то вроде эполет и натянул на ноги высокие блестящие ботфорты. Ганчо Попов, игравший Хунса, одного из палачей, заткнул за пояс длинный кинжал, припрятанный до будущего восстания. Драко щеголял в помятом цилиндре Михалаки Алафранги. Напрасно протестовал Бойчо против всей этой нелепицы и мещанины. Большинство актеров упорно настаивало на том, чтобы все на сцене выглядело как можно более эффектным, и ему пришлось подчиниться.

Как только зашло солнце, публика стала сходиться в школу. Виднейшие горожане заняли передние парты, и тут же сел бей, которому послали особое приглашение. Рядом с беем посадили Дамянчо Григорова, чтобы тот по мере сил развлекал старика. Все остальные места были заняты разношерстной толпой, и, пока не поднялся занавес, в зале стоял гул. Из дам больше всех шумела тетка Гинка; она знала пьесу наизусть и рассказывала соседям, какие будут первые слова графа. Хаджи Симон, сидевший за другой партой, отметил, что зрительный зал бухарестского театра значительно больше здешнего, и объяснил зрителям, что означают вилы, намалеванные на занавесе. Оркестр, состоявший из местных цыган-скрипачей, почти беспрерывно играл австрийский гимн, очевидно в честь немецкой графини.

Наконец настала торжественная минута. Исполнение австрийского гимна оборвалось, и занавес поднялся с громким шумом. Первым показался на сцене граф. Зал так и замер,— казалось, будто в нем нет ни души. Граф начал говорить, а тетка Гинка, сидя за своей партой, суфлировала ему. Когда же граф пропускал или изменял хоть слово, она кричала:

— Не так!

Протрубил рог, и вошли посланцы Карла Великого звать графа на войну с маврами. Граф простился с Геновевой, упавшей без чувств, и уехал. Придя в себя, графиня увидела, что графа нет, и заплакала. Ее плач вызвал в публике взрыв смеха. Тетка Гинка опять закричала:

— Да ну, плачь же, плачь! Или плакать не умеешь?

Графиня заревела во весь голос, и зал отозвался на это раскатистым хохотом. Громче всех смеялась тетка Гинка, крича:

— Вот бы мне на сцену! Уж я бы заплакала — лучше некуда!

Хаджи Симон объяснил публике, что плач — это целое искусство, и в Румынии даже нанимают женщин оплакивать покойников. Кто-то зашипел на него, чтобы он замолчал, а он, в свою очередь, зашипел на тех, кто слушал его объяснения. Но с появлением Голоса наступил перелом. Голос стал искушать целомудренную Геновеву, а та ответила ему презрением и позвала слугу Драко, чтобы послать его с письмом к графу. Вошел Драко, и его цилиндр возбудил общий смех; Драко смутился. Тетка Гинка крикнула:

— Драко, сними Алафрангову кастрюлю! Валяй без шапки!

Драко снял цилиндр. Новый взрыв хохота в публике... Однако действие начало принимать трагический характер. Рассерженный Голос вынул меч, чтобы заколоть Драко, но еще не успел дотронуться до него, как Драко, словно подкошенный, упал бездыханным. Публика не удовлетворилась такой пеленой смертью, и кто-то потребовал, чтобы Драко ожил. Но трупы Драко за ноги потащили со сцены, причем голова его колотилась об пол. Тем не менее Драко геройски переносил боль и так и не вышел из роли убитого. Графиню бросили в темницу.

На этом действие закончилось, и снова раздались звуки австрийского гимна. Зал зашумел; зрители смеялись и критиковали постановку. Старухи были недовольны Геновевой, которая играла недостаточно трогательно. Фратю же сыграл неблагодарную роль Голоса неплохо и заслуженно внушил ненависть иным старушкам. Одна из них, подойдя к его матери, сказала:

— Эх, Тана, нехорошо поступает ваш Фратю; что ему сделала эта молодка?

Сидя за первой партой, Дамянчо Григоров подробно разъяснял бею события первого действия. Увлекшись собственным красноречием, он кстати рассказал случай с каким-то французским консулом, который бросил свою жену в результате подобной интриги. Бей, выслушав Григорова очень внимательно, решил, что граф и есть французский консул; и в этом заблуждении пребывал до конца спектакля.

— Этот консул большой дурак,— проговорил он строго.— Как мог он приказать убить жену, не разузнав все как следует? Я даже пьяного с улицы и то не посажу под замок, пока не заставлю его дыхнуть на Миала, полицейского.

— Бей-эфенди,— объяснил Дамянчо,— так написано, чтобы поинтереснее было.

— Писака глуп, а консул еще глупее.

Сидевший с ними по соседству Стефчов тоже критиковал графа.

— Огнянов и в глаза не видел театра,— проговорил он высокомерным и авторитетным тоном.

— Ну что ты! Он хорошо играет,— возразил ему Хаджи Смион.

— Хорошо играет? Как обезьяна! Не уважает публику.

— Да, и я заметил, что не уважает,— согласился Хаджи Смион.— Ты видел, как он расселся на кушетке, взятой у Бенчоолу? Можно подумать, что он брат князя Кузы.

— Надо его освистать,— проговорил Стефчов сердито.

— Надо, надо,— поддержал его Хаджи Смион.

— Кто это собирается свистеть? — крикнул человек, сидевший за той же партой.

Стефчов и Хаджи Смион обернулись. Они увидели Каблешкова.

В то время Каблешков еще не был апостолом. В Бяла-Черкве он оказался случайно — приехал погостить к родственнику. Смущенный огневым взглядом будущего апостола, Хаджи Смион слегка отодвинулся, чтобы тот смог увидеть зрителя, который собирался свистеть, то есть Стефчова.

— Я! — откровенно ответил Кирпак.

— Вы вольны поступать, как вам заблагорассудится, милостивый государь, но если хотите свистеть, выходите на улицу.

— У вас не спрошусь!

— Спектакль дается с благотворительной целью, играют любители. Если вы можете сыграть лучше, идите на сцену! — горячо проговорил Каблешков.

— Я заплатил за билет и прошу без нотаций,— отпарировал Стефчов.

Каблешков вспыхнул. Не миновать бы ссоры, если бы Мичо Бейзаде не поспешил ее предотвратить.

— Кирпак, ты разумный человек... Тодорчо, успокойся...

В эту минуту оркестр доиграл австрийский гимн. Занавес поднялся.

Теперь сцена представляла собой темницу, освещенную только лампадой. Геновева держала на руках младенца, родившегося в заключении, и плакала, жалобно причитая. Играла она более естественно, чем раньше. Полуночный час, мрачная темница, вздохи несчастной беспомощной матери — все это разжалобило зрителей. На глазах у многих женщин выступили слезы. Как и смех, слезы заразительны. Число плачущих быстро умножалось, а когда графиня писала письмо графу, прослезился

даже кое-кто из мужчин. Каблешков и тот умилился и после одного патетического эпизода захлопал. Но его аплодисменты прозвучали в полной тишине и замерли без поддержки. Многие сердито смотрели на несдержанного зрителя, который поднял шум в самом интересном месте. Иван Селямсыз, то и дело шмыгавший носом, сдерживая слезы, бросил на него свирепый взгляд. Геповеву увезли в лес, чтобы там казнить. Занавес опустился. Каблешков опять захлопал, но и на этот раз у него не нашлось подражателей. В Бяла-Черкве рукоплескания еще не были в обычае...

— Что за мерзкие люди жили в этой стране! — тихо сказал бей Дамянчо Григорову.— Где все это происходило?

— В Неметчине.

— В Неметчине? Этих гяуров я еще не видывал.

— Ну что вы, бей-эфенди! Да у нас в городе живет один немец.

— Уж не тот ли это безбородый, «четырехглазый»,— ну тот, что в синих очках?

— Он самый, фотограф.

— Вот как? Хороший гяур... Когда встречает меня, всегда снимает шляпу на французский манер. Я думал, он француз.

— Нет, немец, он, кажется, из Драндабура.

Началось третье действие. Сцена снова представляла комнату во дворце. Граф вернулся с войны мрачный и был очень удручен смертью графини. Служанка передала ему письмо Геповевы, написанное в темнице в предсмертный час. Графиня писала, что стала жертвой низости Голоса, что умирает невинно и прощает своего супруга... Граф, читая вслух это письмо, сначала всхлипывал, потом, придя в полное отчаяние, залился слезами. Зрители, тронутые его страданиями, тоже заплакали, и некоторые — в голос. Прослезился и бей, который уже не нуждался в Григорове.

Общее напряжение возрастало и, наконец, стало невыносимым, когда граф приказал привести коварного Голоса — виновника его несчастия. Появился Голос, взъерошенный, страшный, измученный угрызениями совести и закованный в кандалы, взятые из тюрьмы конака. Публика встретила его враждебным ропотом. В Голоса впились разъяренные взгляды. Граф прочел ему письмо, в котором графиня писала, что прощает и своего погубителя. Снова разразившись рыданиями, граф принялся рвать на себе волосы и бить себя в грудь. Публика тоже начала рыдать неудержимо. Тетка Гинка и та проливала слезы, но все-таки решила, что надо успокоить соседей:

— Будет вам плакать! Ведь Геновева жива — она в лесу!

Некоторые старушки, еще не видавшие пьесу, удивленно спрашивали:

— Да неужто она жива, Гипка?

— Надо бы сказать бедняге, чтоб он не убивался,— проговорила бабка Петковица; а бабка Хаджи Павловица не вытерпела и сквозь слезы крикнула графу:

— Ох, родной, да не плачь ты, жива твоя молодуха!

Между тем Голос начал сходить с ума. Взгляд его вытаращенных глаз был страшен, взлохмаченные волосы стали дыбом; он размахивал руками, отчаянно дергался, скрежетал зубами. Жестокие угрызения совести терзали его; но публике его страдания принесли облегчение. На всех лицах было написано беспощадное злорадство. «Поделом ему!» — говорили женщины. Они даже досадовали на Геновеву за то, что та простила его в своем письме. Матушка господина Фратю, увидев, в каком прискорбном состоянии находится ее сын, обремененный тяжелыми цепями и всеобщим негодованием, растерялась, не зная, как поступить.

— Уморили моего парня, осрамили! — проговорила она и сделала попытку стащить его со сцены, но ее удержали.

Третье действие имело блестящий успех. Шекспировской Офелии никогда не удавалось вызвать столько слез в один вечер...

Последнее действие происходит в лесу. Вход в пещеру. На пороге появляется Геновева, одетая в звериную шкуру, и ее ребенок. Серну, кормящую их молоком, играет коза, которой дали сочных листьев, чтобы она не убежала со сцены. Геновева жалобно рассказывает ребенку об его отце, но, заслышав лай охотничьих собак, вместе с ребенком возвращается в пещеру, таща за рога упирающуюся козу. Лай все громче, и публика находит, что эта роль хорошо удается Илийчо Любопытному. Он проявляет такое усердие, что на его лай отзываются собаки с улицы. Вот появился и граф в охотничьем костюме; вокруг него свита. Зрители, затаив дыхание, впились в него глазами, ожидая его встречи с Геновевой. Бабка Иванца, опасаясь, как бы граф не прошел мимо, предложила соседям сообщить ему, что его жена в пещере. Но граф и сам это увидел. Он наклонился и крикнул в пещеру:

— Кто бы ты ни был, зверь или человек, выходи!

Пещера безмолвствовала. Зато из зала послышался негромкий свист.

Все удивленно посмотрели на Стефчова. Он густо покраснел.

— Кто это свистит? — сердито крикнул Селямсыз.

Недовольный зал загудел.

Огнянов поискал глазами того, кто свистел, и, заметив, что Стефчов устремил на него наглый взгляд, прошептал:

— Ну погоди, я тебе уши оторву!

Снова раздался свист, уже более громкий. Публика замерла. Еще миг — и последовал взрыв общего негодования.

— Держите этого протестанта — сейчас я его выброшу в окно! — свирепо крикнул Ангел Йовков, гигант ростом в два с половиной метра.

— Вон отсюда свистуна! Вон Стефчова! — раздались голоса.

— Мы сюда пришли не затем, чтобы слушать свист и хлопки! — кричал Селямсыз, превратно поняв рукоплескания Каблешкова.

— Кирпак, постыдись! — сердито крикнула тетка Гинка, рядом с которой вся в слезах сидела Рада.

Хаджи Смион шептал Стефчову:

— Побойся бога, Кирпак, я же тебе говорил: не надо свистеть. Тут народ простой... сам видишь.

— Почему он свистит? — спросил бей Григорова.

Дамянчо пожал плечами. Бей что-то прошептал полицейскому, и тот направился к Стефчову.

— Кирпак,— сказал ему полицейский на ухо,— бей приказал тебе пойти на улицу покурить — на душе легче станет.

Надменно усмехаясь, Стефчов вышел, довольный тем, что испортил впечатление от игры Огнянова.

После его ухода все успокоилось. Спектакль продолжался; граф нашел свою пропавшую супругу. Последовали объятия, причитания, слезы. Публика опять расчувствовалась... Добро одержало полную победу над злом. Граф и графиня поведали друг другу о своих страданиях. Бабка Петковица напутствовала их из зала:

— Идите себе домой, родные, и живите в любви да в согласии, не верьте больше этим проклятым Голосам...

— Сама ты проклятая! — не выдержала за ее спиной матушка господина Фратю.

Бей дал супругам такой же совет, как и бабка Петковица, только менее громко. Все ощутили удовлетворение, даже радость. Граф всюду встречал взгляды, полные сочувствия. Спек-

такль закончился песней: «Зигфрида город, радуйся теперь!» — которую пели граф, графиня и их свита.

Но после того, как спели два куплета этой добродетельно-веселой песни, со сцены послышались звуки другой песни — революционной:

Пылай, пылай, душа, любовью огневою!
На турок дружно мы пойдем стеною.

Это было как гром среди ясного неба.

Песню запел один человек, ее подхватили три-четыре актера, потом вся труппа, а за нею начали подпевать и зрители. Патриотический энтузиазм внезапно овладел всеми. Мужественная мелодия этой песни возникла как невидимая волна, выросла, залила весь зал, разлилась по двору и ушла в ночь... Звеня в воздухе, песня зажигала сердца и опьяняла головы. Ее торжественные звуки затронули в людях какие-то новые струны. Пели все, кто знал слова,— и мужчины и женщины; сцена слилась с зрительным залом, души объединились в общем порыве, и песня поднималась к небу, как молитва...

— Пойте, молодцы, дай вам бог здоровья! — кричал Мичо в полном восторге.

Но иные старики потихоньку роптали, находя подобные безумства неуместными.

Бей, не понимая ни слова, слушал песню с удовольствием. Он попросил Дамянчо Григорова переводить ему каждый куплет. Другой на месте Дамянчо, пожалуй, растерялся бы, но Дамянчо был не из тех, кого можно поставить в тупик каверзной просьбой. Вдобавок сейчас ему представился случай испытать свои силы.

И он обманул бея самым нехитрым приемом, сам получая от этого удовольствие. По словам Дамянчо, песня выражала сердечную любовь графа к графине. Граф якобы сказал жене: «Теперь я тебя в сто раз больше люблю», а она ему ответила: «Люблю тебя в тысячу раз больше...» Он обещал в честь ее построить церковь на том месте, где была пещера, а она ему ответила, что продаст все свои алмазы, чтобы раздать милостыню бедным и соорудить сто водоразборных колонок, отделанных мрамором.

— Что-то уж слишком много колонок, не лучше ли было бы ей построить мосты на счастье? — перебил его бей.

— Нет, колонки лучше, а то в Неметчине мало воды, и люди там больше пьют пиво,— стоял на своем Григоров.

Бей кивком головы выразил согласие с его мнением.

— А где Голос? — спросил бей, ища среди актеров господина Фратю.

— Ему сейчас не положено выходить на сцену.

— Правильно... Такого негодяя нужно было повесить. Если будут опять играть эту пьесу, скажи консулу, чтобы он его не оставлял в живых. Так будет лучше.

И правда, господина Фратю не было среди актеров. Решив не дожидаться лавров от публики, он благоразумно улизнул, как только началось крамольное пение.

Труппа допела песню, и под крики «браво!» занавес опустился. Вновь зазвучал австрийский гимн, провожая публику к выходу. Вскоре зал опустел.

Актеры переодевались на сцене, весело разговаривая с друзьями, пришедшими их поздравить.

— Каблешков, черт бы тебя побрал, с ума ты сошел, что ли? Влез на сцену, стал за моей спиной и ну реветь, как ветер в бурю! Отчаянный ты...— говорил Огнянов, стаскивая с ног сапоги князя Святослава.

— Не вытерпел, братец, надоело слушать, как все плакали и кудахтали над твоей «многострадальной Геновевой». Нужно было чем-то отрезвить народ. И вот мне пришло в голову выйти на сцену... Сам видишь, какой получился блестящий эффект.

— Да, но я все посматривал вокруг,— не схватит ли меня за локоть кто-нибудь из полицейских,— смеялся Огнянов.

— Не волнуйтесь, Стефчов убрался раньше, чем мы запели,— сказал Соколов.

— Это бей его выгнал,— вставил учитель Франгов.

— Но сам-то бей остался,— заметил кто-то.— Я видел, как внимательно он слушал... Завтра ждите неприятностей...

— Будет вам беспокоиться! Ведь рядом с ним сидел Дамянчо Григоров. Он ему заморочил голову, надо думать. А если нет, отберем у него диплом острослова.

— Я не без умысла пригласил его и посадил рядом с беем,— старик любит анекдоты. Эта лиса сумела заговорить ему зубы.— будьте покойны! — говорил Николай Недкович, снимая с себя тонкую рясу попа Димчо, в которой играл роль отца Геновевы.

Все надеялись, что никто их не выдаст. Но утром Огнянова вызвали в конак.

Он предстал перед беем, который сидел насупившись.

— Консулус-эфенди,— сказал ему бей,— мне стало известно, что вы вчера пели бунтарские песни, это правда?

Огнянов ответил отрицательно.

— Но онбаши уверяет меня, что это так.

— Его ввели в заблуждение. Вы же сами были на спектакле.

Бей вызвал онбаши.

— Шериф-ага, когда пели «эти» песни? При мне или без меня?

— Крамольную песню пели при вас, бей-эфенди. Кирпак-эфенди не станет врать.

Бей строго посмотрел на онбаши. Его самолюбие было задето.

— Что ты вздор мелешь, Шериф-ага? Кто там был, Кирпак или я? Я все слышал своими ушами. Кому чорбаджи Дамянчо слово в слово переводил всю песню? Мне. Я вчера беседовал и с чорбаджи Марко, он тоже находит, что песня очень хорошая... Чтобы такого безобразия больше не было!— прикрикнул бей на онбаши и повернулся к Огнянову: — Консул, извини за беспокойство, произошла ошибка... Постой, а как звали того, закованного в цепи?

— Голос.

— Да, Голос... Ты бы лучше приказал его повесить. Я бы непременно повесил... Не следовало тебе слушаться женских советов... Все было хорошо, а песня лучше всего,— закончил бей, с трудом поднимаясь с места.

Огнянов попрощался и вышел.

— Скоро услышишь другую песню, и ее ты поймешь без помощи Дамянчо,— бормотал себе под нос Огнянов, выходя в ворота.

Но он не заметил, как зловеще смотрел на него онбаши.

XVIII. В КОФЕЙНЕ ГАНКО

Прошло несколько дней. Кофейня Ганко, как всегда, была с раннего утра полна посетителей, шума и дыма. Сюда сходились и стар и млад, здесь обсуждались общинные дела, восточный вопрос, внутренняя и внешняя политика всей Европы. Это был своего рода малый парламент. Но пока что на повестке дня стояло представление «Геновевы», дававшее основную пищу для разговоров. Впрочем, ему предстояло еще долго занимать местное общество, и с течением времени впечатление, произведенное пьесой, все больше углублялось. Многих волновала история с пением революционной песни, вызывавшая самые горячие споры. Теперь, когда страсти улеглись, некоторые осуждали Огнянова, за которым сохранилось прозвище «Граф», как это бывает с ак-

терами-любителями, имевшими успех у публики; а господина Фратю все звали «Голос». Даже и в это утро господин Фратю с удивлением заметил, что некоторые почтенные старцы смотрят на него косо, не прощая ему клевету на Геновеву. Одна старушка, остановив его на дороге, сказала:

— Ах, родной, зачем ты так сделал? И не грех тебе перед богом-то?

Но с приходом чорбаджи Мичо Бейзаде разговор в кофейне вновь перешел в не знающую пределов область политики.

Чорбаджи Мичо Бейзаде, смуглый пожилой человек невысокого роста, носил шаровары и суконную безрукавку. Как и его сверстники, он не получил почти никакого образования, и кругозор его был ограничен; но жизнь, полная испытаний, сделала его опытным и рассудительным. Его черные живые глаза сияли умом, худое лицо было изборождено глубокими морщинами. У него была одна странность, сделавшая его притчей во языцех, а именно: непомерное пристрастие к политике и непоколебимое убеждение в скором падении Турции. Само собой разумеется, он был русофилом, до мозга костей, до фанатизма, порой даже до смешного. У всех еще в памяти, как он вспылил, когда на экзамене в школе ученик сказал, что под Севастополем Россия была побеждена.

— Ошибаешься, сынок, Россию нельзя победить! Возьми назад свои деньги у того учителя, что тебя учил,— сердито сказал чорбаджи Мичо.

Тут же на экзамене учитель попытался с учебником в руках доказать, что в Крымской войне Россия потерпела поражение. Мичо тогда раскричался, заявил, что «его история врет», и, будучи попечителем школы, добился увольнения учителя.

Нервный и горячий, он взрывался, как только кто-нибудь осмеливался говорить наперекор его заветным убеждениям. В таких случаях он кипятился, кричал и ругательски ругался. Но сегодня он был весел и, садясь за стол, проговорил с победоносным видом:

— А турок-то опять поколотили!

— Как? — послышались радостные, удивленные голоса.

— Любобратич и Божо Петрович ухлопали несколько тысяч турок,— ответил Мичо, решив сообщать новость по частям, чтобы продлить удовольствие.

— Браво, дай им бог здоровья! — крикнуло несколько человек.

— И Подгорица взята,— продолжал Мичо.

Удивлению не было конца. Можно было подумать, что взята не Подгорица, а Вена.

— Оружия и добровольцев видимо-невидимо: валом валят из Австрии.

— Неужели правда?

— Босния опять загорелась. Сербия пришла в движение и готовит войска. А зашевелится Сербия, и мы зашевелимся. Тогда плохи будут дела нашего...

— Пошел он к черту!

— Австрия и пикнуть не посмеет, потому что Горчаков цыкнет на нее из Петербурга, скажет: «Стой! Режут ли там друг друга, дерутся ли, уж это их дело...» Тогда песенка наших будет спета.

Все навострили уши и с удовлетворением слушали чорбаджи Мичо, который сообщал такие радостные вести.

— Сколько человек убито? — спросил Никодим.

— Турок-то? Я тебе говорю — тысячи; скажи две, скажи пять, скажи десять — не ошибешься. Молодцы герцеговинцы — они шутить не любят.

— Хорошо, если только правда!

— Я тебе говорю, что правда!

— А где ты это узнал? — спросил чорбаджи Марко.

— Из верного источника, душа моя. Позавчера господин Георги Измирлия узнал от Янаки Дафинса, аптекаря в К., что все это было написано в триестской газете «Клио».

— Не думаю, чтоб герцеговинцы сумели чего добиться... Повоюют, повоюют, да и уморятся. Сколько их там? Горсточка,— сказал Павлаки, ища одобрения во взглядах остальных посетителей.

— И я так говорю, Павлаки: сколько их, герцеговинцев? Горсточка. Турки их не боятся,— согласился с ним Хаджи Смион, поправляя чулок на левой ноге.

Тут вмешался чорбаджи Мичо.

— Ты, Павлаки, извини меня, ни черта не понимаешь, и ты, Хаджи, тоже,— возразил он горячо.— В политике очень часто из ничего получается что-то. Сам Горчаков сказал, что из Герцеговины полетят искры, от которых вспыхнет пожар во всех турецких владениях.

— А мне кажется, что эти слова сказал Дерби,— с важностью поправил его господин Фратю.

Чорбаджи Мичо насупился.

— Дерби — англичанин и не мог говорить против султана,— возразил он.— Знаю я эту аглицкую политику: «В Турции

все хорошо, Турция процветает...» Я тебе говорю, что Дерби не мог этого сказать.

— Ну, конечно, Фратю, Дерби так не говорил,— подтвердил Хаджи Смион.

— Эх, кабы вспыхнул пожар да сгорел бы весь Царьград, мы бы враз и освободились от этой погани,— откликнулся сапожник Иванчо Дудов, который, скажем прямо, был новичком в политике.

— Здесь речь идет о другом пожаре, Иванчо,— объяснил Павлаки без улыбки.

— Настоящий пожар вспыхнет, когда загорится Болгария,— изрек господин Фратю.

— А зачем ей гореть, Болгарии? Не нужно мне, чтобы она горела, Болгария-то. Нам надо сидеть тихо-смирно. Или не знаете, какая недавно заварилась каша в Загоре? — хмуро возразил чорбаджи Димо.

— Вот, Фратю, ты так говоришь, а почему, спрашивается?— отозвался Данчо-Пекарь.— Потому что, когда все начнется, ты очутишься в Румынии на Подумогушое и будешь оттуда кричать: «Держите их!» — а нам здесь будут рубить головы!.. Нет, уж ты меня лучше не уговаривай... Данчо тоже разбирается в людях.

— Напротив, я останусь здесь и тоже буду жертвовать собой,— возразил господин Фратю.

— Уж если суждено вспыхнуть пожару, так хоть бы поскорее,— сказал кто-то.— Разве это государство? Оно и сейчас горит, только дыма нет. У нас последние рубахи с плеч поснимали... За город носа показать не смеешь. Да разве это государство?.. Дрянь!

— Не беспокойтесь, теперь не долго,— сказал Мичо,— есть предсказание, что Турция скоро падет.

— Турция совершенно сгнила, один скелет остался, а больше нет ничего... Толкни — и развалится!— поддержал его кто-то.

— А если не толкнем ее, значит, сами дураки! — с жаром воскликнул поп Димчо.

— Так-то так,— отозвался поп Ставри,— правда, заварилась каша. И малый и старый только о том и твердят. Даже у баб, у детишек день-деньской все один разговор. А песни послушай: теперь уж не услышишь «ахов» да «охов», а все о ружьях да о саблях поют. «Как грянут барабаны, так взыграет мое сердце. Вставайте с турками драться!» Ну и прочие безумные песни. А молодые ребята? Поищи-ка их! Все на монастырском лугу. «Бау, бум, бау, бум» — только и слышишь, целый день

палят из ружей; в Бозалан не проедешь. Мой Ганко набрал где-то целую кучу пистолетов и ружей и, не успеет распустить учеников, берется за свое оружие. «Зачем тебе, сынок, спрашиваю, это старье?» — «Скоро понадобится, отвечает, придет время, когда самый завалящий пистолет на вес золота будет...» Да, на бочке с порохом сидим; все это так просто не кончится, помяните мое слово. Сохрани нас бог!

Бесхитростные и откровенные речи попа Ставри правдиво отражали то, что делалось вокруг. Вот уже несколько месяцев, пожалуй, со дня появления Огнянова в городе,— как это отметил Стефчов,— повсюду начался подъем духа, который с каждым днем возрастал, и особенно после сентябрьского восстания в Стара-Загоре.

На пирушках провозглашались патриотические тосты и открыто говорилось о восстании; вокруг монастыря целый день раздавались ружейные выстрелы — это молодежь училась стрелять. Революционные песни вошли в моду и проникали всюду — в дома, на посиделки и оттуда на улицы; сентиментальные любовные песни везде были вытеснены патриотическими. Люди прямо диву давались, слыша, как девушки поют на посиделках:

Ах, мама, милая мама!
Не плачь, не кручинься, мама,
Что сделался я гайдуком,
Гайдуком, мама, повстанцем.

Или как почтенные матери многочисленных семей с жаром распевают во весь голос:

Встань же, дружина, пред ворогом черным,
Больше не будем мы стадом покорным!..

Но все это были лишь платонические порывы, и, презирая их, турки делали вид, будто ничего не слышат. Однако после неудачного сентябрьского восстания в Стара-Загоре турки испугались не на шутку, и ярость их вылилась в кровавые расправы над болгарами. На стрельбу болгар по голым обрывам турки отвечали выстрелами в живых людей; на крамольное пение болгарок — изнасилованием их сестер и убийством их братьев. Турки убивали безоружных путников, жгли деревни, брали в плен жителей и делили добычу с полицией. По всей Фракии стон стоял от невиданных насилий и зверств.

Во многом соглашаясь с Мичо, чорбаджи Марко возражал ему, когда заходила речь о восстании. Самую мысль об этом он называл безумием и строго отчитывал Огнянова, которого любил

и всегда защищал, за каждое крамольное слово, сказанное в его присутствии.

— Удивляюсь не глупости тех вертопрахов, что ходят стрелять на монастырский луг и бредят всяким вздором,— начал дядюшка Марко,— нет, я на тех не могу надивиться, у кого седина в бороде. Какая их муха укусила?.. Мы играем с огнем. Пятьсот лет Турция держала в страхе весь мир, и ее хочет одолеть кучка молокососов с кремневыми ружьями!.. Не дальше, как вчера, вижу своего Васила: тащит карабин к монастырю и тоже собирается уничтожать Турцию!.. Иной раз скажешь ему цыпленка зарезать, так этот трусишка бежит на улицу и просит первого встречного порезать цыпленку горло: каплю крови увидеть боится... «Иди домой, сумасшедший,— говорю ему,— тебе ли за оружие браться?» Мы здесь живем точно в аду. Вы говорите — бунт? Не дай бог до него дожить, тогда все пропало... Камня целого здесь не останется...

В разговор вмешался Ганко, содержатель кофейни:

— Правду говорит дядюшка Марко. Восстание для нас гибель.

И он посмотрел на потолок, где счета его должников были написаны мелом в виде бесчисленных черточек.

Возражения Марко немного рассердили Мичо.

— Марко,— сказал он,— ты говоришь мудро, но есть люди мудрее нас, и они знают, что все это сбудется. Так или иначе, Турции суждено пасть.

— Не верю я вашим пророкам,— спорил Марко, подразумевая Мартына Задеку, в которого благоговейно веровал Мичо.— Что мне твой Задека! Приди сюда сам царь Соломон, я и ему не поверю, если он скажет, что мы в силах сделать что-нибудь путное... А ребячество нам ни к чему.

— Но позволь, Марко, а если так повелел сам бог? — заметил поп Ставри.

— Бог повелел нам терпеть, батюшка. А уж если он решил погубить Турцию, так не на нас, сопляков, он возложит такое дело.

— Теперь уже известно, душа моя, кто ее погубит,— сказал Павлаки.

— Дед Иван, дед Иван! — послышались голоса.

Чорбаджи Мичо, видимо, почувствовал удовлетворение.

— Кому-кому, а мне можете об этом не говорить,— начал он, оживившись.— Я то самое и хочу сказать, что мы пойдем впереди, а дед Иван с дубиной в руках пойдет за нами до самой святой Софии! Как можно без его согласия? Да разве смог бы

Любобратич убивать этих псов целыми тысячами, если бы не опирался на его могучее плечо? Но я к тому речь веду, что дни турецкого владычества уже сочтены, как дни чахоточного. Это черным по белому писано — я не из пальца высосал... Слушайте еще раз, кто не верит: «Константинополь, столица султана турецкого, взят будет без малейшего кровопролития. Турецкое государство вконец разорят, глад и мор будет окончанием сих бедствий, турки сами от себя погибнут жалостнейшим образом!» А в другом месте опять-таки сказано: «Мечети ваши разорены, а идолы ваши и алкоран вовсе истреблены будут! Мохаммед! Ты — восточный антихрист! Время твое миновало, гробница твоя сожжена, и кости твои в пепел обращены будут!»

В пылу красноречия Мичо, сам того не замечая, вскочил и рубил воздух рукой.

— Но когда же это пророчество исполнится? — спросил поп Ставри.

— Говорю вам — скоро; час пробил!

В эту минуту дверь открылась, и вошел Николай Недкович; он держал в руках только что полученный номер газеты «Век».

— Это свежий, Николчо? — крикнуло несколько человек.— Читай, читай!

— Ну-ка, посмотрим, много ли голов пало от руки Любобратича,— нетерпеливо говорили другие.

— Я же вам говорю — тысячи. Садись сюда, Николчо! — И Мичо освободил ему место рядом с собой.

Николай Недкович развернул газету.

— Сначала прочти о герцеговинском восстании! — приказал дядюшка Мичо.

В торжественной тишине Недкович стал читать. Его слушали, затаив дыхание, но радостная весть о победе восставших, помещенная в газете «Клио», не подтверждалась. Напротив, известия с театра военных действий оказались плохими: не только Подгорица не была взята, но и последний отряд Любобратича потерпел полное поражение, а сам Любобратич бежал в Австрию.

Все повесили носы. Лица людей выражали глубокое разочарование и скорбь. Недкович тоже был расстроен; голос его ослабел и стал хриплым.

Мичо Бейзаде внезапно прошиб пот, он побледнел и, дрожа от злобы, закричал:

— Враки, враки и еще раз враки! Рассказывай другим эту чушь собачью! Любобратич их бил и разбил!.. Врет газета! Не верьте ни одному ее слову!

— Но, дядюшка Мичо,—возразил Недкович,— телеграммы

взяты из разных европейских газет. В них, наверное, есть доля правды.

— Враки, враки, это все турки сами выдумали в Царьграде! Ты найди «Клио» да почитай.

— И я не верю,— поддержал его Хаджи Смион,— газетчики врут, как цыгане. Помню, в Молдове была одна газетка: что ни скажет, обязательно соврет.

— Вранье, вранье! — добавил кто-то.

— Я же вам говорил,— продолжал Мичо,— турецкие сообщения всегда надо понимать наоборот: если пишут, что убито сто герцеговинцев, значит, ухлопали сотню неверных, а если скажешь — тысячу, тоже не ошибешься.

Дядюшке Мичо удалось немного подбодрить общество этими словами. Они казались убедительными, ибо отвечали тайным желаниям каждого. А газетным сообщениям не хотелось верить, потому что они несли плохие вести. Да и нельзя же доверять этой газетке! Но когда та же газета сообщала об успехах Любобратича, никому не приходило в голову усомниться в достоверности ее сведений. И все-таки сегодняшние известия расстроили завсегдатаев кофейни Ганко. Разговоры понемногу прекратились, у всех было тяжело на душе. Мичо и тот чувствовал себя как-то неловко. Он сердился на себя самого, на газету «Век» и на весь мир, потому что новость, вычитанная в газете «Клио», не подтвердилась. Вот почему он взорвался, когда среди полной тишины Петраки Шийков проговорил язвительным тоном:

— Как видно, дядюшка Мичо, твоя герцеговинская искра останется только искрой, и ничего из нее не получится... Слушай, что я скажу: Турция будет нами владеть и в этом году, и в будущем, и через сто лет, а мы до самой своей смерти будем обманывать себя твоими пророчествами.

— Шийков! — заорал разъяренный Мичо.— Если твоя пустая башка ничего не смыслит в этих делах, так и молчи! Такой скотине, как ты, сколько ни долби, все равно ни черта не поймешь.

Начиналась ссора, но появление Стефчова прервало ее и положило конец крамольным разговорам о падении Турции.

XIX. ОТКЛИКИ

Снова наступила тишина. Присутствие Стефчова стесняло завсегдатаев кофейни. Он сел, поздоровался кое с кем и с торжествующим видом стал прислушиваться... Стефчов полагал, что

прерванный разговор касался пеких пасквилей на Огнянова и Соколова, во множестве разбросанных всюду в прошлую ночь. Но никто и не заикнулся об этом, то ли потому, что о пасквилях ничего не знали, то ли потому, что отнеслись к ним с презрением.

Рассерженный Мичо ушел. За ним еще несколько человек вышли из кофейни.

В это время вошли двое новых посетителей. Это были Огнянов и Соколов. Как только они сели, Хаджи Смион обратился к первому:

— Граф, не покажешь ли к рождеству еще какую-нибудь комедию?

— «Геновева» — не комедия, а трагедия,— поправил его господин Фратю.— Комедией называется смешной спектакль, а трагедией — спектакль, в котором есть трагические, душещипательные сцены... Пьеса, которую мы сыграли,— это трагедия... Моя роль была трагической ролью...— объяснял многознающий господин Фратю.

— Знаю, знаю, сколько я их насмотрелся в Бухаресте! А как хорошо ты сыграл сумасшедшего! Не сглазить бы тебя, Фратю, но я все-таки скажу: ты был совсем сумасшедшим... Очень тебе помогли волосы,— похвалил его Хаджи Смион.

В разговор вмешался Иванчо Йота, который только что вошел.

— Не о театре ли речь ведете? — спросил он.— Я в прошлом году был в театре в К., когда играли... не помню что... ах, да — «Ивана-разбойника».

— «Иванко-убийцу»,— поправил его господин Фратю.

— Ну да, убийцу... Только наша пьеса лучше кончается... Моя Лала всю ночь бредила. Кричит: «Голос! Голос!» — словно какая припадочная, а сама вся дрожит от страха.

Весьма польщенный, господин Фратю горделивым взглядом окинул компанию.

— Да, да, я потому и прошу Графа снова показать нам комедию... Вот будет хорошо, ей-богу!.. Только песню пускай споют другую,— начал было Хаджи Смион, но вдруг спохватился, что косвенно порицает песню, спетую после спектакля, и в смущении принялся шарить у себя по карманам.

— «Геновева» — не комедия, а трагедия,— повторил господин Фратю строгим тоном.

— Да, да, трагедия... одним словом — театр.

— Ну нет, это была комедия: она вызывала смех,— откликнулся из своего угла Стефчов с ехидной усмешкой.

Огнянов, прервав свою беседу с Соколовым, проговорил:

— Боюсь, Хаджи, как бы меня опять не осрамили...

Стефчов не отрывал глаз от газеты, которую держал в руках.

— Кто тебя осрамит? Никто не может тебя осрамить! — пробурчал дед Нистор.— Покажи нам опять «Геновеву» — дети только о ней и говорят. В тот день наша Пенка лежала больная, а теперь только и твердит: «Папа, хочу «Геновеву», «Геновеву» хочу!»

— Хорошо, дед Нистор: да боюсь, не освистали бы меня,— проговорил Огнянов, бросив быстрый взгляд на Стефчова,— ведь это неприятно.

— Особенно, когда свист исходит из навозной кучи,— язвительно добавил Соколов.

Чуть не задохнувшись от злости, Стефчов побагровел, но не решился отложить газету. Он боялся Огнянова и под его презрительным взглядом чувствовал себя очень нехорошо. А глаза Огнянова загорелись угрожающим огнем.

— И я тебя поддержу, дед Нистор,— сказал Чоно Дойчинов,— я тоже хочу посмотреть «Геновеву»... Только Голоса пускай играет Кирпак, эта роль больше ему подстать; Фратю, тот хоть и хвастушишка, а божий человек; напрасно его люди ругали.

Стефчов покраснел до ушей от этого простодушного, но ядовитого комплимента, который задел и господина Фратю.

Огнянов и Соколов невольно улыбнулись. Улыбнулся и Хаджи Симон, хоть и сам не знал почему.

Подняв глаза, Стефчов раздраженно посмотрел на Огнянова и Соколова.

— Да, я надеюсь, что Огнянов из Лозенграда скоро покажет нам и трагедию,— сказал он, стараясь говорить спокойно, хотя голос его дрожал от злости.— Он может быть уверен, что на этот раз никто не будет смеяться — и меньше всего он сам.

Стефчов сделал ударение на слове Лозенград. (Огнянов говорил, что родился в этом городе). Заметив это, Огнянов немного изменился в лице, но отозвался спокойно:

— Когда за кулисами находятся такие опытные манипуляторы, я хочу сказать — шпионы, как Стефчов, не мудрено, если все превращается в трагедию.

И он презрительно посмотрел на Стефчова. Соколов дернул товарища за рукав.

— Не трогай его, а то вонь еще хуже будет,— прошептал он.

— Терпеть не могу подлецов! — проговорил Бойчо достаточно громко, чтобы его услышал Стефчов.

И в эту минуту он увидел, что у открытой двери кофейни стоит Мунчо. Дурачок уставился на Огнянова и дружески улыбался ему, кивая головой. Сейчас лицо у юродивого было необычайно кротким, добрым и счастливым. Бойчо и раньше замечал, что Мунчо всегда смотрит на него пристально и с любовью, но не мог понять, чем объясняется столь сильная привязанность. Сейчас, когда их взгляды встретились, лицо Мунчо расплылось в еще более блаженной улыбке, а глаза заблестели от необъяснимого и бессмысленного восторга. Он вошел в кофейню, не спуская глаз с Огнянова, и, улыбаясь во весь рот, крикнул протяжно:

— Русс-и-ан!..— и несколько раз провел пальцем по шее, показывая, как отрезают голову.

Все посмотрели на него с удивлением.

Удивлен был и Огнянов, хотя Мунчо не впервые делал ему такие знаки.

— Граф, что тебе сказал Мунчо? — посыпались вопросы.

— Не знаю,— ответил Огнянов, улыбаясь,— он меня очень любит.

Мунчо, как видно, заметил общее недоумение и, чтобы лучше объяснить, почему он восхищается Огняновым, окинул все общество торжествующе-тупым взглядом и, показав пальцем на Огнянова, крикнул еще громче:

— Русс-и-ан!..— Потом махнул рукой куда-то в сторону севера и стал еще усерднее пилить себе горло указательным пальцем.

Этот жест, повторенный дважды, привел в смущение Огнянова. Он заподозрил, что произошла роковая случайность, и Мунчо каким-то образом узнал о происшествии на мельнице деда Стояна, а может быть, и видел его. Волнуясь, Огнянов взглянул на Стефчова, но быстро успокоился, заметив, что тот отвернулся и шушукается с соседом, не обращая внимания на Мунчо.

Вскоре Стефчов встал, отпихнул Мунчо от двери и вышел, бросив на Огнянова злой и мстительный взгляд.

Он весь кипел от злости. Столько раз уже Огнянов задевал его самолюбие, но отомстить ему никак не удавалось. Стефчову не терпелось отплатить врагу, но, опасаясь открытой борьбы с Бойчо, он действовал исподтишка. Пение революционной песни на спектакле дало ему в руки оружие против Огнянова, но, как мы уже видели, и на этот раз коса нашла на камень. Бей не мог

допустить, чтобы Огнянов решился петь революционную песню в присутствии начальства, и потому не поверил Стефчову. А тот решил, что настаивать неблагоразумно. Зато Стефчов разнюхал кое-что другое: три дня назад он был в К. и там случайно узнал от одного лозенградца, что никаких Бойчо и никаких Огняновых в Лозенграде никогда не было. Стефчов увидел в этом нить, способную привести его к новым открытиям. Судя по всему, под именем Бойчо Огнянов скрывается кто-то другой, и скрываться у него есть причины. Он водит дружбу с доктором Соколовым, чьи мятежные настроения уже давно не секрет. Этих двух людей, вероятно, что-то связывает, но что именно? Нет, тут дело нечисто, это ясно... Так, переходя от одного предположения к другому, Стефчов инстинктивно почувствовал, что Огнянов имеет отношение и к таинственному происшествию на Петкашовой улице, которое до сих пор казалось какой-то мистификацией. Огнянов приехал в Бяла-Черкву как раз тогда, и тогда же тут началось брожение умов, которому сам он, однако, по-видимому, остался чужд. Решив разгадать эту загадку, Кирпак взялся за дело со всем упорством и страстностью, с какими способна ненавидеть злая и завистливая душа... Новые роковые обстоятельства пришли ему на помощь в его тайной борьбе против Огнянова.

XX. ТРЕВОГИ

Тучи сгущались над головой Огнянова. Но он ни о чем почти не подозревал. Всегда уверенный в себе, он после шести месяцев спокойной жизни в Бяла-Черкве сделался совершенно беззаботным человеком. Дела поглощали его целиком, и ему было просто некогда думать о таких пустяках, как личная безопасность. Из всех человеческих чувств страх был наиболее чужд его душе. Нельзя также забывать о той светлой призме, сквозь которую он смотрел на мир,— о его любви к Раде.

Впрочем, сейчас Огнянову стало немного не по себе, и, выйдя из кофейни, он спросил доктора:

— Как ты думаешь, за угрозами Стефчова скрывается что-нибудь серьезное?

— У Стефчова на тебя зуб, и он такой негодяй, что давно уже подложил бы тебе свинью, если б мог. Он не ограничился бы одними разговорами.

— А этот Мунчо? Что означают его выходки? Все это начинает меня бесить.

Доктор засмеялся.

— Брось! Ну что с него взять?

— Да, конечно, все это чепуха; но Стефчов, Стефчов... уж не разузнал ли он что-нибудь?

— Что он может узнать? Скорей всего это Хаджи Ровоама наплела ему про нас. Сам знаешь, сплетница и часа не может прожить без вздорных измышлений.

— Так-то так, но она опасная ведьма и способна нюхом учуять то, что другому надо увидеть воочию или услышать своими ушами. Стефчова она науськивает, а Раду тиранит...

— Помнишь, какой она распустила слух? Болтала, будто ты шпион! Говорю тебе, все это вздор.

— Но о тебе она говорила другое — правду говорила... Впрочем, надо признать, что бабьи сплетни — это больше по ее части... Да, ты знаешь, завтра Стефчов засылает сватов...

Доктор изменился в лице.

— К Лалке?

— Да.

— Как ты узнал?

— Мне Рада сказала... Разумеется, это дело рук Хаджи Ровоамы. Сватами будут Хаджи Симон, этот вездесущий хамелеон, и Алафранга.

Доктор не мог скрыть своего волнения. Он зашагал еще быстрее. Огнянов удивленно посмотрел на него.

— Доктор, а ты мне не говорил, что сердце твое несвободно.

— Я люблю Лалку,— хмуро отозвался Соколов.

— Она это знает?

— И она меня любит... или, вернее, я нравлюсь ей больше, чем Стефчов. Не думаю, чтоб ее чувство было очень глубоким.

И доктор невольно покраснел.

— К твоему счастью или несчастью, оно глубже, чем ты думаешь, это я точно знаю,— сказал Огнянов, участливо глядя на друга.

— Откуда ты знаешь? — спросил доктор.

— Слышал от Рады: ведь они подруги. Лалка раскрывает ей всю душу. Ты не представляешь себе, сколько слез она пролила, когда тебя увезли в К., и как радовалась, когда ты освободился. Рада все это видела.

— Она — невинное дитя,— глухо проговорил доктор,— она умрет, если ее отдадут за этого...

— Почему же ты не сватался к ней до сих пор? — участливо спросил Огнянов.

Доктор удивленно посмотрел на него.

— Разве ты не знаешь, что ее отец видеть меня не хочет?

— Тогда укради ее!

— Теперь? Когда мы готовимся к восстанию? Быть может, оно вспыхнет только через два года, но, может быть, и завтра, кто знает. В такие неспокойные времена я и думать не могу о женитьбе... К тому же грех навлекать беду на голову девушки.

— Что правда, то правда,— задумчиво проговорил Огиянов,— потому то и я не женюсь на Раде, хотя мог бы этим избавить бедную сироту от многих тяжких горестей и дать ей счастье... Какое у нее сердце, у этой прелестной девушки!.. Но она убивает себя, бедняжка, связывая свою судьбу с моей.

И лицо Огиянова омрачилось.

Доктор не мог отдать себе вполне ясный отчет в своих чувствах к Лалке. Он сказал, что не решается свататься к ней в это беспокойное время, но это было не совсем верно. Истинная любовь не боится опасностей и не знает преград. Правда, он испытывал нечто похожее на любовь к дочке Юрдана, но пока это было лишь слабое чувство,— не страсть, а расположение, возникшее случайно и не пустившее еще глубоких корней. Человек темпераментный, ведущий рассеянную, веселую жизнь, доктор не был способен горячо привязаться к кому-нибудь одному. Его сердце было поделено между женой бея,— если, конечно, верить молве,— Клеопатрой, Лалкой, революцией и кто знает чем еще. Но сейчас, когда он узнал от Огиянова о чувстве Лалки, сладостно и сильно польстившем его самолюбию, и о грозившей ей беде, сердце его неожиданно сжалось от боли. Ему показалось, что он всегда был влюблен в Лалку и не в силах жить без нее. То ли в нем пробудился эгоизм,— а это чувство глубоко укоренилось в человеческой натуре,— то ли вспыхнула искренняя и пламенная страсть, но так или иначе он был совершенно подавлен мыслью, что Лалка навсегда потеряна для него. Нельзя ли как-нибудь оттянуть помолвку? Устранить соперника? Спасти Лалку? Эти вопросы можно было без труда прочитать на помрачневшем лице Соколова.

Огиянов понял все. Страдания доктора и судьба Лалки возбудили в нем горячее сочувствие.

— Я вызову его на дуэль, этого шелудивого пса! Я должен его убить!.. Иначе он начнет убивать других! — вспыхнул вдруг Огиянов.

Друзья шли мрачные.

Огиянов внезапно остановился.

— Хочешь, я ему скажу, чтобы он и думать о ней не

смел? — проговорил он с решительным видом.— Хочешь, дам ему пощечину в кофейне при всех?

— Он проглотит ее, как глотает все прочее. Ведь у него ни стыда, ни совести... Да это и не поможет.

— По крайней мере, я его опозорю.

— Для Юрдана Диамандиева пощечина не позор.

— Но девушка все узнает!

— Лалку не спрашивают, да и сама она преклоняется перед волей отца,— с грустью проговорил доктор и подал руку приятелю.

— Уходишь? Вечером пойдем к попу Ставри?

— Мне что-то не хочется. Иди один.

— Нет, надо пойти. Слово дали. Поп Ставри, конечно, звезд с неба не хватает, но он человек честный... Там, быть может, и придумаем что-нибудь.

— Ну, хорошо, зайди за мной, я буду ждать тебя дома.

И друзья разошлись.

Огнянов пошел в школу. В учительской сидел один лишь Мердевенджиев, погруженный в чтение турецкой книги. Огнянов не поздоровался с ним. С первых же дней их знакомства ему было противно смотреть на человека, который в одной руке держал псалтырь, а в другой турецкую хрестоматию — два аттестата, свидетельствующие о том, что умственные способности у него сомнительные. После его письма к Раде неприязнь Огнянова к певчему перешла в отвращение, и оно стало еще сильнее, когда он увидел, как тот заискивает перед Стефчовым. Закурив папиросу, Огнянов, окутанный клубами дыма, быстро шагал взад и вперед по комнате, обдумывая свой разговор с доктором и не обращая внимания на певчего, сонно склонившегося над книгой. Внезапно он увидел на столе свежий номер газеты «Дунав»; в Бяла-Черкве ее выписывал один лишь Мердевенджиев за ее сообщения о Турции. Огнянов рассеянно просмотрел сообщения о Болгарии и уже хотел было бросить газету, как вдруг на глаза ему попался заголовок, напечатанный крупными буквами. Пораженный, он прочитал следующее:

«Побег из Диарбекирской крепости. Иван Кралич, родом из Видина, Дунайской области, 28 лет, высокого роста, глаза черные, волосы вьющиеся, лицо смуглое, осужденный за участие в волнениях 1868 г. на пожизненное заключение в Диарбекирской крепости и бежавший из нее в марте сего года, опять находится во владениях его императорского величества и разыскивается властями, которым по этому случаю даны необходимые указания. Верноподданные султана обязаны под стра-

хом строгой кары за неповиновение сообщить о вышеуказанном беглом преступнике, как только его опознают, и передать его в руки законных властей, дабы он понес заслуженное наказание в соответствии со справедливыми императорскими законами».

При всей своей выдержке Огнянов не смог сохранить спокойствие в присутствии чужого человека: он изменился в лице, губы его побелели. Слишком уж велика была неожиданность. Он метнул взгляд на Мердевенджиева. Певчий все так же неподвижно сидел за книгой. Он, вероятно, не заметил, как волнуется Огнянов, да вряд ли обратил внимание и на газетную заметку, которая сама по себе не представляла никакого интереса. Эти успокоительные предположения до некоторой степени вернули Огнянову хладнокровие. Первой его мыслью было уничтожить опасную улику.

Поборов отвращение, Огнянов унизился до разговора с певчим.

— Мердевенджиев,— сказал он спокойно,— вы, наверное, уже прочли газету? Дайте ее мне; хотелось бы просмотреть ее дома. В «хронике» много интересного.

— Нет, я еще не читал ее. Но все равно, возьмите,— лениво ответил певчий и снова уткнулся в книгу.

Огнянов вышел, унося с собой этот единственный в Бяла-Черкве номер «Дунава», таивший в себе такую зловещую угрозу.

XXI. КОЗНИ

И сегодня, в кофейне, Кирчак Стефчов бежал с поля боя, как убегал в других случаях, но на сей раз твердо решив вернуться и с новой силой броситься на противника.

Лютая ненависть к Огнянову, разгоревшаяся после ряда столкновений, заглушила в его душе те немногие ростки добра, что едва пробивались сквозь густой бурьян низких инстинктов.

В кофейне ему на этот раз пришла в голову жестокая мысль погубить своего врага, предав его. А для этого он располагал всеми необходимыми данными и средствами. Стефчов уже давно по мелочам интриговал против Огнянова и клеветал на него, но это не помогало,— Огнянов всегда выходил победителем и еще больше вырастал в глазах людей. В этом Стефчов окончательно убедился на представлении «Гяновевы», когда публика вступилась за Огнянова. Будь на месте Стефчова Михалаки Алафранга, он совершил бы предательство со спокойной совестью, уве-

решный в том, что делает доброе дело. Но Кириак при всей своей испорченности все-таки понимал, как гнусно то, что он задумал, и тем не менее был не в силах удержаться. Бешеная жажда мести сжигала его. И он решил действовать, но так, чтобы люди не догадались, кто предатель.

«Да, фамилия этого бродяги не Огнянов,— думал Стефчов,— и родом он вовсе не из Лозенграда, это первое; во-вторых, на Петкапчовой улице гнались за ним, и крамольные листовки принадлежали ему. Хаджи Ровоама права,— доктор Соколов в этот час действительно был у турчанки... На это намекнул и наш Филю, полицейский. Турчанка и листовки припрятала. Но как она ухитрилась? Не знаю. В-третьих... впрочем, скоро мы узнаем то, что в-третьих. И это самое страшное, это его доконает, и он попадет уже не в Диарбекир, а на виселицу... Я уничтожу этого подлеца!»

Стефчов шел в женский монастырь: там он назначил встречу Мердевенджиеву.

— Ты была права, госпожа,— сказал он Хаджи Ровоаме, войдя в ее келью.

— Благослови тебя бог, Кириак, а я-то думала, что маленько ошибаюсь,— шутливо ответила монахиня, прекрасно понимая, о чем идет речь.— Куда ты так спешил? Пыхтишь, как поддувало!

— Поругался с Огняновым...

— Этот чертов сын и нашей простушке Раде голову заморочил...— вскипела монахиня.— Учит ее каким-то крамольным песням... И откуда только взялась эта зараза? До того дошло, что старухи и те распевают бунтарские песни... Весь свет задумали перекроить, все хотят разрушить и сжечь!.. Одни собирали всю жизнь, как муравьи, выпрашивали, копили, наживали, а другие вздумали все разом превратить в прах и пепел. И были бы хоть люди как люди! А то ведь сопляки... И наша Рада с ними! Пресвятая богородица, скоро и она будет не лучше Христины, и она будет прятать мятежников, и над ней будут измываться даже цыгане... А что было на днях? Что это за гнусные песни распевали на спектакле? Турки-то спят, что ли?

— Я рассорился с Огняновым и наконец решил стереть его в порошок,— начал Стефчов сердито, но, вспомнив, что на болтливую монахиню нельзя положиться, оборвал речь и сказал: — Впрочем, все это дело полиции, ей и карты в руки... Только прошу вас, госпожа, молчок!

— Ты же знаешь меня...

— Знаю, потому и говорю: молчок!

На крыльце послышались шаги. Стефчов выглянул в окно и очень довольный проговорил:

— Мердевенджиев идет!.. Ну, что скажешь? — спросил он певчего, когда тот быстрыми шагами вошел в комнату.

— Мышка в мышеловке! — ответил Мердевенджиев, разматывая шарф.

— Как? Сам выдал себя?

— Весь побледнел, позеленел и задрожал... Он и есть!

— А что он сказал?

— Попросил у меня газету... Это в первый раз,— раньше он презирал ее не меньше, чем меня...

Стефчов вскочил и всплеснул руками.

— В чем дело? — спросила Хаджи Ровоама, ничего не понимая.

— Неужели он не догадался, что это ловушка? — проговорил Стефчов.

— Нет. Я сделал вид, будто углубился в чтение и ничего не замечаю, а на самом деле видел все. Медведь спит, а ухо держит востро,— добавил Мердевенджиев гордо.

— Браво, Мердевен! И с пасквилями ты справился,— написаны мастерски. Тебе бы редактором быть!

— Так вы уж не оставьте Мердевена... Местечко освобождается... Похлопочите за меня.

— Будь спокоен, похлопочу.

Певчий поблагодарил Стефчова на турецкий манер — приложив руку к груди.

— Я и с Поповым думаю свести счеты... Смотрит на нас, как бык, и к тому же — сторожевой пес Кралича.

— Какого Кралича? — спросила Хаджи Ровоама, удивляясь тому, что первый раз в жизни она чего-то не знает.

Занятый своими мыслями, Стефчов не отвечал ей и рассеянно смотрел в окно.

— Да, а ты знаешь, что вчера попечители приходили в школу? — снова начал Мердевенджиев.

— Кто именно?

— Все... Михалаки предложил уволить Кралича, но остальные встали на его защиту. Марко Иванов больше всех старался... Сделали ему только замечание за песню, и все. Словом, вышел сухим из воды.

— Марко души не чает в этом Краличе, но когда-нибудь он за это поплатится... И что он суется не в свое дело?

— А Мичо?

— Мичо тоже стоит за Огняпова.

— Понятно! Ворон ворону глаз не выклюет. Мичо на каждом шагу поносит правительство, а Марко поносит турецкую веру.

— Покатился горшок, да попал в мешок,— пробормотала Хаджи Ровоама.

— А Григор? А Пинков?

— И они под их дудку пляшут.

— Пусть меня черти возьмут, если я не закрою эту их школу!.. Пусть там кричат только совы да филины ухают! — кричал разъяренный Стефчов, бегая взад и вперед по келье.

— Правильно. Свяжи попа, и приход смирится,— отозвалась монахиня.— Все развратные и бунтовщические песни из этих школ вышли... А кто же все-таки этот Кралич?

— Кралич — это королевич, будущий король Болгарии,— отшутился в ответ Стефчов.

Мердевенджиев взял свой фес и открыл дверь.

— Не забудь, пожалуйста, о моем дельце, Кириак! — попросил он, выходя из комнаты.

Бедняга певчий думал, что все кончится увольнением Огнянова, место которого он мечтал занять.

— Сделаем — своя рука владыка.

Стефчов остался, чтобы поговорить наедине с монахиней о другом важном деле — своем сватовстве к Лалке... В конак он отправился, когда сумерки уже сгустились.

На Пиперковой улице ему повстречался Михалаки Алафранга.

— Ты куда, Кириак?

— Знаешь новость? «Дунав» окончательно сорвал маску с Огнянова и показал его таким, какой он есть! Оказывается, из Диарбекира бежал заключенный, и его всюду разыскивают... Могу поклясться, что это он, Огнянов... Живет под чужим именем.

— Что ты говоришь, Кириак? Так, значит, он опасный человек, из-за него могут пострадать и невинные люди... Недаром я вчера предлагал его выгнать,— такой учитель нам не ко двору... Ты куда идешь? Расскажи обо всем бею, пусть примет меры...

— Не мое это дело, у меня и газеты-то нет, она у Мердевенджиева. Это он все знает...— схитрил Стефчов, стремясь заранее отвести от себя подозрения в предательстве. О певчем он упомянул умышленно, чтобы потом все свалить на него.

— Расскажи, расскажи бею: окажешь большую услугу обществу,— повторил Михалаки совсем просто и естественно, так

же, как сказал бы Стефчову, что на базаре появилась хорошая рыба, и посоветовал бы купить ее.— Ну, а завтра мы с Хаджи Симеоном идем к деду Юрдану... Уже можно поздравить тебя. Дело в шляпе.

И Михалаки пожал руку Стефчову.

— Спасибо, спасибо.

Уже настала ночь. Стефчов и Михалаки пошептались еще немного и разошлись в разные стороны.

Стефчов тронулся в путь, напевая турецкую любовную песню. Он шел в конак.

XXII. В ГОСТЯХ У ПОПА СТАВРИ

Когда совсем стемнело, Соколов и Огнянов направились к дому попа Ставри, стоявшему на самой окраине города.

Друзья молча шли по темным улицам. Оба о чем-то задумались. Огнянов уничтожил номер газеты «Дунав», единственный экземпляр в городе, и это его немного успокоило. К тому же и в поведении Мердевенджиева он не заметил ничего угрожающего. Зато сам он почувствовал себя готовым к поступкам самым дерзким, доходящим до безрассудства. Так всегда бывает с тем, для кого опасность и риск стали родной стихией. Но все же легкое облачко сомнения омрачало душу Огнянова. Доктор был озабочен еще больше...

Чем дальше они отходили от центра города, тем меньше им встречалось прохожих. Тесные, кривые улички были безлюдны и безмолвны. Только собаки лаяли все громче и чаще.

— Смотри-ка, кто это там? — проговорил доктор, указывая на человека, притаившегося у ограды.

Человек мгновенно бросился бежать прочь.

— Ага, испугался! Давай-ка догоним его и спросим, почему он не хочет услышать от нас «добрый вечер»,— сказал Огнянов и погнался за незнакомцем.

Доктор, погруженный в свои тяжкие думы, не был расположен бегать взапуски, но все-таки побежал тоже.

Незнакомец улепетывал во всю прыть. Должно быть, совесть у него была нечиста, а может быть, он принял их за людей сомнительных. Вскоре он оставил преследователей далеко позади,— ведь если дерзание окрыляет плечи, то страх окрыляет ноги. Огнянов и Соколов поняли, что им не угнаться за незнакомцем. А тот юркнул в какие-то ворота и точно сгинул. Друзья рассмеялись.

— С какой стати мы вздумали гнаться за этим бедягой? — проговорил доктор.

— Я заподозрил, что это один из приспешников Стефчова — они по вечерам разбрасывают пасквили. У меня давно уже руки чешутся.

Соколов шел, все так же задумавшись.

— Доктор, куда тебя несет? Вот попов дом! — крикнул ему вслед Огнянов и постучал в калитку.

Рассеянный доктор вернулся.

Калитка открылась, и за нею появилась темная фигура хозяина.

— «Толците, и отверзется вам!» Доктор! Граф! Входите! — весело приветствовал их поп Ставри.

Как мы уже говорили, за Огняновым сохранилось прозвище «Граф»; один лишь бей называл его «консулом». Супруг Геновевы вызвал всеобщее сочувствие на спектакле, и оно перешло на Огнянова в жизни. Дети окружали его с криками: «Граф! Граф!» — и бежали к нему, чтобы он погладил их по голове. В первые дни знакомства старик священник недолюбливал Огнянова, но после спектакля Стефчов потерял в нем союзника.

Из окна, выходящего на галерею, доносились звуки флейты. Поп Ставри привел друзей в большую комнату, где собралось уже много гостей. Среди них были Кандов, Николай Недкович и слепой Колчо. Все обменялись приветствиями с новыми гостями. Сын хозяина, Гапчо, приятель Огнянова, принес еще водки и закуски — мелко нарезанные маринованные овощи, политые оливковым маслом и щедро посыпанные красным перцем. Флейта умолкла.

— Колчо, сыграй еще! — попросил Николай Недкович.

Колчо снова поднес флейту ко рту и мастерски сыграл несколько европейских мелодий.

— А ну, дайте-ка водочки и закусочки, чтобы флейта лучше звучала: забыли вы про меня! — проговорил Колчо, перестав играть.

— Правильно, Колчо. «Кто просит, тот себе приносит»,— заметил поп Ставри.

Огнянов молча налил и подал слепому водки. Тот тронул его за руку и узнал.

— Огнянов, да? — проговорил он.— Спасибо... Все называют вас Графом, а вот мне один пустяк помешал увидеть вас в этой роли.

Гости переглянулись, улыбаясь.

— Колчо, спой нам монашескнй тропарь!

Колчо сделал торжественное лицо, откашлялся и начал:

— Благослови, господи, праведниц твоих: госпожу Серафиму и кроткую Херувиму; черноокую Софию и белолицую Рипсимию; толстую Магдалину и сухопарую Ирину; госпожу Парашкеву — незлобивую деву и Хаджи Ровоаму — безгрешную мадаму...

Колчо перебрал всех обитательниц местного женского монастыря и каждой дал характеристику, прямо противоположную действительной.

Вся компания громко хохотала.

— Пожалуйте к столу! Нечего смеяться над Христовыми невестами! — шутливо ворчала попадья.

Гости уселись за стол, на котором вместо салфеток лежало длинное полотенце.

Поп Ставри благословил трапезу, и гости отдали ей заслуженную честь,— все, кроме Соколова, который все еще не мог успокоиться. Перед хозяином стояла исполинская бутыль с янтарным вином, и он, не скупясь, разливал эту благодать.

— Вино веселит сердце человека и тело укрепляет! — воскликнул он по-русски, доливая стаканы.— Граф, пей! Николчо, за твое здоровье! Давай, Кандов, опрокидывай, ты же «русский»! Доктор, хлебни как следует! Это ведь не лекарство, это дар божий. Колчо, промочи горло, чадо мое, потом спой еще нам румынскую: «Лина, Лина...»

Так потчевал развеселившийся поп Ставри своих гостей, то утоляя, то возбуждая их жажду, а стаканы звенели, скрещиваясь, мелькали в воздухе, и казалось, будто они танцуют кадриль.

После ужина все беседовали еще оживленнее и — на самые разнообразные темы. Разумеется, вскоре зашла речь о «Геновеве», о том, как Стефчов пытался освистать Огнянова, и поп Ставри осудил Стефчова. Огнянов искусно перевел разговор на более безобидную почву, заговорив о том, какое вино будет лучшим в этом году. Поп Ставри, как рыба в море, почувствовал себя в родной стихии и со знанием дела перечислил качества вин всех местных виноградников. А про Пиклиндольское вино сказал, что это — всем шампанским шампанское...

— Оно греет, как солнце, и сверкает, как золото; оно желтое, как янтарь, и острое, как бритва. От такого вина помолодел пророк Давид... Десять капель этого вина превращают человека в философа, пятьдесят — в царя, а сто — в святого!

Поп Ставри говорил с таким восторгом, что у любого самого

строгого постника слюнки бы потекли. Увлекшись, старик присвистнул от восхищения, и на столе погасла свеча.

— Зажгите ее скорей! — попросил он.

— Поп Ставри, у тебя есть три сокровища,— сказал Колчо,— священство, подсвечник и свеча, но, по правде сказать, я сейчас ни одного из них не вижу...

— А у тебя что есть, чадо мое? — спросил священник, не поняв тонкой шутки.

— А у меня ни кола, ни двора, всего и богатства, что зовут меня — Колчо!

Эти остроты рассмешили всех.

Вскоре разговор стал общим. Но вот с улицы донеслась веселая песня. Вероятно, пел какой-нибудь голосистый молодой парень:

Кто купил ожерелье тебе,
Свет наш, Милка Тодоркина,
Ожерелье жемчужное?

— Купил его Кирпак мой
Для моей для белой шеи,—
Мне носить, ему дивиться!

— Кто купил эту юбку тебе,
Свет наш, Милка Тодоркина,
Эту юбку атласную?

— Купил ее Кириак мой
Для стана моего тонкого,—
Мне носить, ему дивиться!

Певец прошел мимо, и песня замерла в конце улицы. Разговор перешел на Милку Тодоркину, соседку попа Ставри. Милка была красивая, но распутная девушка; в городе о ней рассказывали разные разности, и ее слава росла с каждым днем, на радость болтливым сплетницам. Недавно о Милке и песню сложили. А соседи ее постоянно ворчали. Им было не по нутру, что под боком у них такой соблазн,— ведь дурные примеры заразительны. Люди советовали Милкиным родителям обвенчать ее с Рачко Лиловым, сыном медника, который был от нее без ума. Но его родители не соглашались. Кто же захочет отдать свое чадо подобной сердцеедке?

— Почему этот Лило-медник и слышать не хочет о Милке? — спрашивала попадья.— На ком же он собирается женить своего рябого Рачко? Уж не думает ли он, что за его сынка пойдет дочь какого-нибудь чорбаджии или боярышня? Милка — девушка молодая, красивая... Ну, грешила, оступалась по глупо-

сти, так ведь поумнеет же она когда-нибудь! Ум приходит с годами... Уж если они любят друг друга, пусть и поженятся. Будут жить да поживать в любви и в согласии, как бог даст. Чего бы лучше?

— Дура девчонка, что и говорить,— вмешался поп Ставри,— да ведь и ее искушают со всех сторон: что ни волокита — за ней волочится, что ни песня — про нее сложена... Ничего не поделаешь! Люди из мухи делают слона, из муравья — льва! Так вот и получилось, что про Милку худая слава пошла... Я говорил ее отцу: «Подстереги ты этого сукина сына Рачко, когда он придет к девушке, да и обвенчай их немедля, вот и делу конец». Фата все покроет.

— А ведь еще недавно ходил слух, будто сын чорбаджи Стефана сватался к Милке; правда это? — спросила одна гостья.— Тогда она еще берегла свою честь.

— Кого только к ней ни пристегивали!.. Вот и потеряла свое доброе имя,— сказала другая.

— А вы знаете, Киriак Стефчов собирается засылать сватов к Лалке, Юрдановой дочери,— отозвалась третья.

Эти слова пронзили доктора, точно острым ножом.

— Как же, как же — у Стефчова глаза разгорелись на богатое приданое,— подтвердил хозяин.

— А Милке нравится Рачко? — спросил Огнянов, чтобы переменить разговор.

— Я же вам говорю! Он ходил к девушке тайком,— значит, полюбились друг другу... Ну и нечего канителиться, скорей под венец, вот и сплетням конец. Ох, Иисусе Христе, прости, господи, согрешишь тут с этими мирскими соблазнами... А завтра праздник — андреев день... Ганчо, налей еще нижнепреченского винца, а то у нас глотки пересохли... Анка, Михалчо, пора спать. Вы еще маленькие.

Дети встали и ушли, очень недовольные: их живо интересовал разговор о Милке Тодоркиной.

— По-моему, нужно дать этой Милке свободу выбора: зачем принуждать ее венчаться? — сказал Кандов.

Поп Ставри смерил его взглядом.

— Как же не венчаться? — проговорил он в недоумении.

— Пусть дадут ей свободу, нельзя же лишать ее человеческих прав,— говорил студент с жаром.

— Какую свободу? Свободу выставлять свое грязное бельe напоказ? Не пойму я тебя.

— Странное у вас представление о правах человека,— заметил Николай Недкович.

— Раз она не стесняет свободы других, пусть живет, как ей нравится: ничего дурного в этом нет! — объяснил Кандов.

— А если у нас будет самолучшая,— тоже скажешь «ничего дурного»? — спросил поп Ставри.

— Какая «самолучшая»?

— Ну, республика! — терпеливо объяснил хозяин.

Кандов посмотрел на него в недоумении.

Недкович шепотом объяснил ему, какое значение произвольно придавал старик этому слову.

— Тут все дело в принципе,— уверенным тоном начал Кандов.— Передовые идеи нашего либерального века требуют освобождения женщины от рабского подчинения мужчине — наследия варварских времен.

— Что же тогда получится? — спросил поп Ставри, ничего не поняв.

Повернувшись к Огнянову и Недковичу, Кандов продолжал:

— Современная наука признала, что способности у мужчин и женщин одинаковые, а значит, женщина должна быть уравнена в правах с мужчиной. До сих пор она была жертвой целого ряда глупых предрассудков, которые сковывали ее волю; она задыхалась под унизительным бременем тирании и животных инстинктов мужчин! Люди придумали множество законов и всяких формальностей, чтобы мешать каждому ее шагу!..

Кандов говорил искренне. Он был честный человек, но наглотался без разбору утопических теорий разных социалистических доктринеров, и это спутало его понятия об истине и лжи; трескучие слова и модные закругленные фразы затмили для него реальную правду жизни; пораженный их новизной, он пытался во что бы то ни стало блеснуть ими. До сих пор Кандов жил в среде, страдающей болезненным идеализмом. Чтобы отрезветь, ему надо было побыть некоторое время в Болгарии.

— Скажите мне,— продолжал он,— что значат все эти громкие слова: целомудрие, брак, супружеская верность, святые материнские обязанности и другие подобные нелепости? Все это просто эксплуатация женской слабости!

— Точно по книге читает! — пробормотал поп Ставри себе под нос.

— Господин Кандов,— возразил Недкович,— все образованные люди сочувствуют тем идеям, которые вы высказали вначале. Но вы сейчас совершили головокружительный прыжок и впали в безумную крайность... Вы отбрасываете законы — и уже не только созданные людьми, но и законы природы: вы подры-

ваете незыблемые основы, на которых построено человеческое общество... Что произойдет, если мы уничтожим брак, семью, материнство и отнимем у женщины ее высокое призвание?

Поп Ставри, наконец-то поняв, о чем идет речь, нахмурил брови.

— Я требую ее эмансипации,— заявил Кандов.

— Прошу прощения, вы требуете ее деградации,— обернулся к нему Огнянов.

— Господин Огнянов, вы читали философов, писавших по женскому вопросу? Советую почитать...

— Кандов, Кандов, друже! — обратился поп Ставри к студенту.— А ты читал Евангелие?

— Читал... когда-то.

— Помнишь, как там сказано: «Жены, своим мужем повинуйтеся»? И дальше: «Сего ради оставит человек отца своего и матерь свою и прилепится к жене своей?»

— Я основываюсь только на истинной науке, батюшка.

— А есть ли наука более истинная, чем божья? — сердито возразил старик.— Нет, друже Кандов, выкинь-ка ты из головы все эти протестантские измышления. Брак — великое таинство. Да разве можно без брака, сынок? К чему же тогда церковь, к чему вера, к чему священники, если люди будут размножаться, подобно свиньям, без венца, без благословения божьего?

Дверь открылась, и вошел Ганчо.

— А у Милки на дворе шум и гам стоит — ужас! — сказал он.

— Что случилось? Из-за чего?

— Толком не знаю,— ответил Ганчо,— но сдается мне, что наш Рачко попался в ловушку. Со всего околотка соседи собрались.

— Если это действительно Рачко, догадываюсь, что будет дальше,— сказал поп Ставри.— Пойдем, ребята, посмотрим... Может, и батюшка там понадобится. Без попова благословения ничего не делается, что бы ни болтал наш друг Кандов...

Все гости вышли из дома.

XXIII. В ЛОВУШКУ ПОПАЛСЯ ДРУГОЙ

Надо было миновать несколько ворот, чтобы дойти до дома Милки Тодоркиной. В тесном дворике стоял гул голосов; люди толпились у крыльца. Шум нарастал. Любопытные соседи запрудили весь двор, кое-где светилось два-три фонаря. Многие

пытались увидеть в окно запертых любовников. Милкин отец кричал, мать причитала и, как вспугнутая наседка, носилась с места на место. Вскоре пришел и отец Рачко, протиснулся сквозь толпу и принялся было выбивать дверь, чтобы выручить сына... Но несколько сильных рук оттянули его назад.

— Это что за порядки! — орал он, пытаясь снова навалиться на дверь.

— Дядюшка Лило, успокойся! — крикнул ему один из соседей.— Видишь, как дело обернулось?

— Сыночек! — взвизгивала Лиловица.— Не отдам я своего сына такой дряни и мерзавке!..— И, как коршун, бросалась на тех, кто ей противоречил.

— Грех тебе, Лиловица! «Дрянь и мерзавка»! А что делает у нее твой Рачко? Давайте-ка лучше поступим по обычаю.

— Что вы с ним хотите сделать? Уж не повесить ли? За что? Или он убил кого?

И Лиловица, растрепанная и обезумевшая, снова кинулась к двери.

— Обвенчаем их как полагается!

— Не хочу я этой ведьмы в снохи!

— А сын твой хочет, его и обвенчаем...

Мать Рачко в отчаянии не знала, что делать. Она чувствовала, что этот всеобщий приговор сильнее ее.

И она начала причитать:

— Погубили мое дитя! Смерть моя пришла!.. Чума ее возьми — эту бешеную суку, что приворожила моего сына!

Толпа все увеличивалась, нарастал и шум. Среди общего гула можно было разобрать только отдельные выкрики, но все люди требовали одного:

— Венчать, венчать! И все образуется в три дня,— кричал один сосед.

— «Свяжи попа, и приход смирится»,— отзывался другой.

— Что искал, то и нашел,— говорил третий.

— Постойте, надо узнать толком: может, она его нарочно заманила?

— Парень сам хотел на ней жениться.

— Раз так, чего ж они канителятся?

— Ждут, чтобы пришел человек из конака, тогда и откроют.

— Идет! Онбаши пришел! — закричали вдруг несколько человек.

Шериф-ага в сопровождении двух полицейских протиснулся сквозь толпу.

— Обвенчать их сейчас же! — крикнул кто-то.

— Нет, сначала в баню отвести под барабанный бой, чтоб всю грязь долой,— отозвался Ганчо Паук.

— Плевое дело, ребята: худо ли, хорошо ли,— обвенчаем их тут, на месте, да пусть нас вином угостят,— сказал Нистор Летун.

— А попа позвали? — спрашивал всех Генчо Стоянов.

— Здесь я! — отозвался поп Ставри и вместе со своими гостями пробился вперед.— Не беспокойтесь, ваш батюшка знает христианский закон... Ганчо, ступай принеси мне епитрахиль и требник.

Тут дверь открыли.

— Выходите! — крикнул онбаши.

Раздались голоса: «Милка, Рачко! Выходите!» Все столпились возле онбаши. Многие вставали на цыпочки, стремясь посмотреть на парня и девушку, точно никогда их не видели. Фонари поднялись над толпой и ярко осветили открытую дверь. Первой на пороге появилась Милка. Она не подымала глаз и так растерялась, что даже не могла ответить матери, невнятно говорившей ей что-то. Только раз она подняла глаза и посмотрела вокруг испуганно и удивленно. Сейчас Милка была еще красивее, чем всегда, и быстро привлекла на свою сторону симпатии разгневанных соседей. Молодость и красота обезоружили озлобленную толпу. На многих лицах можно было прочесть, что девушку уже простили.

— Молодка выйдет, каких мало! — заметил один сосед.

— Ну уж ладно, чему быть, того не миновать... Совет им да любовь! — сказал Нистор.

Поп Ставри стоял впереди со своими гостями. Некоторые из них никогда не видели Рачко.

— Рачко, выходи и ты! — крикнул старик, подойдя к двери и заглянув в темную комнату.

— Не стыдись, родной, выходи,— говорил другой,— мы все вам простим, и батюшка благословит вас на веки веков.

Кандов повернулся к своим друзьям.

— Трудное положение,— сказал он тихо.— В такие минуты человек стареет на десять лет.

— Своеобразный народный обычай,— проговорил Недкович,— в позапрошлое воскресенье здесь таким же образом обвенчали другую пару.

— Этот обычай немного смахивает на насилие,— заметил Огнянов.

Парень все не выходил.

— Почему же он не выходит? — спросил поп Ставри Милку.— Ведь он там, внутри?

Она утвердительно кивнула головой и удивленно посмотрела на дверь.

Онбаши потерял терпение. «Выходи же!» — закричал он. Другие тоже звали Рачко. Толпа напирала на дверь. Всех охватило любопытство не менее острое, чем в театре, когда зрители ждут поднятия занавеса. Но тут занавес был уже поднят — ждали только героя. Однако он не появлялся.

Наконец онбаши решил войти в дом, а вслед за ним туда хлынула и толпа. В углу комнаты неподвижно стоял человек. Но это был не Рачко, медников сын.

Это был Стефчов.

Все замерли на месте. Онбаши отпрянул назад. Он не верил своим глазам. Не верили своим глазам и другие. Поп Ставри выпустил из рук епитрахиль; его друзья изумленно переглядывались. Соколов торжествующе смотрел на своего врага; злорадная улыбка оживила его лицо. Он упивался жгучим позором соперника. Стефчов, пристыженный, растерянный, раздавленный устремленными на него взглядами, был сам на себя не похож и в испуге озирался по сторонам. «Стефчов! Стефчов! Стефчов!» — шепотом разнеслось по толпе. Стефчов еще раз оглянулся, словно ища, куда бы ему спрятаться. В пору было хоть сквозь землю провалиться...

Как он здесь очутился? По воле рока.

В тот вечер, расставшись с Михалаки, Стефчов пошел в конак. Но, дойдя до дверей, остановился в нерешительности. Темна и жестока была душа Стефчова, но сейчас в ней вдруг пробудились и взбунтовались чувства, свойственные каждому болгарину. Он испугался того, что хотел сделать, и решил отложить выполнение своего плана до следующего утра, чтобы набраться смелости. Пройдя мимо конака, он отправился к одному своему родственнику, жившему на окраине, но не застал его дома и пошел обратно. В это-то время Кирпак и наткнулся в темноте на доктора и Огнянова; он узнал их и в безумном страхе пустился наутек: ведь на воре шапка горит. Пробегая мимо Милкиных ворот, он бессознательно толкнул калитку, чтобы найти убежище во дворе, и спрятался в густом бурьяне. Там он просидел довольно долго, но на улице все было спокойно. Какая-то женщина прошла через двор и поднялась на крыльцо. Стефчов по походке узнал Милку... Надо сказать, что когда-то он первый соблазнил ее и через некоторое время бросил. Так, от падения к падению, она и покатилась вниз, неудержимо влекомая в пропасть. В этот

день, накануне своего сватовства, Стефчов с тревогой вспомнил, что у Милки хранятся его письма, и подумал, что, узнав о его предстоящей женитьбе, она, чего доброго, воспользуется ими и ему напакостит. Его врагам нетрудно было бы натравить на него обиженную девушку. И он решил теперь же выманить у нее эти компрометирующие письма. Крадучись, он приблизился к двери и вошел в комнату своей бывшей любовницы.

Между тем Милкин отец — точнее, не отец, а отчим — наблюдал за всеми движениями человека, вошедшего во двор, так как в этот вечер подкарауливал Рачко, чтобы поступить с ним по совету соседей. В темноте он принял Стефчова за медникова сына и запер его в Милкиной комнате. Потом побежал созывать своих ближайших соседей, а за ними во двор сошлись жители со всего околотка.

. . . . . .

Онбаши тотчас же нашелся.

— Расходитесь, господа, я допрошу его милость в конаке! — сурово крикнул он толпе, а Стефчова схватил за руку.

— Зачем в конаке? Тут все и закончим! — крикнул кто-то из задних рядов, еще не зная, что вместо Рачко поймали Стефчова.

— Да это же Стефчов,— объяснили ему соседи.

— Стефчов?! Как так?

Шум нарастал.

— Ну и что ж такого, что он чорбаджийский сын? — крикнул кто-то.— Хотели женить Рачко, а теперь женим Стефчова. Что он — из другого теста, что ли?

— Венчать так венчать! — вторил ему сосед.

— Нет, эта девчонка ему не пара,— раздался голос в защиту Стефчова.

— А что он делал у нее ночью? Значит, чорбаджии вольны надругаться над девичьей честью, а законы писаны только для бедняков?

Послышалось еще несколько голосов, благоприятных для Стефчова.

— В баню, в баню! — твердил Гапчо Паук.

Огнянов обратился к онбаши:

— Слушай, Шериф-ага, уведи поскорей его милость, собралась толпа... смотрят... Нехорошо.

Позабыв о том, что Стефчов его враг, он видел перед собой только жертву, раздавленную позором. Вынести это зрелище человеческого унижения он не мог.

Онбаши подозрительно посмотрел на Огнянова.

— Брось,— дернул друга за рукав мстительный Соколов.— Тебе-то что за дело? Пусть краснеет!

Стефчов только сейчас заметил своих преследователей и, увидев, что они усмехаются, решил, что это они виновники его позора. Адская злоба закипела в его душе, и взгляд, брошенный им на Огнянова и Соколова, мог бы их напугать, если бы только они его заметили...

Онбаши вывел Стефчова из дома.

— Расходитесь!..— крикнул он.— Это вас не касается... Вы искали здесь Рачко... Иди, Стефчов!

Толпа расступилась.

— Как все это произошло? — тихо и участливо спросил Стефчова онбаши.

— Меня предали Огнянов и Соколов,— прошептал тот.

Толпа пошла за ними следом.

— Выдайте его нам, эфенди! Девушку опозорили. Что ей теперь делать? Только и остается, что помереть! — кричал Иван Селямсыз, который только что пришел.

Толпа громко роптала, но этим и ограничивался ее протест.

— Что же вы молчите? Ратуйте, люди добрые! — кричал Селямсыз громовым голосом.— Или чорбаджийский сынок Стефчов вам рты на замок замкнул?

Селямсыз с давних пор ненавидел Стефчова. Но, сколько он ни взывал к толпе, никто не откликнулся.

Кое-кто еще толкался у крыльца. Там брызгали водой на Милку, упавшую в обморок.

Несчастная девушка не вынесла всех этих волнений, и что-то сломилось в ней — навсегда.

Люди расходились недовольные.

XXIV. ДВА ПРОВИДЕНИЯ

Было утро праздничного дня. Игумен Натанаил стоял у аналоя в боковом приделе монастырской церкви, заканчивая пение тропаря. Кто-то дернул его за рукав.

Игумен оглянулся. Перед ним стоял Мунчо.

— Чего тебе надо, Мунчо? — спросил игумен, строго посмотрев на него.— Иди себе, иди,— приказал он дурачку и снова принялся за тропарь.

Но Мунчо крепко сжал его руку у локтя и не отпускал. Рассерженный игумен опять обернулся и только тогда заметил, что

Мунчо очень возбужден, дрожит всем телом и тяжело дышит, а в его лихорадочно блестящих глазах застыл ужас.

— Что случилось, Мунчо? — спросил игумен строго.

Мунчо пуще прежнего выпучил глаза, затряс головой и с величайшим напряжением проговорил:

— Рус-сп-ан... у у мелли-и-ницы... Турр-ки! — И, не выдавив из себя больше ни слова, стал показывать руками, как копают землю.

Игумен пристально посмотрел на него, и вдруг его осенила страшная догадка. Мунчо, должно быть, знает, кого закопали у мельницы, а так как он упомянул и «Русспана», значит, он, возможно, открыл всю тайну. Но каким образом? Неизвестно... Ясно одно: тайну уже узнали власти!

— Пропал Бойчо! — прошептал Натанаил в отчаянии, позабыв про все тропари на свете и не видя отца Гедеона, который стоял у аналоя напротив, отчаянно махал рукой и подмигивал, стараясь напомнить игумену, что теперь снова настала его очередь петь. Натанаил бросил взгляд на алтарь, где дьякон Викентий служил литургию, и, оставив отца Гедеона одного управляться с тропарями, вышел из церкви. Спустя минуту он вбежал в конюшню, и не прошло другой, как он уже стрелой мчался в город.

Утро было морозное, началась метель. Ночью выпал снег, трава и деревья побелели. Игумен немилосердно пришпоривал своего вороного коня. Тот летел галопом, и из его ноздрей вырывались клубы пара. Натанаил знал, что слух, который он сам же распустил, чтобы объяснить исчезновение охотников, упал на благоприятную почву, и все подозрения рассеялись. Кто же мог теперь вновь возбудить бдительность бездеятельного начальника полиции? Ясно, что кто-то предал Огнянова. Но кто именно? Трудно сказать. Только не Мунчо, даже если он и в самом деле знает все. Игумену было известно, как юродивый обожает Огнянова. Но, может быть, Мунчо нечаянно выдал его? Так или иначе, совершено предательство, и оно повлечет за собой тяжкие последствия для Огнянова.

Обычно игумен добирался до города за четверть часа, но на этот раз доскакал в четыре минуты. Конь был весь в мыле. Игумен оставил его у брата и пешком направился к дому, где жил Огнянов.

— Бойчо здесь? — спросил он тревожно.

— Вышел,— ответил хозяин, видимо чем-то рассерженный.— Только что перед вами приходила полиция и весь дом пе-

ревернула, искала его. Чего им от него надо, проклятым? Можно подумать, он человека убил!

— Куда он пошел?

— Не знаю.

«Плохо, но еще есть надежда»,— сказал себе игумен и бегом направился к доктору Соколову. Он знал, что Огнянов не очень набожен, и даже не подумал искать его в церкви. Натанаил заглянул и в кофейню Ганко, мимо которой проходил, но Огнянова там не было. «Если Бойчо еще не в тюрьме, я узнаю от Соколова, где он»,— подумал Натанаил, вбегая во двор к доктору.

— Есть дома кто-нибудь, бабка? — спросил он хозяйку.

— Нет никого, ваше преподобие,— ответила старуха, бросив метлу, чтобы отвесить поклон духовному лицу и приложиться к его руке.

— Где доктор? — в сердцах крикнул Натанаил.

— Не знаю, отче духовник,— ответила женщина, запинаясь и смущенно глядя в землю.

— Беда! — вздохнул игумен и направился к воротам.

Старуха засеменила вдогонку.

— Подожди, подожди, отче духовник!

— Что такое? — спросил игумен нетерпеливо.

Она сделала таинственное лицо и сказала тихо:

— Здесь он, только прячется,— давеча его искали проклятые турки... прости, отче!

— Не от меня же он прячется, что ж ты мне сразу-то не сказала? — пробормотал игумен и, перебежав двор, постучался.

Доктор тотчас открыл ему дверь.

— Где Бойчо? — спросил игумен.

— У Рады. А что случилось?

Чувствуя, что надвигается беда, Соколов побледнел.

— Сейчас копают у мельницы... Предали...

— Не может быть! Пропал Огнянов! — в отчаянии крикнул Соколов.— Надо его предупредить скорей.

— За ним уже приходили домой, да не нашли,— продолжал взволнованный игумен.— Я скакал сюда во весь дух, чтобы не опоздать... Боже мой, что с ним будет? Сохрани его господь!

Соколов распахнул дверь.

— Куда ты? — спросил удивленный игумен.

— Побегу к Бойчо... Надо его спасать, пока не поздно,— ответил доктор.

Игумен бросил на него еще более удивленный взгляд.

— Но ведь тебя тоже ищут! Лучше я пойду...

Доктор махнул рукой.

— Нельзя,— сказал он.— Если ты в такое время придешь к Раде, все это заметят, будет скандал...

— Но ты же попадешь им прямо в лапы!

— Пускай; я должен предупредить его во что бы то ни стало... Бойчо в опасности. Я проберусь туда переулками...

Игумен со слезами на глазах благословил Соколова, и тот умчался.

Доктор знал, что утром Огнянов собирался пойти в женскую школу, где в этот день не было занятий и где он назначил свидание человеку, привезшему письмо от П-ского комитета. Вскоре Соколов добежал до церковного двора, никем из полиции не замеченный, и поднялся по лестнице в женскую школу, где жила Рада. В ее комнату он ворвался как ураган. Неожиданное появление Соколова, да еще такое бесцеремонное, поразило девушку.

— Бойчо приходил сюда? — спросил Соколов, еле переводя дух и даже не поздоровавшись с Радой.

— Только что ушел,— ответила Рада.— Почему ты такой бледный?

— Куда он пошел?

— В церковь... А что случилось?

— В церковь? — вскрикнул Соколов и, ничего не объясняя, бросился к двери, но, пораженный, отпрянул назад. Он увидел, что онбаши ставит стражу у всех выходов из церкви.

— Что с тобой, доктор? — крикнула бедная учительница, предчувствуя недоброе.

Соколов подвел ее к окну и показал ей на полицейских.

— Видишь? Это караулят Бойчо. Его предали, Рада! И меня ищут... Ах ты, горе горькое! — проговорил он, схватившись за голову.

Рада, как подкошенная, упала на лавку. Ее круглое личико, побелевшее от страха, казалось мраморным.

Соколов пристально смотрел в окно. Он не мог показаться на глаза полиции и, думая о том, как велика опасность, искал глазами верного человека, чтобы попросить его предупредить Огнянова. Вдруг он увидел господина Фратю, который проходил под окном, направляясь в церковь.

— Фратю, Фратю,— позвал он негромко,— подойди!

Фратю остановился у самого окна.

— Фратю, ты идешь в мужскую церковь?

— Да, как всегда,— ответил господин Фратю.

— Прошу тебя, передай Бойчо,— он тоже там,— что полицейские караулят его у входа. Пусть попытается что-нибудь придумать.

Господин Фратю метнул встревоженный взгляд на церковь и увидел, что все три выхода из нее действительно охраняются полицией. Лицо его застыло от ужаса.

— Скажешь? — нетерпеливо спросил доктор.

— Я?.. Хорошо, передам,— ответил, явно колеблясь, благоразумный Фратю. И добавил подозрительным тоном: — А ты сам, доктор, почему не идешь?

— Меня тоже ищут,— прошептал доктор.

Фратю переменился в лице. Торопясь отделаться от опасного собеседника, он пошел прочь.

— Фратю, скорее, слышишь? — в последний раз повторил Соколов.

Господин Фратю кивнул в знак согласия и, пройдя немного вперед, свернул к женскому монастырю.

Доктор увидел это и в отчаянии рванул себя за волосы. О себе он не думал; он тревожился за друга, прекрасно понимая, что предупреждать его уже поздно и только чудо могло бы вырвать его из когтей полиции. Итак, оставалась только искорка надежды, но все-таки это была надежда.

Правы были те, кто предполагал, что Огнянова предали. Стефчов, когда его в прошлую ночь привели в конак, изложил свои подозрения бею и рассказал все, что узнал про Огнянова. И тут же он угадал страшную правду. Он вспомнил о случае с гончей Эмексиза, о котором ему как-то рассказывал онбаши. В то время ни Стефчову, ни онбаши не пришло в голову спросить себя, отчего гончая с бешеной яростью набрасывалась на Огнянова и рыла землю у мельницы. Теперь эти вопросы возникли сами собой. Почему собака вертелась у мельницы? Почему она кидалась на Огнянова? Может быть, в этом кроется тайна исчезновения охотников-турок? Ведь они пропали как раз тогда, когда Огнянов появился в Бяла-Черкве. Ясно, что без Огнянова тут дело не обошлось. В злобном уме Стефчова все эти мысли, сопоставленные одна с другой, молниеносно превратились в страшное подозрение, едва ли не в уверенность.

Стефчов посоветовал бею немедленно произвести раскопки у мельницы деда Стояна. Бей, не возразив ни слова, тотчас же отдал распоряжение. Огнянова он велел на всякий случай арестовать рано утром, чтобы тот не успел убежать или натворить еще чего-нибудь. Впрочем, утром трупы охотников уже были

выкопаны, и участь Огнянова решена. Теперь он был как зверь, обложенный со всех сторон. Онбаши решил подкараулить Огнянова у церковных дверей. Забирать его прямо из церкви он считал неудобным,— это могло бы вызвать нежелательные волнения в народе и дать возможность Огнянову отчаянно защищаться. Лучше было застать жертву врасплох.

В то время как доктор сокрушался в одном углу комнаты, а Рада замирала от страха в другом, неожиданно послышались чьи-то тяжелые шаги, поднимавшиеся по лестнице. Очнувшись, доктор насторожился и стал прислушиваться. В такт постукиванию палки по ступенькам шаги медленно приближались, и, наконец, кто-то остановился за дверью. Пришелец запел на один из церковных «гласов» знакомый тропарь Колчо:

— Благослови, господи, праведниц твоих: святейшую Серафиму и кроткую Херувиму; черноокую Софию и белолицую Рипсимию; толстую Магдалину и сухопарую Ирину; госпожу Ровоаму, к чертям эту мадаму...

— Колчо! — крикнул доктор, открывая дверь.

Слепой непринужденно вошел в комнату — он всюду был свой человек.

— Ты из церкви, Колчо?

— Из церкви.

— Видел ты Огнянова? — спросил доктор нетерпеливо.

— Очки мои еще не прибыли из Америки, вот почему я его не видел. Но слышал, что он сидит в кресле перед алтарем рядом с Франговым.

— Колчо, перестань шутить,— остановил его доктор.— Огнянова преследует полиция; его подстерегают у церковных дверей! А он ничего не подозревает. Если его не предупредить — он пропал.

— Иду!

— Умоляю тебя, Колчо! — вскрикнула Рада, оживившая от проблеска надежды.

— Я бы сам пошел, но полиция разыскивает и меня. А ты не вызовешь подозрения. Иди,— сказал доктор.

— За Огнянова я готов и жизнь свою несчастную отдать, если понадобится... Что ему сказать? — спросил слепой живо.

— Скажи ему только: «Все открыто; полиция охраняет выходы из церкви; спасайся как можешь!» — ответил доктор, потом добавил мрачно: — Если только к нему не подослали уже кого-нибудь, чтобы обманом выманить из церкви.

Поняв, что дорого каждое мгновение, Колчо быстро вышел.

XXV. НЕЛЕГКОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Колчо спускался по лестнице ощупью, постукивая палкой по ступенькам, но, очутившись во дворе, пошел быстрее и увереннее. Поднявшись на церковную паперть, он остановился возле Шериф-аги и стал шарить у себя по карманам, делая вид, будто ищет платок: он хотел послушать, какие распоряжения будет отдавать онбаши.

— Хасан-ага,— говорил Шериф-ага тихо,— прикажи всем, чтобы смотрели в оба... Если он будет сопротивляться, стреляйте, не ожидая моего приказа...

— Ненко, поди, мигом, поскорей позови Графа, то бишь учителя Огнянова... Скажи, что один человек просит его выйти,— сказал какому-то мальчишке полицейский Филчо, которого слепой узнал по голосу.

Колчо, опасаясь, как бы его не опередили, приподнял тяжелый занавес перед главным входом и вошел. Церковь была битком набита молящимися. Хаджи Атанасий заканчивал пение «херувимской», служба подходила к концу. Народу было тьма-тьмущая; в тот день пришло много причастников, служили несколько панихид, поэтому теснота была ужасающая. Пробить себе путь в толпе казалось немыслимым. Колчо затерялся в ней, словно в непролазной чаще леса, темного, как ночь, которая для слепого была вечной. Он чутьем знал, в какую сторону идти; но как пробить эту стену, плотно сбитую из человеческих рук, бедер, грудей, плеч, ног? Мог ли он, хилый и немощный, проложить себе дорогу к самому алтарю, у которого сидел Огнянов? Задача, непосильная и для богатыря! Колчо немного протиснулся вперед, но, быстро обессилев, остановился. Ткнулся направо, ткнулся налево — в кромешной тьме,— но тщетно: стена была непроницаема. Многие даже сердито советовали слепому стоять на месте, если он не хочет, чтобы его задушили или раздавили. Чьи-то железные локти так стиснули его, что ребра у него затрещали. Он уже задыхался. Вот-вот должно было прозвучать: «Со страхом божиим и верою приступите!» — и тогда людской поток хлынет к дверям и увлечет его за собой. И Огнянов погибнет! А кто знает, может быть, в эту самую минуту мальчик каким-то образом добрался до Бойчо, и тот идет за ним, не подозревая о ловушке. Он мог пройти мимо самого Колчо, задеть его локтем, и Колчо не узнал бы его. Слепой инстинктивно ощупывал всех вокруг в надежде, что мальчик попадется ему под руку. Но вот рука его в самом деле коснулась кого-то, кто явно был еще подростком, и испуганному воображению слепого

представилось, будто это и есть тот зловещий посыльный, который пошел вызывать Огнянова. Колчо в исступлении схватил его за руку и потянул к себе, бессознательно и торопливо бормоча:

— Это ты, мальчик? Как тебя зовут, мальчик? Постой, мальчик!

Но толпа тут же разделила их. Колчо был в отчаянии. Бедная добрая его душа тяжко страдала. Он с ужасом понимал, что жизнь Огнянова висит на волоске и этот волосок — он, Колчо, слабый, ничтожный, затерянный, почти не заметный в этом море людей. А «херувимская» уже кончалась... Хаджи Атанасий всегда пел протяжно и медленно, но теперь слепому чудилось, будто он ужасно спешит. Что делать? В критические минуты человек решается на крайние меры. И Колчо закричал истошным голосом:

— Люди, пропустите! Дайте дорогу! Ох, умираю, ох, смерть моя пришла... задыхаюсь... матушки! — и принялся толкать в спину стоящих впереди него.

Те хоть с трудом, но отодвигались и пропускали вперед несчастного умирающего слепого, не испытывая ни малейшего желания, чтобы он испустил дух у них на плече. Таким образом Колчо, едва дыша, кое-как протиснулся к креслу, на котором сидел Огнянов. Слепой нашел его без посторонней помощи,— такова уж чудесная сила инстинкта у тех, кто лишен зрения. Он уверенно потянул кого-то за полу и тихо спросил:

— Это вы, дядя Бойчо?

— Что тебе? — отозвался Огнянов.

Колчо потянулся к его уху, и Огнянов наклонился.

Но вот он поднял голову. Лицо его было бледно; на висках вздулись жилы — признак усиленной умственной работы.

Минуту он раздумывал, потом снова пагнулся и что-то прошептал слепому.

И вдруг встал с кресла, протолкнулся вперед и затерялся в толпе причастников, стоявших перед алтарем.

В этот миг раскрылись царские врата, и отец Никодим со святыми дарами в руках возгласил:

— Со страхом божиим...

Служба кончилась. Толпа, как поток, прорвавший плотину, устремилась к выходу. Спустя полчаса церковь опустела — ушли последние старушки причастницы.

Только в алтаре еще оставались священники, снимавшие облачения.

Тогда в церковь вошли полицейские. Онбаши был взбешен — Огнянов из церкви не вышел. Значит, он скрывался в

церкви. Двери заперли изнутри и начали обыск. Несколько полицейских поднялись в огороженное решетками женское отделение, другие остались внизу обыскивать все углы и закоулки, третьи вошли в алтарь через боковые двери. Перевернули все, осмотрели все уголки, где можно было бы укрыться, поднялись на амвон, передвинули аналой; заглянули и под престол в алтаре, и в шкафы, где хранилась церковная утварь, и в сундуки, набитые старыми иконами, и в оконные ниши, но нигде ничего не нашли. Огнянов точно сквозь землю провалился! Пономарь сам показывал все тайники, уверенный, что Огнянов не мог в них спрятаться. Отец Никодим и тот принимал участие в поисках и метался по алтарю с недоумевающим лицом. Он рылся даже в облачениях и передвигал утварь и книги на престоле. Сам онбаши подивился его усердию. Полицейский Миал, однако, заметил, что не только человек, но даже цыпленок не мог бы спрятаться между этими вещами.

— Да я совсем другое ищу! — отозвался растерявшийся отец Никодим.

— Что же ты ищешь?

— Кожух мой пропал, и камилавка тоже, а в ней синие очки.

Бедный старик уже дрожал от холода.

— Ну, теперь все понятно, Шериф-ага! — крикнул Миал.

Весь в поту и еле переводя дух, подошел Шериф-ага.

— Разбойник, он разбойник и есть,— заметил полицейский злорадно,— у батюшки одежду стащил!

Шериф-ага остолбенел.

— Неужели правда, отче? — спросил он.

— Ни кожуха, ни камилавки, ни очков — как в воду канули! — проговорил отец Никодим, сам не свой от удивления.

— Значит, это Граф их украл! — сказал Шериф-ага с видом человека, сделавшего великое открытие.

— Никто как он! Напялил на себя кожух, а шапку надвинул на глаза, вот мы его и не узнали, когда он проходил мимо,— говорил полицейский.

— Должно быть, так,— согласился отец Никодим.— Пока я причащал верующих, кто-то стянул мои вещи.

— А я видел у выхода какого-то попа в синих очках,— заявил один полицейский.

— И ты его не схватил, разиня? — заорал на него начальник.

— Как же я мог догадаться?.. Мы караулили не попа, а простого человека,— оправдывался тот.

— Так это он, значит, был! Ах ты, мать моя! — проговорил удивленный Миал.— Потому-то он весь съежился и закутался, одни очки были видны... Отец родной и тот бы его не узнал...

В дверь громко постучали. Шериф-ага приказал открыть. Вошли полицейский Филчо и сторож.

— Шериф-ага! Граф в ловушке! — крикнул Филчо.

— Спрятался в женском монастыре, его там видели,— добавил сторож.

— Скорей в монастырь! — приказал онбаши.

И все бросились на улицу.

XXVI. НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ

Полицейские быстро подбежали к монастырским воротам. Шериф-ага оставил здесь двух стражей с обнаженными саблями и заряженными револьверами.

— Никого не пропускать ни туда, ни оттуда! — приказал он и вместе с остальными своими людьми ворвался во двор.

Налет полиции переполошил обитательниц монастыря, посеяв страх и сумятицу во всех кельях. Монахини выскакивали за двери и метались по галереям; за ними выскакивали и их гости. Поднялся крик, шум; суматоха была неописуемая. Онбаши, стараясь внести успокоение, махал рукой и кричал что-то по-турецки, но никто не понимал его, да и попросту не слышал. Между тем полицейские забрали всех священников, попавшихся им под руку, всех людей в очках — хотя бы и не синих,— а двух мужчин задержали только потому, что их звали Бочо, и всю компанию заперли в одной комнате. Сюда же попали студент Кандов и фотограф Бырзобегунек, но фотограф, как подданный австрийского императора, а не турецкого султана, был немедленно освобожден, и онбаши даже извинился перед ним. Высунувшись в окно, Кандов громко протестовал против этого наглого посягательства на его свободу и прямо-таки бесился. Его сотоварищи вели себя спокойнее, хорошо зная, что собой представляют турецкие власти.

— Эх, Кандов, видно, ты и не нюхал еще турецкие порядки! — заметил один из священников.

— Но ведь это насилие, произвол, беззаконие! — кричал студент.

— На произвол и беззаконие отвечают не криками,— в башку этого Шериф-аги все равно ничего не втемяшить,— а вот чем! — проговорил Бочо-мясник, обнажив свой нож.

В спешке Шериф-ага не догадался разузнать, кто видел Огнянова, когда тот входил в монастырь, и как он был одет, но тотчас же приступил к обыску на галерее, где, как ему сказали, спрятался беглец. На эту галерею выходила и келья Хаджи Роваомы. Придя в себя от первого потрясения, монахини стали горячо протестовать и даже обижаться, что их подозревают в укрывательстве человека, которого считают врагом султана. Больше всех возмущалась этим недостойным подозрением Хаджи Роваома. Зная турецкий язык, она ругательски ругала онбаши и, наконец, с позором прогнала его. Но в остальных кельях поиски продолжались с еще большим рвением. Полиция усердствовала — ведь в конце концов Огнянов должен же был найтись. Для Шериф-аги поимка беглеца была вопросом чести, и он яростно обыскивал шкафы, сундуки, чуланы и всякие укромные уголки. Люди со страхом ждали, что несчастного Графа вот-вот выволокут из какой-нибудь кельи.

И вдруг кто-то зловеще крикнул: «Поймали!» Но оказалось, что поймали не Огнянова, а господина Фратю, которого вытащили из-под лавки в келье матери Нимфодоры и сразу же отпустили.

Прислонившись к перилам галереи, Рада напряженно следила за ходом поисков. Она была сама не своя от страха за Огнянова и заливалась слезами. Позабыв об осторожности, она дала волю своим чувствам, и все окружающие сразу поняли, что она любит Огнянова. На нее стали коситься, но Раду мало беспокоило мнение этих болтливых баб, равнодушных к опасности, грозившей ее любимому, и слезы ее лились безудержно.

Две монахини, стоя в стороне, шушукались, указывая глазами на келью Хаджи Дарии, тетки доктора Соколова и защитницы Бойчо. Скорее всего, Огнянов был там, а полицейские уже приближались к келье Хаджи Дарии. Сердце у Рады разрывалось. Она окаменела от ужаса... Боже, что делать?

К ней подошел Колчо, узнав ее по голосу, хотя она только громко всхлипывала.

— Рада, ты здесь одна? — тихо спросил он.

— Одна, Колчо,— ответила Рада, задыхаясь от слез.

— Не беспокойся, Радка,— прошептал Колчо.

— Как же не беспокоиться, Колчо? А если его найдут? Ведь он здесь... Ты сам сказал, что его видели в монастыре.

— А по-моему, его здесь нет, Радка.

— Все говорят, что он здесь.

— И первый это сказал я... Бойчо в церкви сам попросил меня пустить слух, что он скрылся в монастыре. Надо было задержать полицию... Сейчас Огнянов свободен, как волк в лесу.

Бедная девушка чуть не бросилась на шею слепому. Лицо ее просветлело, как небо после грозы. Спокойная и сияющая, пошла она к Хаджи Ровоаме, которая сразу же заметила непонятную перемену в настроении своей воспитанницы.

«Неужто эта негодница узнала, что его нет в монастыре?» — подумала монахиня со злобной досадой и, смерив девушку испытующим взглядом, сказала:

— Ну что, Рада, наревелась? Так, так, хорошо, будь посмешищем для людей, плачь из-за этого разбойника и кровопийцы.

Но сердце у Рады было переполнено счастьем.

— И буду плакать,— ответила она дерзко,— пусть хоть один человек плачет, когда другие радуются...

Столь смелый отпор показался монахине чем-то совершенно неприличным. Она не привыкла, чтобы ей так отвечали.

— Ах ты, бесстыдница! — прошипела она сквозь зубы.

— Я не бесстыдница!

— Нет, бесстыдница и сумасшедшая! Твой проклятый разбойник уже сегодня будет качаться на виселице!

— Если его поймают! — язвительно отрезала Рада.

Хаджи Ровоама вскипела:

— Вон, проклятая! Чтоб ноги твоей у меня больше не было! — закричала она, чуть не задохнувшись от ярости, и вытолкнула Раду за дверь.

Девушка вышла на галерею как ни в чем не бывало. Что для нее значило презрение Хаджи Ровоамы? Ее грубо вытолкали из кельи, но и это ее не обидело. На сердце у нее было спокойно, весело. Она даже радовалась, что окончательно порвала со своей жестокой покровительницей.

Завтра, а может быть, и сегодня ее, вероятно, выгонят из школы, и она останется одна, под открытым небом и без куска хлеба. Но не все ли равно? Она знает, что Бойчо спасен. Он теперь свободен, словно волк в лесу, как сказал Колчо. Боже мой, как добр этот Колчо! Какая участливая, сердобольная у него душа, как он отзывчив к чужому горю; а своего горя не видит, забывает о нем, бедняга! Сколько зрячих жестоко и умышленно не видят людских страданий! А Стефчов, этот зверь, с каким нетерпением он, должно быть, ждет сейчас гибели Бойчо!.. Но Бойчо уже избежал опасности... Врагам не придется торжествовать, а честные люди будут радоваться. Но никто никогда не будет так счастлив, как она!.. Вся во власти этих чистых, свет-

лых чувств, она вдруг заметила Колчо, который медленно спускался по лестнице.

— Колчо! — крикнула она, сама не зная зачем.

— Радка, ты меня зовешь?

Колчо повернулся к ней.

«Боже мой, зачем я его позвала? Только мучаю беднягу»,— подумала девушка, устыдившись. Но сразу же побежала к слепому, остановила его и сказала:

— Колчо, я просто так... Позволь мне пожать тебе руку.

И она с глубокой благодарностью сжала его руку в своей.

Поиски продолжались. Выбившись из сил, Шериф-ага предоставил своим подчиненным искать беглеца, а сам пошел к задержанным камилавкам и очкам, только сейчас сообразив, что их пора отпустить.

Кандов снова принялся выражать протест против насилия над его личностью и нарушения элементарной справедливости.

Онбаши, удивленный, попросил перевести ему слова этого рассерженного господина.

— Кандов, повтори еще раз, чтоб я мог перевести твои слова эфенди,— попросил его Бенчо Дерман, лучше других знавший турецкий язык.

— Скажи ему, пожалуйста,— начал Кандов,— что моя личная неприкосновенность, мое самое дорогое человеческое право вопреки всякой законности и без достаточных оснований...

Бенчо Дерман безнадежно махнул рукой.

— Да в турецком языке и слов-то таких нет! — сказал он.— Брось ты, Кандов!

В конце концов незваные гости убрались из монастыря и отправились обыскивать город и его окрестности.

XXVII. СКИТАЛЕЦ

Присутствие духа спасло Огнянова и на этот раз.

Как только он вышел из города, первой его заботой было спрятать в кустарнике камилавку и кожух отца Никодима.

Метель, которая помогла Огнянову пройти незамеченным по опустевшим улицам, бушевала здесь еще сильнее. Завывал порывистый ветер с гор, склоны Стара-планины были словно усыпаны солью. Поле, безлюдное и мертвое, казалось безнадежно печальным под сероватым снежным покрывалом. К счастью, солнце внезапно пробило облака и согрело замерзшую землю.

Не разбирая дороги, Огнянов шел на запад, через виноградники, пересеченные оврагами и высохшими руслами речек. В одном укрытом от ветра месте он присел отдохнуть и обдумать свое положение. А положение было тяжелое. Огнянова беспощадно преследовал какой-то рок, верным союзником которого был Стефчов. Мысленным взором Огнянов видел, как в течение часа обрушилось здание, воздвигавшееся с такой любовью и воодушевлением. Он видел дьякона, доктора, деда Стояна и других близких, преданных друзей — в тюрьме; видел убитую горем Раду; видел торжествующих врагов! Он не мог угадать, что́ способствовало успеху их предательства. Но заметка в газете «Дунав» и гнусное шпионство певчего несомненно дали в руки его врагам сильное оружие. И он понимал, к каким страшным последствиям это приведет. Неужели дело его погибло безвозвратно? Неужели это несчастье повлечет за собой провалы в других местах? Теперь бегство его показалось ему подлостью. Ему захотелось вернуться, чтобы воочию убедиться, как велико свершившееся зло; о себе он уже не думал: не ведая страха, он был способен решиться на возвращение в город... Но, поразмыслив, Огнянов понял, что сначала ему необходимо изменить свою внешность. И это заставило его продолжать путь. Он решил пойти в Овчери — эту деревню он во время своих объездов посещал чаще других, и жители ее были ему преданы. Переодеться будет удобнее всего у дяди Дялко, думал он. Но Овчери приютились в долине по ту сторону Средна-горы, и путь туда был очень опасен, потому что дорога проходила через несколько турецких деревень. Весть о том, что найдены трупы двух турок-охотников, вероятно, уже сегодня с быстротой молнии облетела эти полуразбойничьи гнезда. Если его не задержат как подозрительное лицо, то убьют как «неверного»: ведь в этих краях каждый день погибает по нескольку человек. А для него опасность тем более велика, что одет он по-городскому. Побороть страх и идти на верную гибель было бы безрассудно. Наконец он решил дождаться ночи в каком-нибудь укромном месте и отошел еще дальше, к отрогам Стара-планины, где мог укрыться в густых зарослях граба.

После двухчасового трудного пути по оврагам и буеракам Огнянов добрался до первых зарослей. Там, спрятавшись в сухом кустарнике, он вытянулся на спине, чтобы отдохнуть или, вернее, обдумать все, что произошло. Небо совсем прояснилось. Осеннее солнце ласково пригревало землю, в траве сверкали капельки талого снега. Время от времени воробьи почти неслышно пролетали над головой беглеца и в поисках пищи садились

на тропинки. Высоко в небе кружил горный орел: то ли он где-то поблизости высмотрел падаль, то ли принял за падаль неподвижно лежащего человека. Огнянов так и подумал и помрачнел еще больше. В этом орле ему теперь чудилось что-то зловещее. Хищная птица казалась ему воплощением его беспощадной судьбы. Она только и ждет, чтобы ей приготовили кровавый обед, а тогда не замедлит ринуться вниз со своих голубых высот. Что ж, все возможно. В зарослях небезопасно — сюда забредают охотники-турки, а все они сущие разбойники. Огнянов с нетерпением ждал захода солнца и в поисках более надежного убежища несколько раз переходил с места на место. Время тянулось нестерпимо медленно, и солнце совершало свой путь томительно долго. А горный орел все парил в небе. Взмахнет раз-другой своими черными крыльями и опять распластает их. Огнянов не мог оторвать глаз от парящей в высоте птицы, но мысли его витали в глубинах прошлого. В его возбужденном мозгу одно за другим всплывали воспоминания... Годы юности, годы борьбы, страданий и веры в высокие идеалы. А Болгария, ради которой он перенес столько испытаний... Она так прекрасна, так достойна любых жертв! Она богиня, ради которой верующие в нее готовы пролить свою кровь. Кровью окрашен ее ореол, но лучи его — блистательные имена, и Огнянов надеялся увидеть среди них и свое имя... Как он гордился ею, как искренне был готов умереть, и больше того, бороться за нее! Смерть казалась ему возвышенной жертвой, борьба — великим таинством...

Где-то раздался выстрел, и Огнянов вернулся к действительности.

Он огляпулся кругом. Эхо в горах повторило звук выстрела и замолкло.

«Должно быть, это охотники стреляют дичь»,— сказал он себе.

Огнянов успокоился, но ненадолго. Спустя четверть часа невдалеке послышался собачий лай, а вскоре и голоса людей. Гончая Эмексиза невольно вспомнилась Огнянову — он знал, что турок был родом из ближайшей деревни. Этот лай был ему как будто знаком, или, может быть, так ему показалось. А лай, теперь уже более громкий, послышался где-то совсем близко; кусты зашуршали, словно под напором ветра, и из них выбежали две гончие, опустив морды до земли.

Огнянов вздохнул с облегчением.

Этих собак он видел впервые, и ему не пришлось вновь столкнуться с гончей Эмексиз-Пехливана, которую хозяин приучил бросаться на людей, как на дичь... Гончие в большин-

ство не умны и безобидны, но эта проклятая собака оказалась необычайно злопамятной, в чем мы уже убедились, когда она кинулась на Огнянова неподалеку от монастыря. Она стала союзницей Стефчова и выдала Огнянова...

Заметив человека, притаившегося в кустах, гончие подошли, обнюхали его и побежали дальше. И вдруг Огнянов услышал, что приближаются люди. Не оглядываясь, он бросился бежать по кустарнику. Грянуло три ружейных выстрела; беглецу показалось, будто что-то укусило его в бедро, и он побежал втрое быстрее. Что делалось позади, гнались за ним или нет, он не знал. Вскоре он спустился в русло высохшей реки с берегами, поросшими низким орешником, и забрался в самую чащу. Охотники, должно быть, потеряли его из виду. Огнянов долго прислушивался, но ничего не услышал. Только теперь он почувствовал на ноге что-то теплое и мокрое. «Ранен!» — испугался он, увидев, что сапог его полон крови. Разувшись, он обнаружил, что по левой ноге струится кровь с двух сторон,— пуля прошла через бедро навылет. Он оторвал от рубашки лоскут и перевязал раны. Боль становилась сильнее, а путь ему предстоял длинный и трудный. Беглец очень ослабел от потери крови и к тому же целый день ничего не ел.

Вскоре сумерки сгустились, и Огнянов покинул сухое речное русло, в которое, он был уверен, завтра нагрянет турецкий карательный отряд. Чем больше темнело, тем сильнее пробирал его холод. Первая турецкая деревня, встретившаяся Огнянову, казалась вымершей. С наступлением темноты улицы турецких деревень становятся совсем безлюдными, похожими на кладбища. Только из одной лавки слышался говор. Но Огнянов не решился постучать в нее, хоть и умирал с голоду. Он шел еще часа два, миновал еще несколько деревень, и, наконец, впереди что-то забелело. Это была Стрема. Он с трудом перешел реку вброд и, выбравшись на берег, сел — от холодной воды ноги у него окоченели и боль усилилась. Бедро опухло, и Огнянов стал опасаться, как бы не началось воспаление; тогда, чего доброго, придется остаться на дороге. Он встал, срезал стебель сухого тростника, росшего у берега, и снял брюки, чтобы промыть рану по способу, который он знал еще со времен Хаджи Димитра. Насосав воды в длинную полую тростинку, он приложил ее к ране и подул; вода вылилась с другой стороны бедра. Это он проделал несколько раз. Перевязав рану, Огнянов направился к Средна-горе, в предгорьях которой он сейчас находился... Ночной мрак сгущался. Огнянов спешил в Овчери, но деревни все не было видно. Вскоре он попал в какую-то чащобу и понял, что

заблудился. Озадаченный, он остановился и прислушался. Теперь он был уже на склоне Средна-горы. Откуда-то глухо доносились человеческие голоса. В такой поздний час здесь не могло быть никого, кроме угольщиков. Огнянов вспомнил, что видел издали красный огонек, горевший где-то в этих местах. Но кто эти люди? Болгары или турки? Он заблудился, замерз и обессилел; если это христиане, есть надежда, что они сжалятся над ним. Поднявшись немного выше, он увидел совсем близко пламя костра и направился к нему. Сквозь ветви деревьев он рассмотрел темные фигуры людей, сидевших у огня, и услышал несколько болгарских слов. Но как показаться этим людям? Ведь он был весь в крови. Его появление могло испугать этих болгар и, чего доброго, привести к еще худшим последствиям... Людей было трое. Один лежал, укрывшись чем-то, а двое разговаривали у догорающего костра. Поодаль, жуя сено, стояла лошадь, покрытая попоной. Огнянов напряг слух.

— Ну, довольно болтать... Ты подбрось дров в костер, а я пойду подложу сенца кобылке,— сказал старший и поднялся.

«Я знаю его! Он из деревни Веригово. Ненко, сын деда Ивана»,— с радостью подумал Огнянов.

Деревня Веригово, расположенная по ту сторону Средна-горы, была тоже хорошо знакома Огнянову.

Ненко, подойдя к лошади, нагнулся, чтобы достать сена из кожаного мешка. Огнянов выбрался из кустов и, приблизившись к нему, сказал:

— Добрый вечер, дядя Ненко!

Ненко вздрогнул и выпрямился.

— Кто ты?

— Не узнал меня, дядя Ненко?

Тусклое пламя костра осветило лицо Огнянова.

— Учитель! Ты ли это? Идем, идем, здесь все свои люди... Наш Цветан, дед Дойчин... Матушки, да ты холодный как лед, совсем окоченел,— говорил крестьянин, возвращаясь с Огняновым к костру.— Цветанчо, подбавь побольше дров, чтобы костер разгорелся как следует... Надо обсушить и согреть одного христианина... Знаешь его?

— Учитель! — радостно воскликнул молодой парень.— Как ты сюда попал?

И он подвинул к Огнянову охапку сухого хвороста, чтобы тот сел.

— Спасибо тебе, Цветанчо!

— Ранили его пулей, звери,— проговорил Ненко гневно,— но, слава богу, неопасно.

— Да что ты!

— Дед Дойчин, вставай, у нас гость! — разбудил или, лучше сказать, растолкал Ненко спящего старика.

Вскоре большой костер запылал ярким пламенем. Угольщики с состраданием посматривали на бледное лицо Огнянова, а тот вкратце рассказывал им обо всем, что с ним случилось. Вскоре Огнянов ощутил живительную силу огня. Замерзшие руки и ноги его согрелись, и рана болела меньше. Дед Дойчин вытащил из своей рваной торбы ломоть хлеба и головку лука и подал их Бойчо.

— Чем богаты, тем и рады... А теплом-то мы, благодарение богу, богаче самого царя. Кушай, учитель...

Огнянов чувствовал себя все лучше и лучше. Душа его наполнилась большой и дотоле неизведанной радостью. Это прекрасное, золотое, живительное пламя, этот дремучий лес вокруг, эти лица, закопченные, грубые, простые, но сиявшие теплым, дружеским участием, эти потрескавшиеся черные рабочие руки, которые с истинно болгарским радушием протянули ему последний нищенский кусок,— все это показалось ему невыразимо трогательным. Если бы не боль, Огнянов чувствовал бы себя совершенно счастливым и, пожалуй, даже запел бы: «Лес ты мой, лес зеленый...»

Уже занималась заря, когда Ненко, ведя под уздцы лошадь, на которой сидел Огнянов, вошел в деревню Веригово и постучал в ворота одного двора. Во дворе залаяли собаки, из дома вышел сам хозяин, дядя Марин. Он догадался, что в такую рань к нему может постучаться только необычный гость.

Хозяин и гости сначала поздоровались, потом объяснились.

— Порази их господь, этих нечестивцев! Чтоб их собаки загрызли! Чтоб черти забрали их души! — приговаривал дядя Марин, осторожно помогая спешиться Огнянову, у которого от тряски сильнее разболелась нога.

Огнянова отвели в заднюю комнату, где он однажды уже ночевал. Дядя Марин тщательно осмотрел его рану и перевязал ее.

— Заживет, как на собаке,— заметил он.

Уже совсем рассвело.

XXVIII. В ВЕРИГОВЕ

Огнянов выздоравливал, хотя и не так быстро, как предсказывал дядя Марин. Гостеприимная семья старика ухаживала за раненым, всячески стараясь облегчить его страдания. Лечил его

сам дядя Марин — он кое-что смыслил в медицине,— а бабка Мариница блистала своим кулинарным искусством. Почали бочонок белого среднегорского вина; каждое утро во дворе резали цыпленка — и только для Огнянова, остальные не ели мясного, потому что был рождественский пост.

Окруженный теплым вниманием и заботой, Огнянов прожил в этом болгарском доме три недели, с каждым днем чувствуя себя все лучше и лучше. Но ему не терпелось поскорее узнать, что делается в Бяла-Черкве, что сталось с Радой, с друзьями, с делом, от которого его оторвали. Он просил дядю Марина послать кого-нибудь разузнать обо всем этом, но тот не соглашался.

— Нет, не пошлю я никого, а на той неделе сам поеду в город купить кое-что к празднику. До тех пор потерпи, сынок... Только не волнуйся, а то не скоро поправишься. Господь милостив!

— Но на будущей неделе я сам смогу поехать.

— Так я тебя и пущу! Это мое дело. Я твой лекарь, у меня и надо спрашиваться,— возражал с отцовской строгостью крестьянин.

— Хоть бы Раде сообщили, что я жив.

— Учительница и так это знает — не попался туркам в лапы — значит, жив.

Огнянов смирился.

Некоторые крестьяне — всё свои люди,— с трудом выпросив у Марина разрешение, время от времени навещали больного. Они всей душой жаждали услышать пылкие речи учителя и всякий раз уходили от него с бодрыми лицами и горящими глазами. Чаще других к Огнянову допускали отца Иосифа, председателя местного комитета.

Он уже теперь был избран воеводой и в церкви под облачениями прятал знамя. Приходил также старик учитель, дед Мина. Огнянов был уверен, что, кроме них и семьи дяди Марина, никто в деревне не знает его тайны. В этом его уверял и хозяин дома. Между тем раненый с удивлением замечал, что с каждым днем стол его становится богаче: ему подавали жареных цыплят, масло и яйца, молочную рисовую кашу, пироги, а нередко даже диких уток и зайцев; появлялись на его столе и вина разных сортов. Подобная роскошь внушала ему беспокойство: ему было неловко, что хозяева тратятся на него. Изредка выходя во двор, он замечал, что курятник пустеет.

— Дядя Марин, да ты разоришься,— говорил Огнянов хозяину.— Возьмись за ум, не то я откажусь от твоего угощения и

буду покупать себе в лавке хлеб и брынзу... Этого мне достаточно.

— Ты меня не спрашивай, разорюсь я или нет. Я твой лекарь и, как умею, так тебя и лечу. Тут ты мне не указ. «Кто как умеет, так и мелет...» Не вмешивайся не в свое дело.

И Огнянов умолкал, глубоко тронутый.

Он и не подозревал, что все местные жители соперничали друг с другом, стараясь получше угостить любимого учителя.

Его тайна была известна всей деревне. Но здесь не могло быть и речи о предательстве.

Сочувствие к нему было всеобщим. Слух о том, что он убил двух кровожадных злодеев, высоко поднял его в глазах даже самых равнодушных. Отвага подкупает простой народ больше, чем все прочие добродетели.

Но рана у Бойчо заживала медленно. Живой и нетерпеливый, он был прикован к постели и постоянно мучился беспокойством. Добрый дед Мина лучше других умел облегчать его страдания. Огнянов каждый день проводил с ним по нескольку часов и, привыкнув к нему, уже не мог без него обходиться.

Дед Мина был своего рода «памятник старины», живой осколок вымершего поколения тех учителей, что учили детей читать псалтырь и Часослов и первые открыли в Болгарии прославленные келейные школы. Это был беловолосый, широкоплечий, круглолицый старик лет семидесяти. Ходил он постоянно в широчайших шароварах. После многих лет подвижнической жизни дед Мина бросил якорь в этой глухой деревушке и в тишине доживал свои долгие дни. В те времена учить детей по старинке уже нельзя было, и дед Мина, оставшись не у дел, только пел безвозмездно в церкви, куда нововведения не имели доступа. В праздничные дни крестьяне, обступив деда Мину, слушали, затаив дыхание, его увлекательные рассказы о старине, смахивающие на проповеди и подкрепленные цитатами из Священного писания. Из всех книг старик читал только эту одну, и она служила ему единственной духовной пищей. Огнянов любовался этим памятником прошлого и с удовольствием слушал мудрые речи поседевшего труженика — живого отголоска забытой эпохи. Когда человек страдает нравственно или физически, душа его настраивается на религиозный лад; он находит нежданное утешение в словах великой книги. Она, как бальзам, утоляет его душевную боль. Впервые испытал Огнянов обаяние боговдохновенных слов, которыми старец озарял свою речь. Придя в первый раз навестить Огнянова, лежащего в постели, дед Мина проговорил строго:

— Еще одна христианская жертва! Опять невинно пролитая кровь!.. «Доколе, боже, поносит враг?.. Вскую отвращаеши десницу твою... Восстани, боже! Суди! Воздвигни руце твои на гордыню их в конец!»

И, поздоровавшись, он стал участливо расспрашивать Огнянова. Тот попытался было повернуться на другой бок и вскрикнул от острой боли.

— Крепись, сынок! «Блаженни плачущии, яко тии утешаться»,— скорбно проговорил старик.

— Конечно, дедушка Мина, приходится потерпеть... недаром же мы назвались апостолами,— улыбаясь, сказал Огнянов.

— Трудна, учитель, трудна ваша деятельность на земле, но зато достойна похвалы и славы, ибо сам бог вразумил вас. да служите народу. «Вы есте свет мира: не может град укрытися верху горы стоя». Разве не сказал Христос своим апостолам: «Жатва убо многа, делателей же мало... Идите: се аз посылаю вы яко агнцы посреде волков!»

Эти простые слова вносили сладостное успокоение и бодрость в душу Огнянова. Он попросил старца дать ему почитать какую-нибудь священную книгу, и дед Мина принес ему псалтырь. Огнянов со страстным интересом читал это вдохновенное сочинение, в котором бьет ключом источник высокой поэзии. Эти песни борьбы, эти вопли отчаяния и восторженные молитвы вызывали отклик в его смятенной душе. Он не выпускал из рук книги псалмов Давида.

И вот настал день, когда дядя Марин отправился в Бяла-Черкву. С тревогой ждал Огнянов его возвращения. В голову ему лезли всякие мысли, одна горше другой. Ведь он уже больше месяца ничего не знал о людях, дорогих его сердцу. Что с Радой? Какие оскорбления, какие гонения ей, наверное, пришлось вынести после его побега! На нее, конечно, обрушилось возмущение общества, а может быть, и ярость властей. Не суждено ей было, бедняжке, найти счастье с Бойчо! И вот теперь она, несчастная, брошенная на произвол судьбы, похоронившая свои лучшие мечты, в довершение всего опозорена общественным мнением. Жестокие люди вменят ей в преступление ее любовь к Бойчо, и тяжким горем заплатит она за те редкие минуты радости, которые дало ей это чувство. И нет с нею Бойчо, чтобы утешить и поддержать ее, слабую, как дитя...

Расстроенный этими грустными мыслями, Огнянов очень обрадовался приходу деда Мины. Теперь было хоть с кем поделиться своим горем. Дед Мина озабоченно выслушал его.

— Надейся, надейся на бога, учитель, не предавайся уны-

нию; всевышний не оставляет страждущих, кои уповают на милость его. «Надеющиеся на господа яко гора Сион... Яко не оставит господ жезла грешных на жребий праведных... Сеющие слезами радостию пожнут...»

И тут, как бы в подтверждение этих слов, дверь открылась, и вошел дядя Марин.

Дрожа от нетерпения, Огнянов старался узнать новости по его лицу.

— Добрый вечер! Подожди, подожди, учитель! Все расскажу по порядку... А ты не слишком ли много двигался? — сказал дядя Марин, снимая тяжелый плащ.— Ваши горожане,— продолжал он,— уж больно чудные... прямо как тени какие-то,— ни поймать их, ни расспросить...

— Разве ты не пошел прямо к доктору?

— Он арестован.

— А к дьякону в монастырь?

— Дьякон скрывается.

— Деда Стояна не нашел?

— Он приказал долго жить, прости его боже; умер от побоев в ту самую ночь, когда его арестовали; говорят, будто не вынес пыток бедняга, все выдал.

— Несчастный!.. А Радка, Радка?

— Не видал я твою Раду.

— Почему? Что с нею?

Огнянов побледнел.

— Да там она, не беспокойся, но из школы ее выгнали.

— Ты бы поискал ее у монахинь, у Хаджи Ровоамы! — в тревоге воскликнул Огнянов.

— Монахиня вытолкала ее взашей.

— Боже мой, она осталась на улице. Она погибла!

— Чорбаджи Марко пристроил ее к своим родственникам, только я не мог найти их дом, а мои спутники торопились... Но я кое-кого расспросил,— девушке там хорошо.

— С дядюшкой Марко мне не расплатиться за всю жизнь... А что говорят обо мне?

— О тебе? Тебя там все зовут по-другому... Пока я сообразил, что это тебя так кличут, чуть не поседел вконец.

— Графом, что ли?

— Да, Графом. О Графе все говорят, будто его подстрелили охотники в Ахпевском лесу.

— Это правда.

— Правда, да не совсем: ты жив, а тебя считают мертвым, и так-то оно и лучше.

Огнянов подскочил на кровати, как ужаленный.

— Как? И она? И она думает, что меня убили? Только этого ей недоставало, несчастной!

Огнянов встал и, словно желая испробовать свои силы, зашагал по комнате.

— Не надо ходить, рану разбередишь.

— Я уже могу ехать,— проговорил Огнянов решительно.

— Куда ехать? — спросил удивленный дядя Марин.

— В Бяла-Черкву.

— Ты с ума сошел!

— Нет еще, но сойду, если задержусь здесь хоть на день. Достань мне одежду. Дашь мне своего коня?

Зная упрямство Огнянова, дядя Марин не пытался его удерживать.

— Можешь взять и коня и одежду. Только жаль мне тебя, молодой ведь совсем,— проговорил он, помрачнев.— По всем дорогам снуют проклятые турки, грабят народ, и нет числа их зверствам... Неужто тебе не жалко самого себя?

— За меня не беспокойся, я вернусь к тебе, как сокол, живым и здоровым. Если не прогонишь...— добавил Огнянов полушутя.

Старик посмотрел на него хмуро.

— Нет! Ты не поедешь! — сказал он решительно.— Я созову всю деревню, и тебя силком запрут здесь. Ты нам нужен, как причастие божие, а собираешься идти на верную смерть! Я не хочу, чтобы потом люди говорили: дядя Марин послал на смерть учителя Бойчо, нашего апостола! — сердито кричал он.

— Потише, дядя Марин, вся деревня услышит,— остановил его Огнянов.

Дед Мина улыбнулся в усы.

И у Марина лицо засияло каким-то веселым лукавством.

Огнянов посмотрел на друзей с удивлением. Почему их рассмешили его последние слова?

— Чего вы смеетесь? — спросил он.

— Эх, дай тебе бог здоровья, учитель! Кого ты боишься? Все наши деревенские, даже дети, знают, что ты у меня... О твоем пропитании вся деревня заботилась... Мы простые люди, но христиан не выдаем, а за таких, как ты, душу отдадим!

Теперь и Огнянов улыбнулся, поняв, что его тайна была известна всей деревне.

Они спорили еще долго, но Огнянов рассеял опасения хозяина, и его отъезд был решен.

XXIX. БЕСПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ

Часом позже из Веригова верхом на коне выезжал турок. Точнее — турецкий крестьянин.

Заношенная, выцветшая зеленая чалма закрывала его лоб до самых бровей, шея сзади была тщательно выбрита, ворот ситцевой безрукавки с истрепанными петлями не застегнут. На плечах у него был рваный кафтан с протертыми рукавами, за поясом — нечищеный старинный кремневый пистолет с коротким шомполом, сопотский ятаган и трубка; на ногах — узкие рваные шаровары с незастегнутой у щиколотки штаниной и полицейские царвули с ремнями. Поверх всего этого был накинут драный тулуп из домоткаиого сукна.

В таком виде Огнянов был неузнаваем.

Зима, уже вступившая в свои права, легла на землю белым покрывалом, кое-где вспоротым черными скалистыми пиками Стара-планины. Печаль и безмолвие сковали природу. Только большие стаи ворон, перелетая с места на место, будили дремлющие окрестности.

Прямой путь в Бяла-Черкву шел на северо-восток, но Огнянов от него отказался, чтобы не проезжать через деревню Эмексиз-Пехливана, которая невольно внушала ему страх. В памяти его всплывала гончая убитого, и чудилось, будто в нее переселился ненавистный дух турка, вышедший из могилы, чтобы преследовать врага. Итак, Огнянов направился прямо на север, к Карпарскому постоялому двору, намереваясь оттуда повернуть на восток и по отрогам Стара-планины пробраться в Бяла-Черкву. Это был окольный, но менее опасный путь, хотя и он проходил через турецкие селения.

Когда Огнянов подъехал к первой турецкой деревне, снег стал падать крупными хлопьями, заволакивая все вокруг. Становилось все холоднее. Огнянов совсем закоченел: его онемевшие руки едва держали поводья; конь шел, полагаясь лишь на чутье, так как земля была покрыта снегом и от дороги не осталось и следа. Тихо проехал Огнянов по безлюдным улицам деревни, не встречая ни одной живой души, и вскоре спешился у единственного здесь постоялого двора, расположенного против мечети. Надо было дать отдых коню, который уже еле брел по сугробам, да и самому хотелось погреться. Передав коня мальчику-слуге, Огнянов толкнул дверь кофейни, решив, что она пуста, так как изнутри не доносилось ни малейшего шума. Но, распахнув дверь, он остановился пораженный: кофейня была битком набита турками. Повернуться и уйти было неудобно. Он сде-

лал общий поклон и сел. Ему вежливо ответили. Прожив долгое время среди турок, Огнянов хорошо изучил их язык и обычаи. Посетители сидели на рогожках, без обуви, с длинными трубками в руках. В комнате было полутемно от табачного дыма.

— Кофе! — резко потребовал Огнянов, обращаясь к хозяину.

И, низко склонившись, чтобы по возможности скрыть лицо от чужих взглядов, Огнянов стал набивать себе трубку. Так, сгорбившись и со свистом прихлебывая кофе, он стал прислушиваться к разговорам. Вначале он слушал равнодушно, но насторожил уши, когда речь зашла об убийстве двух охотников. Подобного случая давно уже не было в этой округе, и турки и сейчас еще жаждали мести. Внезапное возбуждение обуяло посетителей кофейни, перед тем таких тихих и вялых. Послышалась злобная ругань, посыпались угрозы кровавых расправ над болгарами. Огнянов постарался придать своему лицу еще более хмурое выражение и стал еще громче прихлебывать кофе в знак того, что и он разделяет общее негодование. Разговор перешел на убийцу охотников, и Огнянов со смущением убедился в том, как популярны его имя и личность. Даже в этой глуши о нем уже ходили легенды.

— Этого безбожника-консула нельзя ни поймать, ни узнать,— сказал один из присутствующих.

— Ему какой-то дьявол помогает: то он учитель, то поп, то крестьянин, то турок; меняется в мгновение ока,— из молодого парня оборачивается в старика. Сейчас он безбородый, волосы черные, а немного погодя — глядишь, уже русый, с длинными усами. Поди поймай его! Ахмед-ага мне говорил, что как-то раз его выследили неподалеку от Текийского леса. Погнались за ним,— он тогда был переодет крестьянином,— и вдруг погоня видит перед собой ворона, а крестьянина и след простыл... Стали стрелять, но птица как сквозь землю провалилась, только и слышно было ее карканье...

— Басни,— заметил кто-то недоверчиво.

— Все равно от нас не уйдет, рано или поздно попадется, только бы напасть на его логово,— проговорил другой.

— Я же вам говорю, что этого негодяя нельзя поймать,— возразил первый.— Он и не прячется, да разве его узнаешь?.. Может, он и сейчас сидит здесь, среди нас, в кофейне, а нам и невдомек.

Все посетители невольно подняли глаза и переглянулись. Несколько взглядов с любопытством остановились на Огнянове.

Он теперь допивал третью чашку, по-прежнему шумно глотая кофе и беспрестанно выпуская изо рта клубы дыма, которые окутали все его лицо, но почувствовал, что все на него смотрят, и по его вискам покатились капли пота. С трудом выдерживая напряжение, он только ждал подходящего момента, чтобы уйти из кофейни и свободно вздохнуть на свежем воздухе.

— Если не тайна, куда держишь путь? — спросил его кто-то.

— На Клисуру, по воле аллаха,— спокойно ответил Огнянов, развязывая длинный измятый кошелек, чтобы заплатить за кофе.

— В такую метель?.. Лучше переночуй здесь, все равно завтра успеешь на базар.

— Путнику путь, что лягушке лужа,— возразил Огнянов, усмехаясь.

— Что ты нам бабушкины сказки рассказываешь, Рахманага? — проговорил кто-то.— Твой гяур не дьявол и не ворон, а бунтовщик, такой же, как все бунтовщики.

— А вот ты попробуй поймай его!

— Поймаем... уже напали на след.

— Только попадись он нам в руки! — крикнули несколько человек, кровожадно озираясь по сторонам.

— Даю голову на отсечение, что не сегодня, так завтра Бойчо-бунтовщик будет пойман.

— А где его ищут, этого пса?

— Он скрывался у гяуров в какой-то среднегорской деревне,— нашел себе тепленькое местечко. Вчера туда отправились полицейские; одни пошли через деревню Баня; другие — через Абрашларские луга... Загоним зверя!

— И ты туда?

— Туда! Соберемся в Вернгове и оттуда начнем.

Человек, сказавший эти слова, сидел в углу, и Огнянов только теперь рассмотрел, что это полицейский. Итак, останься он хоть на один день в Вернгове, ему угрожала бы гибель, и эта новость взволновала его. Никто больше не смотрел на него с подозрением, но в этой кофейне ему стало душно... Сделав общий поклон, он вышел.

Снова очутившись на свободе, на свежем воздухе, под снежным небом, он вздохнул полной грудью и вскочил на коня.

После трехчасового пути всадник, весь в снегу, остановился у Карпарского постоялого двора.

XXX. ОБЩИТЕЛЬНЫЙ ЗНАКОМЫЙ

Карнарский постоялый двор стоит высоко в горах на Трояпском перевале. Здесь путники отдыхают, закусывают, отогреваются и с новым запасом сил начинают подъем на Стара-планину. Но каждую зиму на одну или две недели постоялый двор лишается посетителей: путников не бывает, потому что вьюги наметают огромные сугробы снега на старую римскую дорогу, что идет через Балканские горы, и она становится непроезжей. Тогда всякая связь между Фракией и Придунайской Болгарией прекращается, пока троянские возчики цепой нечеловеческих усилий не протопчут узкую дорожку в снегу. В эти дни путь уже был закрыт, и постоялый двор пустовал. Хозяин его, болгарин маленького роста, с тупым, вечно ухмыляющимся лицом, вежливо встретил гостя и провел его в большую комнату, предназначенную для приема гостей и всяких других целей. В очаге пылал огонь, и Бойчо прикурил от него.

— Другие заезжие есть? — спросил он хозяина.

— Нет никого. Когда закрыт путь через Балканы, мой постоялый двор тоже закрывается... Куда едешь? — спросил хозяин, с любопытством осматривая гостя.

— Можешь сварить кофе? — вопросом на вопрос ответил Огиянов.

— Можем, можем, отчего не сварить?.. Куда ж ты едешь? — настаивал хозяин.

— В Троян.

— Откуда?

— Из Бяла-Черквы... А дальше дорога хорошая?

— Я сам из Бяла-Черквы, но только в Троян проехать нельзя... Я правду говорю, уж ты мне поверь...— приговаривал хозяин, подавая кофе, и так пристально смотрел на гостя, словно старался вспомнить, где он видел этого человека.

Огиянов сдвинул брови и опустил голову, чтобы избежать этих назойливых взглядов. Хозяин снова посмотрел на него искоса и усмехнулся в усы.

— Хозяин, ты подал сладкий кофе! — проговорил Огиянов строгим тоном и отодвинул чашку.

— Прости, я думал, ты пьешь кофе с сахаром. Сварить еще?

— Не надо!

— Нет, выпей, выпей еще кофейку, это полезно...

— Что нового в ваших краях?

— Страшные дела творятся. Что ни день — убийства, грабежи. Проезжих нет, путь через горы закрыт, я разоряюсь... А с

тех пор как выкопали труп Эмексиз-Пехливана,— знаешь, небось? — турки совсем озверели... Делают вид, будто ищут бунтовщиков, а на самом деле убивают невинных. Я тебе правду говорю, ты мне поверь...

Огнянова удивила смелость хозяина; болгарин решался так говорить только с болгарином. И Огнянов, выдававший себя за турка, нахмурился.

— Ну, ты полегче, осел! Будешь болтать лишнее, и тебе не сносить головы.

— Я знаю, при ком болтаю, господин,— проговорил хозяин фамильярным тоном.

Огнянов посмотрел на него еще более удивленно. Ему захотелось как-то осадить его.

— Да ты, кажется, пьян, гяур?

— Не сердись, Граф, ведь я тоже на «Геновеве» плакал! — отозвался хозяин уже по-болгарски и протянул гостю руку.

Огнянов понял, что его узнали, и это его взбесило. К тому же и лицо и нахальство этого человека были ему противны. Бросив холодный взгляд на хозяина, он спросил:

— Откуда ты родом?

— Из Бяла-Черквы, Рачко Прыдле! — отрекомендовался хозяин и опять протянул руку, но она снова повисла в воздухе.

Впрочем, Рачко на это не обиделся.

— Что ты меня боишься, Граф? Или тебе не нравится мое имя? Оно мне досталось от отца, и я им горжусь... Да и разве это важно, как кого зовут. Имя ничего не значит; если человек честен, так и имя у него доброе. Спроси в Бяла-Черкве, кого зовут Прыдле, каждый тебе скажет... Ты послушай меня. Когда человек честен, так имя его, к примеру сказать... Я содержу свое семейство, у меня трое детей,— чего и тебе желаю,— и каждый меня уважает... А ради чего человек живет? Ради чести и доброго имени.

— Твоя правда, Рачко, дело говоришь.

— Правду говорю. Ты не смотри, что я такой,— я тоже не лыком шит... Сколько раз я принимал здесь народных борцов... Я как только тебя увидел, так и подумал: постой, а ну посмотрим, узнает ли меня Граф.

Огнянов никак не мог припомнить, видел ли он когда-нибудь этого знаменитого человека.

— Ты давно держишь этот постоялый двор?

— Да года полтора уже, но когда показывали «Геновеву», я как раз приехал в Бяла-Черкву... Ты играл графа.

— А ты мне дашь чего-нибудь поесть?

— Угощу чем бог послал.

Рачко поставил на грязный стол небольшую миску фасоли с красным перцем, подал кислую капусту и хлеб.

— И я за компанию,— проговорил он общительно и сел за стол вместе с Огняновым.

Тот ел молча. Рачко производил на него самое неприятное впечатление своей бесцеремонностью, да к тому же он сел с ним за стол без приглашения.

«Какой нахал! Вот так хозяин! И, кажется, набитый дурак к тому же»,— подумал Огнянов. А Рачко, как бы в подтверждение его мыслей, налил два стакана и сказал:

— Давай чокнемся! Ну, будь здоров! — И осушил стакан прокисшего вина.— А узнал-то я тебя сразу, правда? Сколько раз я здесь принимал дьякона Левского, чокался с ним! Он со мной дружил... И я народный борец, не смотри, что я такой...

В его словах Огнянов заметил явное противоречие: Рачко говорил, что держит этот постоялый двор года полтора, а Левский погиб три года назад. Очевидно, хозяин врал, и это усугубило недоверие Огнянова.

— Допей вино-то! Как? Не хочешь? Ну так дай, я выпью...

И Рачко допил стакан Огнянова, скорчив гримасу,— вино у него было не вино, а уксус.

Обед закончился быстрей, чем того желал развеселившийся Рачко.

— Погоди, куда спешишь? Неужто не останешься ночевать? Я тебя ненадолго оставлю одного, только схожу в Карнаре... Ты меня подожди. Оставайся на весь вечер... Поболтаем... Я ведь тоже борюсь за народ.

— Спасибо, Рачко, но лучше выведи моего коня, я двинусь дальше.

— Дорогу-то совсем замело... Я тебе правду говорю, ты меня слушай... Даю голову на отсечение...

— Довольно! — отрезал Огнянов и добавил нетерпеливо: — Приведи коня!

Хозяин вышел.

Огнянов тщательно осмотрел комнату и заглянул во все двери... Ему невольно пришел на память Какринский постоялый двор, где предали Левского. Корчмари в турецких деревнях, хотя все они и были болгары, поневоле и по привычке якшались с турками, и их надо было остерегаться. А этот пустомеля Рачко явно был способен навредить с самым невинным видом.

— Конь стоит у крыльца, но дорога на Троян плохая,— сказал Рачко, вернувшись.

— Сколько я тебе должен за себя и за коня?

— Нет, Граф, извини, я тебя угощал.

— Все-таки скажи, я хочу тебе заплатить. Я очень доволен твоим гостеприимством и особенно твоим вином,— насмешливо проговорил Огнянов.

— Да, винцо неплохое... Но ни за него, ни за угощение, ни за сено я с тебя ни гроша не возьму... Для таких друзей, да я...

— Раз так, благодарю тебя, Рачко,— сказал Огнянов, оглядываясь кругом.— Здесь никто больше не живет?

— Только я и сын, Граф, но сына я послал в Бяла-Церкву. Он сегодня вечером вернется. Мне сейчас надо сходить в деревню ненадолго, а оставить здесь некого... Останься, а?

Огнянов бросил взгляд на столб, подпиравший потолок. Потом взял хозяина за руки и проговорил дружеским тоном:

— Теперь потерпи, Рачко, пока я тебя свяжу.

И, сняв одной рукой веревку, висевшую на гвозде, Огнянов другой рукой прижал Рачко к столбу.

Тот принял это за шутку.

— Так ты меня связать хочешь? Ладно, связывай! — проговорил он с веселой усмешкой.

Огнянов, не торопясь, привязал хозяина к столбу. Поняв наконец, что дело нешуточное, Рачко сначала удивился, потом вознегодовал:

— Ты так не шути! Что я, разбойник, что ли, чтобы меня связывать?

И Рачко сделал попытку разорвать веревку.

— Только пикни, я тебе живот распорю! — жестко проговорил Огнянов.

Хозяин испуганно покосился на пистолет, торчавший за поясом гостя, он чуял, что Граф ни перед чем не остановится, и присмирел.

— Я бы лучше тебе язык завязал, но раз не могу язык, связываю тебя,— говорил Огнянов, улыбаясь и крепко привязывая хозяина.— Когда вернется твой сын?

— Вечером,— ответил Рачко, весь дрожа.

— Ну, он тебя и отвяжет. Прощай, Рачко, я поеду в Троян. Сохрани память о Графе, но только в своем сердце...

И, бросив хозяину под ноги несколько грошей, Огнянов вскочил на коня и снова отправился в путь.

XXXI. ПОСИДЕЛКИ В АЛТЫНОВЕ

Огнянов не поехал в Бяла-Черкву, но повернул назад, к деревне Алтыново, расположенной к западу от постоялого двора, в конце долины. До нее было часа два езды, но конь выбился из сил, а дорога оказалась трудная. Таким образом, Огнянов добрался до деревни только к вечеру, провожаемый воем волков, которые гнались за ним до самой околицы.

Он въехал в деревню через болгарский квартал (в ней жили и турки и болгары) и вскоре остановился у ворот дяди Цанко.

Дядя Цанко был родом из Клисуры, но с давних пор переселился в Алтыново и обосновался здесь. Это был простодушный, веселый человек и настоящий патриот. У него часто останавливались апостолы. Огнянова он встретил с радостью.

— Хорошо сделал, что заехал ко мне... Нынче вечером у нас посиделки, посмотришь на наших девок. Не пожалеешь,— улыбаясь, говорил Цанко, провожая гостя в комнаты.

Огнянов поспешил рассказать хозяину, что его преследуют и по какой причине.

— Слыхали, слыхали и мы,— проговорил дядо Цанко.— Ты думаешь, если мы живем в глуши, так и не знаем, что на свете творится?

— Но, может, у тебя будут неприятности из-за меня?

— Не беспокойся, говорю тебе. Нынче вечером присмотри себе девушку... в знаменосцы,— пошутил Цанко.— Вот в это окошко будешь глядеть, словно царь какой.

Огнянов очутился в тесной и темной каморке. В крошечное оконце он увидел большую комнату. Сюда собрались самые пригожие девушки и молодицы, чтобы заняться пряжей и шитьем для приданого Донки, дочери хозяина. Огонь весело пылал в очаге, освещая стены, украшенные лубочной иконой св. Ивана Рильского и полками, на которых стояли пестро раскрашенные глиняные поливные блюда. Мебель, как и в каждом зажиточном деревенском доме, составляли умывальник, стол, лавки и огромный шкаф, в котором хранилась домашняя утварь Цанко. На полу, устланном козьими шкурами, сидели парни и гости, готовившие приданое. В тот вечер хозяева позволили себе роскошь — не довольствуясь пламенем очага, зажгли две керосиновые лампы.

Огнянов уже давно не наблюдал подобных любопытных сборищ, созывавшихся по старинному обычаю. Притаившись в тем-

ном чуланчике, он с интересом следил за наивными сценами чуть ли не первобытной сельской жизни. Дверь открылась, и вошла Цанковица — жена Цанко, тоже уроженка Клисуры, сплетница и болтушка. Присев подле Огнянова, она указывала ему на красивейших девушек, называя их по именам, и о каждой находила что сказать.

— Поглядп вон на ту краснощекую толстуху. Это Стайка Чонина... Заметь, как смотрит на нее Иван Боримечка... Уж так жалобно, так жалобно! А когда хочет ее рассмешить, лает, что овчарка. Работящая девка, подбористая и чистюля. Только уж больно быстро раздобрела бедняжка, ну да ничего, выйдет замуж, похудеет. А ваши девушки, городские, те, наоборот, после замужества толстеют... Та, что слева от нее, это Цвета Продапова: у нее любовь вон с тем, у которого усы торчат, как опаленные... Уж такая вертушка! То и дело стреляет глазами на все четыре стороны. А так ничего, хорошая девушка. Рядом с ней Цвета Драганова, а рядом с Цветой — Райка-поповна... Этих я и на двадцать пловдивских красоток не променяю. Смотри, какие у них белоснежные шеи, ну прямо лебединые. Как-то раз мой Цанко сказал, что если одна из этих девок позволит ему поцеловать ее в шею, так он ей подарит свой виноградник на Малтепе... За это я его, нечестивца, хватила кочергой... А видишь ту, что справа от толстой Стайки? Это дочь Кара-Велюва — самая богатая невеста. К ней пятеро лучших женихов сватались, да отец ее не отдает... Держит при себе, суслик... Он ведь на суслика похож... Отсохни у меня язык, если Иван Недялков ее не увезет... А вон там и Рада Милкина; она песенница: поет, ни дать ни взять соловушка на нашей сливе, только жаль, неряха. Ну ее к богу; мне больше по душе Димка Тодорова, та, что сидит у скамьи; смотри, какая она хорошенькая да нарядная. Будь я парнем, непременно бы к ней посваталась. Хочешь, тебя посватаю? Уж больно у нее глаза хороши, чтоб ей пусто было... А рядом с нашей Донкой сидит Пеева дочка. Она тоже красивая и работящая, ничего не скажешь, не хуже нашей Донки. И голосиста, как Рада Милкина, а смеется — ну что твой колокольчик, заслушаешься.

Так, стоя в темноте рядом с Бойчо, Цанковица напомнила Беатриче из «Божественной комедии», когда она показывает Данте всех обитателей ада поочередно и рассказывает их историю.

Огнянов слушал в пол-уха бесконечные объяснения Цанковицы; он был целиком поглощен самим зрелищем и не очень нуждался в его толковании. Девушки посмелее лукаво под-

шучивали над парнями, заливаясь веселым смехом. На мужской половине тоже раздавался громкий смех, и отсюда летели стрелы, пущенные в представительниц болтливого пола. С обеих сторон градом сыпались шутки, насмешки, остроты, а порой вольное словцо вызывало непринужденный хохот парней и румянец на щеках девушек, даже самых загорелых. Цанко тоже принимал участие в общем веселье, Цанковица же хлопотала по хозяйству, готовя угощение. Донка то вставала с места, то снова садилась.

— Будет вам хохотать, лучше спойте! — весело крикнула хозяйка, покинувшая Бойчо, чтобы пойти посмотреть стоявшую на огне кастрюлю, в которой варилось кушанье для гостей.— Рада, Станка, затяните-ка песню, чтобы парням стыдно стало. Эти женихи гроша ломаного не стоят, коли они петь не хотят.

Не дожидаясь повторения просьбы, Рада и Станка запели песню, и ее подхватили девушки, разделившись на две группы. Одна, состоявшая из лучших песенниц с высокими голосами, пропев стих, умолкала, другая вторила первой:

Добро-ле, парень с девушкой, добро-ле, да слюбился,
Добро-ле, подружился, добро-ле, с малолетства.
Добро-ле, повстречался, добро-ле, как-то вечером,
Добро-ле, да на улице, добро-ле, темной улице,
Добро-ле, да сидели, добро-ле, говорили.
Добро-ле, ясный месяц, добро-ле, рог свой выставил,
Добро-ле, звезды небо, добро-ле, сплошь осыпали,
Добро-ле, парень с девушкой, добро-ле, не расходятся.
Добро-ле, сидят рядышком, добро-ле, все беседуют.
Добро-ле, вода в ведрах, добро-ле, льдом покрылася,
Добро-ле, коромысло, добро-ле, встало явором,
Добро-ле, парень с девушкой, добро-ле, все милуются.

Девушки кончили петь, и посыпались похвалы парней, которым эта любовная песня понравилась, потому что каждый считал, что она спета для него. Иван Боримечка не спускал глаз со Стайки Чониной.

— Вот пойдем по домам, проверим эту песню! — громогласно изрек он.

Девушки расхохотались, насмешливо поглядывая на Боримечку.

Он был как утес: рост гигантский, сила богатырская, лицо скуластое, рябое и простодушное. Петь он любил до страсти, а голос у него был под стать его телосложению. Боримечка рас-

сердился. Молча отойдя в сторону, он внезапно залаял, как старая овчарка, прямо над головой у девушек. Девушки взвизгнули от испуга, потом рассмеялись. Те, что были посмелее, принялись его дразнить. Одна девушка запела:

Иване, голубь ты сизый,
Иване, тонкий ты тополь...

Все расхохотались.
Другая подхватила:

Иване, медведь худущий,
Иване, как шест длинущий...

Снова послышались хихиканье и смех. Иван вспыхнул. Тупо и удивленно глядя на толстощекую Стайку Чонину, которая так нелюбезно высмеяла своего вздыхателя, он раскрыл рот, напоминавший пасть удава, и заревел:

Пейкина тетка молвила:
«Пейка, Пейка, голубушка,
Слышно, болтают люди все,
Люди, соседи ближние,
Что ты румяная, пышная,
Да толстая, да тяжелая
От батрака от дядина».
«Тетя, милая тетечка,
Пусть болтают, что вздумают
Люди, соседи ближние.
Я пышная и румяная,
Я полная и тяжелая
От батина хлеба-соли,
От сытной его пшеницы.
Пока я тесто мешаю,—
Винограда корзинку съедаю
Да ведро вина выпиваю...»

Это была злая насмешка, и Стайка смутилась. Щеки ее покраснели так, что казалось, будто их густо нарумянили. Злорадное хихиканье подружек больно задело ее. Некоторые насмешницы с притворным простодушием спрашивали певца:

— Как же это можно,— и виноград есть, и вино пить? Врет эта песня.

— Да уж что-нибудь одно,— песня врет или девушка врет,— ответил кто-то.

Ядовитый намек привел в бешенство Стайку. Она бросила мстительный взгляд на победоносно озиравшегося Боримечку и запела дрожащим от гнева голосом:

«Пейка, цветок во садочке,
Твои смешки да словечки,
Мои хожденья да просьбы,—
Не зря же все это было:
Давай поженимся, Пейка!»
«Йовко, ты черный работник.
Да кабы Пейка любила
Таких, как ты, свинопасов,
Свинопасов, худых подпасков,
Боярских грязных холопов,—
Горожу б из них городила,
Тебя б, дурака, положила
У самых дверей вместо камня.
На двор бы я выходила,
Телят бы я загоняла.
В грязи башмачки бы марала
Да об тебя вытирала!»

За смертельную обиду — страшное отмщение!

Стайка гордо оглянулась кругом. Слова песни ножом вонзились в сердце Ивана Боримечки. Выпучив глаза, он стоял как вкопанный, и казалось, будто его обухом по голове ударили. Раздался взрыв громкого, неудержимого хохота. Все с любопытством уставились на бедного Ивана. А он не знал, куда деваться от стыда и невыносимо оскорбленного самолюбия; на глазах его выступили слезы. Хохот поднялся пуще прежнего. Цанковица принялась журить молодежь:

— Это еще что за насмешки? Да разве можно парню и девушке так цапаться, вместо того чтобы ласкаться и ворковать, как голубки?

— Хороши голубки, нечего сказать! — пробормотала одна насмешница.— Один другого стоит, полюбуйтесь на них.

И веселые девушки снова расхохотались.

— Милые бранятся, только тешатся,— заметил Цанко примирительно.

Но Иван Боримечка, еще больше рассердившись, вышел из комнаты.

— Кто кого любит, на того и походит,— сказала Неда Ляговичина.

— А ты знаешь, Неда,— над кем люди смеются, тому бог помогает,— отозвался Коно Горан, двоюродный брат Боримечки.

— Ну-ка, молодцы, затяните-ка вы какую-нибудь старую гайдуцкую, чтоб сердца у вас поуспокоились,— предложил Цанко.

Парни дружно запели:

Бедный Стоян, бедняга!
На двух дорогах следили,
На третьей его схватили.
Веревки свои размотали,
Молодцу руки связали.
Привели беднягу Стояна
На подворье попа Эрпна.
Есть у попа две дочки,
А третья — спошенька Ружа,
Ружа масло сбивала
У самой садовой калитки,
А дочки двор подметали,
Стояну они сказали:
«Братец ты, братец Стояне,
Наутро тебя повесят
На царском дворе на широком,
И казнь увидит царица,
Царица и царские дети».
И Руже Стоян промолвил:
«Ружа, сноха попова,
Не жалко мне своей жизни,
И белый свет уж не мил мне.
Юнак не жалеет, не плачет.
Только прошу тебя, Ружа,
Выстирай мне рубашку
Да расчеши мои кудри,—
Хочу одного лишь, Ружа:
Когда молодца повесят,
Чтоб рубашка его белела
Да чуб развевался по ветру».

Огнянов трепетно слушал конец этой песни.

«Этот Стоян,— думал он,— настоящий гайдук, легендарный болгарский гайдук. Смерть он встречает суровым спокойствием. Ни слова сожаления, раскаяния, надежды. Единственное желание — умереть достойно!.. Если бы теперешние болгары были такими героями!.. О, тогда бы я не беспокоился за исход борьбы... О такой борьбе я мечтаю, такие силы ищу... Уметь умирать — это залог победы...»

И тут зазвучали кавалы. Мелодия, вначале нежная и грустная, постепенно крепла и ширилась; глаза музыкантов заблестели, лица их загорелись воодушевлением. Ясные звуки звенели, наполняя ночь первобытной, дикой песней гор. Они уносили душу к балканским вершинам и пропастям, они пели о тишине лесистых ущелий, о шелесте листвы, под которой в пол-

день отдыхают овцы, о лесных травах, о горном эхе и вздохах любви в логу. Кавал — это арфа болгарских гор и равнин!

Как зачарованные, внимали все этой родной, близкой поэтической музыке. Цанковица, стоя у очага, слушала, не шелохнувшись, уперев руки в бока. Но больше всех восторгался Огнянов,— он чуть было не захлопал в ладоши.

Возобновились шумные разговоры, снова раздался смех. Упомянули имя Огнянова, и он стал прислушиваться. Петр Овчаров, Райчин, Спиридончо, Иван Остен и другие завели разговор о предстоящем восстании.

— Я уже совсем приготовился к свадьбе, жду только револьвера из Пловдива. Послал за него сто семьдесят грошей,— три барана продал,— говорил пастух Петр Овчаров, председатель местного комитета.

— Но мы не знаем толком, когда поднимут знамя. Одни говорят, что мы обагрим свои клинки на благовещенье, другие — на юрьев день, а дядя Божил откладывает дело до лета...— говорил Спиридончо, стройный, красивый парень.

— Подожди, пока закукует кукушка и зашумит дубрава... Впрочем, я готов хоть сейчас,— пусть только скажут.

— Да, наша Стара-планина многих юнаков укрывала и нас укроет,— проговорил Иван Остен.

— Петр, так, значит, учитель двоих ухлопал? Молодчина!

— Когда же он приедет к нам в гости? Поцеловать бы ту руку, что так ласкать умеет,— сказал Райчин.

— Он нас опередил, учитель-то, но мы постараемся его догнать. Мы в этих делах тоже смыслим,— отозвался Иван Остен. Иван Остен был богатырь и меткий стрелок. Убийство Дели-Ахмеда, совершенное в прошлом году, приписывали ему. Местные турки следили за ним, но пока безуспешно.

За ужином пили за здоровье Огнянова.

— Дай бог, чтоб мы скорее увидели его живым и здоровым... Берите пример с него, сынки,— проговорил Цанко, осушив миску вина.

— Спорю с любым, кто пожелает,— вмешалась петербургская Цанковица,— что завтра раным-ранешенько он, как сокол, прилетит сюда.

— Да что ты говоришь, Цанковица? А я завтра еду в К.! — огорченно проговорил Райчин.— Если он приедет, вы его задержите до сочельника... Повеселимся на святках, кровяной колбасой его угостим.

— Что это за шум на улице? — сказал Цанко и, не допив вина, встал.

И в самом деле со двора доносились мужские и женские голоса. Цанко и его жена выскочили за дверь, гости тоже встали. Но Цанковица сразу же вернулась, очень взволнованная, и объявила:

— Вот и обтяпали дельце, дай им бог здоровья!

— Что такое? Что случилось?

— Боримечка увел Стайку.

Все так и ахнули.

— Схватил ее в охапку, негодник, да и потащил к себе домой на плече, как ягненка.

Поднялся веселый шум.

— Да как же это получилось?

— Потому-то он и ушел раньше, а за ним — Горан, братец его.

— Подкараулил Стайку за поленницей у ворот,— объясняла Цанковица,— да и схватил! Вот жалей парня, а он девушку не пожалеет. Ну и Боримечка! Кто бы мог подумать!

— Уж если говорить правду, они — два сапога пара! — сказал кто-то из гостей.

— Она как откормленный сербский поросенок, а он — как мадьярский битюг,— шутил другой.

— Ну, совет им да любовь, а завтра выпьем у них красной водки,— сказал Цанко.

— И меня должны угостить; кому-кому, а мне полагается,— кричала Цанковица,— ведь я их, можно сказать, сосватала!

Немного погодя гости разошлись по домам веселые.

XXXII. ДО БОГА ВЫСОКО, ДО ЦАРЯ ДАЛЕКО

Цанко зашел к Огнянову в его темный чулан.

— Ну, Бойчо, понравились тебе наши посиделки?

— Замечательно, великолепно, дядя Цанко!

— А ты записал песни?

— Как я мог записывать? Здесь и свечи-то нет.

Пришла Цанковица со свечой в руках.

— Стучат в ворота,— сказала она.

— Верно, Стайкины родные за ней пришли... Ну, с этой бедой мы справимся!

Но тут вошла Донка и сказала, что стучат полицейские, а ведет их дед Дейко, староста.

— Черт бы побрал и их, и твоего деда Дейко! Куда мне их девать, этих свиней?.. Они не за тобой,— успокоил он Огня-

нова,— но все-таки спрячься. Жена, покажи учителю, куда ему спрятаться.

И Цанко вышел. Немного погодя он привел в дом двух разъяренных полицейских в плащах, засыпанных снегом.

— Почему ты держал нас целый час на улице, скотина? — ругался одноглазый полицейский, стряхивая снег с плаща.

— Мы чуть не замерзли, пока ты удосужился открыть! — кричал другой, низкорослый, хриплым басом.

Цанко бормотал какие-то извинения.

— Что бормочешь? Поди зарежь цыпленка и зажарь яичницу.

Цанко хотел было возразить что-то, но одноглазый заорал:

— Не трепли языком, гяур, а прикажи хозяйке приготовить ужин, да пожирее!.. Или ты собираешься угощать нас своим гяурским компотом с ореховой скорлупой? — добавил он, бросая презрительный взгляд на неубранный стол.

Цанко поплелся было к двери, чтобы выполнить приказание, но второй полицейский крикнул ему:

— Постой, а девок куда упрятал?

— Все разошлись по домам, уже поздно,— ответил Цанко, с которого хмель совсем уже соскочил.

— Ступай приведи их: пускай дожинают... да нам поднесут водочки. Зачем ты их прогнал?

Цанко испуганно смотрел на него.

— Где твоя дочь?

— Уже легла, господин.

— Подними ее, пусть угостит нас,— сказал одноглазый, сушивший у огня свои обмотки, от которых поднимался пар и шел тяжелый запах.

— Не пугайте мою дочку, господин,— умоляющим голосом просил Цанко.

Вошел староста и со смиренным видом стал перед турками.

— Свинья! Заставил нас, как нищих, стучаться в двадцать дверей! Насилу привел сюда! Чего вы прячете своих...

И он назвал деревенских девушек скверным словом.

Болгары отмалчивались: ко всему этому они привыкли. В эпоху рабства родилась унизительная пословица: «Повинную голову меч не сечет». Цанко молил бога только об одном — чтобы эти люди не трогали его дочери.

— Ну, хозяин,— начал одноглазый,— значит, вы готовитесь к бунту?

— Нет, господин,— смело ответил Цанко.

— А зачем здесь валяется кинжал? — сказал другой поли-

цейский, коротыш, подняв кинжал, забытый Петром Овчаровым на половике.

— Так вы не готовитесь к бунту, нет? — ехидно усмехаясь, спросил одноглазый.

— Нет, господин, мы мирные подданные султана,— ответил Цанко с напускным спокойствием.— Кто-нибудь из гостей обронил этот кинжал...

— Чей он?

— Не знаю, господин.

Полицейские принялись рассматривать кинжал и увидели, что на нем выцарапаны какие-то слова.

— Что здесь написано? — спросил один из них хозяина.

Тот нагнулся; на одной стороне клинка, близ тупого его края были выцарапаны завитушки и слова «Свобода или смерть», на другой — имя владельца кинжала.

— Тут виноградные лозы нарисованы,— солгал Цанко.

Одноглазый полицейский ударил его грязным царвулем по лицу.

— Ты, гяур, думаешь, что если у меня один глаз, так я уж совсем слепой?

Ответ Цанко только укрепил подозрения полицейских.

— Староста, иди сюда!

Вошел староста, неся на противне раскатанное тесто, чтобы спечь у Цанко в доме пирог. Увидев в руках полицейского обнаженный кинжал, он вздрогнул.

— Прочти, что здесь написано!

Староста нагнулся, прочел надпись про себя и выпрямился в смятении.

— Что-то плохо разбираю, господин.

Полицейский схватил плеть и ударил его. Она со свистом рассекла воздух и два раза обвилась вокруг шеи старосты. По щеке его потекла струйка крови.

— Проклятый народ!

Староста молча вытирал кровь.

— Читай, или я тебе этот кинжал в горло всажу! — заорал полицейский.

Перепуганный староста понял, что делать нечего, нужно подчиниться.

— Петр Овчаров,— прочел он, умышленно запинаясь.

— Ты его знаешь?

— Наш, деревенский.

— Он пастух, этот Петр? — спросил одноглазый, очевидно немного понимавший по-болгарски.

— Да, господин,— и староста вернул ему кинжал, мысленно благодаря святую троицу, что удалось умолчать о других страшных словах, выцарапанных на клинке. Но благодарить было рано.

— Посмотри с другой стороны! — приказал полицейский.

Староста снова наклонился над кинжалом; ему было страшно, и он медлил в нерешительности, но, увидев правым глазом, что коротыш приготовился снова ударить его плетью, сказал:

— «Свобода или смерть» написано, господин.

Одноглазый подскочил.

— И свобода, да? — ухмыльнулся он зловеще.— Кто делает эти кинжалы? Где пастух Петр?

— Да где же ему быть, господин? Дома.

— Ступай позови его...

Староста направился к двери.

— Погоди, дурак, и я пойду с тобой!

И, накинув на плечи плащ, коротыш вышел вместе с ним.

— Так-то лучше, Юсуф-ага, у гяуров что пастух, что разбойник — одно и то же.

Тем временем Цанко пошел к жене, которая готовила туркам еду, осыпая их проклятиями:

— Разрази их господь! Чтоб им все кишки разорвало! Чтоб они змеиной костью подавились и лопнули! Чтоб они ядом отравились! И я должна готовить им мясо перед самым рождеством!.. Откуда взялась эта нечисть? Весь вечер испортили, напугали до полусмерти!..

Вошла Донка, бледная, перепуганная.

— Донка, иди, доченька, ночевать к дяде, только лезь через плетень, не ходи по улице,— сказал Цанко.

— И где только их выкопал этот Дейко? На прошлой неделе тоже привели к нам двоих,— причитала хозяйка.

— А что он может поделать? — отозвался Цанко.— Куда только он их не водил, а они сюда захотели: песни услышали... Старосте тоже по шее надавали.

Цанко пошел обратно к одноглазому.

— Ты где пропадал, хозяин? Давай водки и закуски.

Вместе со старостой вернулся коротыш.

— Нет пастуха,— сердито буркнул он.

— Надо всю деревню перевернуть, но схватить этого бунтовщика,— сказал одноглазый, прикладываясь к водке.

— А может, за отца его взяться? — негромко проговорил коротыш и прошептал еще что-то одноглазому.

Одноглазый одобрительно кивнул головой.

— Староста, ступай позови старика, надо спросить его кое о чем... И это возьми,— сказал коротыш, протягивая ему бутылку из-под водки.

— Насчет водки не выйдет, господин, сейчас все закрыто.

Вместо ответа одноглазый ударил старосту по лицу своим царвулем. Он был не так свиреп, как его спутник, но зверел, когда напивался или хотел напиться.

Спустя четверть часа пришел дед Стойко, человек лет пятидесяти, со смелым, энергичным лицом, которое говорило о силе воли и упорстве.

— Стойко, говори, где твой сын,— ты знаешь, куда ты его спрятал. А не скажешь — не сносить тебе головы.

И одноглазый жадно набросился на водку. Глаз его сверкал. Сделав несколько глотков, он передал бутылку своему спутнику.

— Я не знаю, где он, господин,— ответил старик.

— Знаешь, гяур, знаешь,— злобно процедил сквозь зубы полицейский.

Старик упорствовал.

— Нет, скажешь!

— Сейчас тебе зубы выбьем, а завтра побежишь за нашими лошадьми! — прошипел коротыш.

— Что хотите со мной делайте, жизнь у меня все равно одна,— ответил старик решительно.

— Выйди вон и подумай хорошенько... а не то пожалеешь...— приказал ему одноглазый с притворным добродушием.

Он хотел выманить у деда Стойко выкуп и собирался подослать к нему старосту в качестве посредника. Это был настоящий грабеж, но полицейские поровили получить выкуп под видом добровольного подарка. Турки часто вымогали у болгар деньги подобным образом.

Дед Стойко не двигался.

Удивленные такой дерзостью, турки переглянулись и злобно уставились на старика.

— Ты слышал, старик? — заорал одноглазый.

— Не о чем мне думать, отпустите домой,— хмуро ответил тот.

Полицейские пришли в бешенство.

— Староста, держи эту развалину! — И одноглазый схватил плеть.

Староста и Цанко умоляли полицейского сжалиться над несчастным. Вместо ответа он ударил старика ногой, и тот рухнул на землю.

На него посыпались страшные удары. Вначале дед Стойко кричал, стонал, потом умолк. Обильный пот выступил на лбу его мучителя; турок устал.

Полуживого старика выволокли наружу и стали приводить в чувство.

— Скажете мне, когда он очнется. Я его заставлю говорить.

— Просим тебя, Хаджи-ага, пощади старого человека,— умолял Цанко,— новых мучений он не выдержит... умрет.

— Плевать! Был бы здоров султан, так ты и знай, бунтовщик! — внезапно вспылил коротыш.— Тебя самого виселица ждет не дождется! Ты у себя бунтовщиков собираешь, и пастуха, должно быть, спрятал ты. Надо поискать его у тебя.

Цанко переменился в лице. У одноглазого от водки кружилась голова, но он все же заметил смущение хозяина и резко обернулся к другому турку:

— Юсуф-ага, давай поищем здесь: у этого гяура кто-то укрывается.

И одноглазый встал.

— Ищите,— глухо проговорил Цанко и пошел впереди турок, захватив с собой фонарь.

Он водил их по всему дому, а чулан оставил напоследок. Наконец дошла очередь и до чулана. Здесь в законченном потолке был устроен люк, но, когда его закрывали, заметить его было невозможно. Цанко знал, что Огнянов успел влезть на чердак и закрыть за собой крышку. Поэтому он без большой тревоги привел турок в чулан. Войдя с зажженным фонарем, он первым делом взглянул на потолок. Крышка люка был открыта.

Цанко замер на месте. Турки осмотрели чулан.

— Куда ведет этот ход?

— На чердак,— проговорил Цанко.

Ноги у него задрожали, и он прислонился к стене.

Коротыш заметил, что хозяин дрожит от страха.

— Посвети-ка мне получше, я полезу наверх,— сказал он. Но внезапно спохватился,— должно быть, у него возникли какие-то опасения. Он позвал своего спутника.

Хасан-ага храбрел от вина: хмель ожесточал его сердце и разжигал разбойничью кровь. Турок взобрался на плечи к старосте.

— Ты что, осел, хозяин? Давай фонарь!

Цанко, побледнев как полотно, подал ему фонарь.

Одноглазый сначала просунул в отверстие фонарь, а потом и голову. По движению его туловища можно было догадаться, что он поворачивается и водит фонарем во все стороны.

Но вот он наклонился, спрыгнул на пол и сказал:

— Кого ты здесь прятал, хозяин?

Цанко изумленно посмотрел на него. Он не знал, что ответить. В этот вечер он натерпелся такого страха и так измучился, что ему стало казаться, будто все это сон. Мысли его путались. На новые вопросы он отвечал с испуганным и виноватым видом.

— Ладно! Этот бунтовщик все нам в Клисуре выложит. Там тюрьма получше. А на эту ночь запрем его здесь...

И полицейские заперли хозяина в темном холодном чулане. Цанко был так потрясен, что не скоро пришел в себя. Он схватился за голову, словно боясь, что растеряет остаток разума. Человек он был не стойкий, и страдания быстро сломили его. Он охал и стонал в полном отчаянии.

В дверь стукнули, и послышался голос Дейко:

— Что думаешь делать, Цанко?

— Не знаю, дед Дейко, посоветуй.

— Ты же знаешь, где у турок слабое место. Зажмурь глаза и выкладывай денежки. По крайней мере, отвяжешься. А не то будут тебя таскать по конакам да по судам, пока не замучают до смерти... Дед Стойко и тот, бедняга, мог бы откупиться за малую толику... Раскошеливайся-ка лучше, Цанко, отдай деньги, что накопил на черный день!

Подошла Цанковица, вся в слезах.

— Цанко, давай откупимся! Не жалей ничего, Цанко! Не то эти кровопийцы не выпустят тебя живым из своих когтей... Дед Стойко-то умер... Ох, матушка, до чего мы дожили!

— Что же им отдать, жена? Сама знаешь, денег у нас нет.

— Отдадим монисто.

— Донкино монисто из червонцев?

— Другого ничего нет; давай отдадим, только бы тебе спастись... Эти проклятые звери опять про Донку спрашивают!..

— Ну что ж, делай, жена, как тебя господь вразумил, а я уж и не пойму, что надо,— проговорил Цанко, вздыхая в темноте.

Цанковица вышла вместе с Дейко.

Немного погодя в чулан сквозь щели проник свет свечи, и дверь отперли.

— Цанко, выходи и успокойся,— сказал Дейко.— Турки на этот раз не очень жадничали — даже кинжал тебе отдают, чтоб ты уж не боялся... Дешево отделались.— И он прошептал хозяину на ухо: — Теперь уже недолго терпеть, а потом либо мы их, либо они нас, и делу конец... А так жить нельзя.

XXXIII. ПОБЕДИТЕЛИ УГОЩАЮТ ПОБЕЖДЕННЫХ

Тем временем Огнянов стучал в ворота Петра Овчарова. Он видел через щель в потолке, как убивали старика, и больше не мог выдержать тяжкой душевной муки; рука его тянулась отомстить убийцам, но это было безрассудно и могло кончиться плохо. Как безумный, выскочил Огнянов на улицу и побежал прямо к дому деда Стойко. На его стук дверь открылась.

— Где Петр? — спросил он, совсем позабыв о том, что должен скрываться.

— Это ты, учитель? — спросила мать Петра со слезами на глазах.

— Где ваш Петр, бабушка Стойковица?

— Сынок, смотри, чтобы не прослышали эти... Петр у Боримечки.

— А где дом Боримечки, бабушка?

— Рядом с поповым — узнаешь по новым воротам. Только осторожней, сынок.

Бедная старуха и не подозревала, что ее дед Стойко умирает. Огнянов побежал дальше, не чувствуя под собою ног. Поравнявшись с домом священника, он встретил на улице шумную компанию и, услышав голос Петра, остановил парней.

— Учитель! — послышались голоса.

— Да, я, братцы. Куда идете?

— Были у Боримечки,— ответил Петр.— Он нынче ночью украл себе невесту, вот мы и ходили к нему выпить по чарке вина... Посмотрел бы ты, как они поладили! Можно сказать, родились друг для друга... А ты когда приехал?

— Петр, отойдем, мне надо сказать тебе два слова.

И они вдвоем отошли в сторону.

— Прощайте, спокойной ночи! — крикнул Петр своим товарищам и зашагал домой вместе с Огняновым. Вскоре они подошли к дому деда Стойко.

— Отец вернулся? — спросил Петр у матери.

— Нет еще, сынок.

Огнянов увел Петра в погреб.

— Слушай, Петр, я тебе сказал, что твоего отца жестоко избили из-за тебя... А ведь эти скоты могут натворить у Цанко и чего-нибудь похуже... Только оружием можно удержать их от злодейств. Я бы и сам давеча размозжил им головы, да побоялся последствий... У Цанко нам появляться нельзя.

— Я хочу отомстить, брат! — крикнул Петр вне себя.

— И я жажду мести, Петр,— страшной для них, но безопасной для нас.

— А как отомстить? — проговорил Петр, снимая со стены ружье.

— Погоди, давай подумаем.

— Не могу я думать, надо посмотреть, что они там делают с отцом!

Огнянов и сам был горяч, однако он теперь старался удержать другого, еще более горячего человека от поступка вполне естественного, но гибельного.

Если Петр пойдет к Цанко, без кровопролития не обойтись. А Огнянов считал, что час решительной борьбы еще не наступил. Ему было жаль потерять преждевременно и без пользы для дела такого хорошего парня — настоящего юнака.

Но напрасны были все его старания. Петр кричал, сам не свой:

— Будь что будет, но я должен отомстить за отца!

И, резко оттолкнув Огнянова, который пытался удержать его, он ринулся к воротам.

Огнянов рвал на себе волосы, видя, что повлиять на этого неукротимого человека он не в силах. Но не успел Петр подбежать к воротам, как кто-то постучал. Он зарядил ружье и открыл калитку. Трое болгар, соседей Цанко, несли завернутое в половик тело деда Стойко.

— Отдал богу душу, Петр,— сказал один крестьянин.

Во дворе послышались крики и рыдания женщин. Бабушка Стойковица рвала на себе рубашку и кидалась на остывшее тело мужа. Огнянов отозвал в сторону убитого горем Петра и снова увел его в погреб. Со слезами на глазах старался он успокоить парня, а тот, на минуту оцепенев при виде мертвого отца, теперь еще яростней рвался отомстить за него немедля.

— Мы отомстим, брат, отомстим,— говорил Огнянов, обнимая его.— Для нас с тобой нет теперь более священной задачи.

— Убить их, убить! — кричал, обезумев от ярости, Петр.— Эх, отец, переломали злодеи твои старые кости... Что нам с тобой теперь делать, матушка!

— Успокойся, брат, сдержись, возьми себя в руки: мы отомстим врагам страшной местью,— уговаривал его Огнянов.

Прошло полчаса, и Петр немного успокоился — ведь самые страшные нравственные муки не выдерживают собственной напряженности. Он согласился остаться дома после того, как Огнянов, Остен и Спиридончо поклялись ему перед образом, что не оставят в живых обоих полицейских.

— Нашел Боримечка время жениться,— сказал с досадой Остен.— Не женился бы, взяли бы мы его с собой... Такой верзила всегда пригодится.

План мщения был таков: решили устроить засаду на дороге к Лясковскому перевалу в том месте, где начинается шоссе на Клисуру. Для засады выбрали заросший кустарником овраг, из которого вытекает речка Белештица, впадающая в Стрему. Здесь предполагалось перехватить полицейских, кинуться на них с кинжалами, а трупы спрятать в чащобе. На всякий случай и во избежание жертв решили захватить и ружья, но пускать в ход это слишком шумное оружие только в крайнем случае. Этот план был разработан на основе тех сведений, которые сообщил Дейко: полицейские собирались встать рано, до вторых петухов, и отправиться в Клисуру: они очень торопились и приказали разбудить их задолго до рассвета.

Пропели первые петухи, и маленький отряд, покинув спящую деревню, вышел в поле. Снег падал крупными хлопьями. Белая его пелена покрывала все вокруг, и ночь посветлела. С ружьями, спрятанными под плащами, путники молча шагали по сугробам. Они шли так бесшумно, что казалось, это двигаются не живые люди, но призраки или упыри, что появляются перед рождеством. Снег валил непрерывно, намело большие сугробы, и это задерживало движение отряда, но он неуклонно шел вперед, не замечая препятствий, поглощенный одной мыслью — мстить. В ушах этих людей еще звучали крики Петра, их боевого товарища, вопли его матери и родных. В эту минуту друзья боялись только одного: как бы турки не выскользнули у них из рук; все остальное было для них безразлично... Долго шли они молча, но вдруг сзади послышался лай. Они повернулись, удивленные.

— Откуда тут взялась собака в такое время? — сказал Бойчо.

— Странно,— проговорил Спиридончо, обеспокоенный.

Лай зазвучал громче, и, пока товарищи продолжали недоумевать, из-за деревьев появилась громадная темная фигура, напоминавшая уж, конечно, не собаку, но скорее чудовище, невиданного гигантского медведя, вставшего на задние лапы.

Бойчо и Спиридончо инстинктивно бросились под прикрытие толстого дуба и приготовились защищаться от этого неведомого врага. Но он во мгновение ока очутился рядом с ними.

— Боримечка! — воскликнули все трое в один голос.

— Он и есть! А вы про него забыли! Ах, будь оно неладно!..

Действительно, это был Боримечка, закутанный в плащ. Он услышал шум на улице, пошел к Петру и там узнал обо всем.

Не задерживаясь ни на минуту, он вернулся домой, проводил молодую жену к ее матери, заткнул за пояс топор, взял ружье и побежал догонять друзей, чтобы мстить вместе с ними.

Приход этого сильного помощника придал бодрости отряду.

— Теперь идемте,— сказал Остен.

— Вперед! — добавил Огнянов.

— Подождем еще одного,— проговорил Боримечка.

— А кто же еще идет? — спросил его кто-то с удивлением.

— Братишка Петра, Данаил; он тоже пошел со мной.

— Зачем ты взял его?

— Петр сам его послал, хотел, чтобы брат все увидел своими глазами.

— Как? Петр нам не верит?.. Мы же ему поклялись.

— Грош цена вашим клятвам... И я вам не верю...

— Почему?

— Потому что вы пошли без Боримечки... Будь оно неладно!

Эти три слова Боримечка произносил чуть не после каждой своей фразы. Они выражали его чувства и мысли гораздо лучше, чем все другие слова.

— Не сердись, Иван,— сказал Остен.— Мы не забыли о тебе, но ведь ты молодожен.

— А вот и Данаил!

Еле переводя дух, подросток остановился около них; он был вооружен только длинным ножом, заткнутым за пояс.

Теперь в отряде было уже не три человека, а пять.

Молча двинулись они вперед. Они шли вдоль среднегорского кряжа, по отрогу горы Богдан, с которой берет свое начало речка Белештица. Вскоре они дошли до нее. Лучшего места для засады нельзя было выбрать. Справа текла река Стрема, которую турки не могли миновать, слева был глубокий, изрытый ливнями овраг, а над ним вздымались горы. Здесь-то и остановился отряд. Он находился в часе ходьбы от Алтынова, и если бы пришлось стрелять, никто не услышал бы выстрелов. Уже светало, когда товарищи заняли позиции в чаще. Порошил мелкий снежок. Хорошенько укрывшись, они терпеливо ждали, устремив глаза на восток, откуда должны были показаться полицейские. Но первое, что они услышали, был волчий вой. Он раздался прямо у них над головой, потом послышался ближе. Очевидно, волки спускались с гор в поисках добычи.

— Идут к нам,— сказал Иван Остен.

— Стрелять нельзя.

— Работать ножами и прикладами,— скомандовал Огнянов.— Слышите?

Товарищи насторожились. В роще что-то негромко шуршало, и это значило, что приближается целая стая. Вой повторился. Стало рассветать.

— Не помешали бы нам эти проклятые волки...— вздохнул Огнянов.

В этот миг несколько зверей выскочили на поляну. Они остановились и завыли, вытянув острые морды. За ними появились и другие волки.

— Восемь! — прошептал Боримечка.— Вам четыре, остальные мои.

Не успел он это сказать, как голодные хищники бросились в заросли. И заросли стали крепостью: волки нападали, люди яростно оборонялись. Засверкали ножи и кинжалы; замелькали, поднимаясь и падая, ружейные приклады. Слышны были только вой да тяжелое дыхание. Несколько зверей уже валялось перед кустами; другие, кинувшись на своих раненых сородичей, раздирали их еще живыми. Вскоре волков вытеснили из чащи. Иван Боримечка часто делал вылазки, лая, как овчарка, и добивал зверей топором. Он вызывал в памяти Гедеона, который разил войска филистимлян, вооружившись ослиной челюстью.

Наконец изгнанные из оврага хищники отбежали на противоположный пригорок и принялись зализывать свои раны.

К счастью, пока длилось это побоище, на дороге никто не появился.

— А волки-то не уходят,— заметил Огнянов.

— Посмотрите, к ним подошла еще стая!

— Ну, что ж, мы и этих угостим,— чтобы помнили свадьбу Боримечки,— сказал Спиридончо.

— Будь оно неладно! — пробормотал Боримечка самодовольно.

Прошло некоторое время.

Турки не появлялись, хотя уже пропели вторые петухи... Отряд и раньше слышал в ночной тишине отдаленное кукареканье, доносившееся из окрестных селений. Светало; отчетливее становились очертания деревьев, в поле можно было уже ясно отличить один предмет от другого. Ожидание томило парней. Сидя без движения, они замерзли. Чего только не приходило им в голову: турки могут не появиться вовсе; может быть, они отложили свой отъезд из боязни нападения или потому, что за ночь намело много снега; скоро совсем рассветет, начнется движение на дорогах, а тогда все пропало!.. Все эти мысли не выходили у

них из головы. Нетерпение их нарастало и становилось все более мучительным. Остен тяжело вздохнул.

— Будем дожидаться и, пока они не появятся, не тронемся с места,— глухо проговорил Огнянов.

— А если на дороге будут другие прохожие?

— Они пойдут своей дорогой,— нам нужны только те двое.

— Но тогда придется напасть открыто!

— Не удастся из засады, так в открытую.

— Будем стрелять отсюда, а потом прямо в горы... Никто нас и не увидит,— сказал Остен.

— Хорошо. А если они вышли с целым отрядом турок?

— Тогда придется дать им настоящий бой... Оружие у нас есть, позиции хорошие,— сказал Огнянов.— Теперь помните: мы перед божьим образом поклялись не оставить их в живых.

— Будь оно неладно!..

— Я только одного опасаюсь, ребята,— сказал Бойчо.

— Чего?

— Как бы они не пошли другой дорогой.

— Этого не бойся,— успокоил его Остен,— другой дороги нет; только если назад повернут! Ну, а тогда дай нам, боже, силы,— догнать их будет нелегко.

Боримечка стоя всматривался в даль.

— Кто-то идет,— проговорил он и показал рукой на восток.

Все посмотрели в ту сторону. По дороге, извивавшейся между деревьями, двигались два человека.

— Они верхом! — с досадой воскликнул Огнянов.

— Это не наши,— сказал Спиридончо.

— Наши пешие,— заметил Остен.

— Будь оно неладно!..

Огнянов волновался, даже сердился; он не отрывал глаз от всадников, ехавших рядом. А те уже приблизились на расстояние шагов в сто.

— Наши! — радостно воскликнул он.— Наши!

— Они! И я их узнал по плащам и по рожам,— проговорил кто-то.— Вон тот — одноглазый...

Держа ружья наготове, все смотрели на полицейских, а те спокойно ехали по дороге, приближаясь к отряду.

— Узнаю коня Цанко,— сказал Спиридончо.

— Под другим мой конь,— добавил Огнянов.

— Забрали силой.

Но радость Огнянова сразу же омрачилась: он понял, что всадникам нетрудно будет спастись бегством... Значит, действо-

гать открыто и пускать в ход ножи невозможно. Необходимо стрелять из засады, а гром выстрелов может погубить отряд... Да и коней жалко...

— Будь что будет,— прошептал Огнянов.

— Ружья наизготовку!

— Ребята, смотрите в оба, как бы не испортить все с самого начала.

— Когда подъедут к вязу, стрелять! — сказал Остен.

— Я беру одноглазого,— отозвался Боримечка.

— Боримечке и Спиридончо — одноглазый, мне и учителю — другой,— скомандовал Остен.

Всадники поравнялись с вязом.

Из кустарника высунулись ружейные стволы, и дружный залп разорвал тишину. Сквозь пороховой дым товарищи увидели, как один турок свалился с коня, а другой сполз набок и повис на стременах.

Кони шарахнулись в сторону и остановились.

— Учитель, кто из них убил моего отца? — спросил Данаил, первым выскочив из засады.

— Одноглазый, тот, что упал.

Данаил бросился к дороге. Мгновенно добежав до нее, он вонзил ятаган в грудь убийцы своего отца.

Когда к нему подошли товарищи, он, как безумный, все еще колол турка. Сейчас он походил на хищного зверя. Турок, еще живой, был весь искромсан. Глубокий снег вокруг пропитался кровью, и кое-где она стояла лужицами.

Огнянов вздрогнул от ужаса и отвращения при виде этой бойни. Он, пожалуй, вмешался бы, будь это не Данаил, а какой-нибудь трус, но брат Петра был храбрец, и только неудержимая жажда мести могла толкнуть его на дикую расправу. Огнянов подумал:

«Месть зверская, но оправданная и богом и совестью. В наше время жестокость необходима... Целых пять столетий болгарин был овечкой, пусть теперь будет зверем. Люди уважают козла больше, чем овцу, собаку — больше, чем козла, кровожадного тигра — больше, чем волка и медведя, а сокола, что питается падалью — больше, чем курицу, из которой приготовляют изысканные кушанья. Почему? Потому что видят в них олицетворение силы, а сила — это и право и свобода... Как бы ни изощрялись философы, природа остается такой, как она есть. Христос сказал: «Если тебя ударят по правой щеке, подставь левую». Это божественное изречение, и я преклоняюсь перед ним. Но мне больше нравится Моисей, который говорил:

«Око за око, зуб за зуб!» Это естественно, и этому завету я следую. Жестокий, но священный принцип, и его мы должны положить в основу нашей борьбы с тиранами... Быть милостивым к немилостивым так же подло, как ожидать милости от них...»

Поглощенный этими волнующими мыслями, такими же страстными и беспощадными, как то, что он сейчас наблюдал, и противоречащими его гуманной натуре, Огнянов стоял над трупом и, словно в каком-то забытьи, смотрел, как снег постепенно засыпает лужи крови, изрубленное тело и окровавленные лохмотья.

И вдруг он заметил в этом кровавом месиве монисто из мелких золотых монет. Огнянов указал на него Спиридончо.

— Подними, отдашь какому-нибудь бедняку, чтобы он купил себе чего-нибудь вкусного к рождеству.

Спиридончо поднял монисто концом шомпола.

— Проклятый, какого болгарина он обобрал?.. Смотри, смотри, да это же Донкино монисто!.. Оно и есть! — воскликнул пораженный и растерявшийся Спиридончо.

Он был женихом Донки.

— Очевидно, девушка выкупила отца,— сказал Огнянов.

— Но от монисто осталась только половина... другую, наверное, отрезали, и она в этой падали.

И Спиридончо с отвращением принялся искать шомполом другую половину монисто, но не нашел ее. Она была у второго турка, с которым одноглазый по-братски разделил и добычу и кару.

Бормечка уже прикончил того топором.

Трупы оттащили в кусты... Тем временем конь Цанко галопом возвращался в деревню, а другой, почуяв близость волков, перешел вброд Стрему и, задрав хвост, помчался куда-то по полю.

— Око за око, зуб за зуб! — шепотом повторял Огнянов, сам того не замечая.

Не успел отряд отойти прочь, как волки подошли к кустарнику. Природа и звери объединились, чтобы скрыть следы праведного возмездия.

Снег все шел.

Стало совсем светло. Кругом была настоящая пустыня. Ни души не было видно ни в поле, устланном белым покрывалом, ни на дороге. Ранний час и глубокий снег удерживали людей в постели. Итак, убийство турок было совершено без единого свидетеля. Но друзья не хотели привлекать к себе внимание и на обратном пути, а на дороге, которой они шли сюда, наверное,

уже появились путники; к тому же недалеко от нее стояли мельницы. Обсудив положение, отряд решил подняться по северному склону Богдана, поросшему кустарником и густым буковым лесом, с тем чтобы, спустившись, войти в деревню с другой стороны. Это был трудный путь, но зато здесь не приходилось бояться встреч с людьми и можно было скрыться в чаще. Данаила отправили в деревню прямой дорогой.

XXXIV. МЕТЕЛЬ

Крутой тропинкой они пошли дальше по лесистому склону, который привел их к долине Белештицы. Боримечка, хорошо знавший эти места, шел впереди с ружьем на плече. Идти становилось все труднее и труднее, так как горная тропа была вся заметена снегом. Не прошло и получаса, как путники, эти закаленные парни, стали обливаться потом, точно поднимались они уже несколько часов. Наконец они добрались до одной вершины. Снег перестал идти; вскоре из-за белесоватой пелены, покрывшей небо, вышло солнце, и бледные его лучи озарили горы и долины. Белизна снежного покрывала стала ослепительной. Оно сверкало на солнце миллиардами трепещущих искр, как осыпанная алмазами сорочка багдадской султанши. В проснувшейся уже долине над деревнями поднимались дымки; кое-где появились люди, которые, видно, с трудом протаптывали путь на засыпанных снегом дорогах и тропинках. Отчетливо видна была деревня Алтыново, раскинувшаяся на отроге хребта. И в ней тоже были признаки жизни: какое-то темное пятно двигалось к окраине деревни, где было кладбище. Все догадались, что хоронят деда Стойко; услышали и звон клепала.

Но горный хребет и его неприступные вершины покоились в царственном, непробудном сне под своим девственным покрывалом. На западе величественная Рибарица поднимала к небу свой гигантский округлый купол, окруженный более низкими вершинами. Темя ее было закрыто быстро бегущими кучевыми облаками, напоминавшими клубы дыма. На севере тянулась прямая цепь Стара-планины, сияющая белизной под солнцем. Обычно она казалась мрачной, но сейчас красота ее радовала глаз путника. Только не прикрытые снегом темные утесы — ложе низвергавшихся водопадов — придавали ей суровый вид. Ровный кряж стеной тянулся до самой Амбарицы, где начиналась гряда балканских великанов...

Товарищи двигались вперед, время от времени останавливаясь, чтобы полюбоваться зимним очарованием гор, но полюбоваться молча. Горе Петра, отмщение — все это омрачало их. Изредка они перекидывались несколькими словами о дороге, которая шла то вверх, то вниз. Иногда кто-нибудь проваливался в сугроб, и его вытаскивали с большим трудом. Тогда богатырская сила Боримечки оказывалась как нельзя более кстати. Привалы делали довольно часто, так как все валились с ног от усталости: людей мучил голод, а тут еще с севера подул холодный ветер, который обжигал лица и леденил уши и руки. А лес делался все гуще и неприветливее. В одном месте пришлось остановиться — тропинка исчезла бесследно. Впереди был непроходимый буковый лес, заваленный глубокими снежными сугробами, а вьюга разыгралась не на шутку.

Все растерянно переглянулись.

— Может быть, повернуть назад в долину и пойти в деревню прямой дорогой? — предложил Спиридончо.

— Нет,— возразил Остен,— лучше пойдем обходным путем; возвращаться не будем.

Остальные поддержали его.

После краткого совещания решили пройти несколько шагов в обратном направлении и, свернув направо, как-нибудь пробиться сквозь буковые заросли, чтобы выйти на поляну, расположенную на самом гребне хребта, а оттуда уже спуститься в долину с другой стороны.

— Там, в зимовье Дико, можно будет отогреться и перекусить,— сказал Остен.— А то, чего доброго, и ружья в руках не удержим.

— Я согласен с Остеном,— проговорил Огнянов, горбясь под напором ветра,— давайте зайдем к Дико. Во-первых, подкрепимся, во-вторых, может быть, узнаем, что делается в Алтынове. Не следует спускаться туда вслепую.

Огнянов мог бы упомянуть и о третьей причине: от утомления и холода у него сильно разболелась больная нога.

— И то правда,— согласился Спиридончо,— конь Цанко теперь уже вернулся в деревню, и там наверняка поднялась суматоха.

— Ну, об этом не беспокойся,— сказал Остен.— Пока он успеет добежать до дому, волки не оставят и костей от полицейских... Если турки отправятся на поиски, они найдут только лохмотья. А дед-мороз уже засыпал снегом кровавые следы. На коня Цанко не попало ни капли крови, это я знаю наверное.

Наконец путники вышли на поляну и стали совещаться, в каком направлении идти.

Иван Боримечка внимательно смотрел на небо. Товарищи ждали, что он скажет.

— Давайте-ка поскорей добираться до зимовья, что-то Рибарица мне не нравится... будь оно неладно! — проговорил он озабоченно.

Они повернули на северо-восток, и снова начался подъем. Был яростный ветер, он раздувал полы одежды, забирался за ворот, в рукава, проникая до самого тела. Метель разыгрывалась пуще прежнего... Огиянов постепенно стал отставать. Силы покидали его, в ушах звенело, кружилась голова, он чувствовал, что не может больше идти, и все-таки не кричал товарищам, чтоб его подождали; впрочем, они все равно не смогли бы его услышать,— ветер заглушил бы его голос. Одаренный необычайно сильной волей, он полагался только на нее, надеясь, что она его спасет, даже если мускулы откажутся повиноваться. Но человек, как он ни силен духом, вынужден подчиняться законам природы. Никакие усилия воли, никакая мощь духа не могут бесконечно напрягать мускулы. Правда, душа способна понукать тело к действию; однако она может лишь пробуждать и прилагать силу, но не создавать ее...

Ветер завывал в ущельях, ледяное дыхание бури сковывало руки и ноги, кровь застывала в жилах. Воздух казался каким-то ледяным разбушевавшимся морем; солнечные лучи теперь уже не грели, а колючими шипами вонзались в тело. Но вот солнце спряталось за завесой метели, и, гонимый ветром, снег вихрем закрутился вокруг путников. Ветер, лучше сказать — яростный ураган, вмиг развеял сугробы, и снежная пыль поднялась к небу столбом. Солнце совсем скрылось, все вокруг потемнело; небо и земля слились и превратились в беснующийся снежный хаос. А буран шумел, выл и стонал, и казалось, будто мир проваливается в преисподнюю.

Это длилось лишь минуты две. Снежная буря перекинулась на соседнюю вершину, окутав ее непроницаемой мглой. На сером небе снова появилось солнце и осветило все вокруг бледным, холодным светом.

При первых порывах ветра отряд укрылся под отвесной каменной стеной, и она кое-как защитила его. Он спасся чудом; если бы не эта стена, он оказался бы погребенным под снегом. Путники один за другим с трудом поднимались на ноги, как после сна, подобного смерти. Они совершенно окоченели и не чув-

ствовали ни рук, ни ног. Мороз навеял на них сонливость. Это было самое опасное. Первым очнулся Боримечка.

— Вставайте же! — закричал он.— Давайте подниматься, а то замерзнем!

Понемногу товарищи пришли в себя, взяли ружья под мышку и побрели дальше. Но вдруг Боримечка остановился.

— А учитель где?

Все оглянулись в испуге. Огнянова нигде не было видно.

— Его унесло бурей!

— Снегом засыпало!

Друзья кинулись искать Огнянова. Рядом зияла пропасть, и это приводило их в ужас. Они не смели заглянуть в нее.

— Вот он! — крикнул Остен.

На самом краю пропасти из снега торчали ноги, обутые в царвули. Огнянова вытащили. Он был без чувств, лицо его посинело, руки и ноги одеревенели.

— Будь оно неладно! — горестно пробормотал Боримечка.

— Растирайте его, братцы! — крикнул Остен и первый принялся тереть снегом лицо, руки и грудь Огнянова.— Он еще теплый — авось удастся его спасти.

Возвращая к жизни умирающего товарища, все позабыли о себе. Усиленное растирание скоро привело Огнянова в чувство, да и на всех подействовало благотворно. Кровь быстрее побежала по жилам.

— Скорее в зимовье! — скомандовал Остен.

Взяв Огнянова за руки и за ноги, трое товарищей понесли его по завалепному снегом склону Богдана. И тут пригодились крепкие мускулы Боримечки. Ценой нечеловеческих усилий отряд наконец добрался до зимовья.

XXXV. В ЗИМОВЬЕ

Зимовье Дико стояло на ровной площадке в низине; высокие горы защищали его от ветров. В просторном дворе, на северной его стороне, под широким низким навесом лежали кучи веток и сено — зимний корм для овец и коз. В избушке жили пастухи, которые стерегли стада на зимнем пастбище. Сейчас из нее шел веселый дымок. На путников бросилась овчарка, но, узнав Ивана Остена, стала ласкаться к нему. Огнянова внесли в теплую избу и снова принялись растирать изо всей силы. Товарищам помогал мальчик-подпасок, оставшийся здесь за сторожа; он снял с Огнянова царвули и снегом растирал ему ноги. Наконец стало ясно,

что ни Огиянов, ни его спутники не обморожены; все перекрестились и возблагодарили провидение. Мальчик подбросил дров в огонь. Друзья уселись перед очагом, стараясь держать руки и ноги подальше от пламени. Собака, верная своим привычкам, села у входа, чтобы охранять людей.

— Обрейко, а где дядя Калчо? — спросил Остен.

Калчо, брат Дико, сторожил зимовье.

— Вчера ушел вниз, в деревню; вот-вот прийти должен.

— Дай нам, сынок, поесть. Что у тебя в торбе?

Мальчик вытащил все свои припасы: несколько черствых ломтей ржаного хлеба, лук, соль и сушеную зелень.

— А нет ли водочки, Обрейко?

— Нет.

— Вот досада! Учителю не мешало бы подкрепиться водочкой,— сказал Остен, глядя на Огиянова, который ломал себе руки и чуть не корчился от боли,— он бы тогда пришел в себя.

— Ничего, учитель, жив твой бог... Ну, видел нашу Стараппанину?.. Хороша разбойница?

— Слава богу, что хоть вы от нее не пострадали,— сказал Огиянов.

— Старых знакомых она не трогает.

— Если хочешь знать,— заметил Остен,— это сама Стараппанина послала нам метель... Боримечка правду сказал.

— Боримечка тоже не лыком шит! — гаркнул в подтверждение этих слов сам Боримечка.

Собака залаяла на него. Громоподобный голос парня обеспокоил ее. Огиянов с любопытством смотрел на Ивана. Невольно напрашивалась мысль, что прозвище «Боримечка» подходит к нему как нельзя лучше. Трудно было придумать более подходящее имя для этого большеголового, неотесанного, полудикого великана, который, казалось, был вскормлен не женщиной, а медведицей. Огиянов смотрел на эту непомерно высокую фигуру, на это сухопарое, костлявое, но сильное тело, на эту удлиненную косматую голову со скуластым лицом, узким лбом, маленькими, дико поблескивающими глазками, огромным носом, широкими ноздрями и большим ртом, в который можно было запихнуть зайца (Боримечка ел и сырое мясо); смотрел на эти длинные, волосатые, жилистые руки Геркулеса, способные разорвать на куски льва. Пожалуй, думал Огиянов, этому парню больше пристало охотиться на диких зверей, с которыми у него было что-то общее, чем пасти коз — занятие совершенно идиллическое. При этом как бы для контраста лицо Боримечки светилось самым бесхитростным простодушием и незлобивостью. Кто

бы мог подумать, что этот толстокожий, грубый, на первый взгляд почти первобытный человек способен к привязанности, что ему не чужды тончайшие человеческие переживания... А это было именно так. Само его появление в отряде в столь важный для него день,— хоть и комическое появление,— свидетельствовало о том, что сердце у него доброе и мужественное. Этот парень был способен на самопожертвование. Под влиянием этих мыслей лицо Боримечки стало казаться Огнянову привлекательней и даже умней, чем раньше.

— Иван, кто тебе придумал такое страшное имя?

— Как, учитель, ты разве не знаешь? — отозвался Остен.— Иван боролся с медведем.

— В самом деле?

— Он знаменитый охотник... и медведя он убил.

— Боримечка, расскажи сам, как вы с медведем скатились со скалы,— сказал Остен.

— Неужели ты один на один боролся с медведем? — спросил удивленный Бойчо.

Боримечка вместо ответа потянулся рукой к своей шее. Огнянов увидел шрам от глубокой раны, теперь уже зарубцевавшейся; потом Боримечка засучил рукав и, обнажив до локтя волосатую руку, показал другую зажившую рану. Можно было подумать, что она нанесена железным крюком. Огнянов с ужасом смотрел на эти знаки.

— Боримечка, расскажи о своей встрече с медведем,— попросил он.— Оказывается, ты настоящий юнак!

Боримечка торжествующе и гордо окинул всех глазами, заблестевшими от воспоминаний, и приготовился рассказывать.

— Будь оно неладно! — начал он со своей любимой фразы.

Но тут собака неожиданно залаяла и выскочила из хижины.

— Почему лает Мурджо? Потому что Боримечка заговорил,— пошутил Остен.

— Дядя Калчо! — крикнул подпасок.

Вошел Калчо с посохом в руке, с торбой, перекинутой через плечо.

— Как? У меня гости? Добро пожаловать, молодцы! — проговорил он приветливо, положив свою ношу на пол.

— Освободите место у огня для дяди Калчо, пусть погреется,— сказал кто-то.

— Ну и холод! Волки и те замерзают! Где вас застала буря? — спросил Калчо.

— Тут, внизу,— ответил Спиридончо.

— Да разве в такое время охотятся? Небось вам не впервые ходить в горы, или не знаете их повадок?

— И не говори, дядя Калчо, соблазнила нас хорошая дичь... Водочки не привез? — спросил Остен.

— Водочки? Привез. Привез и кое-что получше.

Фляжка обошла весь круг.

— Что для нас сейчас лучше водки?

— Новость.

Все насторожились.

— Нынче утром волки сожрали двух клисурских полицейских.

— Не может быть! — лукаво воскликнул Боримечка.

Собака опять залаяла на него.

— Сожрали и волоса не оставили. Целая ватага турок отправилась их искать и нашла у Сарданова холма,— только лохмотья да кости их. Как я слышал, хаджи Юмер-ага сказал, что волки погнались за полицейскими, когда те вели коней в поводу, и будто полицейские пустились бежать в одну сторону, а кони в другую... Одна лошадь пропала... Волки, должно быть, почуяли, что мясо эфенди вкуснее конины, вот и набросились на них. Выпьем, ребята, за то, чтобы всем этим извергам так околеть. Они собачье отродье, так пускай их собаки сожрут.

Калчо опять поднял флягу. И тут только он заметил Огнянова, которого не встречал раньше.

— А этот откуда? — спросил он, подавая флягу Огнянову.

— Из Кара-Сарапе; мы повстречались с ним в горах... И он на того же зверя ходил,— ответил Спиридончо.

— Это юнак, каких мало... будь здоров, учитель! — заревел Боримечка.

Собака опять зарычала.

Калчо с улыбкой обернулся к Боримечке.

— Ну, медведь, а ты что натворил?

— Никому ничего плохого не сделал, Калчо!

— Хорош женишок, украл девушку, голову ей вскружил... Ну, совет да любовь! А где же твоя дичь? Чем будешь угощать гостей на свадьбе?

— Оставил ее там, внизу, дядя Калчо,— прогремел Боримечка.

На этот раз пес Мурджо рассердился всерьез.

— Ну, Иван, расскажи, как ты боролся с медведем,— снова попросил кто-то.

— С медведем? — опять вмешался Калчо, бросив лукавый взгляд на Боримечку.— Пусть лучше расскажет нам, как боролся со Стайкой.

Все рассмеялись. Иван Остен хотел еще раз убедиться в том, что турки ни о чем не догадываются, и потому снова завел разговор о происшествии.

— Значит, вот как получилось? Волки сожрали полицейских. А турки не говорили, что, может быть, это болгары их убили?

— Ну, что ты! Вся деревня знает! Дед Стойко, царство ему небесное...— начал отвечать Калчо, толком не поняв вопроса.

— Это мы слышали, но я спрашиваю: может, турки подозревают, что полицейских убили болгары?

Калчо недоумевающе посмотрел на Остена.

— Кто же может так подумать? Когда это было, чтобы болгарин из нашей деревни убил полицейского? Я же вам сказал, что это доброе дело сделали волки, а турки собираются завтра устроить на них облаву и угнать их подальше... Мне это на руку. А то в нынешнюю зиму из-за волков в поле нельзя выйти. Пейте, молодцы! Желаю всем нам встретить святое рождество во здравии и веселии! А вам желаю поступить, как Боримечка, но только не постом... Выпей, друг!

Калчо дал Огнянову водки, и благотворная жидкость вернула Огнянову силы. Он поднял флягу и, взволнованный, проговорил:

— Помянем, братья, деда Стойко, мученика, жертву злодеев-турок. Упокой, господи, его праведную душу, а нам даруй мужественное сердце и сильную десницу, чтобы бороться с басурманами и за одного убить сотню... Прости, господи, деда Стойко.

— Прости его, господи! — повторили товарищи Огнянова.

— Прости, господи! — проговорил Калчо, сняв шапку, и, обернувшись к Огнянову, сказал дружеским тоном: — Хорошо ты говорил, друг, из твоих бы уст да в божьи уши! Ну что ж, потерпим до поры до времени, а там будет дело... Как тебя звать-то? Давай познакомимся. Меня зовут Калчо Богданов Букче.

И Калчо снова подал флягу Огнянову. Огнянов назвал себя вымышленным именем и выпил за новое знакомство.

Все поели, но немного,— надо было беречь скудные припасы Калчо Букче,— потом простились с ним. Пастух пошел провожать гостей. По дороге он опять обратился к Огнянову:

— Друг, прости, забыл твое имя, будешь опять в наших краях, заходи ко мне, поболтаем... Хорошо ты говоришь... Ну, час добрый!

Горячая речь Огнянова глубоко взволновала бедного пастуха. Кое-что в ней было ему уже знакомо, но «друг» говорил и о борьбе, а это было для пастуха чем-то совершенно новым, и в его душе зазвучала струна, дотоле молчавшая. Мы увидим позже, какое влияние оказала на него эта встреча...

Отряд вскоре скрылся вдали и вошел в деревню, когда уже темнело.

Огнянов решил переночевать на постоялом дворе дяди Дочко, но только он вошел в комнату, вслед за ним по лестнице поднялись пятнадцать башибузуков с ружьями; их вел полицейский, которого Бойчо видел накануне в кофейне турецкого селения.

И не было здесь Колчо, чтобы предупредить его!

I. БЯЛА-ЧЕРКВА

События, разыгравшиеся в андреев день, всколыхнули до основания мирную жизнь Бяла-Черквы. Все от мала до велика были потрясены, узнав, кем оказался Бойчо, а когда выкопали трупы двух турок, весь городок пришел в ужас. И не мудрено, случай был действительно страшный. Пробудилась не только подозрительность властей — местное турецкое население тоже жаждало мести. Готовясь к повальной резне, оно временно удовлетворялось отдельными кровавыми злодеяниями. На полях и дорогах все чаще находили трупы болгар, и сообщение между городами и селами становилось все более и более опасным. Жителей Бяла-Черквы беспрестанно тревожили слухи о том, что на рождество будет резня. Паника возрастала, особенно среди женщин. Все насторожились. Патриотические речи умолкли, воодушевления как не бывало. В самый андреев день полиция арестовала Соколова, как ближайшего друга Бойчо, и мельника, деда Стояна, как соучастника убийства; разыскивали и дьякона Викентия, но он скрылся. Община, со своей стороны, наперекор мнению попечителей, поспешила выгнать из школы Раду, как возлюбленную крамольника, а Михалаки Алафранга предложил временно закрыть мужское училище, чтобы его «проветрить». Из учителей оставили одного лишь Мердевенджиева — для занятий в младших классах. Все более или менее близкие знакомые Огнянова жили, как на вулкане. Комитет распался сам собой. Не тронули только Ярослава Бырзобегунека, щеголявшего в своем кепи, обшитом золотым галуном. Никто не беспокоил «австрийца». Он продолжал усердно фотографировать бяло-чер-

ковцев, но, поскольку ему не хватало каких-то кислот для проявления негативов, они получались у него такими расплывчатыми и темными, будто с карточек смотрели какие-то негры... В то же время Бырзобегунек поддерживал переписку с внешним миром. Теперь этим занимался он один.

Однако спустя некоторое время волнения улеглись, и молодежь снова осмелела. Все в один голос оплакивали судьбу несчастного Огнянова; слухи о его смерти приходили отовсюду. Приезжавшие на базар турки рассказывали, что он был ранен тремя выстрелами в Ахиевском лесу и умер на месте. Онбаши знал, что сообщения о смерти Бойчо недостоверны, но тоже подтверждал их. Некоторые болгары уверяли, будто Никола Портной нашел Графа мертвым в овраге и там же похоронил его. Хаджи Ровоама описывала смерть Бойчо с потрясающими подробностями: по ее словам, он, раненый, почью пытался выползти из оврага, но волки съели его заживо. Все эти страшные слухи омрачали настроение жителей. Из героя Огнянов превратился в мученика, чуть ли не в святого. О нем слагались легенды. Старухи ставили свечки за упокой души «великомученика Бойчо»; поп Ставри отслужил по нем панихиду, совместив ее с панихидой по некоем Хаджи Бойчо, и вся местная молодежь явилась в церковь, к великому изумлению родни благочестивого покойника, немало удивленной и тем, что священник поминает на молитве не Бойчо-«паломника», а Бойчо-«мученика».

Но были такие, что радовались смерти Огнянова. Они высокомерно осуждали его, с видом людей, сознающих свое превосходство. И больше всех снял Стефчов, несмотря на свое постыдное приключение у Милки. Несчастье Огнянова, возбудив всеобщее внимание, заглушило интерес к позору Стефчова. Да и сами опозоренные люди нередко теряют стыд... К началу февраля гнев Юрдана угас, и Стефчова обвенчали с Лалкой.

Нужно добавить, что Стефчов не был разоблачен как предатель: всеобщее негодование обрушилось на злосчастного дурачка Мунчо, который признался, после того как игумен избил его, что он один видел, как зарывали трупы турок. Так объяснились теперь его загадочные жесты и восклицания, которые в конце концов, очевидно, и выдали Огнянова, но когда и кому, осталось невыясненным. Мунчо лишили свободы и заперли, как буйнопомешанного, в башне у монастырских ворот.

Рада была сама не своя. Добрые люди, приютившие ее у себя, не знали, как ее утешить. «Пропадет девушка»,— говорили они с грустью.

С течением времени хорошие побуждения в душах жителей проявлялись все заметнее. После многократных попыток Марко Иванову и Мичо Бейзаде удалось взять на поруки доктора Соколова, не причастного, впрочем, к убийству турок. Оба поручителя и не знали, что у них есть союзник, который помог им добиться успеха. Этим союзником,— пора уже нам назвать его,— тайно помогавшим Марко освободить доктора и после первого ареста, была (как правильно догадалась однажды Хаджи Ровоама посреди вечерней молитвы) жена старого бея. Случай свел эту молодую «жену Пентефрия» с доктором, и у того не хватило твердости Иосифа Прекрасного, чтобы устоять перед искушением... Их мимолетная связь, давно уже разорванная, и на этот раз послужила к спасению доктора,— жена бея заставила мужа хлопотать в К. об освобождении Соколова, как не виновного ни в чем.

В феврале, через несколько дней после возвращения Соколова, в Бяла-Черкву приехал новый апостол, Каблешков, и остановился у Бырзобегунека. Созвав членов распавшегося комитета, он воодушевил их своими горячими речами и отправился с ними прямо в монастырь, где игумен Натанаил привел их к присяге на Евангелии и благословил возрожденный комитет на восстание. С тех пор люди снова начали готовиться к восстанию с еще большим рвением, чем раньше. В начале апреля Каблешков опять появился в Бяла-Черкве.

О всех событиях, случившихся после этого дня, мы снова будем рассказывать подробно.

II. БОЛЬНЫЕ ДОКТОРА СОКОЛОВА

Соколов шагал взад и вперед по своей комнате, волнуясь и часто посматривая в окно на двор, утопающий в зелени. Цветущие черешни и вишни, казалось, были покрыты снегом. Ветви яблонь, опушенные розовато-белыми цветами, походили на гирлянды. Росшие у самых окон абрикосовые и персиковые деревья были словно усыпаны жемчугом. Это был уже не двор, а сад, и пересекавшая его заросшая травой дорожка превратилась в аллею, затененную нависшей над ней густой листвой.

Соколов заметно изменился. Лицо его, по-прежнему красивое и добродушное, осунулось, побледнело и походило на лицо выздоравливающего больного. Долгое тюремное заключение и душевные муки не прошли бесследно для этого сильного и полного жизни молодого человека; он стал нетерпеливым и желчным. Ко множеству страданий, перенесенных им в тюрьме, при-

соединилось еще одно: он узнал, что Лалку обвенчали со Стефчовым. Это его убивало, и он, как зверь, бесспльно метался по своей темнице. Не сомневаясь, что предательство тоже дело рук Стефчова, доктор дал себе клятву при первой возможности убить этого человека — виновника стольких несчастий. Вернувшись в город, Соколов прежде всего пошел поблагодарить Марко Иванова и Мичо Бейзаде. Затем навестил Клеопатру, которую взял к себе охотник Нечо Павлов. Бедная медведица подросла, но очень отощала и казалась одичавшей,— она не сразу узнала своего любимого хозяина и уже не так ласкалась к нему, как прежде. В ней развились инстинкты хищного зверя. Она часто и легко злилась, показывая свои острые зубы теперь уже отнюдь не с благими намерениями. Доктор не раз представлял себе ненавистного Стефчова в ее косматых лапах, и дьявольская улыбка кривила его лицо. Но вскоре ему объяснили, что во всем виноват Мупчо, а когда возродился комитет, доктор целиком отдался великому делу — подготовке к восстанию. Месть Стефчову теперь стала уже только его личным делом, и мысль о ней отошла на задний план, казалась чем-то совсем мелким и ничтожным в сравнении с величием другой задачи. Не зная, что делать с Клеопатрой, Соколов решил отпустить ее на волю,— убить ее все-таки было жалко,— и он попросил Нечо Павлова вывести медведицу как-нибудь вечером в горы и там оставить ее.

Свою врачебную практику Соколов совсем забросил; он больше уже не посещал больных, да и к нему никто не ходил из боязни быть заподозренным в неблагонадежности. Ступку, склянки с лекарствами, коробки с порошками он вместе с медицинскими книгами в беспорядке свалил в шкаф, где мыши за короткое время успели прочитать половину его фармакопеи. Только один больной все еще осмеливался посещать доктора Соколова: это был Ярослав Бырзобегунек. На другой же день после возвращения доктора он нечаянно поранил себе руку неосторожным выстрелом из револьвера. Это несчастье вызвало сочувствие всех горожан и заставило бедного австрийца изменить фотографии, которая уже давно изменяла ему.

Хлопнула калитка, и доктор выглянул в окно. По двору шел Бырзобегунек. На нем был вылинявший и потрепанный костюм, когда-то подаренный ему Огняновым, кепи с золотым галуном, физиономию его украшали пышные рыжие бакенбарды. Правая рука его была согнута и висела на перевязи из белого платка, узлом завязанного на шее. Бырзобегунек шел медленно и осторожно, вероятно, из боязни повредить больной руке резким движением. При каждом шаге его страдальческое лицо искажалось

от боли. Войдя в комнату доктора, он внимательно осмотрелся и бросил перевязь на кровать.

— Доброе утро, братец! — проговорил он, протягивая руку хозяину.

Доктор крепко сжал раненую руку гостя, но тот и не поморщился. Дело в том, что ранение Бырзобегунека было выдумкой: оно было призвано оправдать его частые визиты к доктору.

— Что нового? — спросил Соколов.

— Вчера поздно ночью приехал Каблешков. Остановился у меня,— ответил Бырзобегунек.

— Нужно с ним повидаться! — воскликнул доктор.

— Его сейчас лихорадит. Всю ночь пролежал в жару.

— Ах, бедняга!

— И не говори! Да еще не хочет лежать спокойно; продиктовал мне три длинных письма и велел отправить их сегодня же. Вот какой он! А ведь в чем душа держится! Кашель его прямо замучил...

— Пойду посмотрю его,— сказал доктор, хватаясь за свой фес.

— Не надо, сейчас он спит... Но он поручил мне к вечеру созвать комитет, и сам придет на заседание...

— Нельзя! Ему надо лежать.

— Пойди уговори его! Ты же знаешь, что это за упрямец... Так вот, созови членов комитета.

— Хорошо, оповещу всех.

— А сто золотых достали? — спросил Бырзобегунек шепотом.

— На покупку оружия? Достали. Сегодня деньги принесут ко мне.

— Браво, Соколов, ты молодчина! — воскликнул фотограф.

— Молчи!

— А с каких пор у тебя эта штучка? — громко спросил доктора Бырзобегунек, вытащив у него из-под жилета блестящий кинжал и размахивая им.

— Иван Венгерец сделал... У него от заказов отбою нет... Хорош, а?

Бырзобегунек заметил, что на кинжале что-то выгравировано.

— «С или С»... Что это значит?

— Отгадай!

— «Соколов или Стефчов»? — спросил Бырзобегунек, улыбаясь.

— «Свобода или смерть»! — с пафосом ответил доктор и, уязвленный упоминанием о Стефчове, добавил: — Теперь не до Стефчова-Мефчова и прочей подобной дряни, любезный друг... Нам теперь некогда думать ни о Стефчове, ни о личных прихотях, ни об оскорбленном самолюбии... Кто идет убивать тигра, тому не до червяка... Знай, что я забыл обо всем этом... Кто готовит революцию, тот обо всем забывает...

Бырзобегунек бросил на него лукавый взгляд.

В голосе доктора звучало раздражение; он, конечно, ничего не забыл, да и нелегко ему было забыть. Удар, нанесенный его сердцу или самолюбию, был слишком тяжел. Правда, боль в еще не зажившей ране на время притуплялась лихорадочной подготовкой к восстанию. Целиком поглощенный ею, доктор находил в ней забвение. В опьянении этой работой он становился нечувствительным к душевным мукам, как пьяница, который топит горе в вине. Но как только наступали минуты отрезвления и раздумья, горькие мысли снова пробуждались в его душе и, как ядовитые змеи, жалили, жалили немилосердно.

Появление Кандова, вошедшего во двор, положило конец неловкому молчанию и отвлекло внимание доктора.

— Что он за птица, этот господин? — спросил Бырзобегунек.

— Кандов, студент одного русского университета.

— Это я знаю, но что он за человек?

— Философ, дипломат, социалист, нигилист... и черт знает что еще... Одним словом, у него тут не в порядке...

И Соколов приложил палец ко лбу.

— Он не выражает желания принять участие в народном деле?

— Зачем это ему? Он поедет в Россию получать свой дипломишко,— сказал доктор сердито.

— Уж эти мне ученые вороны! Вот кого я не терплю! — воскликнул Бырзобегунек.— От человека с дипломом не жди человечности... Таким не нужны ни народ, ни свобода... Подавай им комфорт, семейное счастье, домик и благоразумный покой! Не для того ведь они годами корпели над книгами, чтобы, приехав в Болгарию, бунтовать и самим лезть в Диарбекир или на виселицу!

— Неправда, Бырзобегунек, у тебя самого есть диплом!

— У меня? Избави бог!

— Да, у Бойчо тоже не было...— проговорил доктор.

— Будь у меня диплом, и я сделался бы таким же ослом, как они... Да вот взять хотя бы тебя: получи ты диплом врача в

каком-нибудь медицинском учебном заведении, не в албанских горах, ты думал бы о гопорарах, а не о восстании...

Студент вошел в коридор, и его шаги послышались у самой двери в комнату Соколова. Бырзобегунек вскочил, накинул на шею перевязь и просунул в нее руку.

— Чуть было не забыл: дай мне хинина для Каблешкова,— проговорил он.

Не успел доктор дать ему порошки, как в дверь постучали.

— Войдите! — крикнул Соколов.

Вошел Кандов. Учтиво поклонившись ему, Ярослав Бырзобегунек вышел. Студент даже не заметил его, так он был поглощен своими мыслями.

Кандов носил хорошо сшитый, но уже потертый темно-зеленый пиджак и такого же цвета брюки, довольно узкие и плотно облегающие бедра. Высокий красный фес не шел к его смуглому лицу, сосредоточенному, отмеченному печатью какой-то тоски, омрачавшей его мечтательный взгляд. Этот юноша, очевидно, таил в душе какие-то неотвязные думы и неизбывные горести, которыми не мог делиться с другими людьми. С некоторых пор он жил отшельником.

По приглашению доктора он сел на единственный стул в комнате. Сам хозяин, немало удивленный этим неожиданным посещением, сел на кровать.

— Как ваше здоровье, господин Кандов? — спросил Соколов, полагая, что студент занемог, и пристально всматриваясь в его плохо выбритое, осунувшееся лицо.

— Слава богу, ничего,— коротко и почти машинально ответил Кандов.

Взгляд его внезапно оживился; по-видимому, его привела сюда не болезнь, а какая-то другая причина, и немаловажная.

— Рад за вас. Заметно, что вы совсем поправились.

— Да, я поправился, чувствую себя хорошо.

— Значит, опять поедете в Россию?

— Нет, не поеду.

— Совсем?

— Я остаюсь здесь навсегда,— проговорил Кандов сухо.

Доктор бросил на него недоумевающий и почти пронический взгляд, говоривший: «Почему же ты не едешь, братец, к своим философам? Тут у нас кругом все горит, и тебе здесь делать нечего».

Наступило короткое молчание.

— Может быть, собираетесь поступить в учителя? — осведомился доктор с презрительным участием.

Кандов немного покраснел и вместо ответа спросил резким тоном:

— Господин Соколов, когда будет заседание комитета?

Этот дерзкий вопрос удивил доктора.

— Какого комитета? — спросил он, делая вид, что ничего не понимает.

Кандов покраснел гуще и проговорил с трудом:

— Вашего комитета. Не скрывайте, я все знаю... и кто входит в состав этого комитета, и где он заседает... Все знают, и не надо скрывать от меня...

— Странно, что вы знаете такие вещи, которыми совершенно не интересуетесь... Но пусть будет так... Что же вы хотите этим сказать? — спросил доктор, пристально и вызывающе глядя на студента.

— Я вас спрашиваю: скоро ли будет заседание комитета? — повторил Кандов решительно.

— Сегодня вечером, сударь! — ответил доктор тем же тоном.

— Вы его председатель, не так ли?

— Да!

— Я пришел просить вас об одном одолжении.

— О каком?

— Я прошу вас предложить меня в члены комитета.

Голос студента дрожал от волнения.

Доктор был поражен; неожиданная просьба Кандова застала его врасплох.

— Почему вы этого желаете, Кандов?

— Просто как болгарин... Я тоже хочу работать.

Соколов вскочил.

— Дай, братец, руку! — И, крепко обняв студента, Соколов горячо поцеловал его.— С радостью приемем вас, господин Кандов, с большой радостью,— говорил он.— Мы все будем рады видеть вас в своем кругу... Грешно, когда такие люди, как вы, остаются в стороне... Наша борьба будет великой борьбой. Нас призывает отечество... Все, все должны откликнуться на его зов... Честь и слава тебе, Кандов! Вот удивятся друзья, когда я им расскажу!.. Дай, братец, руку!

— Спасибо, доктор,— поблагодарил его студент, тронутый до глубины души.— Вы увидите, что Кандов не будет лишним.

— Знаю, знаю!.. Но почему ты отказался, когда тебе предлагал Огнянов?.. Так его жаль, прямо сердце разрывается... Несчастный мой Бойчо! Лучше бы мне умереть, а ему жить,

воодушевляя народ своим словом и примером!.. Ты знаешь, Кандов, это был настоящий герой, человек великой души! За его кровь мы отомстим страшной местью... За одного — сотню! Матери этих варваров зальются слезами!

— Да, месть! — отозвался Кандов.— Теперь мною владеет только это чувство!.. Нельзя простить убийце смерть такого человека, как Огнянов.

— Месть, страшная месть! — воскликнул доктор.

— Комитет соберется вечером?

— Да, у дядюшки Мичо. Пойдем вместе.

— Как только меня примут, я внесу одно предложение.

— Какое?

— Казнить убийцу Огнянова!

— Он не один, друг мой... Их несколько... и где нам искать их?.. Да если хочешь знать виновника, так это — турецкая власть...

— По-моему, виноват один человек!

Доктор посмотрел на Кандова с удивлением.

— Именно один, и он среди нас.

— Среди нас?

— Да, я говорю о главном виновнике его смерти.

— Эх, Кандов, не стоит труда... мстить какому-то идиоту... Мунчо давно уже потерял рассудок. Несчастный, он не понимал, что своими ужимками совершает предательство. Он был так привязан к Бойчо... Оставь его в покое.

Кандов вспыхнул. Предположение Соколова показалось ему обидным.

— Заблуждаетесь, господин Соколов! Заблуждаетесь! Кто вам сказал, что предатель — это Мунчо?

— А вы кого имеете в виду?

— Стефчова.

— Как, это Стефчов? — вскричал доктор, ошеломленный.

— Он самый. Вот кто предатель! Это я знаю совершенно точно.

— Ах, мерзавец!.. Вначале я и сам подозревал его!

— Я наверное знаю, что это он все выдал туркам... Мунчо ни при чем. Вы все слишком поспешили обвинить его... Это Стефчов посоветовал властям копать у мельницы в ту самую ночь, когда его опозорили; это он с помощью подлого Мердевенджиева узнал настоящее имя Огнянова... Он совершил все эти преступления, и он виноват во всех несчастьях... Я знаю эту темную историю во всех подробностях, притом из самого верного источника.

— Ах, мерзавец, негодяй...

С каждой минутой уважение Соколова к Кандову возрастало. Но доктор был прямо-таки потрясен, увидев, что студент действительно готов убить Стефчова — противника святого дела — и берется совершить этот кровавый подвиг с величайшим риском для себя, чтобы доказать свою преданность идее, в которую теперь поверил. Подобная горячность в другом человеке могла бы показаться подозрительной, но у Кандова она была искренней,— в этом убеждали беспокойный огонь в его глазах и воодушевление, отразившееся на нервном лице.

Несколько секунд Соколов молча смотрел Кандову в глаза и вдруг вскочил.

— Погоди,— сказал он,— мы непременно отправим этого мерзавца на тот свет... Сегодня на заседании комитета решим.

— Хорошо,— негромко проговорил Кандов.

Соколов посмотрел в окно.

— Ко мне идут! — воскликнул он.

К дому подходил красивый белолицый юноша, одетый довольно хорошо и по французской моде.

Доктор явно не ждал гостя и при виде его взволновался.

— Это пациент? — спросил Кандов.

— Да, извини! — ответил доктор и выскочил за дверь.

Когда он вернулся, лицо его сияло радостью.

— Кто это был? — спросил Кандов, глядя вслед уходящему юноше.

— Пенчо Диамандиев. Он учится в гимназии, в Габрове. На днях приехал домой.

— Как? Это шурин подлеца Стефчова и сын мироеда Юрдана? — удивился Кандов.— Вы с ним приятели?

— Мало сказать приятели! Мы с ним ближе, чем приятели и братья. Мы — товарищи: он член комитета.

III. ДВА ПОЛЮСА

Чорбаджи Юрдан быстро дряхлел, силы его убывали. Какая-то желудочная болезнь, надолго приковавшая старика к постели, заметно повлияла на его характер,— он стал еще более раздражительным и нетерпеливым, чем раньше.

В это утро погода была хорошая, и Юрдан, отправившись на прогулку, дошел до своего сада, расположенного на окраине города. Этот сад, очень большой, весь в свежей зелени, огражденный крепким забором и засаженный прекрасными фрукто-

выми деревьями и цветами, показался раем больному старику, давно не выходившему из дома. Прохладный чистый воздух и весеннее солнце оживили Юрдана. На обратном пути он ступал уже более уверенно, но, проходя мимо дома Генко Гинкина, своего зятя, почувствовал слабость и дрожь в ногах. Он зашел к зятю.

Генко Гинкин, совсем отощавший, съежившийся и какой-то растерянный, бродил по двору с плачущим грудным ребенком на руках, убаюкивая и укачивая его, как нянька.

Юрдан направился к покрытой ковриком скамейке, стоявшей во дворе, и тяжело опустился на нее.

— Эх ты, баба! Ребенка нянчишь! — хмуро проговорил он, обращаясь к зятю.— А где та?

Под словом «та» Юрдан подразумевал свою дочь.

Генко смутился,— впрочем, смущение было его обычным состоянием,— и пробормотал, запинаясь:

— Она занята, вот я и укачиваю Юрданчо... Велела мне поносить его на руках... У нее дела.

— А она не велит тебе носить ее прялку? — спросил Юрдан, презрительно улыбаясь.— Гина, свари мне чашку кофе! — крикнул он, хотя Гинки не было видно.

— Она месит... месит тесто... она занята, папаша... Вот я и нянчу ребенка... А кофе, кофе... я сам сварю,— вот сейчас пойду, сию минуту. Я знаю, где коробка с кофе и сахар,— залепетал Генко и, положив Юрданчо на колени к дедушке, скрылся из виду.

Младенец кричал пуще прежнего.

Юрдан рассердился. Положив противного крикуна на скамью, он встал и принялся громко звать хозяев:

— Эй, вы! Куда вы все провалились? Кто к вам пришел — человек или осел?.. Гина, Гина!

— Отец! Добро пожаловать! Как поживаешь, как себя чувствуешь?.. Посмотри, какая прекрасная погода,— хорошо сделал, что вышел погулять! — отозвалась с порога тетка Гинка, веселая, улыбающаяся, в синем переднике.

Рукава ее платья были засучены до локтей, красивое лицо щедро припудрено мукой, а зеленая косынка съехала на затылок. В таком виде она была очень недурна собой и вызывала в памяти женские фигуры на жанровых картинах фламандской школы.

— Ты что делаешь? Что это мне рассказывает твой муженек? Что ты вся в муке, словно мельничиха!.. Чашку кофе некому подать! — ворчал старик сердито и властно.

— Ты уж меня прости, отец; и я, видишь ли, взялась за дело... Сейчас сварю тебе кофейку... Генко! Куда ты запропастился? Возьми Юрданчо и положи его в люльку; может, укачаешь!

— Чем же ты занята? Что делаешь? — спросил Юрдан.

— Да вот замесила тесто. Нужно... Что ж, и у нас сердце не камень... Ведь мы честные болгары,— ответила тетка Гинка и громко рассмеялась.

— Какие болгары? Для чего ты месишь тесто? — спросил ее отец, сдвинув брови.

— Для сухарей, отец.

— Для сухарей?

— Ну да! Ведь они нужны будут.

— На что вам сухари? На воды целебные, что ли, собрались? Что это еще за выдумки?

Вместо ответа тетка Гинка расхохоталась.

Юрдан смотрел на нее, очень недовольный. Он не выносил смеха дочери,— слишком уж часто и беспричинно она смеялась: веселая Гинка характером вышла не в отца, который был всегда хмур и угрюм.

Подойдя к старику, Гинка проговорила негромко:

— Кто теперь думает о водах? Мы для другого готовим сухари. Они юнакам понадобятся.

— Каким юнакам? — удивился Юрдан.

— Нашим, болгарским, отец,— когда они пойдут в горы.

— О каких это юнаках ты болтаешь? — осведомился Юрдан, удивляясь все больше и больше.

Гинка подошла к нему еще ближе.

— Для восстания... Комитет заказал,— проговорила она и расхохоталась.

Юрдан подскочил. Он не верил своим ушам.

— Какое восстание? Какой комитет? Для бунта, что ли?

— Для бунта, для бунта!.. Не хотим больше повиноваться этому паршивому султану! — дерзко ответила Гинка и быстро отскочила в сторону, так как отец замахнулся на нее своей длинной трубкой.

Побледнев и дрожа, как лист, от гнева, он закричал во весь голос:

— Ослица, дура безмозглая! И ты бунтовать вздумала? Не нашлось для тебя иголки и прялки, что ты спуталась с разбойниками и бездельниками и кормишь их сухарями?.. Неужто у тебя ни стыда, ни совести нет, сумасшедшая? Она тоже, извольте видеть, не хочет султана! Сука этакая! Что тебе сделал

султан? Младенца у тебя отнял или на мозоль тебе наступил? Забросила свой дом и ребенка и собралась свергать султана!.. А ты чего смотришь, разиня? Может, и ты под ее дудку пляшешь, и ты собираешься встать под знамена? — обернулся распетушившийся Юрдан к зятю, который стоял на пороге, испуганно глядя на тестя.

Генко Гинкин что-то пролепетал и снова скрылся в доме. Гинка уже была там и торопливо приводила себя в порядок, заметив, что крики ее родителя привлекли к воротам толпу любопытных. Увидев Генко, она схватила туфлю и запустила ее мужу в голову.

— Ах ты, негодяй, зачем ты сказал отцу, что я мешу тесто для сухарей?

Но Генко, преисполненный гордым сознанием своего мужского достоинства, не удостоил ее ответом и, храбро отступив в другую комнату, запер за собой дверь. Установив таким образом преграду между своей спиной и женином туфлей, он начал язвить:

— Ну-ка, ударь теперь, если сможешь!.. Я твой муж, а ты моя жена!.. Посмотрим, как ты меня ударишь!

Но Гинка его не слышала. Она вышла во двор, так как ее отец, сердитый и расстроенный, был уже за воротами.

Старик вернулся домой, едва дыша от усталости. Кое-как проковыляв по двору, он, обессилев, опустился на нижнюю ступеньку лестницы, ведущей на второй этаж.

Чорбаджи Юрдан был возмущен до глубины души. Он долго просидел в четырех стенах своего дома, однако и до его ушей дошли кое-какие новости. Тайна предстоящего восстания перестала быть тайной; о нем и глухие слыхали. Но Юрдан считал, что восстание готовят где-то около Панагюриште, за горами и лесами, а значит, пожар будет далеко от его дома. Сегодня же из разговора со своей взбалмошной дочерью он понял, что и в Бяла-Черкве вот-вот вспыхнет пламя. «Чего смотрят турки? Ослепли они или оглохли? Неужто им невдомек, что ведется подкоп под их владычество?» — думал он.

Где-то справа от него послышались детские голоса. Они доносились из окошка, расположенного немного выше его головы и выходившего в чуланчик. Юрдан встал, чтобы подняться по лестнице. На третьей ступеньке он невольно остановился и посмотрел в окошко. И тут он увидел, что двое его сынишек, старшему из которых было всего тринадцать, стоят у горящей печки и что-то мастерят. Увлеченные своей работой, они и не заметили, как за окном появилась голова их отца.

Один из мальчиков держал над огнем сковородку и пристально следил за тем, что на ней плавилось или жарилось. Другой обрезал и разглаживал ножом какие-то блестящие шарики, которые кучей лежали перед ним... И это было не что иное, как уже отлитые пули, а в сковородке плавился свинец, который мальчики разливали по формам.

— Разбойники! Идиоты! — заорал Юрдан, сам не свой от ярости, догадавшись, чем занимаются его сыновья, и повернул назад, угрожающе подняв длинную трубку.

Сыновья бросили свою лабораторию, с быстротой ветра выскочили из чулана и скрылись где-то за воротами.

— Разбойники! Кровопийцы! Поджигатели! Будьте вы прокляты!.. И они к бунту готовятся! — орал Юрдан, быстро поднимаясь по лестнице — ярость придала силы его ногам.

На верхней галерее он увидел свою жену.

— Дона! И ты заодно с их шайкой! — накинулся он на старуху, вперив в нее грозный взгляд.— Вся моя семья взбесилась!.. Вы меня со света сживете!.. Вы меня погубите на старости лет!..

И Юрдан застонал, еле переводя дух.

Жена растерянно смотрела на него.

— Пенчо! Пенчо! — закричал старик.— Куда он провалился? Спросить бы его, что он делает! Уж если малыши принялись лить пули, так он, чего доброго, пушки льет... Ну и негодяи!..

— Пенчо нет дома,— объяснила ему жена.— Он уехал в К.

— За каким дьяволом он поехал в К.?

— Должно быть, отправился к кожевнику; ты велел отвезти ему сто лир.

— Тосун-бею?.. Но Пенчо должен был ехать завтра, бессовестный!.. Как он смел уехать без спроса?

И чорбаджи Юрдан направился к своему письменному столу. Быстро открыв его, старик принялся рыться в ящиках, перебирая бумаги и тетради. Но деньги, которые он сам же положил в стол, так и не нашлись. Вместо них Юрдан вытащил из-под бумаг великолепный револьвер системы «Лефуше».

— Откуда этот пистолет? Чей он? Кто смеет рыться в моем столе? Ищу деньги, нахожу револьвер!

— Никто здесь не роется, кроме тебя и Пенчо,— сказала жена.

— Ах, подлец! Ах, бандит! Не выйдет из него ничего путного!.. И он против султана! И он бунтовщик... Все ясно: это он заставил наших сопляков отливать пули... Все взялись за дело! Все сами вьют себе веревку!.. Да что это за разврат такой? Если

дальше так пойдет, кошки и те примутся бунтовать... Кириак пришел?

— Здесь он, связывает тюки...

Юрдан поспешил в комнату, где был Стефчов.

IV. ТЕСТЬ И ЗЯТЬ

Стефчов был компаньоном своего тестя, и сейчас он с помощью двух работников упаковывал тюки со шнуром, которые предстояло отправить на Джумайскую ярмарку, открывавшуюся на юрьев день. Он снял пиджак и фес, чтобы легче было работать; лицо его, покрасневшее от напряжения, было, как всегда, неприятно — жесткое, невыразительное, черствое.

У окна, в скромном синем платье, стояла его жена Лалка и пришивала ярлыки к уже связанным тюкам. Никто бы не мог заметить по ее спокойному белому лицу, расцветшему и ставшему теперь более женственным, что она несчастна в браке, навязанном ей силой. Простодушная, неопытная, лишенная высоких душевных порывов,— которым, впрочем, и неоткуда было взяться в той деспотической среде, где она воспитывалась,— девушка пошла под венец, мучаясь и глотая слезы. Но время пришло ей на помощь, как это бывает в большинстве подобных случаев. Лалка привыкла к своему новому положению и примирилась. Стефчова она не любила,— да его и нельзя было полюбить,— но боялась и была ему покорна. А он большего и не требовал. Взамен ее сердца, которого Стефчов никогда не домогался, он получил богатое приданое и сделался прямым наследником Юрдана Диамандиева. Этого ему было довольно.

При виде вошедшего Юрдана, бледного, дрожащего, с искаженным лицом, Стефчов выпустил из рук веревку, которую натягивал, увязывая тюк, а Лалка уронила иглу.

— Ну и дела, Кириак! — крикнул Юрдан, едва переступив порог.— Как видно, только ты да я остаемся верными султану! В моем доме котята и те вздумали бунтовать — покупают пистолеты и льют пули... Все к поджогу готовятся, а мы и в ус не дуем, готовим товар к ярмарке!.. Ну, я болен, но ты-то разве не слышишь и не видишь, что делается кругом. Какой смысл выбрасывать столько денег на товары, когда настали такие разбойные времена!..

Оба работника на цыпочках вышли из комнаты.

Стефчов удивленно смотрел на тестя.

— Чего смотришь, простофиля? — заорал Юрдан.— Я тебе

повторяю, что вся моя семья заражена крамолой. И это — семья чорбаджи Юрдана Диамандиева, верноподданного султана, человека, у которого останавливаются уездные и областные правители... Что же тогда говорить о простом народе? Какие-то бездельники состряпали комитет, здесь, в городе, под носом у нас, а мы разинули рты как дураки!..

И все более и более разъяряясь, чорбаджи Юрдан стал рассказывать зятю обо всем, что узнал за этот день.

— Я как раз сегодня хотел пойти к бею,— сказал Стефчов.— Они собираются в саду у Бейзаде; надо их забрать и допросить. Двести палок развяжут им языки! Надо мне было раньше положить конец этой мерзкой агитации против властей... Кто недоволен правительством, пускай убирается в Московию, которую так любит учитель Климент, а не поджигает наши дома.

Стефчов открыл дверь и пошептался с кем-то, стоящим за нею.

— Ты знаешь, кто эти мерзавцы? — спросил его тесть.

— Главный — Соколов,— ответил Стефчов, искоса взглянув на Лалку, и лицо его исказила злоба. Он ненавидел доктора, и к его ненависти примешивалась ревность, затаенная, жгучая, как горящий уголь. Так безобразно, и только так, проявлялась любовь в его окаменевшем сердце.

— Значит, и тут не обошлось без этого негодяя? — заметил Юрдан.

Стефчов отошел и стал рыться в карманах своего пиджака. Юрдан смотрел на него выжидающе.

— Вот это письмо я вчера нашел на улице, перед вашим домом,— сказал Стефчов.

— Что за письмо?

— Подписано Соколовым, адресовано в Панагюриште; судя по всему, он пишет таким же бандитам, как он сам.

— Так! О каких же мерзостях он пишет? Должно быть, все об огне, пожаре, поджоге и тому подобном?

— Вовсе нет — о самых невинных вещах; но я клянусь, что под ними подразумевается что-то другое,— ответил Стефчов, развертывая письмо.— Впрочем, Заманов все поймет и растолкует — он, как ищейка, издалека чует бунтовщиков.

Лалка побледнела. Выскользнув из комнаты, она спустилась в нижний этаж, к матери.

— Что с тобой, Лалка? — спросила ее мать.

— Ничего, мама,— ответила молодая женщина слабым голосом и села, подперев голову руками.

Мать, занятая стряпней, перестала обращать внимание на

дочь. Она сама была очень взволнована и, с силой мешая ложкой в сковородке, кляла своих сыновей.

— Чтоб их разорвало! Чтоб им всем пусто было! Уморят отца раньше времени! Только-только поднялся с постели, а теперь, того и гляди, опять сляжет... Чтоб оно провалилось, это их восстание! И с чего они все свихнулись и взбесились! Гина, сумасшедшая дура, безмозглый Генко и те собираются негодяев сухарями кормить!.. Чтоб они в глотке у них застряли!

Вошла Гинка, и Юрданица обрушила свой гнев на старшую дочь.

— Зачем так сердиться, мама? Тебе надо радоваться... Чорбаджийки должны показывать пример...

— Гинка, замолчи! — прикрикнула на нее мать.— Я тебя и слушать не хочу, ты сумасшедшая!

— Я не сумасшедшая, а настоящая болгарка, патриотка! — возразила Гинка с жаром.

— Патриотка! Не потому ли ты каждый божий день колотишь своего супруга?

— Я его колочу потому, что он мой муж; это совсем другая политика; это — внутренняя политика.

— Ах ты, безумная! И ты вообразила, что больше любишь Болгарию, чем твой родной отец? Да узнай он только, что ты берешь у Соколова и читаешь газеты, он с тебя шкуру спустит, не поглядит, что тебе уже сорок стукнуло.

— Мама, ты врешь, как цыганка! Мне с рождества пошел тридцать второй год. Я лучше тебя знаю, сколько мне лет!

Этот диалог был прерван служанкой.

— Тетя Дона, иди, дяде Юрдану плохо,— проговорила она испуганно.

— Этого только не хватало! О боже мой, господи! — взвизгнула Юрданица и, позабыв сковородку на огне, побежала к мужу.

Поднимаясь по лестнице, она услышала истошные крики — у Юрдана начались колики. Жена нашла его в комнате на втором этаже; старик катался по полу, корчась от нестерпимой резп в кишечнике. Лицо его, обезображенное болью, посинело; громкие, отчаянные вопли, слышные даже на улице, вырывались из его груди, приводя в ужас всех окружающих.

Немедленно послали работника за лекарем Янелией, но посланный вернулся один — лекарь уехал в К. Пришлось прибегнуть к домашним средствам. Но ни компрессы, ни растирания, ни лекарства не помогали больному. Он то корчился, свертываясь клубком, то перекатывался с места на место.

Юрданица не знала, что делать.

— Может, позвать доктора Соколова? — предложила она мужу.

Стефчов пробормотал что-то неодобрительное.

— В позапрошлом году я его раз звала, и он мне помог,— сказала Юрданица и, обратившись к мужу, снова спросила: — Юрдан, позвать доктора?

Юрдан отрицательно помахал пальцем и снова застонал.

— Слышишь? Давай пошлем за доктором Соколовым! — убеждала его Юрданица.

— Не хочу...— простонал старик.

— Ты не хочешь, а я тебя не послушаю! — проговорила Юрданица решительным тоном.— Чоно! — обратилась она к работнику.— Ступай позови доктора Соколова! Быстро!

Чоно направился к двери, но, едва переступив порог, остановился, испуганный громким рыдающим воплем хозяина.

— Не смейте его звать!.. Не хочу я видеть этого негодяя, этого разбойника...

Юрданица смотрела на него в отчаянии.

— Ты что ж, умереть хочешь? — крикнула она.

— Ну и пусть умру!.. Убирайтесь вон, проклятые!..— заревел старик.

Часа два спустя кризис стал понемногу проходить. Стефчов, увидев, что тестю полегчало, быстро оделся, чтобы отправиться в конак.

Лил дождь.

Спускаясь по лестнице, Стефчов встретил низенького человечка.

— Ну что? — спросил Стефчов.— Высмотрел?

— Там они, у Бейзаде.

— Опять в саду?

— Нет, идет дождь, собрались в подвале. Я их выследил... Я ведь тоже не дурак.

Это был Рачко, бывший содержатель Карнарского постоялого двора. Теперь он работал за поденную плату у Юрдана и заодно помогал его зятю в слежке.

— Принеси мне зонтик.

Минуту спустя Стефчов был уже на улице.

Лалка, стоявшая за дверью, слышала этот разговор. Она посмотрела вслед мужу каким-то странным, испуганным и удивленным взглядом. Потом быстро поднялась по лестнице и скользнула в одну из комнат.

V. ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Когда Стефчов пришел в конак, у бея сидел только один человек — Заманов.

Они играли в таблу.

Христаки Заманов был официальным осведомителем турецких властей и за свою работу получал вознаграждение от конака в Пловдиве. Ему было сорок пять лет, но выглядел он старше. Большое сухощавое смуглое лицо его с черными бегающими, но тусклыми глазами было покрыто преждевременными морщинами, и выражение у него было неприятное, даже какое-то зловещее. Коротко подстриженные усы его сильно поседели; волосы, тоже седые, сальные и нечесаные, на затылке выбивались из-под грязного феса; надо лбом виднелись залысины. Заманов носил потрепанный фиолетовый кафтан из грубой домотканой шерсти с черным суконным воротником, сильно лоснившимся. Высокий и стройный, он обычно ходил, опустив голову и словно клонясь под тяжестью общего презрения. На всем облике этого человека лежал отпечаток бедности и цинизма. Постоянным его местожительством был Пловдив, но он часто объезжал окрестные городки. Родившись в Бяла-Черкве, он знал всех в этом городе, но и его здесь знали все. Его приезд сюда в такое время взволновал тех, у кого были причины волноваться. Было ясно, что приезд этот связан с какой-то миссией, не сулящей ничего доброго. Присутствие Заманова неизменно внушало людям страх и отвращение, и он это чувствовал, но не смущался. Бесстыдно и самоуверенно встречал он презрительные взгляды, как бы говоря: «Чему вы удивляетесь? Профессия как профессия! Надо же и мне существовать». Он уже успел повидаться с несколькими видными горожанами и попросить у них денег в долг. Само собой разумеется, никто не посмел отказать столь щепетильному должнику и любезному согражданину. Заманов несомненно знал, какие события назревают в Бяла-Черкве, и с язвительной усмешкой спрашивал каждого встречного юношу:

— Ну как, вооружаетесь? — И, чтобы вконец смутить собеседника, добавлял негромко: — Ничего у вас не выйдет,— после чего уходил, оставив юнца в полном смущении.

Позавчера он сказал примерно то же самое председателю местного комитета. Эта назойливая откровенность производила такое зловещее впечатление, что прохожие разбегались с улиц, по которым он проходил.

Вот почему Стефчов проспял, застав у бея такого могущественного союзника. Улыбаясь, он поздоровался с игроками и, пожав руку Заманову, непринужденно, как свой человек, сел около них, чтобы следить за игрой.

Старый бей, облаченный в черный сюртук, застегнутый на все пуговицы, кивком головы поздоровался со Стефчовым и продолжал играть с величайшим вниманием. Когда партия кончилась, Стефчов не замедлил перейти к делу. Он с мельчайшими подробностями передал бею все, что слышал о революционном подъеме, охватившем и Бяла-Черкву.

Бей тоже слыхал краем уха о каком-то движении среди порабощенных болгар, но, считая его чем-то совершенно несерьезным, даже ребяческим, ничуть не тревожился, как, впрочем, и все турецкие власти в то время.

Теперь же, когда Стефчов открыл ему глаза, старик был поражен, узнав, как далеко зашло дело.

— Что же это, Христаки-эфенди,— обратился он к Заманову вопросительно и строго,— мы с тобой в таблу играем, а кругом нас, оказывается, все горит?

— Я здесь лишь несколько дней, но знаю обо всем этом больше Кирпака,— отозвался Заманов.

— Знаешь, а мне не говоришь?., Хорошо ты служишь султану! — воскликнул бей, очень недовольный.— Стефчов проявил себя более надежным столпом престола.

— Это был мой долг, бей-эфенди,— сказал Стефчов.

Крупные капли пота выступили на лбу Заманова.

— Здесь пустяки, в других местах во сто раз хуже,— проговорил он первно.— Здесь только соломинка тлеет, а вокруг Панагюрище горят целые стога. Однако правительство у нас не глухое и не слепое... Оно видит дым, но молчит. На это у него есть свои соображения... Будет ошибкой нам первым поднимать шум и компрометировать себя неизвестно зачем. То, что мы видим в Бяла-Черкве, это только отблеск пламени, которое в других местах взметнулось до облаков... По моему мнению, не надо спешить, а лучше бдительно выжидать событий.

Бею эти рассуждения пришлись по душе — они потворствовали его стремлению к покою и боязни ответственности.

Стефчов заметил это и разозлился. Было ясно, что Заманов просто-напросто придумал хитроумное оправдание своей небрежности и халатности на государственной службе.

— У Христаки-эфенди нет здесь ни семьи, ни собственности, что называется — ни кола, ни двора, потому он и философ-

ствует,— язвительно проговорил Стефчов.— Если завтра у нас займется, что он потеряет?

— Позвольте, милостивый государь! — вспылил Заманов, побледнев от ярости.

— Ты прав, Кирнак, я этих мерзавцев в бараний рог согну! — вскричал бей.

Стефчов победоносно огляделся кругом.

— Да, признаюсь, что и я, поразмыслив, пришел к такому же заключению... Надо переловить этих подлецов! — снова заговорил Заманов немного погодя, и лицо его внезапно приняло какое-то озлобленное выражение.

— Значит, все к одному пришли? — проговорил бей и вздохнул.

— Их нужно всех забрать сегодня же вечером! — сказал Заманов.

— Где они собираются? — спросил бей.

— У Мичо Бейзаде.

— У Бейзаде?.. Все понятно! Он московцам душу продал, как же он может любить султана?.. А кто их главарь?

— Доктор Соколов,— ответил Стефчов.

— Опять Соколов? Значит, он теперь вместо «консула»?

— Да, бей-эфенди, только дела «консула» были детской забавой в сравнении с делами Соколова.

— Кто остальные?

— Уволенные учителя и еще несколько негодяев.

Бей посмотрел на часы.

— Они сейчас там? — спросил он.

— Да, в подвале. Когда погода хорошая, они обычно собираются в саду... Хлещут водку и устраивают заговоры...

— Так как же ты советуешь поступить?

— От Мичо они уходят, когда совсем стемнеет. Надо, чтобы полицейские, когда они выйдут, забрали всю компанию сразу и привели ее в конак.

— Это не годится,— возразил Заманов.— Если вы заберете их на улице, без всяких улик, им нетрудно будет ото всего отпереться. Нет, нужно совершить налет на дом Мичо и захватить их там, где они заседают,— так сказать, на месте преступления. Зацапать их вместе с бумагами, протоколами и всякими документами... Вот это будет чистая работа,— все ясно, как на ладони... Попробуй тогда отвечать: «Не знаю, не слышал, не видел...» В первый раз я их сам допрошу.

Бею совет понравился. Стефчов и тот пришел в восхищение от этого плана. Шпион стоял теперь перед ним во всей своей

красс. Сообразительность Заманова, оказывается, была под стать его усердию.

— Но все это нужно начать не раньше чем стемнеет,— добавил Заманов.— Для таких налетов темнота — необходимое условие.

— Решено! — торжественно изрек бей и хлопнул в ладоши.

Появился полицейский.

— Онбаши здесь?

— Шериф-ага скоро вернется.

— Когда вернется, пусть зайдет ко мне! — приказал бей.

Полицейский вышел.

— Совсем было позабыл,— начал Стефчов, обращаясь к Заманову, который сидел, погрузившись в мрачное раздумье и беспокойно морща лоб; он, видимо, был целиком поглощен какими-то своими темными мыслями и планами.

Вынув из грудного кармана письмо, Стефчов развернул его.

— Что это? — спросил Заманов, очнувшись.

— Письмо Соколова, адресованное в Панагюриште.

— Вот как!

— Должно быть, его уронил их курьер... Я сегодня нашел это письмо у дома тестя.

— Что в нем написано? — быстро спросил Заманов, заглядывая в письмо.

— Оно шифрованное; послано на имя некоего Луки Нейчева. Это простой человек, сапожник в Панагюриште. Он каждую неделю ездит на базар в К. и проезжает через Бяла-Церкву. Но я уверен, что письмо предназначено для кого-то другого, скорей всего — для панагюрского комитета.

— Что это за бумага? — спросил бей с любопытством.

Заманов и Стефчов разговаривали по-болгарски, и старик ничего не понял.

Стефчов объяснил ему.

— Читай, читай, посмотрим,— проговорил бей, навострив уши.

Стефчов прочитал следующее:

«Дядя Лука!

Надеюсь, что дома у вас все живы и здоровы и ваша жена уже поправилась; но все-таки пусть принимает те пилюли, которые я ей дал. Как идет у вас торговля? Вот уже две недели, как я тебя не видел,— ты почему-то не заезжал в наши края; надеюсь, что не болезнь помешала тебе приехать. Когда собе-

решься к нам, купи мне в аптеке Янко белладонны на десять грошей,— у меня вся кончилась.

Привет всем домашним.

Соколов».

— Сомнений нет, письмо шифрованное,— проговорил Заманов.

— Переведи его теперь на турецкий язык,— приказал бей.

— В нем как будто нет ничего особенного, но когда разберешься, окажется много подозрительного,— сказал Стефчов, обращаясь к бею, и начал переводить письмо.

— Подожди,— остановил его бей в самом начале,— под «пилюлями» нужно понимать пули!

— Может быть, и пули,— согласился Заманов.

Выпустив изо рта клуб дыма, бей горделиво и самодовольно огляделся кругом и опять напряг слух.

Стефчов продолжал переводить письмо.

— Погоди,— снова остановил его бей,— он спрашивает о торговле? Понятно? Значит, он хочет сказать: «Как идет подготовка?..» Мы тоже не лыком шиты!

И бей многозначительно подмигнул Заманову, как бы желая сказать: «Ты не смотри, что Хюсни-бей старик; он хитрая лисица, его не проведешь!»

Стефчов продолжал читать. Когда он дошел до слов: «Надеюсь, что не болезнь помешала тебе приехать», бей опять перебил его.

— Христаки-эфенди,— обратился он к Заманову,— а вот эти места, где говорится о болезни и здоровье, что-то немного туманны. Как ты понимаешь эти слова?

— Я думаю, что под болезнью тут подразумевается здоровье, а под здоровьем болезнь,— важно ответил осведомитель.

Бей задумался, пытаясь сделать вид, что уразумел все значение этого глубокомысленного ответа.

— Теперь все понятно! — проговорил он торжествующе.

Когда Кириак вновь взялся за письмо и дошел до слова «белладонна», бей опять прервал его, весело воскликнув:

— Ну, тут он проговорился,— прямо сказал: «дебелая Бона». Значит, и она в их шайке!.. Всякий раз, как я встречаю ее, буйволицу, у меня мелькает мысль, что в этой бабище черти водятся; она что-то замышляет против правительства.

Слова бея относились к бабушке Боне, тучной старухе шестидесяти пяти лет, которая не пропускала ни вечерни, ни утрени и на пути в церковь всегда проходила мимо конака.

Стефчов и Заманов улыбнулись. Они объяснили бею, что речь идет о цветке, из которого приготовляется лекарство.

— Читай, читай дальше,— приказал посрамленный бей.

Стефчов продолжал:

— «Привет всем домашним. Соколов»... Все.

— Привет всем домашним! — вскричал бей.— Понятно! Одним словом, в этом письме с самого начала и до конца идет речь о бунте.

— Однако из него нельзя извлечь ничего серьезного,— недовольно заметил Стефчов.

— Да, туманно, довольно-таки туманно,— добавил Заманов.

— Туманно-то оно туманно,— подтвердил бей,— но мы заставим самого доктора растолковать нам то, чего мы не поняли.

— Нет, нам важно понять смысл этих строк теперь же,— проговорил Заманов, пристально всматриваясь в письмо.— Дайте-ка мне его, я узнаю, в чем тут секрет, у меня есть ключ к письмам бунтовщиков...

И он положил письмо за пазуху.

— Старайся, Христаки-эфенди, старайся! — сказал бей.

Стефчов откланялся, собравшись уходить.

— Значит, решено, не правда ли? — спросил он.

— Все будет кончено сегодня же вечером,— подтвердил бей.— Иди спи спокойно и передай привет чорбаджи Юрдану.

Счастливым и сияющим вышел от бея Стефчов. У ворот конака его нагнал Заманов.

— Что, сегодня вечером придется тебе поработать? — спросил Стефчов.— Ведь ты будешь руководить облавой на этих господ.

— Само собой, раз уж я взялся так взялся,— ответил тот.— Кирпак, дай мне взаймы лиру до завтра; очень нужно,— добавил он быстро.

Стефчов нахмурился, но полез в карман жилета.

— Возьми два рубля, больше у меня нет.

Заманов, взяв деньги, негромко проговорил:

— Ну, давай, давай еще, а не то берегись,— шепну словечко Странджову о том, какую ты сегодня заварил кашу,— получишь пулю в лоб!

И Заманов улыбнулся, давая понять, что запугивает Стефчова шутки ради.

Стефчов бросил на него встревоженный взгляд.

— Заманов, если я завтра узнаю, что Соколов и его товарищи сидят в кутузке, считай, что у тебя в кармане десять лир! — проговорил он торжественно.

— Ладно. А пока дай мне три-четыре гроша мелочью на еду, чтобы не менять рубли сегодня вечером... Благодарю, до свиданья!

И Христаки свернул на другую улицу, направляясь к постоялому двору, где он остановился. Обогнув дом Хаджи Цачовых, он встретил и остановил попа Ставри.

— Благословите, батюшка! — проговорил он и приложился к руке священника.— Ну, что поделываете? Как поживаете? Велик ли доход от треб? Как тут у вас теперь,— больше рождаются или больше помирают?

— Больше всего венчаются! — ответил старик с деланной улыбкой и, напуганный въедливым взглядом шпика, попытался было уйти прочь, но Заманов удержал его за руку и, пронизывая глазами, сказал:

— И правильно: теперь самое время для свадеб, ведь не сегодня-завтра может наступить второе пришествие...— И, многозначительно подмигнув, он сразу же переменил разговор: — Нет ли у тебя, отче, пятидесяти грошей до завтра? Очень нужно.

Старик поморщился.

— Какие у попа деньги!.. Вот благословить могу, если желаешь.

Поп Ставри снова попытался вырваться, полагая, что удалось отделаться шуткой, но Заманов строго посмотрел на него и проговорил совсем тихо:

— Давай пятьдесят грошей. Я знаю, что твой Гапчо — секретарь комитета... Стоит мне заикнуться об этом кому следует, и плохи будут ваши дела!

Старик побледнел. Он вынул монету и, прощаясь, сунул ее в руку Заманова.

— До свидания, отче, не забывай нас в своих молитвах.

— Анафема! — пробормотал поп Ставри удаляясь.

Дождь не переставал... Заманов вошел в свою комнату.

— Эй, малый, принеси мне углей в совке и поставь здесь жаровню,— приказал он слуге.

Слуга удивленно посмотрел на него, как бы желая сказать: «Ну и чудак! В такую теплынь греться захотел!»

— Принеси угля, говорю тебе! — повторил Заманов повелительным тоном и снял промокший кафтан.

Слуга вернулся с полным совком и, вытащив из-под кровати жаровню, ссыпал в нее уголь.

— Теперь можешь идти! — сказал Заманов и закрыл за ним дверь.

И тут Заманов вытащил из-за пазухи письмо, взятое у Стеф-

чова, развернул его, поднес чистой, не исписанной стороной к огню и стал терпеливо ждать. Когда бумага нагрелась, он поднял ее, осмотрел, и лицо его отразило живое любопытство, смешанное с удовольствием: бумага, еще недавно совсем чистая, белая, теперь была вся покрыта тесными рядами темно-желтых строчек. Как известно, комитеты писали письма симпатическими чернилами, и, только подержав бумагу над огнем, на ней можно было увидеть буквы. На обратной стороне обычно писали разные пустяковые фразы, чтобы ввести в заблуждение турецкие власти, на случай если бы письмо попало в их руки. К несчастью, никакую тайну нельзя сохранить, если она известна более чем двум лицам, и эту тайну прозорливый Заманов уже знал.

Письмо освещало действия и намерения комитета в Бяла-Черкве и было подписано его председателем Соколовым.

Заманов внимательно прочел эти крамольные строки, и на его некрасивом лице заиграла какая-то неопределенная улыбка. Вынув карандаш, он написал что-то на свободном месте, под фамилией председателя.

Потом быстро вышел и направился к конаку.

VI. ЖЕНСКАЯ ДУША

Как только Стефчов вышел из дома своего тестя, чтобы пойти к бею, Лалка выбежала за ворота.

Дождь, начавшийся после обеда, теперь сеялся как сквозь сито, но не было надежды, что он скоро прекратится,— темные плотные тучи заволокли все небо.

Раскрыв зонтик, Лалка быстро шла по улице. Она была так растеряна и взволнована, что не отвечала на приветствия и даже не почувствовала, что весь ее правый бок, до самого плеча, вымок от косых струй дождя, гонимого ветром. Вскоре она дошла до площади перед мужской церковью; отсюда, через церковный двор, можно было пройти в женский монастырь.

Только тогда Лалка остановилась под каким-то навесом, удивляясь, почему очутилась здесь, почему шла куда-то в сторону от своего дома... Но вот она вспомнила, что пошла спасать Соколова от немшуемой беды. И сама удивилась тому, что так любит его... Она бросилась к нему на помощь, не раздумывая, не зная, что надо делать, влекомая какой-то неведомой силой. Но сейчас она немного отрезвела и в смятении призадумалась, спрашивая себя, как ему помочь. Она понимала, что сделать это трудно. Она знала, что Стефчов в эту минуту советует бею арестовать Соколова, знала и о том, что Соколов сейчас на заседа-

или у дядюшки Мичо. Но как предупредить его об опасности? Самой пойти к Мичо под предлогом визита к его жене и сказать ей все — неудобно, неприлично, почти безумно. Идти в гости, да еще в такой дождь, к Мичовице, женщине малознакомой, муж которой в ссоре с ее отцом, слишком уж унизительно и неприятно. Да и какими глазами будет она смотреть на Мичовицу, как скажет ей, что она, жена Стефчова, живо интересуется судьбой Соколова, молодого, привлекательного, но легкомысленного человека, и, стремясь быть ему полезной, презрела все приличия, все общепринятые нормы поведения... А мужа своего она этим может невольно скомпрометировать, больше того — опозорить, раскрыв его предательство. Конечно, она не назовет его имени, но все равно все догадаются, что это Стефчов выдал людей, которых она идет спасать. И так уже, наверное, многие заметили, что он сегодня пошел в конак. Боже мой, почему он такой плохой человек?.. Все эти мысли с быстротой молнии промелькнули у нее в голове... Нет, страшное это дело, страшное, невозможное...

А дождь шел все сильнее; теперь это был уже настоящий ливень, и Лалка все стояла под навесом, как в западне, бессильная, беспомощная и растерянная. Если бы увидеть знакомого человека и послать его предупредить Соколова! Но в такую погоду все сидят по домам. Дождь лил как из ведра. С неба низвергались потоки воды. Безлюдны были и улицы и площадь, на которой стояла Лалка. Ее охватило отчаяние, и тяжелый вздох вырвался из ее груди. Лалка поняла, как она смешна и несчастна, как трудно ей выступать в роли провидения. Она почувствовала, как опасно ее собственное положение — ведь она здесь одна, под чужим навесом, на улице... тогда как стоит ей сделать двадцать шагов, и она очутится в монастыре, под крылышком своей тетки... Но нет, там ей нечего делать, там она не получит никакой помощи, не туда ведет ее путь!.. Как может она хоть минуту просидеть у монахинь, слушая сплетни, когда сердце ее разрывается от скорби и тревога за Соколова сводит ее с ума. Только одно утешало Лалку в ее горе: проливной дождь, который удерживал ее здесь, наверное, задерживал и полицейских в конаке; она была уверена, что Соколов еще не арестован, и надежда в ней еще теплилась.

И вдруг ее осенила радостная мысль. «Не пойти ли мне к тете Недковице? — подумала она.— Можно послать ее Ташо предупредить их».

Тетка Недковица жила неподалеку. Лалка могла, не стесняясь, рассказать ей обо всем, как своему человеку, и без всяких опасений дать это нелегкое поручение ее сыну.

Выйдя из-под защищавшего ее навеса, Лалка храбро зашагала вперед под дождем, шлепая по грязи. Она перешла, в воде по колено, через мутный ручей, внезапно превратившийся в бурный поток, и пошла дальше по площади навстречу ветру и дождю, хлеставшим ее по лицу.

Лалка вся вымокла, пока дошла до Недковицы. Та приняла гостью, немало удивленная тем, что она пришла в такую погоду.

— Ай-ай-ай, как ты промокла! — воскликнула Недковица, когда Лалка вошла в сени.— Что это ты вздумала выходить в такой дождь? Снимай скорей накидку, ты промокла до костей!

— Тетя, ваш Ташо дома?

— Ушел с утра и еще не приходил... Ты знаешь, какой он непоседа... А на что он тебе?

— До свидания, тетя.— И Лалка взяла свой зонтик.

Она была как пьяная.

— Куда ты, куда? — кричала изумленная Недковица.

Лалка выбежала на улицу.

К счастью, дождь перестал, кое-где прорвалась пелена облаков, и снова весело заспяло солнце.

Теперь только мелкие, почти невидимые капли еще висели в воздухе, сверкая на солнце, точно блещущая сеть осенней паутины. Яркая радуга охватила полнеба, и один ее многоцветный конец терялся где-то за темными грядами гор. Пышные кроны деревьев во дворах снова зазеленели, свежие и веселые; облака быстро уплывали прочь, и светлая лазурь победоносно разливалась по небу. На улицах появились прохожие. Лалка почувствовала себя бодрее, и на сердце у нее стало легче. Радуга в небе озарила ее душу лучом надежды. Трепетно всматривалась молодая женщина в каждого встречного, надеясь увидеть кого-нибудь из знакомых.

И вдруг она вспомнила о слепом Колчо, который когда-то самоотверженно спас Огнянова от подобной опасности.

— Боже, если бы мне сейчас встретить Колчо! — вздохнула Лалка, в смятении глядя на чужие и равнодушные лица прохожих.

Случаю, который часто играет людьми и порой заставляет судьбу делать самые странные и удивительные повороты, было угодно позабавиться и на сей раз: в пятидесяти шагах от себя Лалка увидела Колчо. Медленно, ощупью брел он куда-то с палкой в одной руке и с еще не закрытым зонтом в другой.

Обрадованная, взволнованная, Лалка свернула в ту сторону, куда шел слепой, спеша догнать его. А шел он как раз по той улице, что вела к дому Мичо Бейзаде. Очевидно, он идет к Мичо,

решила Лалка, знавшая от Рады, что Колчо имеет свободный доступ на заседания комитета и никогда не пропускает их. Торопясь, Лалка все ускоряла и ускоряла шаги и наконец чуть ли не пустилась бежать. Она не отрывала глаз от черного суконного пальто Колчо, не по росту длинного, и от большого раскрытого зонта, который он держал над головой. Лалка уже не видела тех, кто ей встречался — ни Бырзобегунека, который приветствовал ее взмахом левой руки, ни Хаджи Симона, который ей что-то крикнул, и встреться ей сам Стефчов, она бы его не узнала. Прошло две-три минуты; Лалка была уже в двух шагах от Колчо. Он брел все так же спокойно, с мечтательным выражением лица, свойственным слепым. Поравнявшись с ним, Лалка осмотрелась и, убедившись, что поблизости нет ни одного подозрительного человека, негромко окликнула слепого:

— Колчо! Колчо!

Но от волнения у нее перехватило дыхание, и она сама не услышала своего зова.

Колчо вошел в сапожную мастерскую Ивана Дуди. Он исчез так быстро и так неожиданно, что Лалке показалось, будто какая-то невидимая сила грубо толкнула его в открытую дверь мастерской.

И вот Лалка опять осталась одна; одна на этой людной улице, которая ей сейчас казалась пустынней. Перед нею промелькнуло что-то темное. Это был полицейский с винтовкой на плече, но Лалке почудилось, будто полицейских пять, десять, двадцать, целая толпа... Все вертелось у нее перед глазами; мысли ее путались, она уже перестала понимать, во сне ли она идет или наяву, и бессознательно продолжала идти вперед.

Лалка не помнила, по каким улицам она шла, как очутилась дома; она вся горела, голова у нее кружилась, все суставы ломило. Она почувствовала себя так плохо, такой слабой, что не успела войти в свою комнату, как упала на лавку, теряя сознание.

Лалка заболела острой лихорадкой, которая вскоре должна была свести ее в могилу...

VII. КОМИТЕТ

Шел дождь, и на этот раз заседание состоялось не в саду Мичо — под яблонями и высокими самшитами,— а в комнате хозяина.

Подосланный Стефчовым человек узнал это наверное.

На низких лавках сидели члены комитета — всего человек десять. Среди них были и наши знакомые — хозяин дома, председатель комитета Соколов, поп Димчо, Франгов, Попов, Николай Недкович, Кандов, принятый сегодня под гром аплодисментов в члены комитета, а также господин Фратю, возвратившийся из Румынии на пасху и принятый вновь лишь после многочисленных просьб и покаяний.

Фратю бежал в Румынию вскоре после андреева дня, дав себе честное слово никогда больше не «заниматься политикой». Он благополучно доехал до Бухареста, а там, чувствуя себя в безопасности, снова сделался горячим патриотом и республиканцем и в кругу эмигрантов выдавал себя за жертву турок, чудом избежавшую виселицы. Спустя некоторое время он написал анонимную статью, в которой ратовал за установление республики в Болгарии. Но Каравелов, занятый своим проектом балканской федерации во главе с князем Миланом, выругал это замечательное произведение. Фратю послал свою статью Ботеву для «Знамени», но и там его ждала та же участь. (В те времена Ботев мечтал о всемирном социализме.) Тогда Фратю сфотографировался вооруженным до зубов и в одежде повстанца. Но, сообразив, что распространять столь крамольные фотографии не очень благоразумно, убрал их подальше вместе с республиканскими статьями.

Кроме упомянутых лиц, на заседании присутствовали члены комитета: Илю Странджов, сапожник, бывший ссыльный и отчаянный головорез; Христо Врагов, торговец, и Димо Капасыз, он же Беспортев, он же Редактор, хромой сапожник, заговорщик по призванию.

Один из членов комитета, Пенчо Диамандиев, отсутствовал. Он уехал в К. заплатить за оружие той самой сотней лир, которую отец приказал ему передать Тосун-бею.

Сумерки сгущались.

Заседание началось в полдень, но, судя по всему, должно было затянуться на всю ночь. Не говоря уже о других причинах, красноречивое, пламенное выступление Каблешкова так опьянило членов комитета, что они вот уже два часа слушали его в каком-то безмолвном самозабвении.

Каблешков, один из самых привлекательных и самобытных апостолов, подготовивших апрельское движение 1876 года, был молодой человек двадцати шести лет, среднего роста, очень худой, изможденный, с изжелта-бледным лицом, небольшими усами и черными, как уголь, волосами, которые он то и дело откидывал назад, но тщетно, так как они снова падали в беспорядке на его

широкий умный лоб. Глаза — живые, с огненным, проницательным взглядом, то восторженным, как у пророка, то вдохновенным, как у поэта,— озаряли и облагораживали это лицо, изуренное лихорадкой, истощенное трудом и вечным недосыпанием. Никто не мог устоять перед силой этого взгляда, в котором, как в зеркале, отражался могучий, буйный и страстный дух, живущий в столь слабом и хрупком теле.

Его суконное синее пальто, черный жилет и черные брюки были изрядно потрепаны, ибо Каблешков постоянно был в движении и много ездил верхом. И сейчас он безостановочно ходил взад и вперед по комнате, продолжая горячо говорить; речь его часто прерывалась сильным кашлем.

— Да, мы сами, сами должны себе помочь. Мы настолько сильны, что сами покончим с гнилой Турцией. Турция слаба, разорена; турецкий народ бедствует,— он не станет вмешиваться в борьбу. Он сам стонет под игом властей. Армия деморализована и не заслуживает внимания. Возьмите, к примеру, восстание в Герцеговине. На его подавление посылали тысячи и тысячи солдат, но оно все еще в разгаре. А кто восстал? Всего горсточка людей! Что же сможет поделать это разлагающееся и запуганное государство, если восстанем мы?.. Ведь в один день нас поднимется сто тысяч человек! Пусть тогда попробуют послать войска,— только против кого посылать их раньше? И мы будем не одни! С запада Турции грозят Сербия и черногорские соколы,— они готовы к нападению; за спиной у Турции — Греция, которая тоже не будет зевать... Герцеговина и Босния загорятся от края и до края; Крит тоже запылает... Добавьте к этому, что в самом Царьграде революция не за горами, там ждут не дождутся смутного времени, чтобы свергнуть султана Азиса... Всюду хаос... Наше восстание будет панихидой по Турецкой империи!..

В полумраке его глаза горели, как угли.

— Ты забыл еще кое о чем,— отозвался Мичо Бейзаде,— ты забыл сказать о России. Дед Иван набросится с севера на Царьград, и Царьграда как не бывало! Пророчество исполнится слово в слово.

Мичо подразумевал пророчество пресловутого Мартына Задеки, которому слепо верил.

— Какие области будут готовы к восстанию? — спросил Франгов.

— Вся Болгария! — ответил Каблешков.— Пловдив и Пазарджикский уезд готовятся. Родопские селения и Батак тайно вооружаются; Тырново, Габрово, Шумен подымут Восточную

Болгарию, а в Западной турецких войск нет... Копривштецы вместе с повстанцами из Панагюриште и Стрелчи займут среднегорские перевалы; вы и повстанцы соседних городов и сел уйдете в Балканские горы, а это — крепость, которую не сможет взять и миллионная армия! Вся Болгария поднимется, как один человек. Наше восстание будет небывалым в истории Европы! Европа только ахнет! Я вас уверяю, что Турция не сделает и попытки подавить восстание силой оружия. Она будет вынуждена пойти с нами на мировую... Другого выхода у нее нет...

Каблешков говорил горячо. Как человек развитой, он, вероятно, ясно видел истинное положение вещей и тем не менее освещал его неправильно. Но он был увлечен своей идеей и считал, что для ее воплощения в жизнь можно пойти на все. Только возвышенной верой в святость дела, которому он служил, можно было объяснить правдивые и неправдивые заверения этого честнейшей души человека. А они были так убедительны, что не вызывали никаких возражений. Все члены комитета уже были уверены в том, в чем их старался уверить Каблешков. Они не сомневались, что все будет именно так, как он предсказывает.

— Какие условия мы можем поставить Турции, если она вступит с нами в переговоры? — спросил Попов.

— Как не вступить? Что же ей еще останется делать? — заметил поп Димчо.

— Насыплют ей перцу на хвост! — вставил Беспортев.

— Это еще не решено,— ответил Каблешков на вопрос Попова,— но пока что мы думаем так: Болгария от Дуная до Арды и от Черного моря до Эгейского будет княжеством, зависимым от султана, но с внутренним самоуправлением. Экзархия останется неприкосновенной; Турции будет выплачиваться определенный налог; личный состав армии — болгары, вначале половина офицеров — турки...

— А князем кто будет? — спросил Христо Врагов.

— Да, князем? — повторил Беспортев.

— Один из европейских принцев.

— Ух!

— Но ты ничего не сказал о России. Захочет ли она помочь нам, как уверяет Мичо? — вмешался поп Димчо.

— Не будь младенцем, отче,— оборвал его Мичо, хмурясь,— может ли быть иначе?.. Русские генералы уже теперь ожидают событий в Бухаресте!

И он вопросительно посмотрел на Каблешкова. Остальные тоже посмотрели на Каблешкова, надеясь услышать от него под-

твержденне. Каблешков это понял; он сделал таинственное лицо и проговорил негромко, доверительным тоном:

— Как только грянет первый ружейный выстрел, двуглавый орел осенит нас своими крыльями!

И он бросил торжествующий взгляд на товарищей.

Все просияли.

— Я думаю,— начал господин Фратю,— что самое лучшее — это республика; ее можно будет назвать «Балканской республикой».

— А можно и царство,— заметил Франгов.

— Еще чего захотел! Поперек горла встанет! — изрек пон Димчо.

— Так ли, этак ли, все равно,— лишь бы освободиться.

— И я за республику,— поддержал кто-то господина Фратю.

— Тебе уже объяснили — не об этом речь,— сказал Мичо Бейзаде.— Какое будет управление, кто будет князем и прочее — предоставим решить Горчакову. Над этим пускай дипломаты ломают себе голову.

— Постойте, господа, постойте,— крикнул Соколов,— хватит вам спорить и заниматься дипломатией,— время дорого! Вот-вот грянет выстрел на Балканах, а мы все еще решаем вопрос: быть республике или комедии... Нас сейчас дело ждет... Черт бы побрал ваши республики! Делите шкуру неубитого медведя... Я предлагаю следующее: запретить разглагольствовать о дипломатии на наших заседаниях; этим можно заниматься в кофейне Ганко.

— Правильно,— поддержал его Каблешков,— не нужно слов, господа, нужно дело делать... Я обрисовал вам положение, а теперь посмотрим, что вы делаете. Нельзя терять ни минуты.

— Что правда, то правда,— признал Мичо,— есть у нас этот грешок, любим поболтать о дипломатии. Такие уж мы, болгарские черковцы. Мало нас ругал за это Бойчо, царство ему небесное!

— Да, господа, Огнянов — это большая потеря и для вас и для Болгарии,— взволнованно проговорил Каблешков и глубоко вздохнул.

Все загрустили, вспомнив об Огнянове. После его гибели осталась какая-то пустота, зияющая, как пропасть. Товарищи хмуро переглянулись и задумались. Трагический образ Огнянова, окровавленный, страшный, но неуловимый, вставал перед их глазами. У всех больно сжалось сердце... Казалось, совестно было жить, когда такой герой погиб.

VIII. ВОЛНЕНИЯ КОЛЧО

Кто-то быстро пробежал по террасе, и это привлекло внимание собравшихся. Все встали, чтобы посмотреть в окно. Но шаги были уже у самой двери.

— Это Колчо! — сказал Недкович.

— Ты ошибся,— возразил Мичо,— разве может слепой бежать так быстро?

— Что-то случилось,— заметил поп Димчо.

Все невольно вздрогнули. Дверь хлопнула, вернее, чуть не слетела с петель.

Колчо вихрем ворвался в комнату. Он задыхался.

Никто не шелохнулся, все ждали, что будет.

— Здесь все свои? — прерывающимся голосом спросил Колчо.

— Свои. А что случилось, Колчо? — спросил Мичо.

— Ура! Живем! Радость и слава! Радуйтесь, братья! Сходите с ума, и я вместе с вами! — как безумный закричал Колчо и, высоко подбросив свой фес, захлопал в ладоши, подпрыгивая на аршин от пола.

Наткнувшись на дядюшку Мичо, слепой принялся целовать его в губы, щеки, уши, плечо и, обхватив руками, чуть не задушил. Мичо совсем растерялся и едва вырвался из его объятий. Этот неестественный, истерический припадок радости поразил всех. Товарищи подумали, что бедный слепой сошел с ума.

— Что с тобой, Колчо? — сострадательно спросил доктор, ища в лице слепого симптомы помешательства.

— Неужто не догадываетесь? Он жив! — закричал Колчо, кинувшись теперь к доктору.— Ура! Мой Граф жив!

— Как? Бойчо?

Этот вопрос вырвался из десятка уст одновременно.

— Он жив!

— Колчо, ты дурачишься, или тебя кто-нибудь обманул? — строго спросил его дядюшка Мичо.

— Жив, жив, дядя Мичо! Я сам пожимал ему руку, гладил его по щекам, слушал его голос, почти видел его! Неужели еще не верите?

Слова Колчо звучали убедительно. Члены комитета удивленно переглянулись.

— Где он?

— Стоит у ворот, а меня послал вас предупредить... Он схватил меня за руку как раз в ту минуту, когда я открывал калитку. Я сразу же узнал его — по рукам...

И вот все увидели, как ворота открылись и во двор вошел крестьянин в потрепанной шапке и широком крестьянском плаще из козьей шерсти. В руках он держал двух цыплят. Один глаз его, очевидно больной, был закрыт повязкой.

При обычных обстоятельствах никому бы и в голову не пришло, что этот крестьянин может быть Огняновым. Да и сейчас друзья узнали его скорей сердцем, чем глазами.

Выскочив за дверь, Мичо постарался как можно спокойнее окликнуть «крестьянина»:

— Дядюшка Петко, заходи, расскажи, что у вас делается!

Но голос бедного заместителя председателя комитета звучал глухо; казалось, будто кто-то сдавил ему горло.

Огнянов медленно пересек двор, утопавший в грязи после дождя, тяжело ступая, поднялся на крыльцо и проговорил басом:

— Как бы царвули мои пол вам не испачкали, дядюшка Мичо; вы уж извините.

И Огнянов вошел в комнату.

Все бросились обнимать воскресшего из мертвых... Расспросы, восклицания, излияния, изумление, радость... Сам Огнянов, по крайней мере с виду, волновался меньше других.

Когда все успокоились, Мичо со слезами на глазах обратился к Огнянову:

— Председатель, займи свое место: заседание еще не кончилось!

— Согласен, но только на сегодня,— улыбаясь, проговорил Бойчо и сел в углу.

Теперь все заметили, что и он прослезился. Беззаветная, горячая любовь друзей и соратников потрясла его до глубины души.

Показав рукой на Кандова, Мичо проговорил:

— Вот и Кандов стал сегодня нашим братом.

Огнянов встретился глазами со студентом.

— Господин Кандов, Болгария заслуживает того, чтобы потрудиться ради нее.

— И даже — умереть,— сказал Кандов.

А дядюшка Мичо все любовался Огняновым и не мог на него нарадоваться.

— Ну, теперь так легко мы тебя не отдадим, Бойчо! — сказал он и, выйдя в сени, крикнул сыну: — Велизарий! Принеси из подвала двадцать поленьев и сложи их здесь!

Сын принес из тайного хранилища двадцать ружей и сложил их за дверью.

— Теперь запри ворота и повесь на них замок!

IX. ОГНЯНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ

Заседание продолжалось под председательством Огнянова. Каблешков ушел. Его лихорадило.

Обсуждались многие важные вопросы. Среди них — вопрос о защите города, ибо жители, напуганные слухами о резне, жили в вечном страхе. Ганчо Попову поручили организовать тайную стражу, которая должна была ночью охранять окраины города. Были приняты меры предосторожности для усыпления бдительности полиции. Прочитали письмо панагюрского комитета. Письмо было длинное; в нем содержалось множество наставлений, приказов, распоряжений местному комитету, деятельность которого надо было согласовать с общим планом организации восстания; подписано оно было Бенковским. Странджков представил счет на пули и порох, которые он получил и роздал, а также на ружья, еще не оплаченные и потому задержанные в К.

— Значит, вооружение идет хорошо,— заметил Огнянов.

— Можем встретить огнем хоть целую орду турок и двадцать дней продержаться в окопах! — заявил поп Димчо.

Никаких окопов, разумеется, пока не было; поп Димчо называл «окопами» низенькие ограды бахчей за городом.

— А если они будут стрелять из пушек? — осведомился Недкович.

— Да, тогда дело дрянь! — ответил поп Димчо озабоченно.

— Можем и мы сделать пушки,— заметил господин Фратю.— Я, например, от всей души жертвую нашу деревянную ступу. Она будет стрелять отлично, не хуже крупповской пушки... Пусть и другие отдадут свои ступы! Так мы создадим целую артиллерию.

И Фратю окинул товарищей гордым взглядом.

— От твоей ступы толку мало будет,— возразил Огнянов.— Смешно говорить о том, чтобы собирать у старух треснувшие ступы. Но слов нет, пушки нужны, очень нужны. Пушечный залп сильно действует на моральное состояние неприятеля... Пушки можно сделать из стволов черешен; стволы надо тщательно пробуравить и набить на них крепкие железные обручи. Такие пушки применялись во время польских восстаний.

Предложение Огнянова было одобрено и принято единогласно.

— Пушки будет делать Букче,— сказал дядюшка Мичо.

— Букче? Да я ведь с ним знаком! — воскликнул Огнянов.

— Ты знаешь нашего бондаря? Он славный человек! — сказал доктор.

— Пушки из черешен?.. Но кто же согласится срубить свои черешни? — усомнился Врагов.

— Ну, это пустяки,— сказал Недкович,— это я беру на себя!

— Значит, принято: создание артиллерии поручается Недковичу,— проговорил Огнянов, улыбаясь.— Теперь перейдем к другому вопросу. Ганчо, что там еще?

— Самое главное — вопрос о деньгах. Николчо сообщил нам из К., что мы должны не позже завтрашнего дня полностью оплатить ружья и сейчас же забрать их и привезти сюда: он уже боится долго держать их в своем магазине... Подозревает, что турки пронюхали что-то.

— Это важно,— заметил Огнянов,— нужно поторопиться... Николчо дорого поплатится, если у него найдут оружие; да и не он один...

— Тогда пропадут и те сто лир, которые мы уже послали, вот что плохо,— заметил Соколов.

— Надо скорее забрать ружья и ночью спрятать их здесь...— сказал Огнянов.— Сколько нужно еще денег?

— Без малого двести лир.

— У вас они есть? — осведомился Огнянов.

Комитет начал оживленно обсуждать этот вопрос. Предлагали собрать необходимую сумму путем добровольных пожертвований. Но от этой затеи, явно неосуществимой, пришлось отказаться. Мичо Бейзаде предложил взять деньги из средств школы, с тем чтобы будущее «Болгарское княжество» вернуло их общине; но его не поддержали. Тогда кто-то сказал, что можно взять деньги взаймы у Курки, с тем чтобы вексель подписали все члены комитета. Но и это предложение, как явно неприемлемое, тоже было отвергнуто. Вопрос о деньгах отодвинул на задний план все прочие; никто не находил выхода.

Все эти дела, о которых мы теперь вспоминаем с улыбкой, тогда обдумывали и выполняли люди серьезные. Рассудок их был ослеплен заманчивым блеском и новизной того начинания, на которое они смотрели сквозь призму своего воображения. К такому ослеплению приводит лишь фанатическая вера.

Огнянов хмурился, слушая все эти разговоры.

— Я найду деньги! — вдруг заявил он.

Все удивленно посмотрели на него.

— Где же ты их возьмешь? — невольно вырвалось у Врагова.

— Уж это мое дело,— ответил Огнянов.

После такого ответа никто не осмелился больше расспрашивать ни о чем.

Слова попросил Ганчо Попов.

— Господа, уже поздно, поэтому, прежде чем закрыть заседание, надо покончить еще с одним делом. Некоторые новые члены комитета еще не подписались под присягой. Пусть подпишутся.

И он подал перо и чернила.

Новыми членами комитета были Врагов, господин Фратю и Кандов.

Последние два подписались без колебаний, а первый — не без внутренней борьбы.

— Братья,— обернулся он в смущении к остальным,— а если эту бумагу найдут? Тогда я пропал ни за что ни про что...

— Как ни за что ни про что? Разве ты не считаешь себя заговорщиком и революционером? — спросил Франгов.

— Да, это так, братья, но у меня семья...

— И у нас есть семьи. Пиши свое имя черным по белому! — сердито проговорил поп Димчо.

— Врагов, стыдись! — строго прикрикнул Огнянов.

Врагов подписался, но вид у него был горестный. И вместо «Христо Врагов», как он подписывал свою коммерческую корреспонденцию, он поставил под присягой «Ристо Врага», как его обычно называли в городе. Этой хитростью он хотел обезопасить себя на всякий случай.

X. ШПИОН ОБРАЗЦА 1876 ГОДА

На дворе было уже совсем темно.

— Господин председатель,— заговорил вдруг Кандов, который до сих пор молчал,— прошу слова!

— И я хотел попросить слова,— сказал господин Фратю,— чтобы предложить закрыть заседание.

Другие поддержали Фратю.

— Я все-таки прошу слова,— настойчиво повторил студент.— Я хочу внести предложение, касающееся Стефчова!

— Хорошо, что напомнил,— прервал его Франгов,— сегодня Стефчов был у бея в конаке вдвоем с Замановым... А этот его Рачко Прыдле вертелся неподалеку отсюда и наблюдал за нами, когда мы входили в сад через калитку.

— Рачко? — невольно воскликнул Огнянов.— Я познакомился с этим дуралеем на Карнарском постоялом дворе...

— Неужели правда, что ты его связал?

— Он что-то болтал об этом, но ему никто не поверил,— сказал кто-то.— Мы были убеждены, что ты погиб. А он парень с придурью.

— Нет, он вам сказал правду,— проговорил Огнянов, который сегодня, рассказывая членам комитета о своих приключениях, позабыл упомянуть о незначительном случае на Карнарском постоялом дворе.— Впрочем, не стоит говорить об этом... Значит, Стефчов по-прежнему шпионит за вами? Ах, мерзавец!

И лицо у Огнянова залилось румянцем негодования.

— Прошу слова! — крикнул Кандов.

— Говорите, Кандов,— сказал Огнянов.

— Я точно знаю, что это Стефчов предал Огнянова, он виноват во всех несчастьях! — заявил студент.

Он впился в Огнянова горящими глазами.

— Нет, во всем виноват не Стефчов, а Мунчо.— посыпались возражения.

— Глубоко ошибаетесь, господа! — И, выпрямившись, студент взволнованным голосом рассказал о том, что узнал случайно. Свои слова он подкреплял неопровержимыми доказательствами.

Всех охватил неудержимый гнев. Послышались сердитые крики и ругательства. Стефчов был разоблачен.

Огнянов склонил голову, на лбу его появились глубокие морщины.

— Прав был Бенковский, когда говорил, что мы бабы.

— Вот и сегодня вечером Стефчов устроил за нами слежку!

— Кто знает, что нас ждет!

— Мы теперь стали действовать так открыто и так распустились, что меня даже страх берет,— сказал Франгов.

— Что ты на это скажешь, Огнянов? — обратился к нему Соколов.

Огнянов, погруженный в свои размышления, вздрогнул и сказал:

— Мне кажется, мы сделали глупость, не лишив Стефчова возможности совершать предательства.

— А как же мы могли его лишить? — осведомился поп Димчо.

— Надо было его уничтожить.

— Революционный устав предусматривает такую кару,— заметил Попов.

Наступило молчание.

— Господа! Я предлагаю свои услуги: я хочу убить Стефчова, и как можно скорей! — крикнул студент.

Все удивленно посмотрели па Кандова.

— Кандов! Не спеши! — остановил его доктор.— Стефчова должен убить я, и я никому не уступлю своего права!

Его глаза загорелись злобой.

— Как? — в отчаянии вскричал Кандов.— Я первый предложил это, первый раскрыл его преступление...

— Стефчов мой, и я никому его не отдам,— упрямо твердил доктор.

Кандов протестовал.

— Жребий! Жребий! — закричало несколько человек.

Но ни Кандов, ни Соколов не соглашались тянуть жребий. Оба они боялись проиграть. Можно было подумать, что дело идет не о том, кому убить человека, а о том, кому сесть на царский престол!

Огнянов авторитетно прекратил спор.

— Если ставить вопрос так: кто имеет больше права уничтожить предателя, то это право я отниму у вас обоих. Я его жертва, и в этом мое преимущество перед вами. Но у меня есть возражение по существу: это убийство может повредить нашему делу, и я считаю его несвоевременным. Предлагаю следующее: покарать Стефчова в первый же день революции. Пусть Стефчов падет первой жертвой.

Это мудрое предложение было одобрено всеми.

Кандову пришлось смириться. А у Соколова лицо приняло торжествующее и довольное выражение; на несколько минут он погрузился в раздумье и, не принимая участия в разговорах, сидел, глядя куда-то в пространство. Но вот глаза его загорелись, две глубокие морщины прорезали лоб, а на губах появилась жестокая усмешка.

Вскочив с места, он быстро вышел, чтобы послать Нечо Павлову приказ не выпускать сегодня ночью Клеопатры: теперь она была нужна Соколову для Стефчова! Он задумал казнить предателя страшной казнью.

Спустя минуту он вернулся; теперь говорили о Заманове.

— Позавчера я его встретил, он только что приехал из Пловдива,— рассказывал Гапчо Попов.— Завидев меня, он сразу же подошел и спрашивает напрямик: «Как ваши дела?» Да еще подмигнул, чтобы я понял, о чем идет речь. Потом начал меня расспрашивать в надежде, что я сболтну лишнее. Пока

я с ним стоял, с меня семь потов сошло... Сдается мне, что этот подлец пронюхал что-то.

— Черт бы побрал этого сукина сына,— проговорил Мичо сердито,— хоть он мне и родственник, но я им гнушаюсь, как падалью.

— Сколько матерей плачут из-за него, изверга,— сказал поп Димчо.— Кто его ухлопает, будь это хоть самый страшный грешник, предстанет пред богом чистым, как ангел.

И поп Димчо благочестиво приложился к фляге с водкой, которую он вытащил из-за пазухи, а потом передал ее Страндкову.

Раздался громкий стук в дверь.

Все вздрогнули. Призрак предательства возник перед глазами товарищей. Соколов схватил револьвер и кинулся к двери.

— Кто стучит? — спросил он.

Послышался приглушенный голос:

— Откройте!

Это была жена Мичо.

— Приходил Заманов,— прошептала она.

Как ни тихо были сказаны эти слова, члены комитета расслышали зловещее имя и содрогнулись.

Доктор снова запер дверь, подошел к божнице и, развернув какое-то письмо, стал читать его при свете лампады.

Спустя минуту он повернулся к товарищам, сам на себя не похожий. Лицо у него вытянулось от испуга и удивления. Все затаили дыхание. Во всех взглядах был немой вопрос: «Нас предали?..»

— Что это за письмо? — спросил Огнянов.

— Это наше собственное письмо, которое мы позавчера послали панагюрскому комитету; теперь оно вернулось. Сами посмотрите, кто его возвратил.

И он подал письмо Огнянову.

— Читай вот эти строки! — добавил он, указав на приписку внизу.

Огнянов прочел следующее:

«Господин председатель!

Плохо делаете, что роняете свою корреспонденцию на улице; ее находит господин Стефчов. Сегодня я взял это письмо у него из рук, когда мы были у бея и переводили ему на турецкий язык то, что написано на обратной стороне — о белладонне и прочем; а то, что написано на этой стороне, я потом сам про-

чел у себя, над жаровней. Об этом можете не беспокоиться. Над вашей головой сегодня вечером сгущались и другие тучи, но теперь они рассеялись. Благодарите меня! Собирайтесь в другом месте и будьте осторожней. Желаю успеха и победы!

Предатель болгар и турецкий осведомитель

Х. Заманов».

Все были ошеломлены.

— Как это письмо могло попасть в руки Стефчова? — негодующе спросил Огнянов, когда прошли первые минуты удивления.

— Его взял Пенчо, чтобы передать нашему курьеру, и, как видно, потерял,— объяснил доктор.

Так оно и было; письмо в тот день упало на улицу, когда служанка чорбаджи Юрдана, высунувшись из окна, вытряхивала пиджак Пенчо. Юпоша не заметил, что письма в кармане нет.

— И Стефчов его нашел! Вот и не верь в судьбу! — сказал Кандов.

— И в провидение,— добавил Недкович.

— Провидение в лице шпика! Кто бы мог подумать, что Заманов такой честный человек! — рассуждал Франгов.

— Как видно, мы и сами не знаем, сколь многим мы ему обязаны,— заметил Ганчо Попов.— Он упоминает о каких-то «других тучах»... Может, сегодня нас хотели застать врасплох и арестовать?.. Ведь Стефчов сегодня был в конаке, и его агент следил за нами, когда мы входили сюда.

— Да, оказывается, Заманову не чуждо благородство! — удивился Огнянов.

— И он искренний патриот, как видите. Спасая нас, он подвергает опасности себя,— он поставил свою подпись,— сказал Недкович.

— Господа,— торжественно воскликнул Огнянов,— это знамение времени! Если даже турецкие официальные осведомители становятся патриотами и нашими союзниками, значит — наступил великий час, значит — дух народа готов к борьбе и народ для нее созрел!

— Заманов для меня теперь все равно, что святой,— заметил взволнованный дядюшка Мичо.

И все лица, еще недавно настороженные, вновь стали спокойными и бодрыми.

Нужно сказать, что Заманов, человек неудачливый, еще не совершил ни одного политического предательства. Вопреки

молве, он начал свою шпионскую карьеру с единственной целью — вымогать деньги и у болгар и у турок. Болгар он при этом не стеснялся запугивать, но дальше этого не шел. Самолюбие в нем умерло, но совесть еще жила. Очевидно, несчастный не был создан для слежки за ближними, но какие-то неблагоприятные обстоятельства толкнули его на этот грязный путь. Добавим, что перед тем, как возвратить письмо комитету, он хитростью сумел уговорить бея отложить облаву.

Замапов умер в ссылке в Азии, как раз в те дни, когда в Сан-Стефано была объявлена амнистия.

XI. ВИКЕНТИЙ

Попрощавшись с товарищами, Огнянов вышел на улицу, ведущую на окраину. Вскоре он очутился за городом и повернул на монастырскую дорогу. Природа была погружена в глубокий сон. Дремотно шелестела листва растущих по краям дороги кустов и ореховых деревьев, и их расплывчатые очертания сливались с очертаниями других предметов; в ночной тиши глухой рокот далеких горных водопадов казался отголоском какой-то неведомой небесной песни. Темные громады Стара-планины безмолвно вздымались к звездам и во мраке ночи казались близкими.

Подойдя к монастырским воротам, Огнянов постучался. Вскоре послышался голос работника, спросившего, кто стучит. Огнянов назвал себя дядей дьякона Викентия, и работник отпер ворота. Два сильных монастырских пса накинулись на ночного гостя, но, узнав его, завиляли хвостами. Стараясь не шуметь, Огнянов прошел через вторые ворота во внутренний двор монастыря и, обогнув два растущих здесь тополя, постучался в келью дьякона.

Викентий открыл дверь.

— Кто там? — спросил он, не сразу узнав Огнянова, переодетого крестьянином, но мгновение спустя бросился ему на шею.— Бойчо, Бойчо, ты ли это?

И бедный Викентий заплакал от радости. Он засыпал гостя вопросами. Огнянов кратко рассказал ему обо всем, что с ним произошло.

— Но я пришел к тебе по делу, а не за тем, чтобы рассказывать свою историю,— добавил он в заключение.

Викентий смотрел на него удивленный.

— И в самом деле, что привело тебя сюда в такой поздний час?

— Не беспокойся, теперь я пришел к тебе просить не пристанища, как в прошлом году, а другой услуги, и не для себя лично, а для нашего дела... Я от тебя требую подвига.

— Говори,— сказал Викентий, встревожившись.

— Что сейчас делает отец Иеротей?

— Он в церкви, на молитве, как и всегда в этот час,— ответил Викентий.

Огнянов задумался.

— Долго он еще там задержится?

— Обычно он молится до половины четвертого,— это его правило. Теперь два часа. А почему ты спрашиваешь?

— Ты ведь знаешь, где лежат его деньги, не правда ли?

— Знаю. А что?

— Садись, я тебе кое-что скажу.

Дьякон сел, не отрывая глаз от гостя.

— Мы во что бы то ни стало должны завтра внести за оружие двести лир. Оружие нам необходимо. Если мы завтра же не вывезем ружей из К., они могут пропасть... Нужно достать деньги. И я обещал товарищам, что достану.

— Как же ты думаешь их достать? — спросил дьякон.

— Мы должны взять деньги у отца Иеротея!

— То есть как? Попросить у него?

— Я этого не сказал. Добровольно он их не отдаст.

— Так как же?

— Я же говорю тебе: мы должны их взять.

— Стало быть, украсть? — воскликнул дьякон.

— Да! Ему деньги не нужны, а народному делу они необходимы. Значит, надо их взять... или украсть, называй, как хочешь.

— Но как же так, Огнянов?.. Пойти на кражу?..

— Да, на кражу... но — священную.

Дьякон растерянно смотрел на Огнянова. Он был безупречно честный человек, и это предложение его ошеломило. Оно привело бы его в негодование, если бы исходило от другого лица. «Кража... священная!» Первый раз в жизни услышал он подобное сочетание слов, и от кого же? От честнейшего человека! Этот Огнянов... теперь он казался еще более загадочным человеком, чем раньше, способным всецело подчинить окружающих своей воле. Викентий и сейчас не мог вырваться из-под власти его страшного обаяния.

— О чем ты думаешь, отче Викентий? — строго спросил Огнянов.

— Ты мне предлагаешь нечто совершенно невозможное. Могу ли я решиться на то, чтобы пойти и, как грабитель, обокрасть своего благодетеля? Это бесчестно, Огнянов!

— По-твоему, освобождение Болгарии — бесчестное дело? — спросил Огнянов, пронизывая его взглядом.

— Нет, честное.

— Следовательно, все пути, ведущие к ее освобождению, тоже честны.

Дьякон понял, что имеет дело с могучим противником, но решил бороться упорно.

— Но ты сам посуди, как могу я обокрасть своего благодетеля, который любит меня, словно родного сына?.. И я должен буду обобрать этого благородного старца, да к тому же еще патриота!.. Нет, при одной мысли об этом вся душа моя негодует... Поставь себя на мое место, и ты поймешь, что такая кража — что-то прямо безбожное!

— Нет, священное!

Дьякон растерянно смотрел на своего собеседника, так спокойно предлагавшего ему пойти на преступление.

— Лучше попросим его, может быть, он сам даст.

— Отец Иеротей — монах, а они не любят расставаться с деньгами.

— Давай все-таки попытаемся! Кто знает? А вдруг даст...— умоляющим голосом настаивал Викентий.

— Если мы станем его просить, придется посвятить его во все подробности нашего дела, а он очень близок с Юрданом Дамандиевым. Всегда заезжает к нему, когда бывает в городе... К тому же я убежден, что он денег не даст; мы зря потратим драгоценное время. Торопись, Викентий!

— Но это же чудовищно! Как я буду завтра в глаза ему глядеть? Ведь когда он узнает, что деньги пропали,— а это он непременно узнает,— подозрение сразу падет на меня. Ведь мне одному известны его тайны...

— А тебе вовсе не нужно ждать, пока он тебя заподозрит, ни тем более смотреть на него, как преступник,— возразил Огнянов.

Дьякон широко раскрыл глаза.

— Как? Ты мне советуешь после кражи бежать?

— Напротив, ты должен завтра утром пасть перед ним на колени и во всем исповедаться... Если он и впрямь такой благородный и преданный народу старец, каким ты его изображаешь

он тебя простит. Поверь, ему будет легче забыть о тех лирах, что уже пропали, чем о тех, что еще бренчат у него в сундуке.

Викентий глубоко задумался. Его уже покорили доводы Огнянова, и он начинал понимать, что ему не выйти победителем из этой неравной борьбы.

— Что ж, решаешься, отче Викентий?

— Трудно мне, брат,— ответил дьякон, чуть не плача от волнения.

— Решишься — легче станет.

— Но я никогда не крал!

— И я никогда не убивал. А когда нужда заставила, разом укокошил двоих, как мышей. И заметь, передо мною были два вооруженных зверя.

— Вот именно, оттого-то тебе и было легко; перед тобою были два зверя, а мне придется идти против своего благодетеля, против беззащитного старика, который доверяет мне, как себе самому.

— Да ведь ты его и пальцем не тронешь! Ну, решайся скорей, пока не поздно. Помни слова Раковского: «Время идет, время бежит, века на крыльях летят». Да вот, возьми хотя бы пример с того же Раковского: ему понадобились деньги для организации легиона, и он обобрал Киприяновский монастырь, когда гостил там... Смелее, Викентий! Огнянов не способен толкнуть тебя на подлость.

— Ох, погоди, дай собраться с мыслями! — взмолился Викентий, схватившись за голову.

Огнянов молча смотрел на него. Борьба длилась недолго,— Викентий вскоре поднял голову и, тяжело дыша, промолвил:

— Иду!

— Как ты проникнешь к нему в келью?

— Да просто открою дверь и войду.

— Неужели отец Иеротей оставляет келью незапертой?

— Нет, но мой ключ подходит к его замку. Об этом я узнал случайно: как-то раз он потерял ключ, и я отворил ему дверь своим.

— А как ты откроешь сундук?

— Ключ от сундука хранится в боковом кармане его фиолетового кафтана; он висит на стене в келье... А не найду ключа, взломаю сундук. Отец Иеротей никогда не выходит из церкви раньше половины четвертого. Остается еще целый час... Эх, Бойчо, Бойчо, нелегкая тебя возьми!..

— Слушай, захвати-ка с собой нож.

— Зачем?

— Кто знает, может, и понадобится.

— Как? Ужели убивать кого-нибудь прикажешь? — воскликнул дьякон в негодовании.

— Оружие придает человеку мужество. Знаешь что, давай-ка я пойду с тобой вместе.

— Не нужен ты мне, жестокий человек! — крикнул дьякон почти злобно.

Огиянов теперь и сам дивился мрачной решительности этого юноши, еще недавно столь робкого и мягкого.

— Значит, больше не боишься греха? — улыбаясь, спросил Огиянов.

— Если бывают священные кражи, то бывают и праведные грехи,— невесело пошутил дьякон.

— Это катехизис нашего новохристианского учения,— заметил Огиянов так же шутливо.— И это учение самое истинное из всех.

— Об этом мы в аду узнаем.

И дьякон открыл дверь.

— Подожди меня здесь,— сказал он.— И не шуми.

— В добрый час! Желаю удачи!

Викентий надел мягкие туфли и вышел.

На дворе было тихо и темно, а там, где над ним нависали виноградные лозы, тьма казалась еще гуще и таинственнее. Галереи, окаймлявшие двор, были погружены в безмолвие. Окна келий походили на глаза, глядящие в ночь. По дороге дьякон заглянул в церковь и убедился, что отец Иеротей все еще стоит у аналоя и читает молитвы. Викентий быстро пошел дальше. Монотонное журчание источника заглушало его шаги. Впрочем, дьякон ступал так тихо, что даже гуси, эти чуткие птицы, не пошевельнулись, когда он проходил мимо... Дойдя до дверей кельи отца Иеротея, он почувствовал, что ноги у него подкашиваются, точно после многочасового пути. Сердце у дьякона билось быстро и болезненно. Силы покидали его, а вместе с ними — решимость. Дело, за которое он только что взялся так легкомысленно, теперь казалось ему страшным, тяжелым, непосильным. В нем проснулся какой-то другой человек, который сейчас кричал, осуждал его, приковывал к месту. Сделав движение рукой, он случайно коснулся кинжала. Зачем он взял его?.. И юноша сам себя испугался. Как это случилось, что он стоит здесь, у кельи отца Иеротея? Он, дьякон, идет грабить! И кого же? Своего благодетеля! И все это произошло так быстро... Да полно, уж не сон ли это?.. Какая сила толкнула его сюда? Наутро дьякон Викентий проснется вором, грабителем,

может быть, даже убийцей! В эту темную ночь он всю свою жизнь поставил на карту... Но будь что будет! Возврата нет.

Викентий решительно подошел к двери.

Окна кельи были темны. Вокруг — могильная тишина. Минуты две Викентий прислушивался, потом всунул ключ в замок, легонько повернул его и толкнул дверь. Дверь открылась, и он вошел. Лампада перед божницей едва теплилась, бросая угасающий свет на иконы. Викентий ощупью нашел висящий на стене кафтан, пошарил в его карманах и, вытащив ключ, бросился в чулан, дверь которого была открыта. Там он зажег восковую свечу и подошел к двум стоящим там сундукам. Свечу дьякон приклеил к крышке одного сундука, а перед другим опустился на корточки, но колени его так дрожали, что он сел на пол, скрестив ноги. Он повернул ключ в замке, и сундук открылся со слабым звоном. На дне его лежали сумки с деньгами — среди них одна зеленая — и другие драгоценные вещи: большие четки из янтаря, иконы русской работы в золоченых ризах, серебряные ложечки и блюдца для варенья, жемчужные крестики и свиток лубочных картинок духовного содержания, вывезенных с Афона. Викентий осмотрел сумки: две были набиты крупной монетой — рублями и белыми меджидиями, третья — мелкой серебряной. В зеленой сумке блеснуло золото. Дьякон вынул из нее ровно двести лир. Кучка сверкающего золота лежала теперь в поле его рясы. Он не был сребролюбив, но блеск этого сияющего металла точно околдовал его. «Вот из-за чего совершаются самые чудовищные преступления,— мелькнуло у него в голове.— И, чтобы добыть это, человек бьется всю жизнь... За золото можно купить весь мир! Оно необходимо и для спасения Болгарии. Прольется кровь, погибнут тысячи человеческих жизней, но этого недостаточно — нужны деньги... Однако неужели у старика так мало золота? Ведь, по слухам, он скопил не одну тысячу лир...» Викентий был в недоумении.

Он взял пригоршню золотых монет, чтобы положить их в карман, как вдруг послышался шорох. Он обернулся.

За его спиной стоял отец Иеротей.

XII. ЗЕЛЕНАЯ СУМКА

Старец был так высок ростом, что головой почти упирался в потолок кельи. Его длинная белая борода величаво ниспадала на грудь; и глаза его и большое изможденное доброе лицо, слабо освещенное восковой свечой, были спокойны.

Он медленно подошел к дьякону. Викентий пал перед ним на колени.

— Чадо, верить ли мне глазам своим? — проговорил старец дрожащим голосом.

— Простите меня! — И Викентий умоляюще протянул к нему сложенные руки.

Отец Иеротей с минуту стоял молча, не отрывая глаз от юноши. Викентий так побледнел, что лицо его стало неузнаваемым. Он не мог пошевелиться и, стоя на коленях, с простертыми вверх руками, походил на статую в католической церкви.

В чулане стояла могильная тишина; казалось, в нем нет ни живой души.

— Дьякон Викентий! С коих пор окаянный сатана обрел власть над душой твоей? С коих пор стал ты жаждать золота и промышлять грабительством? Господи боже, Иисусе Христе, прости меня, грешного!

Старец перекрестился.

— Встань, дьякон Викентий! — приказал он сурово.

Викентий вскочил, словно на пружинах. Голова его поникла, как подрезанная ветка.

— Скажи, зачем ты пробрался сюда, яко тать в нощи?

— Простите, простите! Согрешил, отче Иеротей! — проговорил Викентий прерывистым, глухим, рыдающим голосом.

— Да простит тебя господь, чадо!.. Ты вступил на путь нечестивых; ты идешь, чадо, к вечной погибели, к погибели своего тела и души... Кто подучил тебя совершить этот смертный грех?

— Отче! Прости меня; не для себя похитил я эти деньги,— пролепетал Викентий, совершенно подавленный.

— Для кого же ты прельстился, для кого поддался этому соблазну, Викентий?

— Для народного дела, отче.

Старец посмотрел на него изумленно.

— Какого народного дела?

— Для дела, к которому мы готовимся теперь,— для восстания... Понадобились деньги... и я дерзнул посягнуть на ваши...

Кроткое лицо монаха прояснилось. В глазах его, помутневших от старости, блеснул огонек, и они увлажнились слезами.

— Правду ты говоришь, дьякон?

— Сущую правду, клянусь святой кровью господней и родной Болгарией... Только ради общего дела посягнул я на эти деньги.

Какое-то новое чувство озарило лицо старца.

— Почему же ты не попросил у меня, чадо? Разве я не люблю Болгарию? Не сегодня-завтра всевышний возьмет к себе мою грешную душу... Кому же я оставлю все, что имею? Мои наследники — все вы, болгарские юноши... Мы, старики, в свое время многого еще не понимали и не могли... Всемогущий бог да поможет вам избавить христиан от проклятого рода агарянского... Что ты на меня так смотришь? Не веришь? Иди сюда, иди!

И, взяв за руку ошеломленного Викентия, старец подвел его к шкафу, вынул оттуда большую тетрадь в зеленом переплете и, раскрыв ее дрожащей старческой рукой, промолвил:

— Читай вот здесь, чадо,— теперь скрывать уже не к чему. Прости меня, боже!

Викентий прочитал следующие записи, сделанные рукой монаха:

«1865 г. февраля 5. Послал его благородию, господину ** в Одессу 200 оттоманских лир для пяти болгарских мальчиков, чтобы дать им возможность учиться».

«1867 г. сентября 8. Послал его благородию господину ** в Габрово 100 оттоманских лир для пяти болгарских мальчиков, чтобы дать им возможность учиться».

«1870 г. августа 1. Послал его благородию господину ** в Пловдив 120 оттоманских лир для пяти болгарских мальчиков, чтобы дать им возможность учиться».

Лизнув палец, отец Иеротей перевернул страницу.

— Читай здесь!

Викентий прочел:

«Да будет ведомо тем, кому знать надлежит: в малой зеленой сумке лежит 600 лир оттоманских. Эти деньги следует отдать иеродиакону Викентию из города Клисуры, рукоположенному в святой обители святого Спаса, дабы он поехал в Киев для получения богословского образования на пользу Болгарии».

Последняя запись служила вместо завещания, на случай внезапной кончины старца.

Викентию казалось, будто все это он видит во сне. Он не смел поднять голову и посмотреть отцу Иеротею прямо в глаза, теперь ярко блестевшие. С благоговейной признательностью приложился он к руке старца, и глаза его, опущенные от стыда, роняли слезы благодарности.

Отец Иеротей понял бедного Викентия и сжалился над ним.

— Утешься, чадо, господь прощает кающегося грешника,— сказал он ободряющим тоном.— Намерение у тебя было доброе и похвальное... Всеведущий бог все видит. Ну, а теперь скажи: сколько денег нужно на оружие?

— Двести лир... Отче Иеротей, вы — святой! Да будет ваше имя бессмертно! — воскликнул растроганный Викентий со страстным восхищением.

— Не кощунствуй, сын мой! — строго остановил его старец.— Возьми, сколько нужно, и употребите деньги на пользу Болгарии, как вас господь вразумит... Благословляю вас всех. Если понадобится еще, попросите... Что до твоих денег...

— Отче Иеротей! Горячо благодарю вас за великодушие и все ваши благодеяния... Но я уже не имею права пользоваться ими; я не хочу уезжать из Болгарии; я буду бороться и отдам жизнь за ее свободу. На вашем примере я понял, как надо любить родину.

— Дьякон Викентий! — продолжал старец.— Ты прав, сын мой; послужи Болгарии,— время уже приспело. А назначенные тебе деньги я снова положу в зеленую сумку,— об этом не беспокойся. Только я упрячу их в более надежное место: не все же воры — такие ангелы незлобивые, как ты. И когда я умру, помянай меня...

Викентий вышел из кельи отца Иеротея, шатаясь, как пьяный. Быстро перебежав двор, он влетел в свою келью, сам не свой от всего пережитого.

Огиянов посмотрел на него недоумевая.

— Ну что?.. Долго же ты задержался... Отчего ты так побледнел? — расспрашивал он торопливо.— Что же ты молчишь, Викентий? Достал деньги?

Викентий вывернул карман.

— Вот они,— проговорил он.

Золотые монеты рассыпались по полу.

— Сколько взял?

— Он дал, сколько нужно было.

— Кто дал? Отец Иеротей? Значит, ты просил у него? Ты пошел искать его?

— Нет, он застал меня на месте преступления.

— Вот так история!

— Ах, Огиянов! Что мы наделали, брат мой! Как мало мы знали отца Иеротея! Тебе-то простительно... но я прожил здесь три года и осыпан его благодеяниями... И я не могу себе простить. В эту ночь словно молния сверкнула передо мной, и глаза у меня открылись... Я был убит... Да, я отдал бы двадцать

лет жизни, лишь бы не переживать того, что пережил в этот час. Я, молодой человек, болгарин, как будто горячо любящий свою родину, но я был потрясен спокойным величием души, непритязательной любовью к родине этого дряхлого старика, никому не известного, стоящего одной ногой в могиле. Ты только представь себе, брат мой, он застал меня у сундука с горстью золотых монет на коленях!

И дьякон подробно рассказал обо всем, что с ним произошло.

— Как же это получилось? Значит, он вышел из церкви раньше обычного?

— Нет, как всегда. Но я долго стоял на дворе,— все колебался,— и не заметил, как прошло время... Представь себе мое положение...

Огнянов стоял, скрестив руки; он не мог прийти в себя от изумления.

— Да, это святой человек! — воскликнул он.

— Я же тебе говорил, брат мой, лучше было попросить.

— Я невысокого мнения о монашеском патриотизме.

— Неужели ты и теперь останешься при этом своем ошибочном мнении? Ты, не хуже Каравелова, вдолбил себе в голову, что монах — это какое-то заплывшее толстым слоем жира допотопное животное, которое только ест да спит и коротает жизнь в беседах с монастырскими котами!.. Ты улыбаешься, ты забываешь, сколько народных деятелей вышло из духовного звания, начиная с отца Паисия, который сто лет назад первый написал историю Болгарии, и кончая дьяконом Левским, умершим за родину! Монахи никогда не стояли в стороне от болгарского освободительного движения; один из них на днях привел к присяге наш комитет. А то, что произошло этой ночью, разве не убеждает тебя?

Во дворе пропели первые петухи.

— Спокойной ночи,— сказал Огнянов, укладываясь спать на лавку.

— Спокойной ночи, если только она может быть спокойной для разбойников...— ответил дьякон и потушил свечу.

Но еще долго перед глазами друзей неотступно стоял величественный образ отца Иеротея.

. . . . . .

Отец Иеротей был одним из тех в высшей степени привлекательных людей, питомцев монастырской кельи, которые так много сделали для возрождения Болгарии. Он был близким другом Неофита Бозвели. Обстоятельства не позволили отцу Иеро-

тею самому послужить делу умственного пробуждения Болгарии, но он способствовал этому пробуждению косвенно,— десятки болгарских юношей учились в разных учебных заведениях на его средства. Простой монах, он, казалось, был чужд мирской суете, но сердце его скорбело о судьбах Болгарии. Не имея ни родных, ни близких, он всю свою любовь отдал родине. Он был счастлив, когда мог принести ей хоть каплю пользы, и, щедрой рукой рассыпая благодеяния, почитал их таинством, свидетелем которого должен быть один лишь бог. Человек простодушный, но глубоко верующий, он боялся возгордиться содеянным добром, избегал хвалебного шума лести, которого столь жаждут суетные фарисеи. Он делал добро, следуя завету: правая рука да не знает, что творит левая. Нескольким лицам отец Иеротей передал крупные суммы для поддержания учащихся юношей с условием не разглашать имени благотворителя. С глубоким внутренним удовлетворением доживал он свой долгий век и с ясной душой ждал кончины.

Вскоре после своего благородного поступка, оказавшегося последним его добрым делом, отец Иеротей тихо скончался.

Когда его сундук открыли, на дне нашли только один мешок с серебряной монетой — на похороны и для раздачи бедным.

Викентий не был на его погребении. На другой день после описанного нами события он, гонимый стыдом, покинул монастырь и уехал в Клисуру.

XIII. РАДОСТНАЯ ВСТРЕЧА

Едва очутившись за порогом дядюшки Мичо, Колчо, к величайшему изумлению прохожих, пустился бежать по улице — он спешил к Раде, чтобы поскорее сообщить ей радостную весть.

У нее он решил вести себя более сдержанно. Ведь его прыжки и крики, так переполошившие мужчин, могли до смерти напугать и без того уже запуганную девушку. Но подобное самообладание было выше его сил. Он боялся, что задохнется от предательской радости, если вздумает обуздать ее хоть на миг. Подойдя к дому, в котором жила Рада, Колчо почувствовал, что сердце у него колотится вовсю, и, чтобы заглушить его, запел во весь голос свой шуточный тропарь.

Рада немедленно открыла дверь.

— Добро пожаловать, Колчо! — приветливо сказала она.

— Рада, милая, здесь нет никого чужих? — спросил Колчо.

— Нет, Колчо, я, как всегда, одна.

Колчо уже задыхался от волнения.

— Садись, Колчо, отдохни, хорошенько отдохни! — говорила Рада, приняв его волнение за усталость.

Колчо стоял перед девушкой, вперив в нее слепые глаза.

— Рада, милая, с тебя причитается — я с доброй вестью! — выпалил он вдруг. Это была его единственная уступка велениям разума.

Сердце у Рады забилось. Она почувствовала, что сейчас услышит что-то необычайно радостное, и ей стало страшно. «Добрый ангел привел сюда этого Колчо»,— подумала она.

— Что такое, Колчо?

— Радуйся, милая девушка, радуйся великой радостью!.. Недаром тебя Радой зовут!

И, по-детски подпрыгнув, Колчо снова запел, чтобы овладеть собой:

Госпожа Серафима
И кроткая Херувима,
Прекрасная Эноха,—
Светило мегоха.

Рада онемела. Она уже догадывалась.

— Полно, Колчо, не пугай! — едва слышно прошептала она.

— Я тебя не пугаю, я только одно говорю: радуйся... Он жив!

Колчо не выполнил своего решения, принятого на улице,— он не смог постепенно подготовить девушку к радостной вести. На подобное самообладание скорее способны зрячие — их взбудораженные чувства могут быть временно заглушены тысячью разных внешних впечатлений. Но слепой, как и всегда, блуждал в океане тьмы, куда в эти минуты проникал лишь один светлый луч, где сияла лишь одна радость. Попробуй тут не дать этой радости выхода в словах — она сама даст о себе знать прыжками или криками... Так или иначе — душа хотела излиться без промедления.

Последние слова слепого девушка уже предугадала сердцем, но, услышав их, она прислонилась к стене, чтобы не упасть.

Бывают огромные радости, как и страшные горести, которые слабая человеческая природа, казалось бы, не в состоянии перенести. А между тем она переносит все. Чем сильнее внут-

реннее напряжение, тем более гибкой становится душа, если только она здорова. Быть может, тайное предчувствие уже подготовило девушку.

— Жив? Боже мой! — крикнула она как безумная.— Где же он? Кто тебе сказал, Колчо? Жив? Бойчо жив? Ах, боже мой, неужели я выдержу, не умру от радости? Что же мне делать?

На помощь Раде пришли слезы — в них она излила поток клокотавших в груди и душивших ее чувств.

Немного успокоившись, Колчо подробно рассказал девушке о своей встрече с Огняновым у ворот Мичо Бейзаде и обо всем, что затем произошло.

— Когда же он придет?

— Попозже. Надо подождать, пока стемнеет; да и дел у него сегодня по горло...

— Ах, боже мой, боже! — повторяла Рада, сжимая руки и смеясь сквозь слезы.

В этот миг она была пленительно хороша.

— Благодарю тебя, Колчо! Благодарю тебя! — говорила она, сама не своя от радости.

Колчо вышел от нее с облегченной душой.

Его нежное, преданное сердце было счастливо чужим счастьем. Природа, отнявшая у него все, в утешение вознаградила его этой способностью радоваться чужой радости.

Рада не знала, что ей делать. Как дождаться дорогого гостя? Как скрыть его посещение? Сказать или не сказать хозяевам? Пойти к ним? Нет, у них она, чего доброго, станет вести себя как безумная. Остаться здесь одной — сердце не выдержит!.. Ей казалось, будто целая вечность еще отделяет ее от Бойчо, и, чтобы как-нибудь убить время, девушка принялась лихорадочно убирать комнату, а потом приводить в порядок свое платье и волосы. Прихорашиваясь перед зеркалом, Рада увидела, как она мила, улыбнулась и высунула себе язык. Делать было больше нечего, и Рада, как пятилетний ребенок, завертелась на одной ноге и запела, не понимая слов, да и не слыша себя. Все ее внимание было приковано к двери, и при малейшем шорохе она вздрагивала, как вспугнутая птичка. Как она была счастлива!

. . . . . .

Огняпову удалось выбраться из монастыря и повидаться с Радой только на другой день, когда уже стемнело. Рада жила у бабки Лиловицы в отдельной комнатке, в глубине продолговатого двора, густо засаженного плодовыми деревьями. К па-

ружной стене этой комнаты была приставлена широкая скамья, и здесь Рада днем работала и читала в тени.

За эти сутки Рада, можно сказать, все глаза проглядела, дожидаясь Бойчо. Долгие часы, полные трепетного ожидания, жгучего волнения и беспокойства, казались ей вечностью. Вечером она не усидела дома и вышла на улицу.

Надвигалась ночь. Звезды блистали в небе, словно ожившие алмазы. Чистый дремлющий воздух был напоен благоуханием цветов, распустившихся в соседних дворах, и острее всего пахла ароматная акация. Листья деревьев перешептывались в сладостной дреме, чуть вздрагивая от прикосновения слабого ночного ветра. Таинственна и чудесна была тишина этой безлунной ночи. Проснувшись от шума шагов Рады, две ласточки сонными глазками глянули из гнезда, что прилепилось к навесу над скамьей, и снова прижались друг к дружке... Каким-то любовным очарованием, какой-то неуловимой небесной радостью веяло отовсюду. И все это вместе — и темно-синее небо, и алмазные звезды, и прозрачный воздух, и деревья, и ласточки, лежавшие в тепле на своем пуховом ложе, и цветы, и запахи — вносило благодатное успокоение в душу Рады, шептало ей о мире, любви и поэзии, о нескончаемых поцелуях в сладостной ночной тиши...

Рада истомилась в ожидании...

Когда Огнянов наконец постучался, ноги у нее подкосились, но она овладела собой и бросилась открывать дверь.

Влюбленные обнялись, и уста их слились в долгом, горячем поцелуе.

Их бурная радость искала выход в поцелуях и прерывистом шепоте.

После первых порывистых излияний, сияющие и счастливые, они немного успокоились. Теперь они не могли нарадоваться друг на друга. Рада, озаренная светом любви, была прелестна. Бойчо казался ей еще краше, чем прежде,— простая крестьянская одежда резче оттеняла выразительные черты его умного, мужественного лица.

— Ну, как же ты жила, пташка моя? — говорил Бойчо.— Настрадалась, должно быть, девочка моя бедная! Это я тебя измучил, Рада, я принес тебя в жертву... А ты не только не укоряешь меня, но все так же любишь; сердце твое рождено лишь для того, чтобы ласкать, нежить и плакать... Прости меня, прости меня, Рада!

И Огнянов сжимал ее руки в своих и не мог оторвать взгляда от ее больших блестящих глаз.

— Простить? Ни за что не прощу! — притворно сердито отвечала Рада.— Как можешь ты так говорить? Как же мне было не мучиться, слыша, что ты умер? Ты бы хоть одним словечком дал знать о себе... Ах, Бойчо, Бойчо, пожалуйста, больше не умирай! Теперь я с тобой ни за что не расстанусь... Хочу быть всегда с тобой, чтобы охранять тебя, как зеницу ока, и любить, горячо любить, и радоваться этому. Ты так страдал, Бойчо, ведь правда? Ах, господи, да что же это я? Прямо с ума сошла! Даже не спросила, как ты провел эти долгие месяцы,— мне они казались такими страшными и бесконечными,— не спросила, что ты пережил!

— Много пришлось пережить, Рада... много опасностей мне грозило, но господь не оставил меня своей милостью, и вот мы снова вместе.

— Нет, нет, расскажи мне все подробно, решительно все! Я все хочу знать... Ведь тут насчет тебя такие басни плели, такие слухи распространяли — один другого чудовищнее!.. У людей нет сердца, как могут они выдумывать такие вещи! Рассказывай же, Бойчо! Теперь, когда ты жив и сидишь рядом со мной, я могу мужественно слушать обо всем, что ты перенес, как бы это ни было страшно.

И она смотрела на Огнянова с мольбой, с невыразимой любовью и участием.

Бойчо не мог отказать ей. Она имела право все знать. Да и ему самому хотелось поделиться всем пережитым с той, кого он любил, с той, у кого было такое отзывчивое сердце. В минуту счастья воспоминания о прошлых страданиях, о перенесенных бедах таят в себе какую-то особую прелесть. И Бойчо рассказал Раде обо всех своих приключениях со дня бегства из Бяла-Черквы, рассказал просто и безыскусственно, но не сухо и бегло, как вчера, на заседании комитета и потом Викентию в его келье, а подробно. Рада слушала, и душевное волнение живо отражалось в ее детски ясных глазах; Бойчо читал в них то страх, то сострадание и участие, то радость и торжество, и эти глаза сладостно опьяняли его. А Рада жадно глотала каждое его слово, переживая все вместе с ним, и не отрывала от него взгляда.

— Ах, Бойчо, наверное, тебя кто-то предал! — воскликнула Рада тревожно — рассказ дошел до того часа, когда турки пришли арестовать Огнянова на Алтыновском постоялом дворе.

— Не знаю. Не смею подозревать болгарина. Быть может, я сам себя выдал в турецкой кофейне какой-нибудь оплошностью.

— Ну, а дальше? — в нетерпеливом волнении спросила Рада.

— Я услышал у себя в комнате шаги приближающихся турок и сразу смекнул, что пришли по мою душу; в глазах у меня потемнело. Вижу: надежды никакой, я погиб... Выхватил свой револьвер и стал у дверей. У меня было шесть патронов: пять — для них, шестой я решил оставить для себя...

— Боже, боже, какой ужас! А я ничего не подозревала; быть может, я в этот миг смеялась здесь.

— В это время ты, надо полагать, молилась, Рада, потому что господь смилостивился и спас меня от неминуемой гибели.

— Он сотворил чудо, Бойчо!

— Да, если хочешь, чудо. Он ослепил турок. Вместо того чтобы ворваться ко мне, они вошли в первую комнату, выходящую на двор! Как я потом узнал, незадолго до этого на постоялом дворе остановился какой-то сборщик налогов, грек из Пловдива, и он оказался моим соседом. Должно быть, между нами было большое сходство, и это ввело в заблуждение полицейского, который видел меня за день до этого.

Рада облегченно вздохнула.

— Услышав шум в соседней комнате, я сообразил, что вышло недоразумение и минуту спустя они будут у меня. Одна лишь минута отделяла меня от них, иначе говоря — от смерти... Я теперь и сам не помню, как вышиб оконную раму и бросился вниз, на дорогу... Собственно, даже не на дорогу, а прямо в реку, уже покрытую льдом... Лед проломился, и я по колени погрузился в холодную воду. Я силился выбраться на сушу, как вдруг началась оглушительная пальба: пять-шесть ружейных выстрелов из окна прогремели над моей головой. Но ни одна пуля меня не задела... Тогда я пустился бежать, бежать как безумный. Сколько времени я так мчался во тьме, какие места пробегал, я и сам не знаю.

— За тобой гнались?

— Конечно. Некоторое время я в этом не сомневался, но вскоре погоня отстала... Я забрался в лес. Была уже ночь. Ветер хлестал мне в лицо... Одежда моя промерзла и стала твердой, как доска. Два часа я шел по склону горы на запад и наконец полуживой дотащился до села Овчери. Там добрые люди приняли меня и обогрели. Слава богу, я отморозил только палец на ноге. В Овчери я прожил две недели, но, опасаясь навлечь беду на людей,— я ведь всюду влачу за собой одни несчастья,—

я перебрался в Пирдоп, где брат Муратлийского работает учителем. У него я пролежал больной три месяца — захворал какой-то тяжкой болезнью.

— Бедный Бойчо, ты простудился, ведь ты всю зиму странствовал по горам и долам... Ты настоящий мученик, Бойчо! — воскликнула Рада с глубоким состраданием.

— Золотое сердце у него, у брата Муратлийского. Он ухаживал за мной, как родная мать.

— Какой благородный человек, настоящий болгарин! — проговорила Рада.

— И притом пламенный патриот. Он мне отплатил вдвойне и втройне за ту услугу, что я оказал его брату.

— А потом? Дальше?

— Когда я выздоровел, он дал мне денег на расходы и вот это новое деревенское платье и проводил меня со слезами на глазах. Я направился прямо сюда...

— И тебя никто не узнал?.. Пожалуйста, Бойчо, веди себя здесь поосторожнее!

Огнянов сидел с непокрытой головой; шарф он тоже снял с себя.

Но сейчас он поднялся и, подойдя к зеркалу, взъерошил волосы, надел шапку и изменил выражение лица; потом обернулся, совершенно преображенный.

— Можешь узнать меня теперь?

— Да ты хоть маску надень, я и то узнаю... Посмотрите-ка на него! Какой же ты смешной, Бойчо! — весело воскликнула девушка.

— Ты любишь меня и потому узнаешь. А чужому человеку как меня признать?

— У врагов тоже глаз острый, ты с этим не шути!

— А для таких у меня припасено вот это,— сказал Огнянов, чуть приподняв полу плаща,— из-за пояса у него торчали рукоятки двух револьверов и кинжала.

— Ах ты, разбойник! — смеялась Рада.— Хаджи Ровоама правду говорила...

— Если я разбойник, то ты противоположная крайность, ты ангелочек.

— Смейся над бедной девушкой!

Огнянов снова сел.

— Ну, продолжай. Расскажи, как ты добрался сюда. Да, а кто он такой, этот Муратлийский? — спросила Рада, уже два раза слышавшая эту фамилию.

— Брат Бырзобегунека.

— Немца? Фотографа?

— Да, Рада, это имя придуманное. На самом деле его зовут Добри Муратлийский. Он такой же немец, как и фотограф. Ему пришлось бежать после разгрома старозагорского восстания. Я его приютил здесь и представил его под чужим именем... Он мой старый товарищ и очень предан мне. Если тебе что-нибудь понадобится, смело обращайся к нему.

Рада тревожно взглянула на него.

— Зачем мне обращаться к чужим людям? Я ни в чем не нуждаюсь... Ты же знаешь, я живу на сбережения от своего учительского жалованья.

— Я уже сказал тебе, не смотри на него как на чужого человека.

— А ты-то на что?

— Я уезжаю, Рада.

— Опять уезжаешь? Когда? Неужели ты меня оставишь?

— Я должен уехать этой же ночью, через два часа,— ответил Огнянов и, посмотрев на часы, снова положил их за пазуху своей сермяги.

Рада побледнела.

— Уже уезжаешь? Так скоро? Я и разглядеть тебя как следует не успела!

— Мне на рассвете надо быть в К. У меня там дело, да и нельзя мне долго оставаться в Бяла-Черкве. Жаль, я не успею поблагодарить дядюшку Марко за его доброту к тебе... И для меня он немало сделал... Ах, Рада, есть среди нас благородные люди, и это укрепляет мою любовь к Болгарии. Я люблю ее страстно еще и потому, что она рождает таких прелестных девушек, как ты...

— Бойчо, зачем ты уезжаешь? Ах, боже мой!.. Нет, лучше возьми и меня с собой. Ты постоянно в разъездах, ты всего себя посвятил Болгарии, увези же меня из этого проклятого города, устрой меня где-нибудь в деревне, где бы я могла видеться с тобой чаще... Нет, если хочешь, поручи и мне работу на пользу народа, я ведь тоже болгарка... Твой идеал, Бойчо, это и мой идеал, и если тебе суждено умереть за Болгарию, и я умру вместе с тобой... Только не будем разлучаться, мне страшно оставаться без тебя и в тысячу раз страшнее слышать о тебе всякие нехорошие вести... Боже, как я сейчас счастлива с тобой!

И она положила руки к нему на плечи.

— Рада, милая! Твое положение здесь очень тяжело,— озабоченно проговорил Огнянов,— я это вижу. Я ведь чувствую

то, чего ты не договариваешь: тебя здесь преследуют мои враги, не так ли? Я знаю, людская злоба тебе ничего не прощает... Бедная моя Рада, ты стала жертвой предрассудков и людской подлости!.. Дело не в одной только Хаджи Ровоаме, это я тоже знаю. И ты все терпишь молча и переносишь свои страдания, как героиня. Бедный мой ангел! Великое дело поглотило меня целиком, у меня нет ни минуты свободной, чтобы подумать о твоей судьбе. Я — черствый эгоист, я виноват перед тобой; прости меня, пташка моя!

— Ах, Бойчо, Бойчо! Мне кажется, что, если ты меня снова покинешь, никогда больше мне не увидеть тебя, ты навеки будешь для меня потерян! — промолвила Рада, и в глазах ее блеснули слезы.— Не оставляй меня тут, Бойчо! — продолжала она тихим, умоляющим голосом.— Будешь ли ты жить или умрешь, я хочу быть рядом с тобой... Я не буду тебе мешать ни в чем, я стану твоей помощницей. Я все буду делать... Только бы мне видеть тебя почаще.

— Нет, ты не сможешь служить нашему делу,— восстание потребует мужской силы, жестокости, беспощадности, а ты, ты — сущий ангел!.. Ты уже исполнила свой долг — знамя со львом, вышитое тобой, будет нас воспламенять и воодушевлять. Этого достаточно для болгарской девушки.

Огнянов умолк, но после короткого раздумья продолжал:

— Послушай, Рада, а не отправиться ли тебе в Клисуру, погостить у госпожи Муратлийской? Она теперь живет в Клисуре. Я это устрою... Там, конечно, тоже небезопасно... но, по крайней мере, ты вырвешься из сети здешних интриг.

— Я готова жить где угодно, лишь бы видеться с тобой...

— Я теперь веду агитацию как раз в той местности, и скрываться мне удобней там. В Бяла-Черкву же я вернусь лишь для того, чтобы поднять восстание... До этого дня, Рада, мы сможем видеться, а потом — бог ведает, кто выйдет живым из этой борьбы. Она будет ожесточенной, кровавой. Только бы благословил господь наше оружие, только бы наша родина, наша истерзанная родина, пусть и окровавленная в борьбе, возродилась к свободной жизни,— я с радостью приму смерть за нее!.. Об одном лишь я скорблю — о том, что смерть разлучит меня с тобой... Ведь я люблю тебя беспредельно, дитя мое милое; ты владеешь моим сердцем, оно — твое... но жизнь моя принадлежит Болгарии... И я умру с сознанием, что хоть одна душа на

земле пожалеет обо мне и прольет слезы над моей безвестной могилой.

Лицо у Бойчо омрачилось.

Рада, волнуясь, стиснула его руку.

— Бойчо, но ты будешь жить, господь сохранит такого героя для Болгарии; и тебя ждет слава, Бойчо... о, как я буду счастлива тогда!

Бойчо с сомнением покачал головой.

— Эх, ангел мой...— начал он, но, спохватившись, умолк и, стиснув руки девушки, продолжал: — Рада, что бы со мной ни случилось, я хочу, чтобы совесть моя была спокойна... Быть может, я погибну, я предчувствую это...

— Не говори так, Бойчо!

— Слушай, Рада! Очень возможно, что я погибну,— ведь я иду навстречу смерти; но я хочу быть хоть мало-мальски спокойным за тебя. Ты связала свою судьбу со мной, осужденным, отверженным; своей любовью ты сделала меня счастливейшим человеком в мире, ты ради меня пожертвовала тем, что дороже самой жизни,— пожертвовала своей честью, и за это свет покарал тебя жестоко; ты всем пренебрегла ради меня! И если мне суждено умереть, я хочу уйти из жизни с сознанием, что ты осталась если не счастливой, то, по крайней мере, честной женщиной перед богом и людьми... Я хочу, Рада, чтобы ты носила мое имя, имя Огнянова,— оно ничем бесчестным не запятнано. Когда ты приедешь в Клисуру, я приглашу священника обвенчать и благословить нас и там уж позабочусь о твоем обеспечении. Отец мой — состоятельный человек и любит меня... Он исполнит последнюю волю своего единственного сына... Я бы сделал все это здесь, но сейчас это невозможно. Однако мы можем сами сделать кое-что... У меня нет кольца, Рада, чтобы подарить тебе,— ни золотого, ни железного... То железо, что я ношу с собой, предназначено для врагов. Но нам и не нужно обручальных колец,— над нами господь, великий праведный бог Болгарии, бог всех попираемых и сокрушенных сердец, бог всего страждущего человечества. Он все видит, все слышит.— И, взяв девушку за руку, Огнянов преклонил колени.— Поклянемся перед лицом его! Он благословит наш честный союз.

Девушка тоже упала на колени.

Они прошептали какие-то слова, и услышал их один лишь всевышний.

. . . . . .

XIV. У СТВОЛА

Утром снова взошло яркое солнце, и радостно засияло высокое лазурное небо.

Сады благоухали; раскрывались румяные лепестки росистых роз; плодовые деревья в буйно разросшейся листве, в торжественном уборе из белоснежных цветов украшали все бяло-черковские дворы, придавая им праздничный вид; пели соловьи, ласточки с оглушительным щебетом стрелой пронизывали пространство, упиваясь воздухом, солнцем и свободой. Вся природа бурлила жизнью и молодостью. Небо и земля как бы слились и стали единой жизнеутверждающей стихией, сотканной из зорь, света, красок, песен, ароматов, любви и ликованья.

В этот утренний час Марко Иванов остановился у ворот одного двора в конце глухой улицы на окраине города и постучался.

Ему открыл молодцеватый паренек с непокрытой головой, в шароварах и безрукавке.

— Это к вам завезли бревно? — тихо спросил Марко.

— К нам, дядюшка Марко, пожалуйте!

И парень пошел вперед, указав Марко на вторые ворота.

— Там они, войдите!

Ворота открылись, и первое, что увидел Марко, был ствол. Ствол срубленной черешни.

Наш старый знакомый, бондарь Калчо Букче, стоя на груде бревен, просверливал огромным сверлом отверстие в приподнятом конце черешневого ствола, другой конец которого был прочно укреплен внизу. Пот градом катился по истомленному лицу бондаря.

— Бог в помощь, Калчо! — улыбаясь, сказал Марко, с любопытством глядя на его работу.— Подвигается у тебя дело, подвигается, чтоб ему!

— Дело мастера боится,— отозвался чей-то голос.

Марко обернулся. У стены сидел на корточках Мичо Бейзаде.

— А, Мичо! — приветствовал Марко заместителя председателя комитета, протягивая ему руку.

— Иду на заседание. Решил мимоходом завернуть сюда: дай, думаю, погляжу, что делает наш Букче,— сказал Мичо.

— А где же у вас заседание? В поле, что ли? — спросил Марко, усаживаясь и не отрывая глаз от черешни.

— Сегодня мы соберемся в Зеленой балке.

Зеленой балкой назывался лог на голой возвышенности,

расположенной к северу от города и представлявшей собой первую ступень отрогов Стара-планины. После того достопамятного вечера, когда Заманов вернул письмо, комитет каждый раз собирался в новом месте. Сегодня заседание решено было устроить в Зеленой балке.

Калчо, раскрасневшийся, потный, все вертел и вертел жилистыми руками огромное сверло. Он то и дело вынимал свой инструмент, чтобы вытряхнуть стружки, заглядывал в просверленное отверстие и снова принимался сверлить. Дойдя до нужной глубины, он остановился в двух пядях от толстого конца черешневого бревна, которому предстояло стать стволом будущей пушки. Старательно очистив отверстие от стружек, Калчо одним глазом осмотрел его, дунул внутрь и окинул гостей самодовольным взглядом. Гости обступили его и тоже впились глазами в ствол.

— Сюда влезет и гиря от больших весов,— заметил Мичо.— Но мы зарядим пушку мелким железным ломом. Этак она больше погани укокошит. Твоя черешня, Марко, сделает чудеса...

Лицо у Марко торжествующе сияло,— черешня и в самом деле была срублена в его саду.

За последнее время в миросозерцании и убеждениях Марко Иванова произошел весьма заметный перелом. Когда Бяла-Черкву охватило революционное брожение, он не смог долго оставаться бесстрастным, сторонним наблюдателем... Это брожение заинтересовало, удивило его и наконец задело за живое. Он думал: «А что, если и впрямь повсюду творится то же, что и здесь, как об этом толкуют люди? Пожалуй, этак разгорится пожар во всей Оттоманской империи... Может, и в самом деле пришел конец турецкому владычеству, раз уж малые дети и те вооружаются?.. Почем знать?..» Подобные мысли ослабляли его опасения и укрепляли его веру в судьбу. Человек положительный, обладающий здравым смыслом, но лишенный и тени воображения, он в конце концов оказался вовлеченным в поток всеобщего воодушевления и начал верить. И эта трезвая, честная болгарская душа не уберегласъ от «заразы».

Но не вдруг совершился этот психический процесс. Твердые убеждения вырабатываются постепенно, под влиянием многих значительных фактов. Сначала (это было прошлой осенью) Марко, наблюдая все возраставшие зверства и злодеяния турок, бормотал про себя:

— Такая жизнь — разве это жизнь?

Это была первая вспышка, первый толчок...

Потом, уже этой весной, после появления Каблешкова, Марко, видя воодушевление молодежи, столь решительно готовящейся к осуществлению своего безумного, но возвышенного замысла, как-то сказал жене:

— Почем знать? Когда безумцы берутся за дело, иной раз оно им удастся.

Наконец в один пасхальный день, когда в кофейне завязался разговор об огромных препятствиях, лежащих на пути освободительного движения, и грозных последствиях, к которым оно, быть может, приведет, Марко, обращаясь к Михалаки Алафранге, выразительно проговорил:

— Михалаки, кто прикидывает, во что обойдется свирель и барабан, тому свадьбы не сыграть!

Месяцев шесть назад Марко как-то раз упомянул в разговоре о «чреве адовом», на что поп Ставри тут же ответил пословицей:

— Волков бояться — в лес не ходить.

Заметим, однако, что Марко, в сущности, увлекался только подготовкой к восстанию, но участвовать в нем не собирался. Ему не хватало энтузиазма, чтобы решиться стоять до последнего, подобно Мичо, не хватало и веры в конечный успех борьбы, чтобы все поставить на карту, подобно Огнянову. Но он считал, что Бяла-Черква должна быть готова стразить башибузуков, которые грозили хлынуть в нее из многочисленных турецких сел Стремской долины. Опоясанная со всех сторон этими селами, Бяла-Черква уже теперь была для них, как бельмо на глазу... «Если пожар начнется повсеместно,— думал Марко,— тогда другое дело. Но кто может за это поручиться?.. Как бы то ни было, Бяла-Черква должна быть готова».

И он настаивал на том, чтобы все вооружались.

— Потом видно будет,— говорил он.

Три дня назад к нему пришел Николай Недкович и рассказал, что никак не может раздобыть черешневые стволы.

— Ну что ж, срубите черешню в моем саду,— сказал Марко.

Но то ли из эгоизма, то ли движимый чувством отцовской любви, впрочем, вполне естественным, он не позволял своим сыновьям впутываться в это дело... Он хотел, чтобы они остались в стороне от потока, волны которого захлестнули его самого. «Довольно меня одного на нашу семью»,— говорил он. Но он хотел невозможного! Перелом в его душе еще не завершился окончательно: кое в чем Марко Иванов колебался, кое-когда противоречил сам себе. Одним словом, он был представи-

телем умеренного элемента в народной партии. Этот элемент может пригодиться для чего угодно, но только не для революции, ибо совершить ее нельзя без применения насилия и крайних мер. Умеренные люди нередко тормозили революцию. Но в данном случае дело, пожалуй, обстояло иначе...

Калчо принялся буравить в черешневом стволе запальное отверстие, чтобы пушка получилась не хуже настоящей. Очень тонким сверлом он просверлил дырочку в гладко стесанном сучке. Быстро окончив эту работу, он дунул в отверстие, и опилки вылетели из пушки.

— Вот это дело! — с торжествующим видом воскликнул Калчо.— В пух и прах расколошматим турок.

— Браво, Букче! — сказал Мичо.— Ты у нас будешь пушкарем. Теперь Лило-кузнецу остается только набить на нее обручи и железные скрепы, и куда Круппу до тебя!

— Греметь она будет страшно, мать честная! — заметил Марко.

— Мы поставим ее высоко над Зеленой балкой и оттуда будем обстреливать всю долину... Пусть тогда подходят откуда угодно, а мы их — бей, не жалей!.. Позиция чудесная!

За воротами послышались шаги.

— Кто-то из наших идет,— промолвил Мичо, знавший, что пареньку было приказано пропускать только своих.

Вошел секретарь комитета Попов и поздоровался с Мичо и Марко.

— Чего тебе здесь надо, Ганчо? — спросил его Мичо.

— Иду в Зеленую балку, вот и завернул сюда мимоходом поглядеть на нашу артиллерию.

— Так, так! Нынче нам всем надо собраться, чтобы решить, кого посылать в Панагюриште. Туда вызывают нашего представителя. Я предлагаю Соколова.

— На что им наш представитель? — спросил Марко.

— Чтобы присутствовать на главном собрании.

— А что будет обсуждать главное собрание?

— Оно решит, когда начинать восстание, душа моя.

— Наверное, на первое мая будет назначено,— промолвил Ганчо.

Марко нахмурился.

— Нет, я думаю, попозже... Чтобы хоть розы успеть собрать,— предположил Мичо.

— Значит, и мы восстанем? — осведомился Марко.

— Восстание всюду начнется в один и тот же день.

— Но это же безумие!

— Безумие не безумие, а чему быть — того не миновать,— отрезал Мичо.

— Ведь не зря же мы так долго готовимся, правда? — добавил Ганчо.

— Так их! В пух и прах их, дядя Марко! — откликнулся разгоряченный Калчо.

— Нет, я так понимаю,— сказал Марко,— покуда не выяснится, что творится в других местах, мы готовимся только к обороне от башибузуков... А то как бы нам одним не пришлось расхлебывать кашу.

— Стыд и срам будет для Бяла-Церквы, если она хоть на миг замешкается с восстанием! — горячо воскликнул Мичо.— Весь народ восстанет в один день — и Турции крышка!

Марко задумался.

— А вы наверняка знаете, что так именно и будет? — спросил он.

— Как же не знать? Дети мы, что ли?.. Я для того и тянул тебя в комитет, чтобы ты своими глазами читал письма... и слушал Каблешкова и Огнянова.

Марко недоверчиво покачал головой.

— Одно дело, когда слышишь что-нибудь от людей, а другое, когда сам наверное знаешь, что именно так и будет... Пять раз обмозгуйте, прежде чем действовать, а то получится как с загорским восстанием.

Мичо вспыхнул.

— Ты прямо младенец какой-то, Марко. Теперь совсем другое дело. Я же тебе ясно говорю, что пожар загорится повсеместно... Все организовано. Остается только назначить день.

— Ну что ж, если действительно восстание начнется повсюду сразу, тогда и я возьмусь за ружье! А если не повсюду, если мы одни зажжем огонь, тогда что? Надо бы еще разузнать...

— Вспыхнет повсеместно!

— Кто его знает!

— Вспыхнет, Марко. Клятвы, что ли, требуешь?

— Не надо.

— Ну, ты прямо Фома неверный!

— Конечно; я, как и он, хочу все пощупать собственными руками. Ведь мы тут рискуем головой...

— Ты должен верить, что мы победим.

— Почему я должен верить?

— Потому что Турции не миновать гибели.

— Как это — не миновать?

— Очень просто: она должна пасть, потому что так предуказано свыше!

Марко понял, что Мичо снова намекает на пророчества Мартына Задеки.

— Не верю я этим новым пророчествам,— промолвил он.— Календарь предсказывает дожди и грозы, а у нас погода прямо райская!.. Все это вздор.

— Задека, брат Марко, не то что другие! — с жаром возразил Мичо.— Его и ученые признают.

— Помилуй, душа моя! Что ты мне все Задеку своего тычешь? Оставь в покое Задеку.

Мичо вспылил:

— А не хочешь Задеку, я тебе покажу другое пророчество, еще глубже и яснее.

— Кто же это пророчествует?

— Само провидение божие... Только дух святой мог внушить подобное... Человеческому уму не измыслить этого.

И Мичо стал рыться в боковом кармане своей безрукавки.

Марко смотрел на него удивленно.

— Эх, тетрадку дома оставил,— с досадой сказал Мичо.— Но погоди, я и так вспомню... И если ты скажешь, что и теперь не веришь в паденне Турции, оставлю тебя в покое — мучайся на здоровье!.. Глухому хоть в барабан бей, он все равно не услышит.

И, вытащив пенал, Мичо окунул перо в чернильницу и опять стал рыться в кармане.

— Нет ли у тебя клочка бумаги?

— Нет,— ответил Марко, в свою очередь порывшись у себя за пазухой.

— Погоди, я вот тут напишу.

И, облокотившись на пушку, Мичо стал что-то царапать на ее гладкой поверхности.

Марко смотрел на него с любопытством.

На стволе пушки вскоре выстроились в ряды церковнославянские буквы и арабские цифры, размещенные в следующем порядке:

Т(=300) У(=400) Р(=100) Ц(=900) І(=10) А(=1)
К(=20) Е(=5)
П(=80) А(=1) Д(=4) Н(=50) Е(=5)

Эти церковнославянские буквы, если читать их подряд, составляют слова: ТУРЦІА КЕ ПАДНЕ (Турция погибнет), если же сложить числовые значения букв, то в сумме получится 1876 — роковой 1876 год!

Кто первый измыслил эту причудливую комбинацию и открыл это совпадение? Чей ум уловил во мраке ночи этого светлячка, заметил эту необъяснимую игру случая? Неизвестно. Люди передовые называют такие явления «капризом случая», а люди старого закала — «роком».

Так предрассудок объясняет то, что рассудок отказывается объяснить.

Мичо Бейзаде объяснил двойной смысл пророчества. Марко самолично проверил сумму слагаемых.

Он просто онемел от удивления и не смог проронить ни слова.

Мичо смотрел победителем. Его черные горящие глаза сияли горделивым самодовольством, а в тонкой насмешливой улыбке, с какой он смотрел на ошеломленного Марко, можно было прочесть и жалость к приятелю за его малодушное неверие, и торжество, и счастье, и восторг... Этот взгляд и эта улыбка как будто говорили: «Ну, Марко, что ты теперь скажешь? Давай-ка послушаем твое мнение. Мартын Задека плох — ладно. Но что ты скажешь про того, другого? Смекнул теперь, что за человек Бейзаде?»

Во время этой беседы двух именитых горожан во двор, не привлекая их внимания, вошло несколько членов комитета; они тоже мимоходом завернули сюда, чтобы полюбоваться на пушечную мастерскую бяло-черковского Круппа. Вслед за ними и с той же целью вскоре пришли и другие члены комитета. Получилось так, что все члены были налицо, кроме Димо Беспортева.

— Этого бродягу не удалось сегодня найти,— доложил Илю Странджов,— видать, натрескался где-нибудь в корчме.

— Нехорошо наливаться не в меру,— заметил поп Димчо, прикладываясь к фляге с водкой.

Члены комитета не могли налюбоваться на свою пушку, не могли вдоволь насладиться ее созерцанием. Она стояла перед ними, подобная какому-то громадному длинному зверю, без ног, без головы, с единственным глазом на хребте и со страшной глубокой пастью, которой предстояло извергать огонь... На гладком желтоватом брюхе этого зверя чернела каббалистическая фраза, написанная Мичо, страшное «мене, текел, фарес» Оттоманской империи:

ТУРЦІА КЕ ПАДНЕ — 1876.

— Ребята,— обратился заместитель председателя к собравшимся,— мы договорились сойтись в Зеленой балке, не так ли?

— Да, да, идемте!..

— Чего там? Раз уж мы собрались здесь, не устроить ли нам тут и заседание? Да, если хотите, оно и сподручнее... рядом с этим медведем...

Все одобрили разумное предложение заместителя председателя.

— Тогда усаживайтесь!

— А ты где сядешь?

— Вот мой престол.— сказал дядюшка Мичо, располагаясь на пушке.

И заседание началось.

XV. НОВАЯ МОЛИТВА МАРКО

Марко шел в глубоком раздумье, весь под впечатлением того, что он видел и слышал в пушечной мастерской Калчо Букче.

— Почем знать?..— шептал он про себя, проходя мимо огородов, тянувшихся за городом.

Он держал путь на восток от Бяла-Черквы и дошел до реки, что течет с Балканских гор, низвергаясь бесчисленными водопадами... Там он окинул взглядом свой сад, посмотрел на пень, оставшийся от срубленной черешни, и ухмыльнулся в усы; потом повернул и огородами и лугами направился к дороге на К., чтобы по главной улице, в которую переходила дорога, войти в город. Проходя мимо цыганского табора, расположившегося на песчаной пустоши на окраине города, он увидел огромный хоровод. Какой-то бедняк праздновал свадьбу и, должно быть, пригласил на нее весь околоток.

«Вот так всегда в жизни,— подумал Марко.— В одном месте готовят пушки, в другом женятся, не думая о завтрашнем дне».

Но вскоре он убедился, что и здесь не обошлось без революционного элемента: хоровод водил Беспортев, плясун знаменитый, хоть и хромой. Размахивая платком, он плясал, не жалея подметок, выкидывая разные коленца и заставляя тянувшуюся за ним бесконечно длинную живую цепь изгибаться самым причудливым образом: хоровод то располагался безукоризненно правильным полукругом, то свертывался клубком, как спящий уж, то снова развертывался, вытягиваясь прямой шеренгой или образуя какую-нибудь фантастическую фигуру. При каждом резком повороте отвисший зад беспортевских шаровар победоносно развевался.

Приблизившись к хороводу, который теперь был в самом разгаре, Марко заметил, что Беспортев вдребезги пьян: он так порывисто кидался из стороны в сторону, увлекая за собой всю свою подвижную «колонну», что казалось, будто он ведет ее на штурм какой-то крепости. Беспортев заразил своим энтузиазмом даже пятилетних ребятишек, составлявших последнее звено в хвосте хоровода. По знаку Беспортева музыканты перестали играть, и участники хоровода подпевали сами себе. В соответствии с ритмом песни хоровод делал всевозможные фигуры. Марко, продолжая свой путь, прислушивался к словам:

Не ждешь ли ты, наша Калина,
Что брат твой Колё приедет,
Что братец Колё приедет,
Подарки тебе подарит?
На белую шею — бусы,
На тонкий стан — поясочек.
На русые кудри — косынку,
На малые ножки — ботинки.

Хоровод кружился неудержимо...

Марко остановился под навесом кузницы, чтобы передохнуть и полюбоваться веселым зрелищем.

Беспортев сразу заметил его. Внезапно оторвавшись от хоровода, он побежал к Марко, размахивая платком и подпрыгивая в такт песне. Его длинное костлявое бледное лицо с рыжими усиками и быстрыми голубыми глазами сияло буйной радостью и животным восторгом — результат беспробудного пьянства, вызванного какой-то сокрушающей, безумной душевной тревогой.

— Желаю здравствовать, дядюшка Марко! Да здравствует и Болгария, да здравствуют славные сыны Болгарии!.. Дядюшка Марко, одолжи на стаканчик... Благодарю! Ура! Кто наливает, пусть горя не знает!.. Ты уж не обессудь, дядюшка Марко, я пьян, как винная бочка, но все-таки ума не теряю... Ведь это я пью вино, а не оно меня... Да, мы, болгары, люди чувствительные!.. Народ страдает, вот я и говорю: довольно рабства и пьянства! Лучше умереть, чем такая позорная жизнь... Может, кто-нибудь скажет: пазюзюкался, мол, как русский сапожник... Кто так говорит, тот предатель... У меня душа болит за Болгарию, за эту бедную турецкую рабыню... Я требую прав, человеческих прав! Не надо богатства нам, жен нам не надо... Ты скажешь: а вот люди все-таки женятся, и в какое время! А я тебе на это отвечу: такой уж у нас народ... А завтра скажи ему: марш вперед, поджигай дома, и все на Балканы! И он...

Словом, птиц бояться — проса не сеять... Ты меня с первого слова понимаешь... Да здравствуют такие патриоты! Я таким руки и ноги целую!.. Но выжига Юрдан... Мы с него шкуру спустим... А Стефчов? Ладно, помолчим пока об этом... Так я говорю тебе, что я пьян, пьян, как... как... Час близок! Нынче я живу, завтра стану духом, тенью, ничем. Подлый мир, одним словом... И кто умрет за народ, тот будет жив во веки веков... Ура!.. Да здравствует Болгария! А я кто такой? Осел! Осел боится чистой воды, и я тоже...

Но вдруг Редактор запнулся,— он увидел, что поблизости верхом на коне едет турок. В последнее время турки стали появляться в городе очень редко. Указывая рукой на турка, Беспортев запел:

Бой наступает, сердца наши бьются,
Вот уже крики врагов раздаются.
Встань же, дружина, пред ворогом черным,
Больше не будем мы стадом покорным!

— Вперед, вперед! — заорал вдруг Беспортев и бросился к турку с таким видом, как если бы поднимал в атаку какой-то невидимый отряд.

Обернувшись, турок увидел подбегающего Беспортева и остановился. А Редактор, пробежав шагов двадцать и приблизившись к нему вплотную, закричал:

— Эй ты, турецкая морда, куда едешь? Как ты смеешь топтать эту священную землю?.. Эта земля — болгарская, а твоя — в азиатских пустынях. Убирайся туда, проваливай! Слезай со своей клячи, скот, целуй нашу священную землю!.. А не хочешь, так пусть черти заберут вашего султана, и присных его, и всю его гаремную сволочь!..

Турок не понял слов Беспортева, но увидел, что тот мертвецки пьян. Обеспокоенный, он хлестнул коня и хотел было снова тронуться в путь, но Беспортев, кинувшись к нему, схватил коня за узду.

— Чего тебе надо от меня, чорбаджи? — спросил ошарашенный турок.

— Слезай, или я напьюсь твоей крови! — свирепо заревел Беспортев, выхватив сверкающий кинжал.

Турок носил за поясом какое-то оружие, но, позабыв о нем с перепугу, покорно спешился.

— Чего тебе нужно от меня, чорбаджи? — спросил он снова, напуганный свирепым видом Беспортева.

— Куда едешь, турецкий осел?

— В К.

— А в Мекку когда собираешься?

Турок совсем растерялся: что-то перехватило ему горло, и он прошептал едва слышно:

— Оставь меня, чорбаджи!

— Поехали в Мекку вместе,— закричал Беспортев.— Погоди, я сяду на тебя верхом. Ты тысячу лет ездил верхом на болгарах! — И, проворно вскочив на спину турку, Беспортев охватил руками его шею.— Шагай вперед в Мекку! — ревел он.

На глазах всей толпы, под общий смех и улюлюканье, турок, погоняемый Беспортевым, тронулся вперед.

Конь понуро следовал за своим хозяином.

— Почем знать... почем знать...— говорил себе Марко, возвращаясь домой. Он был до того потрясен и ошеломлен всем виденным, что никак не мог прийти в себя. Пятьдесят лет прожил он на белом свете и помнил то время, когда болгарам было запрещено одеваться в зеленое и предписывалось соскакивать с коня при встрече с каждым турком; он сам, как сын порабощенного народа, столько видел, пережил, испытал, безропотно проглотил столько унижений, что теперь глазам своим не верил. Ведь он только что видел, как перед толпой, на глазах тысячи зрителей, турок слез с коня по приказу хромого и пьяного болгарина, видел, как этот турок, забыв про свой пояс с оружием и свое османское первородство, как вьючное животное, подставил спину беспутному Капасызу и повез его на себе перед всем народом! И все это произошло так просто, так неожиданно, так потрясающе неожиданно! Но — не случайно: дело было не только в чьей-то пьяной выходке, ведь еще вчера или третьего дня это было бы невозможно, а сегодня произошло — и весь народ хохочет и рукоплещет, словно видит нечто вполне естественное... Какие времена настали! Откуда эта дерзость у порабощенного и этот страх у поработителя?.. Или воистину уже пробил последний час турецкой империи, и Бейзаде прав, и молодежь права?

— Почем знать!.. Почем знать!..

Погруженный в задумчивость, Марко чуть не столкнулся с детьми, которые возвращались из училища. Это были ученики Мердевенджиева. Они шли длинной колонкой, по два в ряд. Шли мерным шагом, как солдаты, под командой «десятников», шагавших сбоку, и «генерала», шедшего впереди... Асен, сынишка Марко, высоко поднимал палку с красным платком: это было знамя!

Марко остановился пораженный.

«Все обезумели — от велика до мала,— подумал он,— похоже, что началось».

И, схватив сынишку за ухо, проговорил с улыбкой:

— Эй, ослепок, что это ты тащишь?

И Марко с удовлетворением вспомнил, что его старших сыновей зараза не затронула, что в них он не замечал того бунтарского духа, который пробудился во всех и даже в нем самом.

«Пусть хоть они останутся в стороне,— думал он,— пусть хоть они не ввязываются в эту историю. Я что? Я уже пожил. А им бы еще жить да жить...»

Но тотчас обидная мысль промелькнула у него в голове, и он нахмурился:

«Неужто у этих шалопаев не течет в жилах горячая кровь?.. Или я народил торгашей?.. А все же... лучше пусть стоят в стороне! Хватит и одного человека с семьи».

Близился полдень, и солнце поднималось к зениту.

Марко вернулся домой беспокойный и сердитый. Он вошел к себе в комнату и, осмотрев висевшие на стене пистолеты в кобурах, отворил скрытый за дверью чулан, чтобы вставить кремни в два древних пистолета, оставшиеся от прадедов и много лет валявшиеся в пыли. Чулан был темный и служил тайником. Марко наугад пошарил рукой во тьме, потом догадался зажечь свечу. Каково же было его удивление, когда свеча осветила чулан! Вместо двух старых пистолетов он увидел целую груду, целый арсенал ружей, револьверов, пистолетов. Настоящий оружейный склад! Но вместе с тем это был и склад обмундирования: в углу висели сумки, царвули, обмотки, какие-то странные чужеземные костюмы, расшитые галуном, и другие предметы странного и подозрительного вида.

В эту минуту появилась бабка Иваница. Марко раскричался на нее:

— Кто открывал тайник? Кто притащил сюда это шутовское барахло?

Бабка Иваница смотрела на него в недоумении.

— Кто открывал? Да уж, конечно, не я. А вот ребята: Васил, Димитр, Киро — они все тут чего-то копаются, паутины не боятся. Бог их ведает, что они тут вытворяют в темноте!

Марко рассвирепел.

— Дьявол бы их побрал вместе со всеми бунтовщиками! — проворчал он, почесывая затылок.

Но он не погасил свечи и, окинув взглядом чулан, пробормотал с непередаваемым выражением лица:

— Безумцы, безумцы!.. Только бы они остались живы!

И закрыл дверцу чулана.

Подойдя к божнице, он принялся бить земные поклоны перед образами, творя молитву, которой не найти ни в одном молитвеннике... Он молился за Болгарию!..

XVI. ОПЬЯНЕНИЕ НАРОДА

Весна все больше вступала в свои права, и так же быстро, гигантскими шагами надвигалась революция. Вся Западная Фракия — главный очаг восстания — этой весной походила на вулкан, издававший глухой гул,— предвестник извержения. Апостолы и агитаторы ездили по горам и долам, вдоль и поперек всей страны, организуя борьбу. И всюду их встречали с распростертыми объятиями, с открытыми сердцами. Народ, жадно впитывая великое слово свободы, горел нетерпением скорее тронуться в свой крестный путь.

Длинная вереница предтеч-сеятелей уже вспахала духовную пашню Болгарии и бросила в нее семена национального самосознания. Эта замечательная вереница, которую открывал монах Паисий и замыкал дьякон Левский — оба святые,— уже засеяла и удобрила ниву, и первый благословил ее с высоты Афона, а последний — с высоты своей виселицы. Двадцать лет назад, когда Раковский в одной деревне осмелился заговорить о восстании, он едва спасся от погони, переодевшись в женское платье. Теперь же народ, узнав, что в деревню идет апостол, не только не устраивал облав, но посылал ему навстречу депутацию. И люди, слушая его вдохновенные речи, жадно глотали каждое слово, как пересохшее горло — кристально чистую струю ручья. И когда им говорили: «Будь готов пожертвовать своей жизнью!» — церковь отдавала родине священника, школа — учителя, поле — пахаря, мать — сына. Всюду со стихийной силой проникали освободительные идеи, охватывая всех и все — и горы, и равнины, и хижину бедняка, и келью отшельника. Даже чорбаджии — этот заклейменный класс, постоянный тормоз поступательного движения народа — поддались обаянию идей, волновавшей умы окружающей их среды. Правда, они принимали небольшое участие в патриотическом движении, но и не препятствовали ему, не становились на путь предательства. Предательство, подлость со стороны всех и вся явились уже после катастрофы, как ее неразлучные спутники, ее исчадия.

Напрасно некоторые в ущерб исторической истине и не беспристрастно пытаются приписывать это всеобщее воодушевление только тем слоям населения, ноги которых обуты в царвули. Напрасно! Революционный дух, этот огненный небожитель, осенил своим крылом и обутых в царвули, и студентов, и крестьянские шапки, и городские шляпы, и фесы, и камилавки. Как и во всякой прогрессивной борьбе, в Болгарии наука и крест,— иначе говоря, дух,— стояли в первом ряду. Мартиролог новых болгарских мучеников доказывает это неопровержимо. Правда, и вначале и в дальнейшем главным контингентом были народные массы. Но они дали только то, что могли дать: численность. Нужна была интеллигенция, чтобы осмыслить и одухотворить борьбу...

Воодушевление росло и захлестывало всех. С каждым днем оно возрастало, а вместе с тем и подготовка к восстанию принимала все более широкий размах. За работу взялись и стар и млад. Крестьяне, не допахав пашни, начинали лить пули; горожане пренебрегали своими торговыми делами. Тайная почта денно и нощно сновала между местными комитетами и центральным комитетом в Панагюрище, а тайная полиция повстанцев следила за явной, турецкой. Молодежь отправлялась на военное обучение с ружьями, под командой сотников и десятников; женщины набивали гильзы, ткали обмотки и плели для них веревки, а старухи пекли хлеб на сухари; сапожники шили сумки, царвули, патронташи и прочие предметы повстанческого снаряжения; сами сельские старосты, сборщики податей и прочие официальные лица принимали деятельное участие в подготовке. Во всех селах росли склады оружия, пуль, пороха,— причем порох доставляли сами турки; черешневые стволы, просверленные, обтесанные, скрепленные железными обручами, образовали артиллерию! А шелковые знамена с расшитыми серебряной мишурой ревущими львами, вычурные повстанческие одеяния, блестящие облачения духовенства, кресты и хоругви составляли декоративное оформление наступающей борьбы. Всеобщее опьянение отразилось и на детских играх. Мячи, волчки и прочие игрушки были заброшены, и ребята играли на улице уже не в «чижика», а в военное обучение, мастеря себе ружья из жести, а сабли — из дерева... Глядя на них, старики с удивлением говорили: «Это перст божий...» Но небесных знамений, предрекавших бурю, не было, если не считать грозного пророчества: «Турция ке падне — 1876», обошедшего страну и смутившего умы самых безнадежных скептиков... Напротив, весна в том году была очень ранняя, и вся Фракия превратилась

в райский сад. Розовые плантации расцвели так пышно, так чудесно, как никогда. Поля сулили обильный урожай; но ему суждено было остаться неубранным...

И за несколько дней во мгле лихолетья
Вырос народ на десяток столетий...

Агитация велась так открыто и бесцеремонно, вооружение и подготовка к восстанию сопровождались таким шумом, что телячью безмятежность турецкого правительства можно было объяснить только его слепотой и презрением к возросшим силам порабощенных. «Заячья суматоха!» — говорили благодушные эфенди. «Это — те же Даживейлердены»,— твердили горделивые турецкие правители, пренебрежительно ухмыляясь в усы. Есть слова, характеризующие целую эпоху. «Даживейлердены» были живым воплощением народного самосознания и вышли победителями из тридцатилетней борьбы за церковную независимость. Но «Даживейлердены», которые в 1870 году провозгласили здравицу в честь самостоятельности болгарской экзархии, в 1876 году стали бунтарями, лили пули и делали пушки, чтобы провозгласить здравицу в честь болгарской свободы.

Этой метаморфозы турки не поняли. Они не умели идти в ногу с временем и предвидеть, к чему поведет развитие идей. Да если бы и предвидели — все равно было бы уже поздно: у них не было ни такой обширной темницы, ни такой длинной цепи, чтобы им удалось заточить и сковать гигантскую идею — этого незримого Крали Марко, способного перевернуть горы.

Потомству суждено было поражаться всем этим. Да что говорить о потомстве? Мы сами, сыны этой эпохи, но уже отрезвевшие благодаря многим историческим примерам, поражаемся и недоуменно спрашиваем себя, что же это было за умственное опьянение, что за божественное безумие, если народ готовился к борьбе с грозной империей, еще обладавшей крупными вооруженными силами? Готовился в надежде сокрушить эту империю такими до смешного ничтожными средствами... Готовился сразиться с нею лицом к лицу, в самом ее сердце, в «чреве адовом», как сказал когда-то Марко Иванов, не обеспечив себя никакими союзниками, кроме энтузиазма, этой соломы, что, не успев вспыхнуть, гаснет, кроме иллюзии, этого призрака, превращающегося в ничто. История редко дает нам примеры такой самонадеянности, граничащей с безумием. Болгарский национальный дух никогда еще не поднимался и вряд ли когда-нибудь поднимется до такой высоты...

Мы особенно подробно останавливаемся на этой прелюдии

борьбы, ибо только она поражает нас, служа мерилом мощи великой идеи, попавшей на благоприятную почву. Сама борьба, последовавшая за подготовительным периодом, не заслуживает такой оценки...

Мы и не собираемся ее описывать. Рассказ наш поневоле ограничится одним из эпизодов этой борьбы — эпизодом, который будет описан ниже и послужит иллюстрацией поражения революции, чудовищного краха самых светлых ее надежд...

XVII. ПОЩЕЧИНА

Через день после того, как мы проследили путь Марко Иванова от пушечной мастерской Калчо до арсенала в его собственном доме, в прокуренной кофейне Ганко гремел веселый хохот.

Вызвал его Иванчо Йота. Дело было так: читая в газете «Право» статью об австрийской политике на Востоке, Франгов запнулся на фразе «Drang nach Osten», а Иванчо Йота объяснил, что эти слова означают: «Друг наш Остен».

В кофейне раздался оглушительный хохот.

Не смеялся один лишь Кандов, молча сидевший в углу. Казалось, он не видит и не слышит того, что творится вокруг. Должно быть, мысли его витали в иных сферах. Его худое, бледное, задумчивое лицо было печально, даже скорбно: он казался больным, тяжело больным, и весь его облик представлял разительный контраст с беззаботными, улыбающимися лицами окружающих.

Внезапно смех умолк, так как в эту минуту толпа повалила из церкви, и завсегдатаи кофейни кинулись к окнам поглазеть на проходивших мимо расфранченных мужчин и женщин.

Среди них промелькнула и Рада.

Она была в скромном черном платье, но щеки ее алели, как пионы. Девушка расцвела от счастья и притягивала к себе все взгляды; но многие из них были недоброжелательны, иные даже исполнены презрения, потому что в последние дни о Раде стали говорить очень нехорошо.

Хаджи Ровоама пустила слух, будто Рада поздней ночью принимает переодетых любовников. Клялась, что видела это собственными глазами.

На самом деле кто-то случайно видел,— хоть и не узнал,— Огнянова, когда тот выходил из комнаты Рады. Слух этот дошел до монахини, и она постаралась разгласить его по всему монастырю.

Из монастыря слух быстро перелетел в город. Сплетницы жадно подхватили его: имя Рады не сходило с языка городских болтушек и врагов Огнянова, мстивших этим его памяти.

Одна Рада ничего не знала.

Поглощенная своим счастьем, она не могла угадать ни по взглядам соседей, ни по лукавым усмешкам кумушек, что стала жертвой жестокой клеветы.

Кандов был вне себя от возмущения.

Не успела Рада пройти мимо кофейни, как Стефчов нагнулся и с ехидной улыбкой шепнул что-то Мердевенджиеву. Певчий повернулся, проводил взглядом удалявшуюся девушку и лукаво подмигнул. По кофейне пошел шепот, вызывая на лицах злобную усмешку. Торжествующий Стефчов этим не удовлетворился: он издевательски продекламировал стих из популярной революционной песни:

Где же ты, верная любовь народная? —

и кашлянул с наглым видом.

Поняв, куда метит его удар, некоторые многозначительно переглянулись. Стефчов искусно подкинул им тему для разговоров. Посыпались шутки, колкости, язвительные остроты по адресу бедной девушки.

До сих пор Кандов терпеливо слушал все эти пересуды, но сейчас он перестал владеть собой.

— К кому относятся ваши насмешки? Может быть, к Раде Госпожиной? — спросил он Стефчова.

В кофейне наступила тишина.

— Тебе какое дело? Ну, а если к Раде Госпожиной, что тогда? — вызывающе ответил Стефчов.

— Если ты ее имеешь в виду, так я тебе прямо скажу: ты клеветник и низкий человек! — воскликнул студент, задыхаясь.

— Я ли низкий человек или ты — об этом пусть люди судят. Что касается клеветы на Раду Госпожину, то это уж ты извини! Спроси любую собаку и та знает... Я бы тебе не советовал трудиться защищать опозоренную девушку... В этом случае смешно выставлять себя кавалером!

Кандов вскипел. Бледный, весь дрожа, он вышел на середину кофейни.

— Ты грубо нападаешь на беззащитную девушку! — закричал он.— Возьми свои слова обратно!

— А ты мне докажи, что неделю назад твоя девица тайком не принимала гостя... Девушка, которая...

Стефчову не пришлось докончить фразу.

— Этот тайный гость, мерзавец ты этакий, был ее жених Бойчо Огнянов! — крикнул Кандов и ударил Стефчова по лицу.

Звук оплеухи раздался в кофейне.

Ошеломленный Стефчов сначала отлетел в сторону, потом кинулся на Кандова; студент поднял свою палку.

Но тут их разняли. В кофейне поднялся шум. Снаружи у окон собиралась толпа любопытных.

Стефчов выскочил из кофейни с покрасневшей щекой, обезумевший от ярости. Решив на этот раз отомстить и Кандову и Раде, он побежал прямо в конак, чтобы заставить бея допросить их насчет Огнянова. Даже если студент вздумает увертываться и все отрицать, девушка будет окончательно опозорена; а ведь из-за нее-то сегодня и вышел скандал.

Но на улице Стефчов встретил своего слугу, и тот сказал, что из Пловдива приехал врач, приглашенный к тяжело больной Лалке. Стефчов поспешил домой.

XVIII. КАНДОВ

Слова Кандова, сказанные перед пощечиной, поразили всех присутствующих, и особенно Стефчова. Они прозвучали как гром среди ясного неба. Однако выходка разгорячившегося студента не имела для него дурных последствий.

Между тем некоторые прозорливцы догадались, что вспышка Кандова объясняется не только рыцарским складом его характера, но и другой, более глубокой причиной. Им казалось неестественным, чтобы студента мог обуять и довести до крайности неудержимо страстный гнев из-за какой-то совершенно посторонней девушки; значит, тут не обошлось без побуждений личного характера. И по этому поступку, и по разным другим признакам, никогда не ускользающим от внимательного наблюдателя, многие догадались, что сам Кандов неравнодушен к Раде Госпожиной.

И они не ошиблись. Кандов был влюблен в Раду.

Как это могло случиться?

Очень просто.

Молодой студент был из тех пламенных людей, которые находят смысл жизни лишь в поклонении какому-нибудь идеалу. Такие натуры могут дышать только воздухом сильных чувств, страстных увлечений...

Молодой, горячий идеалист, Кандов вернулся в Болгарию, сбитый с толку крайними теориями и принципами, которые хороши лишь для чистых сердец, но опасны для людей порочных.

Первая же встреча с жизнью расшатала его заветные убеждения. Он увидел, что обстановка в Болгарии — весьма неблагоприятная почва для его религии. А преклонять колена перед разбитым кумиром он уже не мог.

Тогда он стал искать новый предмет для поклонения и сразу нашел его — его кумиром стала Болгария.

Но еще раньше в душе его поселилось другое божество — Рада.

Это случилось в прошлом году, вскоре после бегства Огнянова из Бяла-Черквы. Чувство Кандова, вначале очень слабое, становилось все глубже, все сильнее и скоро перешло в страсть, захватившую его целиком. Кандов мало-помалу начал чуждаться окружающих людей и их интересов, избегать людского шума и суеты, погружаться в мечтательную апатию. Оживлялся он только при виде Рады. Так продолжалось до весны. Но в один прекрасный день он одумался, встряхнулся и восстал против себя самого. Страсть к Раде стала казаться ему подлостью, подлостью по отношению к Огнянову, его другу, и преступлением против Болгарии, которой он обязан был посвятить себя всецело.

Кандов испугался самого себя и решил как можно скорее заглушить, смыть, вытравить из своей души это чувство. Он понял, что только другое, еще более сильное чувство может спасти и возродить его. И он решил весь отдаться предстоящей борьбе, кинуться навстречу неизвестности и опасностям, чтобы потонуть в этих бурных волнах, чтобы упиться раскаленной атмосферой безумного воодушевления и революционного пафоса... Он хотел изгнать черта при помощи дьявола.

Тогда-то он, как мы видели, неожиданно явился к Соколову с просьбой принять его в члены комитета и с предложением убить Стефчова.

Именно убийство предателя, дело новое для Кандова, сопряженное с тяжкими переживаниями, но в конечном счете благородное, особенно привлекало его. Все свои надежды возлагал он на это убийство,— оно казалось юноше горнилом, из которого душа его выйдет обновленной и бодрой; кроме того, оно принесет смерть не только предателю, но и другому врагу, живущему в его собственной душе,— обаятельному образу Рады.

Да, прежде всего убийство, крещение кровью и революцией... Страшный, но решительный шаг к избавлению...

И когда мысль об убийстве предателя зародилась в мятущейся душе Кандова, он, прежде чем сказать об этом председателю комитета, много ночей подряд вынашивал ее в своем

сердце, пестовал любовно и заботливо, как мать обожаемого ребенка... Долгими бессонными ночами он отдавался этой мечте, строя всевозможные планы убийства Стефчова, и эти пламенные мысли поглощали его целиком, овладевали всем его духовным миром, не пуская в него никакие другие чувства, никакие другие интересы. Кандов вспомнил о Раскольникове: герой Достоевского тоже задумал убить ростовщицу на благо человечеству, и какое это вызывало сочувствие, как это волновало душу! Оба они, и Кандов и Раскольников, попали в одинаковое положение. Кандова это случайное совпадение ободряло, увлекало, восхищало... Раскольников казался ему светлым, вдохновляющим примером для подражания, идеалом. Юноша даже решил убить Стефчова тем способом, каким Раскольников убил старуху: он пришьет веревку одним концом к подкладке своего пальто, под мышкой, и к ней привяжет топор. Так никто не догадается, что он несет смертоносное оружие.

К счастью или к несчастью, казнь предателя была отложена, и план Кандова рухнул, словно карточный домик. Сначала студент пришел в отчаяние... Но впереди была революция, грозная, огненная, как апокалипсический зверь, и это утешало юношу... Однако борьба в его душе продолжалась, обостряясь все более. Как ни страстно он отдался делу революции, мысль о Раде не оставляла его. Ее образ предательски выглядывал из-за образа родины; он глубже вошел в душу Кандова, вид у него был самоуверенный, и он с жалостью смотрел на временного гостя, который вошел в дом, где хозяйкой была она, Рада.

Как было бы хорошо, если бы душа его могла вместить обе эти привязанности — одну, внушенную волей и разумом, другую — голосом природы, могла согласовать их, уравновесить и ослабить каждую при помощи другой... Он удивлялся, как может Огнянов одинаково пламенно любить и Болгарию и Раду и, раздваиваясь, всегда быть бодрым и сильным, спокойным и даже счастливым... Какая же у него богатая и сильная натура, думал Кандов, если он легко дышит под бременем двух таких всепоглощающих страстей, черпая в них новое мужество, и они не противоречат одна другой, а окрыляют его!

Как завидовал Кандов смешной страстишке Мердевенджиева, которому стоило услышать медвежий рев, чтобы сразу же исцелиться!

Теперь, дав пощечину Стефчову, Кандов почувствовал, что попал в страшное положение. Он посвятил себя Болгарии, а влюбился в Раду. Значит, Огнянов, его товарищ по образу мыс-

лей, теперь оказался его соперником. Идея связывала его с Огняновым, страсть разделяла их...

Смело, хотя и буйно отплатив за оскорбление, нанесенное Раде и ее чести, Кандов тем самым отомстил и за Огнянова!

Непримиримое противоречие!

Это была ожесточенная борьба, но длилась она недолго.

Победу одержало сердце. Иначе говоря, природа взяла верх над духовным миром.

Кандов целиком отдал себя во власть своей новой любви.

В житейское море он окунулся прямо с университетской скамьи и теперь чувствовал себя как человек, упавший с неба на землю. Доверчивый и еще не затронутый жизненными невзгодами, он не был подготовлен к встрече с ними. Первое, что обрушила на него злая судьба, была эта любовь. Он предался ей с той же беззаветной страстностью, с какой раньше отдавался идеалам социализма. Разница была лишь в том, что тогда он подчинялся мозгу, а теперь — сердцу, этому сорванцу, на которого не влияют ни рассудок, ни опыт, ни мудрость всех философов.

Другое дело, могла ли его страсть найти отклик, иначе говоря, могла ли она принести ему счастье — такое же большое, как она сама? Или, может быть, тягчайшим страданиям, горчайшим разочарованиям предстояло отравить его жизнь?..

Ни один влюбленный не задавал себе таких вопросов. А если бы задавал, он не был бы влюбленным.

В грамматике любви нет вопросительных знаков.

В довершение всего сердце Рады не было свободно, и Кандов это знал. Но он не хотел этого видеть и пылал по-прежнему.

Любовь слепа. Недаром древнегреческое искусство часто изображало крылатого бога любви с завязанными глазами.

Пока Рада считала Огнянова погибшим, она была так подавлена горем, что ей и в голову не приходило придавать какое-то значение посещениям студента, вначале довольно редким. Однако мало-помалу эти посещения, а также как бы случайные — а на самом деле умышленные — встречи все учащались. Время шло, а Кандов по-прежнему встречался с Радой. Наконец Рада, со свойственной женщинам догадливостью, заметила, что студент увлекается ею. С каждой новой встречей признаки этого зародившегося и беспрерывно растущего чувства становились все более заметными.

Сначала Рада была только удивлена и смущена; потом стала делать вид, будто ни о чем не догадывается,— кто знает, быть может, ухаживанье студента даже льстило ее самолюбию; в

конце концов все возрастающая сила этой горячей привязанности потрясла девушку до глубины души. Но, робкая и стыдливая, она не нашла в себе смелости резко охладить пыл Кандова или отказать от дома поклоннику, деликатность которого соперничала с его искренностью.

Эти качества обезоруживали девушку.

Только человеку типа Стефчова могла бы она осмелиться дать пощечину.

Рада не знала, что делать.

Она по-прежнему радушно принимала Кандова, как товарища Бойчо и человека благородного. Встречая его приветливо и стараясь исцелить его недуг огнем своих черных глаз, бедняжка воображала, что облегчает его страдания, всей силы которых не подозревала. Плохой лекарь! Ни она, ни Кандов не знали, что единственное спасительное лекарство от таких недугов — это разлука.

«С глаз долой — из сердца вон»,— гласит болгарская пословица.

XIX. УТРЕННИЙ ВИЗИТ

После скандала со Стефчовым Кандов вернулся домой чрезвычайно взволнованный. Он заперся у себя в комнате и до самого вечера читал, прерывая чтение лишь для того, чтобы делать карандашные пометки на полях книги.

С головой уйдя в эту работу, он совсем позабыл про обед... Мать звала его к столу, но он отговорился головной болью. И вечером он не прикоснулся к еде. Несколько часов он пролежал на тахте, глубоко задумавшись, устремив глаза в потолок. Когда настала ночь и дневной шум утих, Кандов встал, сел к столу и начал писать письмо. Он писал до полуночи. Потом снова бросился на тахту, но не затем, чтобы уснуть,— ему сейчас хотелось помечтать. Свеча горела до рассвета. К утру Кандов забылся. Первые лучи солнца, проникнув в комнату, упали на него. Он очнулся и открыл глаза, усталые от бессонной ночи. Подойдя к столу, он перечитал письмо, сложил его вчетверо и принялся искать конверт, но не нашел его и снова положил письмо на стол.

— Сейчас или когда-нибудь потом? — пробормотал он.

И постоял с минуту в раздумье.

— Нет, потом... потом отдам ей... когда увижусь с нею,— решил он.

И, собираясь выйти, он быстро стал приводить себя в порядок.

Только очутившись на улице, Кандов понял, что еще очень рано. Солнце стояло низко над горизонтом; дом, в котором жила Рада, отбрасывал тень на дом, стоящий напротив... Кандов по опыту знал, что, когда тень уползает до канавки на середине улицы, девушка выходит поливать огород своей хозяйки Лиловицы. В это время Рада уже бывает одета, и в такой час можно проситься в гости. Кандов несколько раз прошелся по улице из конца в конец, поглядывая то на тень, то на ограду дома Лиловицы. (Рада занимала комнату в глубине двора.) Но тень невыносимо медленно сползала со стены противоположного дома, и почти вся улица была еще затенена... «Значит, пройдет не меньше часа, прежде чем солнце осветит половину улицы»,— думал Кандов и, заложив руки за спину, продолжал ходить взад и вперед. Вскоре он свернул на другую улицу, не желая привлекать к себе внимание прохожих, которые встречались все чаще и чаще. Солнце уже заливало яркими лучами всю Стара-планину, холмы за городом, черепичные крыши домов, белые печные трубы и те окна, что выходили на восток. Содержатели кофеен — ранние пташки! — уже открыли свои заведения; бакалейщики в фартуках подметали мостовую перед своими лавчонками; бахромщики хлопали связками шнуров по каменным плитам у источников; по улицам сновали люди. В городе началось оживленное движение, и его разнообразные шумы слились в единый гул.

Но Кандов ничего этого не замечал. Ни солнце, ни шум, ни прохожие, ни закипевшая кругом жизнь не привлекали его внимания. Его глаза были прикованы к одному — к тени; о ней одной он думал, ее исчезновения ждал. А край тени все приближался к канаве — этому заветному рубежу, суля конец мучительным, страстным волнениям юноши, конец минутам ожидания, долгим, как века. Наконец тень сползла и с канавы, оставив другую половину улицы залитой ярким светом. Кандову показалось, будто солнце только что взошло... Быстрыми шагами направился он к воротам бабки Лиловицы. Он смотрел на эти старые, обветшалые дубовые ворота, низкие и обитые гвоздями с большими расплющенными шляпками, которые настолько заржавели, что казались просто пятнами на досках... Кандов знал эти шляпки наперечет, знал все щели и трещины в досках, помнил, каким резким скрипом, похожим на рычание пса, скрипят ворота, когда их отворяют. Эти ворота были для него как бы живым существом, с глазами, ушами, голосом... Как болезненно, жутко и сладостно отдавался в его сердце их скрип всякий раз,

как он входил в этот двор! Как холодно, неприветливо и зловеще, словно удары клепала, возвещающие о смерти человека, пронизывали его душу эти звуки, когда он уходил и ворота захлопывались за ним!..

Но вот ворота открылись. На улицу вышел какой-то крестьянин в шароварах и шапке. Кандов хотел было спросить его о Раде, но постеснялся. Он смотрел на этого простого человека с волнением, чуть ли не с завистью. И продолжал гулять по улице. Прошло еще некоторое время. Ворота снова открылись, и на этот раз сердце у Кандова застучало.

Со двора вышли Рада и бабка Лиловица. Они быстро пошли вверх по улице. Только сейчас Кандов услышал звонкие удары клепала. «Вероятно, сегодня какой-то праздник,— подумал он,— и они пошли в церковь». Он стоял как вкопанный, следя глазами за удалявшейся девушкой. Рада его не заметила,— глаза ее были опущены и когда она выходила из ворот, и когда повернулась, чтобы пойти по улице. Кандов невольно отметил, что сегодня она в новом черном платье, что она сняла свой ситцевый серый передничек с белыми горошинками и листочками, который всегда носила. Но какой яркий румянец играл на ее лице, таком строгом и таком пленительном!

Долго ждал студент ее возвращения... Прошел час, другой. Кандов негодующе прислушивался к ударам клепала, которые то умолкали, то раздавались снова,— и эти сухие, звонкие и какие-то назойливые звуки невыносимо раздражали его и наконец довели до отчаяния.

— Что за черт? Какой сегодня праздник? — злобно повторял он.— Куда она ушла с этой противной старухой? На что нужно это дурацкое клепало? Зачем эти вечные праздники? До праздников ли теперь людям? К чему мне праздники, эти пережитки идолопоклонства?

Такого рода восклицания время от времени вырывались из уст Кандова, и он все ходил и ходил по улице. Но Рада не возвращалась.

Солнечный свет давно уже перешагнул канаву, завладел второй половиной улицы и, вскарабкавшись на стену дома бабки Лиловицы, дополз до самого карниза. Прохожие сновали взад-вперед по улице, но ни Рады, ни ее старухи хозяйки среди них не было. А клепало все било и било.

— Да что это за странный праздник такой? — снова злобно прошептал студент.

Впрочем, он, в сущности, и не хотел узнать, в чем дело. Обратись он с вопросом к первому встречному, все объяснилось

бы. Но зачем спрашивать? Кандов давно уже потерял счет дням, давно не замечал лета времени. Весна была в самом расцвете, но он и ее не замечал. Да и на что ему весна, ее возмутительная красота, ее коварное очарование, когда в душе бушует такое море страданий!.. У природы прямо-таки бесстыдный вид: она точно насмехается над ним!.. И он с отвращением плюнул... надо полагать — в лицо природе.

Но вскоре Кандов получил ответ на все свои нетерпеливые восклицания.

XX. КАНДОВ НЕДОУМЕВАЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ

С соседней улицы послышался визгливый хор детских голосов. На их фоне громкий и низкий мужской голос выводил какое-то монотонное, протяжное церковное песнопение. Необычный хор приближался, пение звучало все громче. Вскоре показалась вереница детей с фонарями, хоругвями и длинными белыми восковыми свечами, перевязанными черными ленточками; вслед за нею толпой шли другие дети в сопровождении учителя пения Мердевенджиева и наконец священники в облачениях. Воздух наполнился запахом ладана.

Это хоронили страдалицу Лалку, скончавшуюся ночью.

Чуть не весь город вышел проводить ее останки на кладбище. Смерть этой молодой, цветущей женщины наполнила скорбью все сердца. Желая почтить покойницу, люди пришли проститься с нею и проводить ее в последний путь — к могиле. Ни озлобление против ее отца, ни ненависть к ее мужу никого не остановили. Кроткую, мягкосердечную Лалку очень любили, и ее образ вытеснил сейчас из душ людей все суетные, недобрые чувства. Убитый горем отец не пожалел денег, чтобы устроить похороны как можно пышнее и богаче, а громадная толпа, шедшая за похоронной процессией, придавала ей торжественный и трогательный вид. Надо сказать, однако, что столь многочисленная толпа собралась главным образом потому, что в городе узнали по слухам о причинах болезни и смерти Лалки. Бедняжка перед смертью во всем открылась своей сестре Гинке, и та не сумела скрыть ее признания от людей. Мысль о страданиях несчастной вызывала слезы на глазах всех женщин; плакали даже мужчины, не знакомые с семьей Юрдана. Вся городская молодежь пришла на похороны во главе с членами комитета, глубоко потрясенными и грустными. Они и несли ее гроб.

Когда процессия достигла площади, на которой торчал Кандов, гроб поставили на землю, чтобы снова прочитать

молитву. И тут Кандов увидел, кого хоронят. Он сразу узнал Лалку.

Она лежала в гробу тихая, спокойная и, казалось, спала. Красивые длинные ее ресницы были опущены, лицо приобрело белизну мрамора и едва выделялось на фоне белой пуховой подушечки, в которой тонула голова; маленькое тело исчезло под грудой венков и весенних цветов — прощального дара от молодых женщин и девушек... На плечи Лалке положили по букету редкостных белых роз; такие же розы, посаженные ею самой, украшали ее волосы. Руки ее, белые и прекрасные, как у мраморной статуи, были сложены крест-накрест на шелковом венчальном платье, а на впалой груди лежала икона успения пресвятой богородицы. Благоухание цветов, смешанное с ароматом смирненского ладана, наполняло всю площадь и дурманило головы.

Как только гроб поставили на землю, мать с душераздирающим воплем бросилась к покойнице, обняла ее обеими руками и, как безумная, зарылась лицом в гущу цветов и тканей. Она начала причитать, лепеча какие-то невнятные, недосказанные, безумные слова материнской любви и отчаяния,— слова, что ледяными иглами пронизывают сердце и заставляют волосы шевелиться на голове. Каждое ее слово было как вырванный кусок сердца, каждый крик — море страданий и неизбывной боли. Плач и причитания звучали все громче; родные и чужие, с мокрыми от слез лицами, закрывали платками губы, чтобы не разрыдаться во весь голос. Сестра покойницы, Гинка, очень хорошенькая в своем траурном платье, рыдала неудержимо. Ее отца поддерживали с обеих сторон, и он, разбитый и обессиленный, качал побелевшей головой. Стефчов стоял у самого гроба с обнаженной головой, закрыв глаза платком. Он не плакал, только его лицо, обычно землистое с красноватым оттенком, теперь побледнело. Словно в каком-то забытьи, он бросал вокруг себя невидящие взгляды... Невдалеке над толпой возвышалась русокудрая голова Соколова. Глаза его были устремлены на мертвую Лалку. Он так смотрел на нее, как будто старался вобрать в себя и запечатлеть в душе образ бедной страдалицы, которую он страстно любил и которая любила его... Они могли бы быть так счастливы! Но этого не захотела судьба!.. И вдруг он увидел рядом с собой Стефчова. Глаза их встретились. Пронзая врага уничтожающим взглядом, Соколов громко сказал:

— Это ты, подлец, погубил эту женщину! Ты дашь за нее ответ — сначала мне, потом богу!

Чтение молитв окончилось. Снова раздался вопль матери.

Гроб подняли, и шествие тронулось дальше. Кандов, почти сам того не заметив, присоединился к толпе. Лицо его не утратило своего равнодушного выражения. Трогательное зрелище, свидетелем которого он был, ничуть не взволновало его. Напротив, он обрадовался, решив, что Рада, подруга Лалки, без сомнения, находится здесь. Значит, он ее увидит... Мрачная и бесконечно длинная похоронная процессия вызвала у него лишь одну эту мысль. Он озирался по сторонам, ища глазами Раду в толпе женщин, но Рады нигде не было видно. Взгляд его задерживался на каждом черном платье, на каждом красивом лице, но Рады не находил... Кандов приостановился, чтобы пропустить мимо себя участников шествия; но напрасно его ястребиный взгляд обшаривал толпу, что рекой текла мимо, напрасно пронизывал ее в поисках Рады... Вдруг Кандов увидел бабку Лиловицу и стал смотреть, нет ли возле нее Рады. Но Рады не было и здесь!.. Сердце у него заныло. Как? Рада, подруга Лалки, не пришла на ее погребение? Не может быть, не может быть, не может быть! И он опять принялся сновать в толпе, разыскивая девушку и не находя ее. Почему же нет Рады? И где она? Ведь она вышла вместе с бабкой Лиловицей! Где же оставила ее бабка Лиловица, одну и в такое время? Могут ли быть сегодня у Рады более важные дела, чем проводы любимой подруги в последний путь?.. Или она здесь, но он ее не видит, потому что у него затуманены глаза? Но ведь старуху-то он видит! Не пойти ли спросить ее?.. Нет, нельзя. Это неприлично, безумно!.. Бедный студент и не подозревал, что его ищущий взгляд, его суетливые метания среди печальной процессии были уже неприличны и привлекали всеобщее внимание...

Когда процессия свернула в узкий переулок, в конце его раздались звуки кларнета и бой барабана,— навстречу, извиваясь, двигался веселый хоровод. Это веселье перед лицом скорби показалось людям чем-то безобразным и святотатственным. Лица многих провожающих отразили гнев и возмущение. Но в этот миг музыка умолкла, хоровод рассеялся и исчез, словно по мановению волшебного жезла... Снова воцарилась тишина; звучали только голоса детей и Мердевенджиева, певших заупокойные песнопения... Кандов, замыкавший процессию, услышал громкий шум шагов и невольно обернулся. Он увидел Редактора и еще нескольких человек, покинувших хоровод, чтобы присоединиться к шествию. Редактор, в фесе набекрень, был пьян и чрезвычайно взволнован. Вместе с товарищами он торопился добежать до хвоста процессии. Кандов услышал сиплый голос Беспортева, говорившего на ходу:

— Идем, идем! Не будьте ослами, идем, приложимся к ее ручке!.. И скажем: «Прощай, сестра! Царство тебе небесное!» Потому что... кто умрет за народ, тот бессмертен! Понимаете, ослы вы этакие?.. Ежели вы пьяны,— возьмите себя в руки! И когда я прикажу, опустите свои пустые головы, поклонитесь ей... Она — святая душа. Скажи мне: сколько есть таких на свете? А предателям нет числа, как песчинкам в море... Но вы моря не видали, а потому не будьте ослами и слушайте, что вам человек говорит...

Но, не успев окончить эту тираду, Редактор заметил Рачко, бегом пронесшегося мимо,— он что-то нес в церковь.

— Эй, ты, погоди! — повелительно зарычал Редактор.— Повремени-ка, надо тебя спросить кое о чем... Глядите, вот он — шпион Стефчова,— добавил он, обращаясь к своим спутникам.— Смерть таким мерзавцам!

При виде разъяренного лица Редактора Рачко пустился наутек.

— Держи его! — заревел Беспортев.— Давай-ка спросим его, по какому праву он всю улицу провонял своим именем!

И гуляки погнались за несчастным Рачко. Плюгавый, легкий как пушинка, Рачко бежал быстро и оставил своих пьяных преследователей далеко позади. Скоро он и они исчезли за поворотом улицы.

Кандов взирал на все это рассеянно и безучастно. Поникнув головой, он бессознательно поплелся вслед за процессией и вскоре вместе со всеми вошел в церковь.

XXI. ОТПЕВАНИЕ

Толпа, все возраставшая, потоком хлынула с улицы в церковь, заполнив ее до отказа.

Гроб поставили против архиерейского кресла на четырехугольную мраморную плиту с высеченным на ней двуглавым орлом, и он стал центром, вокруг которого толпился народ с зажженными восковыми свечами.

Заупокойная литургия началась торжественно; синие облака курений поднимались из кадильниц к сводам; перед алтарем стояли большие подсвечники с горящими свечами, зажгли все люстры, так что вся церковь была залита светом. Весь этот блеск должен был хоть немного утешить убитое горем семейство Лалки.

Для этой же цели пригласили учителя Климента произнести

надгробную речь. Как богослов, он владел даром красноречия и умело пользовался цитатами из Священного писания. Но он отказался говорить, ссылаясь на недомогание. Тогда стали просить Франгова. Немного поколебавшись, он согласился и поднялся на вторую ступеньку архиерейского кресла. Священники прервали пение, и в церкви наступила тишина.

Очень взволнованный, учитель устремил глаза на покойницу и начал громким, но дрожащим голосом:

— Братья и сестры!

Однако он был тотчас же вынужден прервать свою речь. У выхода творилось что-то странное. Народ, стоявший у дверей, почему-то засуетился, заметался; послышалось тревожное шушуканье, затем — громкий испуганный говор. Волнение, перекатываясь все дальше в глубь храма, вскоре достигло передних рядов, стоявших у гроба. Сумятица была невообразимая.

— Идут! — кричали одни.

— Ой, ой, ой, матушки, идут! — визжали тут и там женщины.

— Кто идет? — откликались мужчины.

— Турки! Турки!

Началась паника: визг, вопли, истошные крики оглашали дом божий. Люди, как перепуганное стадо, бросились бежать кто куда, не зная, где скрыться. Плотная толпа сбилась вокруг чорбаджи Юрдана и Стефчова. Каждый рассчитывал, что возле этих людей, наиболее влиятельных среди турок, он скорей найдет защиту и будет пощажен вместе с ними. Прочие, а их было большинство, бросались из стороны в сторону и с криками метались по церкви как безумные. Молодые женщины со стонами без чувств падали наземь, но никто не приходил им на помощь; какие-то старухи оказались на ступенях алтаря и были растоптаны. Безумный ужас отражался на всех лицах; у многих они были белее и мертвеннее, чем у Лалки.

Один Кандов оставался безучастным. Стиснув руки, он неподвижно стоял у гроба и скорбно смотрел на покойницу.

Но вот с верхней галереи послышался голос Соколова:

— Не пугайтесь, ничего не случилось!

Он еще в самом начале паники поднялся на галерею, чтобы посмотреть из верхнего окна, что творится снаружи, на площади, но не обнаружил ни малейших признаков тревоги. Никаких турок не было; только Редактор и его дружки поднимались на паперть. Стараясь успокоить народ, Соколов охрип от крика, но в шуме и сутолоке голоса его не было слышно.

Однако вскоре ему стали вторить другие голоса:

— Успокойтесь, люди добрые, все благополучно!

— Кто же нас напугал? — крикнул кто-то.

— Кто обманул народ?

Пыхтя и отдуваясь, в церковь ввалился Редактор со своими собутыльниками. Они начали креститься, не подозревая, что паника произошла из-за них. Оказалось, что Рачко, убежав от погони, с перепугу кинулся в церковь и, когда какие-то старушки спросили, отчего он так бежит, крикнул:

— Идут!

— Кто идет?

— Капасыз и другие с ним! Много... много...

Толпа разобрала слова: «Капасызы... много... много...»

Этого было достаточно для людей, которые уже больше месяца ожидали нападения турок. Началась паника...

XXII. ФИЛОСОФИЯ И ВОРОБЬИНАЯ ЧЕТА

Не дожидаясь конца заупокойной обедни, Кандов вышел на улицу.

Странное дело! Он выходил из церкви немного ободренный. Вид смерти неодолимо смиряет всякое душевное волнение, связанное с земными интересами; зрелище тленности человека ослабляет нашу зависимость от мира земного. Заботы, пламенные привязанности, страсти, вожделения живых людей бледнеют и становятся призрачными и смешными перед бескрайными просторами вечности...

«Ну вот, эта Лалка умерла, теперь она уже только труп, а завтра превратится в прах. Как она побелела, какая она страшная... Умерла, умерла!.. А Рады в церкви не было!.. Да и зачем она, Рада? Странно, как ослепила меня эта девушка. Посмотрел бы на меня сейчас кто-нибудь, сказал бы, что я сумасшедший. А как знать, может, я и впрямь сошел с ума?.. Из-за чего? Из-за нее. Да кто же она такая, к чему мои бесконечные мученья, мои долгие бессонные ночи? Из-за чего все это? Из-за женщины, из-за второй Лалки, которая завтра тоже умрет и превратится в труп, в прах. Любопытно знать, мог бы я по-прежнему любить Раду, доведись мне увидеть ее вот такою же, в гробу, увидеть, как ее зарывают в могилу, червям на пропитание... Какая глупость, мерзость!.. Не правда ли? Да и в самом деле, кто такая эта Рада,— это ничто, ничто,— да, ничто! — заполняющее все мое существо, всю мою вселенную, мой рай, мой ад?.. Что она такое? Скелет, обложенный противным сырым мясом... Большая

куча костей, мускулов, крови, жил, волокон, нервов, сосудов, желез, тканей, суставов; и все это сегодня называется Радой, а завтра сгниет, превратится в прах, в тлен... Тьфу! И все это я люблю! Из-за этого я погибаю! Мой всемогущий дух, мой божественный разум, моя беспредельная мысль присосались к этому нелепому тленному куску, запутались в этой паутине!.. Страшно, безумно!.. И как это я не отрезвел раньше, не сказал себе: «Эх, Кандов, Кандов! У тебя — другое призвание, великое призвание, и нечего тебе вздыхать по какой-то юбке...» Какие широкие просторы лежат передо мною,— два огромных чудесных мира — наука и родина — раскрывают мне свои объятия... И сколько в них жизни, подвигов, чудес, борьбы и славы!.. Но я этого не вижу, а вижу лишь какое-то жалкое создание, о чьем существовании я бы и не подозревал, если бы мне не довелось встретить его; да и оно само, это создание, не понимает, для чего оно существует... Срам, срам, срам! Надо было мне увидеть мертвую Лалку, чтобы понять, к какому ничтожеству прикована моя душа. Но теперь она, как пробудившийся орел, расправляет крылья и, как он, вольно и свободно парит в бесконечных просторах... Как я теперь счастлив!»

И Кандов все шел и шел куда-то, углубившись в эти освежающие размышления. Он чувствовал, что тяжкое бремя свалилось у него с плеч. Теперь он победоносно улыбался. И сам, посмеиваясь, дивился тому, как жалко и глупо завершилась в его душе эта борьба! Он выкинул из своего сердца Раду, как выбрасывают в окно ненужные черепки разбитой миски... Образ Рады был уже так далек от него, так бесконечно далек! Бледный, безжизненный и бесплотный, он терялся в беспредельной мгле, как сон, развеянный внезапным пробуждением. И Кандову казалось, будто он очнулся от сна, родился вновь; пелена спала с его глаз, теперь он все видел ясно, все понимал, интересовался всем окружающим, всеми мелочами жизни. Приветливо, как никогда, здоровался он со встречными; разговорился с Павлаки Недевым о его розовых насаждениях; спросил, какая была цена на розовое масло в прошлом году и сколько мускалов рассчитывает он получить в этом; зашел в бакалейную лавчонку, купил черешен и в прекрасном расположении духа направился домой.

Он был так весел, словно шел не с похорон, а со свадьбы.

Когда он проходил мимо какого-то сада, на голову ему посыпался жемчужный дождь белых лепестков.

Подняв глаза, Кандов увидел, что это цветы сливы, протянувшей свои ветви над улицей. Лепестки падали с ветки, на которой резвилась парочка воробьев, целуясь клювиками...

Кандов окаменел!

Все его красноречие, вся его философия рассеялись, как дым, при виде этой любовной сцены...

Он выронил из платка черешни и схватился за лоб. Долго стоял он так, не двигаясь с места.

— Ты болен, Кандов, болен! — безнадежно пробормотал он.— Да, ты болен, братец, и надо тебе полечиться, мой милый Вертер.

И он снова зашагал, сам не зная куда.

— Да, нужно лечиться, серьезно лечиться! — повторял он.— Но как? Будь это телесный недуг, тогда... Но эта рана — глубоко в душе. Каленым железом ее не выжжешь. Что же делать? Не посоветоваться ли с врачом из Пловдива? Лекари врачуют не только телесные, но и душевные недуги... Это — истина, ясная как день. Жаль, что у нас тут нет психиатров... Потому что ведь я сошел с ума, да, да, сошел с ума... Все равно, пойду к этому. Кто знает, быть может, он даст мне какой-нибудь совет, и не бесполезный. Да, надо воспользоваться случаем. Я ведь ничего не теряю... Но вот в чем затруднение — придется все ему рассказать, этому доктору. А это значит — поставить себя в смешное положение... Нет, невозможно... Надо как-нибудь иначе.

И Кандов направился к тому дому, где остановился врач из Пловдива.

XXIII. ЛЕКАРСТВО

Остановившись перед дверью, Кандов отер пот с лица и постучался.

— Entrez [1],— послышалось из комнаты.

Студент вошел. Перед ним стоял доктор, человек лет сорока, высокого роста, но хилого телосложения, с бледным лицом, впалыми щеками, редкими бакенбардами и лукавой хитрецой во взоре. Он был в одном жилете и укладывал вещи в чемодан, видимо готовясь к отъезду. Доктор проводил Лалку на тот свет, и здесь ему больше нечего было делать.

Кандов назвал себя.

— Садитесь, сударь,— учтиво пригласил его доктор.— Тут у меня беспорядок, вы уж извините.

Вежливый прием ободрил студента.

— Простите, доктор, что я вас беспокою, но я к вам всего на несколько минут.

---

[1] Войдите *(франц.)*.

— Когда доктор принимает больных, это для него не беспокойство. Доктору без больных так же грустно, как больному без здоровья.

И, отпустив эту зловещую шутку, доктор бросил испытующий взгляд на изможденное, печальное лицо пациента.

— Как себя чувствуете?

— Благодарю вас, я здоров,— с деланной улыбкой ответил студент.— Но я пришел к вам за советом для другого человека.

— Он здешний?

— Здешний, но...

— Почему же вы не привели его с собой? Я пробуду здесь еще очень недолго.

Кандов смутился.

— Как бы вам сказать, доктор? Я пришел больше для того, чтобы попросить у вас совета по поводу одной литературной работы...

Доктор удивленно посмотрел на него.

— Вы можете осветить мне один вопрос из области психологии, который мне самому очень трудно разрешить. Этот вопрос имеет отношение к медицине... Я пишу роман,— объяснил Кандов, делая ударение на каждом слове, в ответ на немой вопрос доктора.

— Как, вы писатель?

— Нет. То есть я пробую писать. Начал писать роман... Главный герой влюблен; страстно, безумно, до самозабвения и притом безнадежно влюблен в одну особу, которая любит другого; и эта страсть может довести его до самоубийства...

— Есть одна немецкая повесть... я ее читал когда-то в Вене,— сказал доктор, почесывая за ухом и стараясь что-то вспомнить,— там описана любовь такого рода...

— Гетевский «Вертер»? — с живостью спросил студент.

— Верно, роман Гете,— вспомнил доктор.— Вертер покончил с собой, не правда ли?

— Да, но я хочу спасти своего героя...

— Лучше убейте его и поставьте точку, чтобы он больше не мучился. Поступите с ним так, как мы, врачи, поступаем с больными... так-то лучше будет.

Доктор проговорил эти слова со зловещей усмешкой, свидетельствующей о бессердечии, свойственном врачам, которые привыкли равнодушно взирать на страдания и смерть своих пациентов.

Кандов побледнел.

— Нет, это будет дурной пример для читателей... Самоубийство тоже заразительно...

— Какой национальности ваш герой?

— Болгарин.

— Болгарин? Странно. Болгары как будто не страдают присухой. Их сердца покрыты буйволовой кожей... Вы знаете, что такое присуха? Amour désespéré [1].

— Да, безнадежная любовь,— глухо пробормотал студент.

— Мне, однако, не приходилось слышать, чтобы какой-нибудь болгарин умер от непомерной любви... Один парень, правда, повесился на днях, но лишь потому, что из-за банкротства одного еврея он потерял...

— Но, доктор, как я уже вам говорил, мой герой...

— Да, исключение, я вас понимаю,— прервал его доктор.— Но поскольку он болгарин, не следует доводить его до самоубийства,— это было бы неправдоподобно... Ему полагается только вздыхать от муки...

И, усмехаясь все той же неприятной усмешкой, доктор посмотрел на часы. Он, видимо, спешил.

Кандов заметил его нетерпение и заговорил торопливо:

— Именно потому я и обратился к вам за советом, доктор. Развитие сюжета в моем романе требует, чтобы герой остался в живых, дабы свершить другие дела... Но, чтобы он смог их свершить, я должен прежде всего исцелить его от этой ужасной страсти, которая его парализует и убивает. Как сделать это наиболее естественным, наиболее правдоподобным путем?

Доктор внимательно, с любопытством разглядывал Кандова: впервые за его врачебную практику пришлось ему давать такого рода консультацию. Он старался прочесть в глазах и лице посетителя какой-то иной, скрытый смысл его слов. Этот взгляд смутил студента, и предательский румянец вспыхнул на его смуглом лице. Смущение его возросло при виде того, как на тонких, бескровных губах доктора заиграла проническая усмешка.

— Понял, понял! Вы ищете лекарства от одного из самых трудноизлечимых видов психической чесотки.

— Да.

— Есть такие лекарства, но, к сожалению, господин Кандов, они не так безотказно действуют, как, например, хинин — на лихорадку.

И доктор снова уставился на Кандова.

---

[1] Безнадежная любовь *(франц.)*.

— Укажите самые радикальные средства, доктор.

— Первым делом я предложил бы вам бабье средство: найдите одну травку, которую называют «отворотное зелье» (забыл, как она называется по-латыни), заварите ее в ночь с пятницы на субботу, но обязательно в необожженном горшке, и оболейте этим отваром вашего героя, когда он спит. Он мигом возненавидит свою возлюбленную...

Доктор захихикал.

Кандов насупился.

— Вы это серьезно, доктор?

— Не нравится? — продолжал насмехаться доктор.— Тогда я бы вам посоветовал отправить вашего героя испить водицы из Леты,— сразу все забудет. Вы знаете, что это за река Лета?

Лицо Кандова залилось гневным румянцем. Студента возмутили и шутка и вопрос — одинаково неуместные и издевательские.

— К сожалению,— добавил доктор,— Лета уже давно высохла.

Кандов встал, собираясь уходить.

Доктор остановил его жестом, и лицо его стало серьезным.

— Ладно, слушайте: чтобы ваш герой разлюбил ту, которую он любит, заставьте его так же слепо и страстно влюбиться в другую...

Студент отрицательно мотнул головой.

— Это все равно, что променять черта на дьявола,— сказал он.

— Правильно, правильно,— с улыбкой подтвердил доктор.— Но есть и другое средство: ввергните его в пучину разврата, пусть и душа его и все чувства потонут в омуте сладострастия! Станет настоящим скотом — все позабудет.

Юноша с отвращением нахмурил брови.

— Но он у меня должен со временем свершить великие дела. К тому же мой герой от природы — человек благородный, неспособный поступать по-скотски.

— А, вот как! Тогда другое дело. Ну, уж если ваш герой такой деликатный господин, остается только одно лекарство. Но это лекарство — паллиатив. Вы знаете, что такое паллиатив?

Студент снова сердито нахмурил брови и утвердительно кивнул головой.

— Разлучите его благородие с его любезной и отправьте его на год, на два прогуляться куда-нибудь подальше, как можно дальше. Пусть поедет, скажем, в Бразилию, пусть постранствует в водах Ледовитого океана и, затертый льдами на целых

девять месяцев, пусть питается одним китовым жиром. Или, если вы опасаетесь, что он там простудится и схватит цингу, пошлите его в пустыню Сахару,— пусть он там покорит какое-нибудь черное племя и станет царьком.

И, изложив все свои рекомендации, приправленные шутками и насмешками, доктор встал. Кандов тоже поднялся.

— Благодарю вас, доктор. Постараюсь воспользоваться вашими советами.

И он протянул руку на прощанье.

— Всего вам хорошего! Рад служить. Желаю здоровья и долголетия и вашему больному и вам.

Но когда Кандов подходил к двери, доктор проговорил уже серьезным тоном:

— Заплатите за визит, сударь... Мы, врачи, этим живем.

Кандов растерянно посмотрел на него. Но тотчас же пришел в себя и, сунув руку в жилетный карман, извлек оттуда рубль. Положив деньги на стул, он быстро вышел из комнаты.

— Вот сумасброд! — сказал себе доктор, старательно запихивая рубль в кошелек.— Воображает, что он меня перехитрил... А я с первых же его слов понял, что лекарство он ищет для себя. Готов побиться об заклад, что он влюблен, как синица, и видит во сне веревочную петлю... Dumstein! [1]

И он снова начал укладывать вещи.

«Этот шут,— думал Кандов, выходя на улицу,— как ни пустословил, а все же дал мне разумный совет... Он прав — только разлука, только отъезд в далекие края может спасти меня... Мне надо пожить под иным небом, в другом уголке земли, на других широтах, где ничто, ничто не напоминало бы мне о ней... Да я и сам теперь вспоминаю, что в таких случаях рекомендуется разлука, бегство. И оно приведет меня к берегам той реки, о которой говорил этот венский пустомеля! Беги, Кандов, беги! В Москву, в Москву!»

И окрыленный этой мыслью, обрадованный этим спасительным решением, Кандов стал тихо напевать припев популярной русской песни:

Ах, Москва, Москва, Москва!
Золотая голова!
Ах, Москва, Москва, Москва!
Золотая голова,
Белокаменная...

---

[1] Дуралей! *(нем.)*

Он поспешил домой и, сообщив родным, что завтра уезжает в Москву для завершения своего образования, с лихорадочной поспешностью стал собираться в дорогу.

Вечером он набил вещами чемодан, кое-что связал в небольшой тюк и в эту ночь спал глубоким, непробудным сном,— ведь он не спал уже несколько ночей подряд.

Утром он проснулся веселый и бодрый. И чтобы отогнать от себя всякие мысли о Раде, предался мечтам о предстоящем путешествии и новой жизни, которою он заживет в Белокаменной... Он даже напевал восторженно:

Вдали тебя я обездолен,
Москва, родимая земля,
Где блещет в лесе колоколен
Величье русского Кремля!..
Ах, Москва...

Но вот подвели коня, на котором он должен был перевалить Балканы.

— В Москву, в Москву! — восклицал Кандов, запихивая в чемодан какие-то книги, которые он накануне забыл уложить. Наклоняясь к окну, он машинально глянул на улицу и увидел бабку Лиловицу, которая разговаривала с какой-то старухой. Он вздрогнул и невольно стал прислушиваться к их громкой болтовне.

— Так, значит, тетушка Лиловица, ты опять осталась одна, как перст?

— А что прикажешь делать? Вчера проводила Раду в Клисуру... И такая она была печальная, что у меня прямо сердце разрывалось... Ох, помоги ей, господи!

Кандов стоял, как громом пораженный.

Спустя час он уехал.

Уехал в Клисуру!

. . . . . .

В тот же день Николай Недкович и Франгов, уже заметившие, что с Кандовым произошла какая-то странная перемена, зашли его проведать и узнали, что он уехал в Клисуру «погостить у родственника».

В комнате был беспорядок: чемодан раскрыт, вещи разбросаны... На столе громоздились книги. По заглавиям на переплетах гости узнали, что это были книги социалистического и анархического направления, изданные в Лондоне и Женеве. Поверх них, однако, лежал роман Достоевского «Преступление и наказание». На столе валялась и другая раскрытая книга — роман

«Страдания молодого Вертера». Отдельные строки и даже целые страницы в ней были отчеркнуты красным карандашом.

Эти произведения говорили о том, какие воздушные замки строил дух Кандова в унылой пустыне душевных блужданий...

Гости нашли и полураскрытое письмо к Раде. Они поняли все.

Движимый чувством деликатности, Недкович положил письмо к себе в бумажник, чтобы оно не попало в чужие, нескромные руки.

XXIV. БУРЯ ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Рада уехала в Клисуру внезапно и даже неожиданно для себя самой. В то самое утро, когда Кандов кружил у ее ворот, к ней пришел один клисурец — человек надежный, который на своих лошадях возвращался домой из К — ва и сказал, что Бойчо просил его заехать за Радой и привезти ее в Клисуру.

Услышав эту долгожданную весть, Рада поспешила пойти проститься со своей подругой Лалкой, скончавшейся этой ночью, и отдать ей последнее целованпе. Девушке уже давно был закрыт доступ к Лалке и вообще в дом Юрдана. Но появление ее возле покойницы никого не удивило и не вызвало ничьего возмущения. Рада дружила с Лалкой, и этого было достаточно. Да и никому не позволено отнимать у людей право прощаться с покойниками. Там, где ступила смерть, дверные замки открываются сами собой; на пороге вечности всем одинаково говорят «добро пожаловать», кто бы ни пришел — старый или молодой, друг или недруг. Родственники Лалки, тронутые, расступились перед Радой и освободили ей место у гроба. Рада, преклонив колена, обняла покойницу, поцеловала ее в лоб и, заливаясь слезами, проговорила: «Сестрица, родимая Лалка, голубка моя, что же ты наделала?..» Все окружающие громко зарыдали, а сама Рада едва не лишилась чувств; ее подхватили под руки и вывели на улицу...

В Клисуре Рада остановилась у госпожи Муратлийской, недавно переехавшей в этот город. С удовольствием выполняя просьбу Огнянова, Муратлийская радушно приняла бесприютную девушку.

Из окон ее дома, выходивших на север, открывался вид на всю Клисуру, над которой вздымалась Стара-планина. Городок раскинулся у подножия скалистого, почти отвесного, южного ската исполинской Рибарицы (здесь ее называют Вежен). Ее

вершина еще была увенчана зимней короной; по зеленым склонам, испещренным красноватыми пятнами овечьих загонов, там и сям ползли стада влашских кочевников. С востока Клисуру ограждали высокие изломанные скалы и рыхлые оползни, местами невозделанные, местами покрытые виноградниками и розовыми плантациями. Отсюда извилистая тропа поднималась до самой вершины и вела к расположенному по ту сторону горы обрыву — Зли-долу, откуда шла дорога в Стремскую долину. С других сторон Клисура огорожена холмами; она угнездилась в глубокой долине, утопающей в зелени, среди фруктовых садов и розовых кустов, наполнявших воздух благоуханием. Замкнутая со всех сторон и необычайно унылая зимой, Клисура в эту весеннюю пору была прелестным уголком, полным тени, прохлады и аромата.

Кандов приехал в Клисуру днем позже, чем Рада, и остался погостить у своего родственника, чтобы под этим благовидным предлогом оказаться поближе к Раде. Он заглянул к ней в тот же день и застал ее в слезах, оплакивающей смерть Лалки. Кандов понял, что приходить к Раде, когда она в таком горе, неуместно, но все же у него стало легко и светло на душе. Он даже почувствовал себя счастливым — ведь он увидел Раду.

На другой день утром Кандов снова зашел к ней. Он заметил, что девушка еще больше расстроена, чем вчера,— теперь она не только горевала об умершей подруге, но была встревожена слухами о предстоящем восстании в Копривштице и беспокоилась о Бойчо, не зная, где он и что с ним. Рада была в таком угнетенном состоянии, что обрадовалась приходу Кандова.

— Что слышно, господин Кандов? — с беспокойством спросила она.

— Поговаривают о восстании,— сухо ответил он.

— Боже мой, боже, что-то теперь будет?.. И Бойчо куда-то пропал, о нем ни слуху ни духу.

Кандов рассеянно смотрел в окно, устремив глаза на какую-то точку на Рибарице.

— А вы что об этом думаете? — нетерпеливо спросила Рада.

— Я-то?

— Да, вы.

— О восстании?

— Ну да, о восстании.

Он ответил равнодушно, словно это не Рада его спрашивала, а посторонний человек:

— Восстание... восстание!.. Ну что ж, будут драться, рубить

друг друга, палить из ружей,— стараться освободить Болгарию...

— А Клисура?

— Может статься, и она... впрочем, все равно...

— Как — все равно? А вы?

— Да и я — все равно.

Кандов отвечал рассеянно, как если бы его спрашивали о правах жителей Новой Зеландии... Однако под этой маской рассеянности, под личиной холодного безразличия к событиям, решающим судьбы Болгарии, таилось мрачное отчаяние. Но ни он сам, ни Рада не чувствовали этого.

— Что же вы будете делать, когда восстание вспыхнет повсюду? — спросила Рада.

— Что надо, то и буду делать.

— А что же надо? Неужели вы не будете сражаться?

— Что я могу сделать, Рада? Только одно — отдать свою жизнь!..— мрачно ответил Кандов.

Послышались три негромких стука в дверь.

— Бойчо! — крикнула Рада и бросилась отворять.

В комнату вошел Огнянов, усталый, в запыленной крестьянской одежде. Он только что вернулся из Панагюриште. Главное собрание близ Мечки, в котором и он участвовал, решило начать восстание первого мая. Теперь Огнянов торопился в Бяла-Черкву, чтобы в течение нескольких дней, остающихся до этого срока, закончить там подготовку и поднять знамя восстания в назначенный день. В Клисуру он заехал лишь для того, чтобы попрощаться с Радой. Но как только Огнянов зашел в тот дом на окраине города, где обычно останавливался, ему передали письмо из Бяла-Черквы, и он, ни с кем больше не повидавшись, поспешил к Раде.

Войдя, он остановился на середине комнаты и бросил холодный, презрительный взгляд на Кандова, спокойно стоявшего у окна.

Рада попыталась было сказать Огнянову, как она радуется его приходу, но, увидев, что на нем лица нет, запнулась, пораженная.

— Извините, что так рано помешал вашей беседе,— проговорил Огнянов, горько усмехаясь и бледнея.

Только теперь он взглянул на Раду.

— Что с тобой, Бойчо? — спросила она сдавленным голосом, подойдя к нему.

— Довольно притворяться! — холодно процедил Огнянов.

Девушка кинулась было обнять его, но он отпрянул назад.

— Избавьте меня от ваших нежностей,— сказал он и, обернувшись к Кандову, проговорил раздраженным тоном: — Господин Кандов, не знаю, как и отблагодарить вас за то, что вы соизволили откликнуться на приглашение и приехали из самой Бяла-Черквы...

Душивший его гнев помешал ему докончить фразу.

Кандов обернулся к Огнянову.

— О каком приглашении вы говорите? — сухо осведомился он.

— Что означают твои слова, Бойчо? — растерянно спросила Рада.— Господин Кандов приехал в гости к родным... Он...

Она не могла вымолвить ни слова больше и разрыдалась.

Рада заплакала потому, что первый раз в жизни была вынуждена солгать. В короткие часы свидания с Бойчо в Бяла-Черкве у нее не было времени да как-то и в голову не пришло рассказать ему о странном ухаживании Кандова и объяснить, почему она не решилась отказать ему от дома. И вот сегодня Огнянов застал у нее студента, да еще в такой ранний час. По-видимому, до него уже дошли слухи, что Кандов у нее бывает, а проклятая случайность теперь укрепила его сомнения, прежде чем Рада успела их рассеять.

Рада надеялась, что Кандов сам все объяснит, чтобы вывести ее из трудного положения, но он молчал.

— Ну что ж, Кандов, скажите и вы что-нибудь, порадуйте меня,— желчно проговорил Огнянов, с презрением глядя на соперника.

— Мне нечего вам сказать. Я жду, что вы скажете,— хладнокровно отозвался студент.

— Это — низость! — вскричал Огнянов, переводя глаза с одного на другую.

Кандов побледнел. Уязвленное самолюбие вывело его из состояния мрачного безучастия.

— Огнянов! — крикнул он.

— Кричи громче! Так я тебя и испугался! — в тон ему крикнул Бойчо. Челюсть у него тряслась от гнева.

Рада бросилась к нему, опасаясь, как бы он чего-нибудь не выкинул. Она знала, что в гневе он неукротим.

— Боже мой! Бойчо! Что с тобой! Что ты собираешься делать? — спрашивала Рада, захлебываясь от рыданий.— Погоди, я тебе все расскажу!

Огнянов бросил на нее язвительный взгляд.

— Перестань, Рада, не унижай себя слезами. И я, глупец, верил, что нашел самую чистую, самую святую невинность...

А я так любил тебя! И что же — я выбросил свое сердце на улицу!.. Какое ослепление!

— Бойчо! — в отчаянии крикнула Рада, заливаясь слезами.

— Замолчи! Между нами нет больше ничего общего. С глаз моих спала пелена... Как мог я так заблуждаться! Вообразил, что ты можешь любить меня, любить какого-то бродягу, которого ждет кол или виселица, в то время как на свете есть такие рыцари громкой фразы, такие высокомудрые и благонадежные трусы... Господи, на какие низости способны люди!..

И он повернулся к выходу.

— Огнянов! Возьми свои слова обратно! — крикнул Кандов, бросаясь за ним.

Огнянов остановился.

— Нет, я их повторю. Все это — низость и подлость! Гнусное злоупотребление доверием товарища... Неужели ты станешь отрицать то, что ясно, как день? — проговорил Огнянов, гневно глядя на студента.

— Или возьми свои слова обратно, или смерть! — зарычал Кандов, брызгая слюной от ярости.

— Смерть? Она пугает только таких революционеров, которые спасают Болгарию, прячась под бабий подол.

Кандов ринулся на Огнянова, чтобы ударить его по голове. Все накопившиеся в его груди долгие муки и страдания превратились в поток ненависти к их косвенному виновнику.

Огнянов был очень силен. Он отшвырнул от себя Кандова так, что тот отлетел до самой стены, и вытащил из-за пояса два револьвера.

— Драться на кулаках не хочу,— проговорил он.— Вот, возьми.

И Огнянов протянул студенту револьвер.

Рада, обезумев от ужаса и отчаяния, распахнула окно и закричала во весь голос, чтобы привлечь внимание прохожих.

Но тут внезапно раздался громкий звон колоколов, и воздух задрожал от их призывного гула. Огнянов оцепенел с револьвером в руке. Послышался торопливый топот, и дверь с шумом распахнулась.

Вошло несколько вооруженных клисурцев.

— Восстание! Восстание началось! — крикнули они.— Да здравствует Болгария!

— Где собирается народ? — спросил Огнянов, очнувшись.

— На окраине, на Зли-доле, на Пересвете... Не мешкайте!

И с криками: «Да здравствует Болгария!» — повстанцы быстро удалились, распевая песню «Бой наступает...».

А колокола били, как в набат.

Огнянов повернулся к Кандову.

— Сейчас я занят,— сказал он,— но если останусь жив, я дам тебе удовлетворение! А ты составь компанию барышне, чтобы ей не было страшно.

И он выбежал на улицу.

Рада, потрясенная этой новой бедой, вскрикнула и в глубоком обмороке упала на тахту. Услышав крик, госпожа Муратлийская прибежала к ней и стала приводить ее в чувство.

Кандов слушал колокольный звон, точно в забытьи. Случайно бросив взгляд на пол, он заметил скомканное письмо, очевидно оброненное Огняновым, нагнулся и поднял его. Он прочел следующее:

«Граф! Неплохо иметь приятелей. Таких, как Кандов, и за мешок золота не купишь. Знай, что, пока он был здесь, он ни на час не оставлял в одиночестве Раду Госпожину — твою верную голубку, твоего невинного ангелочка! Сегодня Кандов уехал в Клисуру, получив записочку от твоей голубки,— очень уж ее душа стосковалась по тебе, вот она и вызвала Кандова, чтобы он ее утешил... Тебя можно только поздравить с такой возлюбленной и с таким приятелем... Счастливый ты человек!.. И еще одно: то, что я тебе сообщаю,— великая «тайна»: кроме попа да всего села, знаешь ее один лишь ты... Валяй, освобождай Болгарию, а Раду Госпожину мы сделаем царицей».

Письмо было без подписи; оно пришло вчера, но кто его доставил в Клисуру, осталось неизвестным.

Кандов изорвал в клочки этот мерзкий донос, плюнул и вышел из комнаты.

XXV. ВОССТАНИЕ

Вот уже пятый день, как в Клисуре началось восстание.

Все работы были приостановлены; все прочие интересы забыты; необычайное возбуждение отражалось на всех лицах... Весь город был охвачен восторгом, весь он как-то вздыбился, объятый тревогой; самый воздух на улицах опьянял людей... За эти пять дней клисурцы пережили несколько жизней, несколько веков, исполненных то страха, то надежды, то восторга, то отчаяния... Все то, что они видели и делали, все то, что еще недавно казалось им таким отдаленным, теперь представлялось каким-то страшным сном и доводило их до умопомрачения...

Двадцатого апреля клисурский представитель на главном собрании близ Мечки прискакал домой из Копривштицы, кото-

рая восстала в этот день, и, обнимая своих родных, сообщил, что час восстания пробил... Тотчас в училище собрались главари заговорщиков. После пения «Бой наступает, сердца наши бьются» Караджов произнес пламенную речь, и вслед за этим Клисура под звон колоколов и восторженные клики объявила себя восставшей. Были немедленно разосланы письма комитетам других балканских городов с просьбой поддержать Клисуру и Копривштицу и тоже начать восстание. Назначив десятников и начальников стражи, члены местного комитета поспешили домой, чтобы вооружиться. Стреляли по убегающим полицейским, но безуспешно,— им удалось спастись бегством в горы. Все мужчины вышли из города и заняли позиции на окрестных высотах. Во всех этих стратегических пунктах было выставлено сторожевое охранение для защиты города — по пятнадцать — двадцать человек в каждом пункте,— и для укрытия этих отрядов были вырыты окопы. На сторожевых пунктах находилось почти все мужское население Клисуры в возрасте от восемнадцати до пятидесяти лет. Обратно в город уже никого не отпускали. Родные повстанцев должны были приносить им пищу и все необходимое. Вооружились кто как мог.

На следующий день, после молебствия в церкви, во время которого священники и женщины (мужчины были на укреплениях) коленопреклоненно молились об избавлении Болгарии от рабства, именитые горожане Клисуры, с радостью приветствуя восстание, избрали военный совет и назначили главнокомандующего всеми местными повстанческими силами. После полудня с необычайной торжественностью понесли сверкающее знамя на вершину Зли-дола и передали его защитникам. Остаток дня употребили на то, чтобы назначить начальников важнейших укрепленных высот, доставить боеприпасы и снаряжение для повстанцев и принять все меры для обороны города. Но сведения, поступавшие из других мест, были неутешительны: если не считать Средна-горы, восстание нигде еще не началось. Ночь застала повстанцев в глубоком унынии.

Двадцать второго апреля повстанцы убили двух проезжих турок. Итак, кровь уже пролилась,— жребий был брошен. Но напрасно клисурцы с высоты своих гор впивались глазами в Стремскую долину, чтобы увидеть зарево пожара в турецких селениях — условный знак того, что Каблешков уже поднял в тех местах болгарские деревни... зарева не было. Тогда повстанцы принялись искать в горах убежища для своих семей и послали в Копривштицу за помощью.

Рассвет они встретили мрачные, давшие духом. Юрьев день никого не радовал, и колокол, созывавший верующих в храм, звонил как-то скорбно, словно на похоронах. Но вдруг он зазвонил громче и торжественнее, и все лица озарились радостью: Волов привел из Копривштицы подкрепление — пятьдесят повстанцев, в большинстве — крестьян из среднегорских сел. Он вошел со своим отрядом в церковь, и там отслужили торжественный молебен... Колокола загудели еще праздничнее. Волов со своим отрядом, в сопровождении духовенства, служившего литию, отправился на позиции. Там он приговорил к смерти нескольких цыган и турок, уличенных в шпионаже. Одного из них он зарубил сам. После этой экзекуции Волов возвратился в Копривштицу. К вечеру закончили работу по рытью окопов.

На другой день снова воцарилось уныние. Дальние дозоры часами не отрывали глаз от Стремской долины, надеясь увидеть долгожданное зарево, но — тщетно. Экспедиция Каблешкова вернулась в Копривштицу, не добившись никаких результатов. Немногочисленные путники, пробившиеся в Клисуру в первые дни восстания, сообщили, что в долине все спокойно и нет никаких признаков того, что восстание скоро начнется... но со вчерашнего дня путники перестали показываться. Вместо них далеко на дороге замаячило несколько конных турок, они выпалили из ружей и повернули обратно... Настроение падало. Уже не действовали ни ободряющие голоса наиболее мужественных людей, число которых час от часу уменьшалось, ни обещания, ни строгие выговоры.

К двадцать пятому апреля унынье в рядах защитников Клисуры возросло еще больше. Они поняли, что предоставлены самим себе, иначе говоря, обречены на неминуемую гибель... Сомневаться в этом не приходилось. Город мог выставить лишь горсточку повстанцев — всего-навсего около двухсот пятидесяти человек, к тому же рассеянных по разным местам, а этого было явно недостаточно для отпора страшной орде башибузуков, грозившей налететь и с востока и с запада... На новые подкрепления из Копривштицы нельзя было рассчитывать — она сама нуждалась в помощи. Страх и упадок духа наблюдались во всех укрепленных пунктах. Дисциплина ослабела; раскаяние, ропот, упреки — эти провозвестники деморализации — пришли на смену энтузиазму первых дней восстания. Неприятеля еще не было видно, но близость его ощущалась, неминуемая, зловещая. Бунтовщики уже походили на разбитую армию, побежденную еще до сражения, на трепещущее стадо серн, загнанных в какой-то безысходный тупик и чующих рев приближающихся

хищников. Присутствие духа сохранили лишь немногие; еще меньше было людей, у которых осталась хотя бы искра надежды на победу. К душевным страданиям прибавились и физические; ночью ледяной ветер дул с горных вершин, пронизывая до костей замерзающих повстанцев, вынужденных ночевать в сырых окопах, не разводя огня. Вид у этих бедных портных, всю жизнь проведших в мирном труде с иглой в руке и теперь превратившихся в вооруженных бунтовщиков, был самый плачевный. Тяжкие вздохи и приглушенные стоны слышались по ночам в окопах, и никто не мог сомкнуть глаз от холода и тревоги.

— Поздравляю, сестрица, с болгарским царством! — приветствовали друг дружку даже старухи в первый день восстания.

— Погибли мы, браток, пропали наши головушки! — перешептывались теперь люди, которые еще недавно были пламенными заговорщиками.

Отчаяние возрастало. Печать его лежала на осунувшихся лицах людей. Но об отступлении, о бегстве пока еще не говорили, хотя все об этом думали.

Таково было в этот день состояние умов во всех сторожевых отрядах. Таким же или почти таким было настроение в важнейшем пункте обороны — на Зли-доле.

XXVI. БАТАРЕЯ НА ЗЛИ-ДОЛЕ

Зли-дол был расположен к северо-востоку от города и представлял собой выгодную позицию. Вершина господствовала над окружающей местностью, и здесь был ключ к дороге, связывавшей Клисуру со Стремской долиной. С высоты открывался широкий вид на восток — на волнообразные голые холмы, по которым там и сям мелькали дальние дозоры, составлявшие «цепь» клисурской армии.

Сторожевые посты на Зли-доле были самыми многолюдными из всех; их состав пополнился среднегорцами Волова — остатками разбитых чет,— и теперь они готовились встретить ружейным огнем первый натиск неприятеля.

Сегодня здесь наблюдалось особенное оживление. Какая-то бодрость светилась во всех глазах, но обращены они были не в ту сторону, откуда ждали врага, а к долине, в которой гнездилась Клисура. Люди напряженно впивались взглядом в тропинку, которая вела сюда из города, извиваясь по обрывам. По этой тропинке поднимался повстанец, человек огромного роста. Он тащил на плече что-то белое и продолговатое. Статная, крепкая

женщина в крестьянской одежде шла за ним следом, согнувшись под бременем своей ноши, как видно очень тяжелой.

На этих-то путников и были устремлены взгляды всех повстанцев. Да и было на что посмотреть: ведь эти люди несли на Зли-дол артиллерию!

Артиллерия состояла всего только из одной черешневой пушки.

Эту-то пушку и тащил на плече великан.

Снаряды — кусочки железа, пули, подковные гвозди, подковы и прочий лом — лежали в торбе, которую несла на спине крестьянка.

В глазах повстанцев загорелись веселые огоньки; воодушевление охватило защитников Зли-дола.

И вот наконец великан, обливаясь потом, струившимся по его лбу и шее, втащил пушку на вершину.

— Будь оно неладно! — со вздохом проговорил он, опуская на землю смертоносное орудие.

Все столпились вокруг, с любопытством разглядывая пушку. Всего было изготовлено около двадцати таких орудий, предназначенных для других укреплений, но они пока оставались в городе. Эту пушку доставили сюда в первую очередь, чтобы испытать силу ее выстрела, дальнобойность и снаряды. Вскоре пушку втащили на еще более высокое место, откуда можно было держать под обстрелом большую дорогу и голые холмы, старательно начинили ее зарядом и прочно укрепили кольями, а сзади выкопали широкий окоп для прикрытия артиллеристов.

Повстанцы горели нетерпением скорее услышать голос первой болгарской пушки! Детская радость и неописуемый восторг обуяли всех защитников. Кое-кто даже прослезился...

— Слушайте, как заревет балканский лев, ребята. Рык его распугает трон султана и возвестит всему миру, что Стара-планина свободна! — воскликнул начальник злидольского сторожевого поста.

— Ее грохот разбудит и других наших братьев в Стремской долине, напомнит им об их долге. Они возьмутся за оружие и ополчатся против общего врага,— сказал другой повстанец.

— Отсюда мы господствуем над всей долиной... пусть только покажутся тираны — в порошок их сотрем! — отозвался третий.

— Ни одного в живых не оставим, будь оно неладно! — зарычал Иван Боримечка, вытирая шапкой раскрасневшееся, мокрое от пота лицо.

Да, это был он! Великан, втащивший пушку на гору, был наш старый знакомый — Боримечка, а боеприпасы принесла его жена. С месяц тому назад они приехали в Клисуру по делам и были вовлечены в революционное движение.

Запальщик уже готовился приступить к делу.

— Погоди, Делчо, как бы не перепугались наши жены и детвора. Надо бы их предупредить,— остановил его Нягул Портной.

— Это ты правильно,— отозвался другой.— Надо бы послать в город оповестить население; там ведь есть и беременные женщины...

— Как можно посылать в город, время терять? Лучше пусть кто-нибудь крикнет отсюда, кто погорластее,— вот все и услышат.

— Боримечка! Пусть Боримечка крикнет! — предложило несколько человек, знавших, какие у этого богатыря здоровенные легкие.

Боримечка с удовольствием взялся выполнить новое поручение. Он спросил, какие слова надо крикнуть, и, постаравшись запомнить их хорошенько, взобрался на противолежащую высоту, ближе к городу. Выпрямившись во весь свой богатырский рост и выпятив грудь, он закинул голову назад, широко раскрыл рот и протяжно закричал:

— Эй, народ! Сейчас загремит пушка, будь она неладна! — испытывать ее будут... Бабы, детвора, не пугайтесь, а радуйтесь!.. Турок еще нет... Не видать их, турок-то, будь они неладны!

Это сообщение он повторил несколько раз с перерывами в одну-две минуты. Горное эхо громовыми перекатами отозвалось на его мощный голос, который проник во все дома городка.

После этого успокоительного предупреждения приступили к работе. Делчо высек огонь, зажег большой кусок трута, насадил его на длинный прут и поднес к запалу. Трут разгорался; синие клубы дыма вились в воздухе... В трепетном ожидании грохота одни повстанцы отбежали подальше, другие укрылись в окопах, чтобы ничего не видеть; кое-кто даже заткнул пальцами уши и зажмурил глаза. Несколько минут протекло в невыразимом нервном напряжении... Сильный дым курился над фитилем, но фитиль не загорался. Сердца у всех бились так, что, казалось, готовы были разорваться. Всем стало невтерпеж. Наконец по фитилю побежало маленькое белое пламя. Он задымился, и в тот же миг раздался сердитый, надтреснутый, но... немощный звук,— что-то похожее на громкий кашель или треск

сухой доски, когда ее ломают. И пушка скрылась в густом облаке дыма...

Оказалось, что в этом «приступе кашля» пушка взорвалась, а заряд отлетел всего на несколько шагов... Многие из засевших в окопах повстанцев даже не услышали выстрела.

Кто-то в шутку или всерьез заметил, что ему показалось, будто этот звук произвел Иван Боримечка.

Плачевный результат испытаний вскрыл недостатки повстанческой артиллерии. После этой неудачи поторопились исправить другие пушки — их скрепили добавочными железными обручами и обмотали канатами, а некоторые даже обили изнутри жестью. В тот же день на укрепления втащили по две пушки, зарядили их мощными зарядами, хорошенько укрепили на телегах, прочно врытых в землю, и выкопали позади телег траншеи для запальщиков. Каждой пушке предстояло послужить только один раз, и ей был дан точный прицел в определенном направлении.

Добавим, что, когда первая пушка уже выпалила, об этом позабыли оповестить население города. Поэтому бедные старушки и молодухи сидели до вечера с ватой в ушах, дожидаясь, когда же наконец раздастся грохот и зазвенят стекла в окнах.

XXVII. ДОПРОС

Огнянов находился теперь на одном из восточных укреплений, сооруженных на высоте между Зли-долом и Стара-рекой. Это укрепление обладало такими же стратегическими выгодами, как и злидольское, с тем, однако, преимуществом, что отсюда открывался вид на часть Стремской долины, зеленевшей внизу, далеко на востоке, за обнаженными холмами. Было очень жарко, и защитники укрепления — всего тридцать человек,— сбросив с себя верхнюю одежду, слонялись без дела, с озабоченными, покрытыми грязью лицами. Здесь, как и в других укрепленных пунктах, царило уныние.

Огнянов, облаченный в повстанческую форму, с неизменными двумя револьверами за поясом, поднялся на насыпь у окопа и смотрел в бинокль на долину. Внимание его было приковано к какому-то голубому дымку, который многие приняли за желанный дым пожара.

Опустив бинокль, Огнянов сошел с насыпи и пробормотал мрачно:

— Нет, это угли жгут на Средна-горе.

И тут он заметил Боримечку, который подходил к нему вместе с каким-то человеком, не принадлежавшим к числу защитников укрепления. Это был маленький, щуплый болгарин с тупым испуганным лицом, в потертых шароварах и безрукавке; на спине он нес торбу из пестрой ткани.

— Шпион! — объяснил Боримечка.— В долине поймали. Пробовали допросить — молчит, как чурбан. Что прикажешь с ним делать?

Невольная усмешка заиграла на лице Огнянова,— он узнал Рачко Прыдле.

Рачко вчера вышел из Бяла-Черквы и отправился в турецкое село Рахманлари, намереваясь искать работы по починке одежды; эта свободная профессия доставляла скудный заработок многим бяло-черковским беднякам. По простоте своей Рачко не понимал ни того, что готовится в Бяла-Черкве, ни того, что происходит в других местах, и потому был немало удивлен, когда в Рахманлари обозленные турки не только не дали ему наложить заплаты на их одежду, но наложили в спину ему самому и с самыми неделикатными ругательствами выгнали вон. Не желая возвращаться домой с пустыми руками, Рачко решил попытать счастье в Клисуре, до которой было недалеко. Но турецкий конный разъезд до смерти напугал его, и Рачко повернул в долину Стара-реки, чтобы оттуда пробраться в Клисуру. Тут он и попал в руки повстанческих дозорных.

— Ты чего здесь делаешь? — спросил его Огнянов.

Рачко чуть было не свихнулся от страха при виде стольких вооруженных повстанцев, которых он принимал за разбойников; но тут внезапно успокоился. Правда, он сохранил не очень-то приятное воспоминание об Огнянове, но среди этих страшных людей Огнянов показался ему своим человеком, чуть ли не приятелем, и язык у него развязался. Он с пятого на десятое рассказал Огнянову обо всех своих мытарствах.

Бойчо обрадовался, узнав, что Рачко еще вчера был в Бяла-Черкве.

— Ну, что там слышно, в Бяла-Черкве? — спросил он.

— Ничего... ничего... все слава богу.

Это «ничего» болью отозвалось в сердце Огнянова.

— Не лги, говори правду!

— Да говорю же тебе — ничего. Будь спокоен, ничего не случилось.

— Как ничего не случилось?

— Клянусь богом, ничего... Хочешь, присягу приму?

«Этот остолоп ничего не знает,— в досаде подумал Бой-

чо.— А может быть, он хочет что-то скрыть? И правда, уж не подослан ли он турками?.. Как он мог пробраться сюда, если другим это не удается?»

И он пронизал пленника своим огненным взглядом.

— Слушай, ты, выкладывай всю правду, не то я прикажу размозжить тебе голову о камень! — крикнул Бойчо, внезапно побагровев от гнева.

— Нет, учитель, лучше оставь ее для меня,— вмешался Боримечка.— Мне его голова пригодится — я ее оторву и суну в пушку, а потом пальну прямо в Рахманлари; пусть-ка она там расскажет туркам обо всем, что здесь видела...

И великан впился глазами в плюгавого Рачко.

— Все, все расскажу...— залепетал тот, перепуганный до полусмерти.

— Помни же, что я тебе сказал! — снова пригрозил ему Огнянов.

— Помню, помню, как не помнить!

— Ты действительно только вчера ушел из Бяла-Черквы?

— Вчера, вчера... Солнышко тогда стояло вон там...

— Что же там слышно?

— Да ничегошеньки не слышно... Будь спокоен.

— Почему ты ушел от Стефчова?

— Он меня выгнал, убей его бог... Не будь я Рачко Прыдле, если я вру... На этом свете одна только честь у меня и осталась...

Огнянов прервал его взмахом руки.

— Вчера, перед уходом, кого ты видел в Бяла-Черкве?.. Соколова видел?

— Видеть-то видел, только не вчера, а позавчера, когда он шел к себе домой вместе с немцем.

— Никакого шума в городе не было?

— Не было.

— Турки не появлялись?

— Ни одной собаки.

— Бей никого не арестовал?

— Не слыхать что-то.

— Значит, в Бяла-Черкве все тихо и мирно?

— Я же тебе говорил... Можешь мне поверить.

— О чем там люди говорят?

— Ничего, хорошо говорят.

— То есть как это хорошо?

— Всякий своим делом занят... Вот, к примеру, я... у меня семья, дети, я торбу на плечи и айда по селам, работу искать... Ты скажешь — стыдно это? Нет, Граф, что тут стыдного... Рачко

Прыдле такой человек, что дорожит своей честью... Потому что, прошу прощенья, ради чего живет человек? Ради своего честного имени...

Огнянов со злостью сжал кулаки.

Ему так страстно хотелось вырвать у этого дурака хоть малейший намек на то, что восстание в Бяла-Черкве начинается.

Но после еще одной бесплодной попытки Огнянов убедился, что спрашивать бесполезно по той простой причине, что Рачко ничего не знает, а в Бяла-Черкве, очевидно, действительно все тихо.

— Ты чего там возишься, Иван? — спросил Огнянов Боримечку, заметив, что тот роется в торбе пленника.

— Если эти ножницы нам не пригодятся, значит, я осел,— ответил Иван, вытаскивая из торбы большие ножницы, потом ножницы поменьше и складной железный аршин.

— На что они тебе нужны? Уши ему резать, что ли?

— Для пушки, будь она неладна; снарядов-то не хватает!

И Боримечка, разняв большие ножницы на половинки, каждую часть переломил об колено — железо только звякнуло, и в руках у Боримечки осталось по половинке от каждой половинки. Аршин он тоже разломал на части, как ломают деревянный прутик.

— Но помни! — обернулся он после этого к пленнику.— Если окажется, что дело твое нечисто, я и тебе голову скручу, потом оторву и — прямо в пушку!

И он устремил грозный взгляд на голову Рачко, такую маленькую, что она и впрямь могла бы уместиться в стволе пушки.

— Иван, ты ступай на Зли-дол, а он останется здесь,— сказал Огнянов.— Он не шпион, а просто дурак.

Услышав, что страшного Боримечку отсылают куда-то прочь, Рачко облегченно вздохнул.

— Прошу прощения, Граф, я могу и одежу починить этим разбойникам... Была бы только работа... а работа — не позор, и если ты человек честный...

— О каких это разбойниках ты говоришь? — строго остановил его Огнянов.

В ответ Рачко доверительно шепнул:

— Эти бунтовщики, прости господи, ведь они хотели крови моей напиться...

И он мигнул в сторону защитников укрепления.

— Поставьте его на окопные работы! — крикнул Огнянов и отошел.

К Огнянову подошел десятник.

— Что скажешь, Марчев?

— Неладное дело,— шепнул десятник.— Наши ребята головы повесили.

Огнянов нахмурился.

— Кто заражает малодушием других, будет немедленно наказан смертью! — крикнул он раздраженно.— У тебя есть кто-нибудь на заметке, Марчев?

Десятник назвал четверых.

— Позови их!

Обвиняемые подошли. Это были люди пожилые — портные и торговцы.

Окинув их строгим взглядом, Огнянов спросил:

— Это вы, господа, развращаете ребят?

— Никого мы не развращаем,— сердито ответил один из обвиняемых.

— А вы знаете, как наказывается подобное поведение в такой критический час?

Ответа не последовало. Однако в этом молчании было больше упрямства, чем страха.

Внезапная вспышка гнева омрачила лицо Огнянова, но он овладел собой.

— Расходитесь по своим местам,— проговорил он спокойно.— Мы подняли знамя восстания, и теперь уже поздно раскаиваться... Мы встретим врага здесь, и нечего поглядывать в сторону Клисуры... Вы защитите свои дома и семьи не тем, что вернетесь в город, а лишь в том случае, если будете твердо стоять здесь! Прошу вас, не ставьте меня в затруднительное положение...

Повстанцы не двигались.

Огнянов посмотрел на них с удивлением. Очевидно, так они выражали свой протест.

— Что вы хотите еще сказать?

Повстанцы переглянулись, и один из них проговорил:

— Нам все это ни к чему.

— Я никогда в жизни ружья в руках не держал,— добавил другой.

— Никто из нас не держал,— сказал третий.

— Не по душе нам кровь проливать...

— Струсили? — спросил Огнянов, думая пристыдить их этим вопросом.

— Не грех признаться, если и...

— Боимся, да! — злобно огрызнулся первый.

— У нас семья, дети.

— Мы свою жизнь не на улице нашли, — раздраженно прибавил тот, что был посмелее.

— Ваша жизнь, ваши семьи, ваши дома ничего не значат по сравнению с освобождением Болгарии! А главное — с честью Болгарии! — дрожащим голосом воскликнул Огняпов.— Я еще раз прошу вас: не будьте малодушными, не заставляйте меня принять против вас крайние меры.

— Непривычно нам из ружей стрелять да бунтами заниматься. Отпусти нас.

Огнянов понял, что добром он с ними не сладит... Негодование кипело в нем, но он старался сдерживаться. С горечью убедился он в том, что только глубокое отчаяние и боязнь борьбы придают этим малодушным людям решимость и смелость признавать себя трусами, не краснея от стыда, вслух, перед самим начальником.

От такого признания до панического бегства — один шаг. И Огнянов решил действовать беспощадно.

Нельзя было допускать дальнейшего распространения заразы. Дисциплина прежде всего!

— Господа! Будете вы подчиняться велению долга или нет? — спросил он сурово.

Ответа он ждал с помрачневшим лицом и бьющимся сердцем.

В эту минуту за спиной Огнянова раздались громкие крики. Он повернулся и увидел неподалеку от себя Боримечку, гнавшегося за каким-то цыганом. Другие повстанцы, столпившись поглазеть на это зрелище, криками подзадоривали Боримечку, а тот, несмотря на свой богатырский шаг, никак не мог догнать босого и быстроногого цыгана... Некоторые даже стали целиться в цыгана из ружей, но Огнянов остановил их. Очевидно, беглец до сего времени скрывался где-то в Клисуре и теперь сделал попытку спастись бегством в какое-нибудь турецкое село. Те цыгане, которым в начале восстания удалось бежать из Клисуры, первыми принесли туркам весть о том, что там творится, и доставили подробные сведения о расположении повстанческих частей. И по своему складу, и по своим интересам цыгане тяготели к туркам и во всех подобных случаях были их верными союзниками и здесь и в других местах...

Боримечка, продолжая гнаться за цыганом, мчался с быстротою ветра, делая огромные прыжки. Но цыган бежал еще

быстрее и все дальше отбегал от района укрепления. Теперь в него трудно было бы попасть и пулей. Но вдруг цыган остановился ошеломленный: навстречу ему шли два повстанца из дальних дозоров, и, таким образом, он очутился между двух огней. В то же мгновение Боримечка налетел на него с разбегу, сгреб его и вместе с ним повалился на землю. С укрепления послышались веселые возгласы.

— Эй, сюда, сюда! — кричали люди и махали руками.

Боримечка, злой, разъяренный, подталкивал цыгана вперед, осыпая его градом ругательств, отчетливо слышных наверху.

Вскоре беглец был доставлен на укрепление.

Повстанцы окружили его. Ярость оживила их унылые лица. Оказалось, что этого цыгана все знают. Он уже дважды пытался бежать из Клисуры и первый раз — с каким-то тайным поручением к рахманларцам от задержанного в городе турка из конака; за это он был наказан лишь строгим тюремным заключением. Теперь он бежал опять, и о пощаде не могло быть и речи.

Начальник укрепления повернулся к десятнику и некоторое время совещался с ним вполголоса.

— Да, да,— сказал в заключение Огнянов.— В такое время снисхождение и милосердие только вредят делу. Пусть посмотрят на смерть, тогда и самые робкие будут смелее глядеть ей в глаза... Но приговор должен быть вынесен военным советом. Марчев, беги немедленно на Зли-дол и расскажи там обо всем. Мое мнение и моя просьба — вынести смертный приговор. Скорее!

Десятник убежал.

— Дядя Марин, возьми этого цыгана под стражу! — строго приказал Огнянов одному пожилому повстанцу. Затем обратился к двум другим, помоложе: — Ребята, отведите этих господ — этих вот трусов — на тот конец; разоружите их и карауль те до следующего моего приказа!

Четверо разжалованных повстанцев побледнели, но покорно зашагали к месту, где их приказано было держать под стражей.

XXIX. КРЕЩЕНИЕ КРОВЬЮ

Огнянов взволнованно ходил взад и вперед вдоль окопов. Лицо у него осунулось, мрачные мысли избороздили морщинами его лоб.

Он подошел к кучке повстанцев, усердно рывших новый окоп, окинул их невидящим взглядом, не заметив дружелюбно

ухмылявшегося ему Рачко, и поднялся на насыпь. Посмотрев в бинокль на восток, он, еще более хмурый, сошел с насыпи и вернулся на прежнее место.

— Что за народ! Что за народ! — бормотал он.

Возвратился Марчев.

— Приговорили к смерти! — крикнул он, еле переводя дух.

— Приговор вынесен военным советом?

— Да... Казнить немедленно! — громко проговорил Марчев и добавил что-то еще, но шепотом.

Огнянов удовлетворенно кивнул головой.

Слова Марчева «казнить немедленно» были услышаны многими. Шепотом передавались они от одного к другому и наконец достигли того места, где стояли арестованные.

Они и раньше были бледны, но теперь побелели, как степа.

Наконец-то им стало ясно, что здесь не шутят. Военный совет мгновенно предстал перед ними как что-то ужасное, всесильное и неумолимое, как судьба. Только бог казался им более могущественным.

К Огнянову подошел один из повстанцев.

— Арестованные раскаиваются и молят о прощении,— доложил он.

— Поздно. Приговор уже вынесен,— сухо ответил Огнянов.

Немного погодя он властным голосом приказал тому же повстанцу:

— Брайков, возьми с собой Нягула, Благоя и Искрова и отведите этих четверых вон в ту лощину,— там они понесут заслуженную кару. Приговор военного совета должен быть выполнен безоговорочно.

Брайков, смущенный и растерянный, пошел выполнять приказ начальника укрепления.

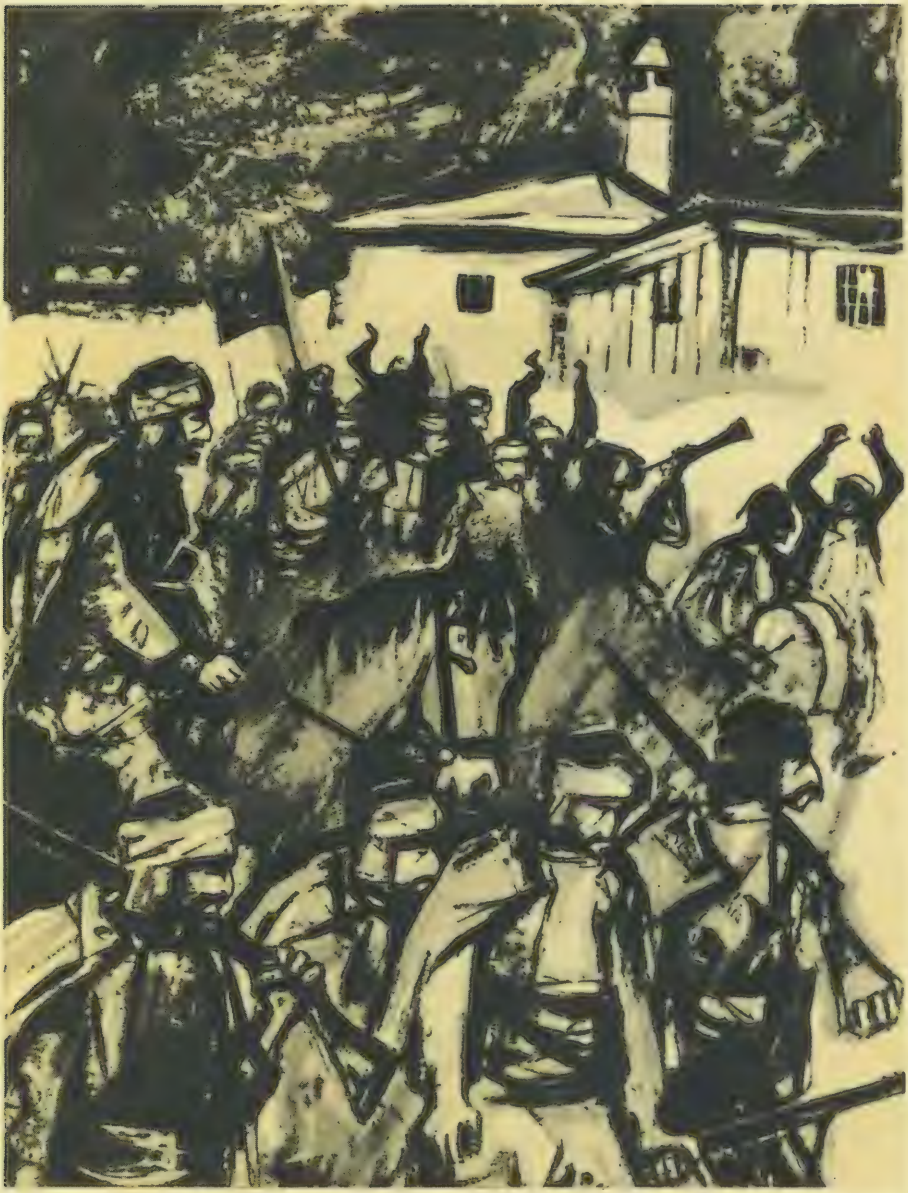
Ни одного голоса не раздалось в защиту осужденных. Никто не хотел, чтобы его заподозрили в сочувствии трусам. Всякий сознавал, что жизнь его теперь зависит от воли военного совета — этого единственного судьи, приговоры которого не подлежат обжалованию.

Осужденные под конвоем четырех других повстанцев миновали укрепление и по обрыву спустились в лощину.

— Отведите и цыгана туда же! — приказал Огнянов.

Потом шепотом дал какое-то распоряжение десятнику, и тот стал спускаться вслед за другими.

Лобным местом было избрано зеленое сырое ущелье, по дну которого тек, журча, ручеек. Склоны ущелья были круты и обрывисты. Укрепление Огнянова возвышалось над ними с запад-



ной стороны. Повстанцы столпились над обрывом, чтобы оттуда наблюдать за казнью.

На левом берегу ручья стоял дуб, обожженный ударом молнии и наполовину высохший.

Два повстанца прежде всего подвели к дубу цыгана, сняли с него красный пояс и этим поясом привязали его к стволу.

Ужас сковал уста несчастного. Из его потрескавшихся губ потекла кровь.

Неподалеку, на берегу ручья, стояли четверо осужденных, ожидая своей участи. Животный страх обезобразил их лица.

Марчев скомандовал:

— Подвести сюда и этих!

Осужденные двинулись. Трое едва волокли ноги, и конвойным пришлось взять их под мышки, чтобы дотащить до места, указанного десятником.

Марчев выстроил приговоренных в десяти шагах от связанного цыгана. Очевидно, их хотели заставить вблизи смотреть на страшное зрелище лишь затем, чтобы несколько минут спустя они, в свою очередь, послужили таким же зрелищем для столпившихся над обрывом повстанцев.

Осужденных не связали. Но они оцепенели от ужаса, и мысль о бегстве даже не приходила им в голову. Да бежать было бы и невозможно.

Прошла минута гробового молчания.

Но вот Марчев начал громко и торжественно:

— Цыган Мехмед из Клисуры за неоднократные попытки бежать из тюрьмы с гнусной целью служить врагам Болгарии приговорен верховным советом к смертной казни на страх другим таким же предателям! — И, обернувшись к четверым осужденным, скомандовал: — Господа, станьте лицом к Мехмеду...

Они беспрекословно исполнили приказ.

— Дайте каждому по ружью.

Повстанцы с глубоким волнением протянули осужденным свои ружья. Осужденные с обалделым видом взяли их.

— Теперь пристрелите вот этого! Слушай команду: раз, два, три!

Гром выстрелов потряс обрывистые склоны ущелья. Клубы дыма окутали четырех стрелявших.

Но цыган, привязанный к дереву, и не пошевельнулся. Ни одна пуля не задела его. Очевидно, в него стреляли не целясь. Но похож он был уже на мертвеца.

— Позор! — гневно воскликнул Марчев.— Еще раз!

И он повторил команду. Снова грянули выстрелы... Цыган поник головой, и руки его бессильно повисли.

Наверху раздались рукоплескания.

— На этот раз, господа, вас покарали только тем, что дали вам возможность получить крещение кровью. Этим вы обязаны великодушию Огнянова и милосердию военного совета.

Четверо осужденных, поняв, что они спасены, робко оглянулись кругом с видом людей, очнувшихся от страшного сна.

Едва заметная блаженная улыбка пробивалась сквозь ледяную кору страха, сковавшего их посеревшие лица.

Новые радостные рукоплескания послышались с укрепления.

XXX. В СТРЕМСКОЙ ДОЛИНЕ

«Странно, странно! Необъяснимо!.. Ужасно!.. До сих пор ничего еще не началось... Что же они делают? Что предпринимает Бяла-Черква? Молчат, как мертвые... Молчат... Ужасное молчание! Страшное!.. Не могу допустить и мысли, что они там сидят сложа руки и благоразумно выжидают... Однако этот идиот говорил правду, сущую правду. Но в Бяла-Черкве и Соколов, и Попов, и Редактор... Все они там, мои соколы... Испытанные ребята, горячие головы. Чего они ждут? Уж не меня ли? Но, значит, если я не приду к ним, если я погибну, они и делать ничего не станут? Или они глухи и слепы и не видят, что творится вокруг? Клисура восстала, Копривштица восстала, Панагюрище восстало, Средна-гора объята пламенем! Одна только Стремская долина спит глубоким сном! Или опять случилось какое-нибудь несчастье? Возникло какое-нибудь непреодолимое препятствие? Но это невероятно! Если Бяла-Черква не может начать восстание, она могла бы хоть послать нам на помощь отряд человек в десять... Этот отряд мог бы вдохнуть бодрость в других... Но Бяла-Черква затаилась. Все сообщения подтверждают это... А какое там было воодушевление! Как основательно подготовились! Неужели так и в других местах?.. Беда... Божье проклятие нависло над Болгарией!..»

Обуреваемый этими мрачными мыслями, Огнянов, переодетый турком, осторожно пробирался из долины Стара-реки в Стремскую.

Как мы уже знаем, он двадцатого апреля заехал в Клисуру по пути в Бяла-Черкву, которую собирался поднять, как только пробьет час всеобщего восстания. Но в Клисуре этот час пробил в тот самый день. Это случилось как раз тогда, когда Огнянов испытывал невыносимые душевные муки, и он слепо ринулся в

пучину мятежа, чтобы в вихре борьбы заглушить душевную боль и найти смерть в рядах борцов за освобождение родины. Враг, однако, не показывался. Пять суток напролет Огнянов провел на укреплениях, занятый кипучей деятельностью по организации обороны, горя мучительным нетерпением скорее получить известие, что и в Бяла-Черкве вспыхнуло восстание... Сердце его обливалось кровью, и он проклинал тот день и час, когда случай привел его в Клисуру. Он видел, как тлетворно влияет на дух повстанцев царящая кругом зловещая тишина, как губительна она для всего дела... Тщетно старался Огнянов ободрить товарищей и клялся, что надо с минуты на минуту ожидать восстания в Бяла-Черкве, а вслед за ней и в других местах. Наконец, он и сам начал терять надежду; с ужасом предвидел он неизбежность катастрофы в Клисуре и неминуемое поражение революции. И он решился на отчаянное предприятие: проникнуть в Бяла-Черкву, пройдя через взбудораженные турецкие села, и поднять в ней знамя восстания.

Это был чрезвычайно рискованный и опасный шаг. Но если бы в Бяла-Черкве вспыхнул пожар, искры его разлетелись бы по другим, готовым к восстанию селениям на склонах Стара-планины. Тогда силы турок были бы расщеплены, Клисура спасена, пожар разгорелся бы и — кто знает? Быть может, революция и победила бы... Многие величайшие перевороты в истории человечества обязаны своим успехом какому-нибудь ничтожнейшему обстоятельству... Во всяком случае, ожидаемый результат оправдывал риск. Нужен был героический подвиг, и подвиг этот нашел своего героя.

К полудню Огнянов спустился в долину. Все здесь цвело пышным цветом, утопая в тенистой зелени. Кристально чистые ручейки, извиваясь на лужайках, скрывались в ветвистых дубравах. Воздух был насыщен благоуханием роз, как покои какой-нибудь царской возлюбленной. Под лазоревым небом долина, залитая радостным светом солнца, была необычайно приветлива и прекрасна — сущий рай земной! Но ее красоты не привлекали внимания путника — он их и не замечал.

Огнянов предпочел бы видеть эту долину объятой пламенем.

Путь его лежал через село Рахманлари, ближайшее к Клисуре турецкое селение. Огнянов смело направился к нему. Когда он проходил мимо розовых насаждений на окраине села, его остановило несколько вооруженных турок — это был караул.

— Откуда идешь, брат?

— Из Алтынова.

— А куда?

— В Ахиево. Там все спокойно?

Турецкое село Ахиево было расположено по соседству с Бяла-Черквой.

— Слава богу, спокойно.

У Огнянова сердце сжалось от боли.

— Лучше останься у нас в селе. Завтра отправимся бить клисурцев.

— Посмотрим... До свидания!

И Огнянов вошел в село.

На улицах было необычайное оживление. По ним сновали толпы турок, вооруженных до зубов. Кофейни были битком набиты, бакалейные лавки и корчма тоже полным-полны народу. Очевидно, сюда собралось несколько сот человек из окрестных селений для совместного нападения на Клисуру. Село Рахманлари было их сборным пунктом. Предчувствуя страшную участь Клисуры, Огнянов все-таки хотел добыть более достоверные сведения о Бяла-Черкве — он все еще верил, что хотя бы в последнюю минуту она поднимется... Он решил было зайти в корчму, которую содержал болгарин из Бяла-Черквы, но тут же передумал, опасаясь предательства, и пошел дальше, выбирая среди толпившихся турок какую-нибудь кучку, к которой удобно было бы присоединиться. Случайно он прошел мимо мечети. Там тоже было полно народу. У дверей сгрудились молящиеся; они все прибывали и прибывали. Очевидно, готовилось что-то необычайное. Огнянов догадался, что ходжа собирается произнести проповедь, чтобы еще более разжечь фанатизм озверелых турок. Влекомый неодолимым любопытством, Огнянов втиснулся в толпу. Его предположение оправдалось: в ту же минуту проповедник поднялся на деревянные подмостки, которые в турецких мечетях играют роль амвона. Внутри было светло, и Огнянов увидел, что проповедник не простой деревенский мулла, а софта — ученый богослов, вероятно прибывший из К. с особым заданием.

Мгновенно водворилась тишина.

Софта начал торжественно:

— Правоверные! Было время в славное царствование наших великих султанов, когда мир трепетал при одном лишь упоминании об Оттоманской империи. Восток и запад поклонялись ей, моря посылали ей дары, короли и королевы падали ниц и лобызали священный прах перед троном халифа. Велик был тогда Аллах и святой пророк его Мохаммед. Но, должно быть, тяжко согрешили мы перед богом, пьянствуя и предаваясь блуду, братаясь с нечестивыми и перенимая их законы... И вот бог отдал нас на поругание поруганным, на потоптание потоптан-

ным... О аллах, аллах! Ниспошли нам огненный меч архангела Азраила, да обагрим мы восток и запад кровью врагов твоих!.. Кровью да окрасятся моря, и да прославятся небеса!.. Вот мое слово к вам, правоверные! Наточите ножи, проверьте оружие и будьте готовы, ибо час пробил и настало время смыть наш позор кровью гяуров во славу единого и великого бога ислама!..

В таком духе начал разглагольствовать софта... Проповедь длилась долго, и сотни молящихся слушали ее с напряженным вниманием и пылающими глазами.

«Так вот что тут творится,— подумал Огнянов и, не дожидаясь конца проповеди, вышел на улицу.— Значит, слухи о таких проповедниках не выдуманы. Мы призываем к восстанию против турецкого правительства, а их апостолы проповедуют истребление всего болгарского народа. Стало быть, нечего себя обманывать: предстоит жестокая борьба, борьба народа с народом... Тесно двум племенам на болгарской земле. Пусть так... возврата нет! Жребий Болгарии брошен! Но как страшно она начинается, наша святая, вожделенная революция! Боже! Защити Болгарию!..»

И он снова принялся прогуливаться по площади. Моление окончилось, и молящиеся вышли на площадь; там и сям составлялись небольшие группы, оживленно обсуждавшие проповедь. Огнянов подошел к одной из них и стал прислушиваться к разговорам. Все стало ясно. Восстание в Клисуре вначале напугало турецкое население окрестных сел, ибо турки вообразили, что в Клисуру пришли русские войска... В ужасе они уже собирались тронуться с места и вместе с семьями спасаться бегством. Вскоре, однако, они узнали от тех турок, которым удалось благополучно вырваться из Клисуры, что противники их — простые болгары, в большинстве портные, если не считать нескольких учителей; в этом их убедили и неумелые действия самих повстанцев. Это вернуло туркам их прежнюю уверенность и дерзость, и они решили, не дожидаясь военной помощи, расправиться с клисурцами собственными силами. Огнянов выведал также, что рахманларцы произвели несколько искусных рекогносцировок, и теперь неприятелю более или менее хорошо известны и расположение и силы каждого укрепленного пункта. Здесь ждали, что на следующее утро из К. прибудет Тосун-бей с новыми полчищами башибузуков, после чего все соединенными силами незамедлительно нападут на восставший город.

Эти сведения до крайности встревожили Огнянова. Теперь он еще яснее понял, как необходимо ускорить восстание в других болгарских городах.

Надо было опередить Тосун-бея.

И Огнянов пошел на восток.

Он миновал довольно зажиточное турецкое село Текия. Стража стояла только на западном его конце — признак того, что с востока опасности не ждали... Здесь Огнянов тоже заметил оживленное движение. Местные жители ждали прихода Тосун-бея, чтобы примкнуть к его орде.

«В Бяла-Черкву! Скорее в Бяла-Черкву! — говорил себе Огнянов.— Надо, чтобы Тосун-бей прежде всего натолкнулся на железную грудь моей Бяла-Черквы... И это непременно будет, как только я туда доберусь... Стоит мне кликнуть клич, хотя бы вместе с одним лишь Редактором, и через полчаса под наше знамя станут пятьсот человек. От восстания ли, от пожара ли, но запылает Бяла-Черква!.. Вперед! Боже, дай мне крылья!»

И Огнянов спешил в Бяла-Черкву. Он знал, что еще два-три часа ходьбы, и он увидит вдали белые трубы городских домов и треугольный фронтон церкви. Сердце его громко стучало от радости.

Неподалеку от села, которое он только что миновал, дорога спускалась в тенистую балку, прорезавшую гладь равнины. Спустившись в эту балку, Огнянов услышал отдаленные звуки зурн и барабанов. Вероятно, в каком-то соседнем турецком селе праздновали свадьбу, хотя, казалось бы, в такое время не до свадеб. Вскоре, однако, звуки музыки умолкли, и Огнянов тотчас забыл о них. Но когда он поднялся до середины склона, зурны и барабаны опять загремели громко и на близком расстоянии. Изумленный Огнянов выскочил наверх, и тут глазам его представилось зрелище, заставившее его оцепенеть.

Расстилавшаяся впереди равнина алела от турецких полчищ, шагавших под эту варварскую музыку. Над ними реяло несколько красных знамен. Орда двигалась врассыпную, беспорядочная и шумная. На солнце сверкали ружья, косы, топоры, пики, торчавшие за плечами и над чалмами башибузуков. Из-за жары почти все турки шли в одних жилетах. Как волной смывая попутные турецкие села, они вбирали в себя все новые и новые толпы. Никакая дисциплина не сдерживала эти возбужденные орды, но всех их связывала, воодушевляла, гнала вперед одна цель, свирепая и дикая — кровь и добыча. И они вооружились, чтобы проливать кровь, а чтобы увозить добычу, тянули за собой целые обозы... И эти опьяненные фанатизмом полчища, шагавшие под звуки зурн и барабанов, надвигались медленно, но неудержимо, как саранча.

Только один всадник в белой чалме, высокий, черный, худой, ехал впереди. Это был предводитель.

Он махнул рукой цыганам, чтобы они прекратили игру.

— Эй, мусульманин, поди-ка сюда! — окликнул он Огнянова.

Огнянов подошел к всаднику и отвесил ему низкий поклон.

— Откуда идешь?

— Из Текии.

— Что там слышно?

— Ничего... Все, слава богу, благополучно.

— А что говорят? Много бунтовщиков в Клисуре?

— Слух идет, что немало. Аллах да хранит наше государство.

— Кто они?

— Да, говорят, русские.

— Молчать, мерзавец! Там одни только шелудивые болгары...

— Прости, бей-эфенди.

— Куда идешь?

— В К.

— Марш назад с нами!

Огнянов побледнел.

— Бей-эфенди, разреши...

— Назад! — крикнул Тосун-бей и, пришпорив коня, поехал дальше.

Орда снова тронулась в путь. Опять зазвучали зурны, загремели барабаны. Людской поток увлек за собой Огнянова в сторону от Бяла-Черквы.

Было бы безумием думать о сопротивлении или о том, чтобы пробиться сквозь этот поток, наводнивший всю окрестность. С отчаянием в душе несчастный отдался на волю течения. Он был уничтожен, убит. Исчезла последняя его надежда. Бессознательно, точно во сне, двигался он вперед, стиснутый буйной толпой, с часа на час все более обуреваемой каким-то зверским весельем... Волна людей увлекала Огнянова все дальше и дальше назад, к обнаженным холмам, за которыми укрылась Клисура.

XXXI. ЕЩЕ ОДНА ПОПЫТКА

Орда Тосун-бея прибыла в Рахманлари к вечеру, еще более разросшаяся в пути и еще сильнее распаляемая фанатизмом. Здесь Тосун-бей встретил другую орду турок, собравшуюся из

окрестных сел и поджидавшую его. Итак, Тосун-бею предстояло завтра напасть на Клисуру во главе отряда числом около двух тысяч человек.

Село было до отказа набито народом. Оно едва могло вместить новых гостей. Впрочем, ночь выдалась ясная, и большинство легло спать под открытым небом.

Волей-неволей пришлось лечь и Огнянову.

Он лежал один, на бугорке, как раз против корчмы, хозяином которой был болгарин из Бяла-Черквы.

Несмотря на поздний час, окна корчмы еще светились. Внутри было полным-полно людей.

Огнянов решил не спать, да и нельзя ему было уснуть. Он обязан был попытаться этой же ночью, пока не поздно, выбраться из окружавшей его несметной толпы турок. «Завтра это будет уже невозможно»,— думал он.

И он впился глазами в освещенные окна корчмы, напряженно обдумывая, как ему проскользнуть мимо частых караулов, охраняющих выходы из села.

Он был в турецком платье, хорошо знал турецкий язык, а потому надеялся выбраться без особого труда. Но что пользы, если он только спасет самого себя и вернется на укрепления здоров и невредим?

Бяла-Черква сохраняет спокойствие, а значит, гибель Клисуры неминуема.

Но попытаться уйти в Бяла-Черкву этой же ночью было почти немыслимо: стража на восточной окраине села получила приказ никого не выпускать,— на тот случай, если бы кто-нибудь вздумал дезертировать. Отложить дело до утра и бежать среди бела дня было совсем уж невозможно, да если бы это и было возможно, Огнянов теперь не пошел бы в Бяла-Черкву. Совесть не позволяла ему покинуть ряды защитников Клисуры в столь грозный для нее час... Его отсутствие было бы истолковано как бегство, как подлая трусость... Нет, так нельзя. Но как снестись с Бяла-Черквой? И Огнянов напряженно думал, как найти выход из положения.

Наконец ему в голову пришла одна идея. Он решил попробовать уговорить корчмаря послать завтра одного из своих сыновей в Бяла-Черкву; сын его мог бы для безопасности напроситься в спутники к какому-нибудь турку, идущему в ту сторону,— ведь завтра в К. базарный день.

Эта идея понравилась Огнянову. Правда, осуществить ее было нелегко, но ради такого важного дела стоило и потрудиться и пойти на риск. Да, риск был большой: прежде всего надо было

выдать самого себя, доверить свою судьбу не слишком надежному корчмарю.

К счастью, Огнянов знал корчмаря и его семью, так как был когда-то учителем его старшего сына. Это его немного успокаивало.

Огнянов поднялся, вошел во двор через ворота и, приблизившись к окошку каморки, расположенной в глубине двора и примыкавшей к конюшне, принялся расхаживать взад и вперед под навесом, ожидая, что кто-нибудь из хозяев случайно выйдет наружу. Постучать в окно или в дверь он не посмел из боязни вызвать тревогу.

Долго он там бродил, но никто из домашних не показывался во дворе. Корчмарь и его сыновья прислуживали посетителям. «В каморке, наверное, только жена корчмаря с малыми детьми»,— подумал Огнянов и, поборов страх, решился постучать.

Но случай сам пришел ему на помощь. В эту минуту дверь открылась, и на пороге появилась женщина. Огнянов узнал корчмарку. Она направлялась в конюшню с мерой ячменя под мышкой.

Огнянов подошел к ней и проговорил по-болгарски:

— Добрый вечер, тетушка Аврамица.

Женщина повернулась к нему, удивленная, вернее, испуганная.

— Не узнаете? — добавил он мягким голосом, чтобы ее успокоить. И поспешил назвать себя: — Огнянов... учитель вашего Нанко...

— Ужели Граф? — проговорила изумленная женщина и перехватила меру другой рукой.— Но почему ты так?..

Впрочем, она сразу сама все поняла.

— Заходи, заходи в дом... Постой, дай я сначала подсыплю лошади ячменя в торбу, потом зайдем к нам...

Полминуты спустя Аврамица и Огнянов прошли через тесные сени в темную каморку. Чиркнув спичкой, корчмарка зажгла жестяную керосиновую лампочку, осветив и комнату и гостя.

— Вон эта дверца выходит прямо в огород, а оттуда, через терновую изгородь можно выбраться на улицу,— шепнула Аврамица, указывая Огнянову на маленькую дверцу, такую низкую, что человек мог выйти через нее, только согнувшись в три погибели.— Это я на всякий случай, если понадобится... А что же ты здесь делаешь? — спросила она.

— Я шел из Клисуры в Бяла-Церкву. Тосун-бей встретил меня за Текией и велел повернуть назад.

Огнянов считал себя обязанным ответить полной откровенностью на оказанный ему радушный прием. Да иначе он и не смог бы ничего добиться.

Аврамица сострадательно смотрела на него.

— Ох, бедные клисурцы, сколько им придется горя хлебнуть!.. Ведь вся эта орава прямо на них прет...

— Клисура погибнет, тетушка Аврамица, от нее останется только пепел... Я старался спасти ее, но, к сожалению, никак не могу пробраться в Бяла-Церкву.

— А что же ты стал бы там делать?

— Поднял бы восстание, а вслед за Бяла-Церквой поднялись бы и другие окрестные села. Тогда Тосун-бею пришлось бы убраться восвояси.

— Порази его господь, этого черномазого! Но что ты сейчас-то собираешься делать? — снова спросила Аврамица, которая никак не могла понять, чего, собственно, нужно Огнянову от нее.

— Ваш Нанко дома?

— Дома.

— А Кузман?

— И он тоже.

— Где они?

— В корчме, с отцом, прислуживают посетителям, да и приглядывают за ними: а то как бы эти звери не стянули бы чего.

Огнянов задумался.

— Нельзя ли завтра послать кого-нибудь из твоих сыновей, Нанко или Кузмана, в Бяла-Церкву?

Мать смотрела на него в недоумении. По ее лицу пробежала тень беспокойства.

— Он может отправиться туда с каким-нибудь знакомым турком,— продолжал Огнянов.— Завтра в К. базарный день, а рахманларцы ходят туда торговать.

— Страшно, учитель!..

— Когда идешь с турком, страшного ничего нет. Ведь в той стороне все тихо и мирно... Никто его и пальцем не тронет.

— А зачем ты хочешь послать его туда?

— Чтоб он отнес письмецо одному моему человеку и сейчас же — назад... Завтра к полудню он вернется домой.

Тут Аврамица вспомнила первые слова Бойчо и поняла, с каким поручением он хочет послать ее сына в Бяла-Церкву. Она озабоченно нахмурилась.

— Знаешь что, учитель, об этом надо бы отца спросить.

— Умоляю тебя, тетя Аврамица, ничего не говори дяде

Аврам. Не можешь ли ты как-нибудь тайком вызвать сюда Нанко? Мне надо с ним повидаться.

Огнянов знал, что его бывший ученик обожает своего учителя и всякую его просьбу выполнит беспрекословно.

Лицо корчмарки стало суровым.

— Нет, нет, этак не годится; без ведома Аврама нельзя.

— Но дядя Аврам его не отпустит!

Было ясно, что корчмарка, сначала так тепло принявшая Огнянова, теперь стала остерегаться его. В голове ее мгновенно промелькнула мысль о тысяче опасностей, которые будут грозить ее сыну, если он отправится в Бялу-Церкву. Этот страшный, этот страшный человек внушал ей какой-то ужас. Она уже раскаивалась, что сразу же не попросила его уйти, и беспокойно озиралась по сторонам. Но ее доброе сердце не допускало и мысли о предательстве.

Огнянов заметил ее смятение. Он понял, что с перепуганной и слабой женщиной нельзя говорить о таких серьезных вещах. Время шло, а ему надо было подумать о том, как бежать отсюда. И он решил как можно скорее добиться толку.

— Тетушка Аврамица, покличь-ка на минуту дядю Аврама. Я сам с ним поговорю.

У Аврамицы отлегло от сердца.

— Пойду шепну ему на ухо, а ты стой тут и не забывай про дверцу. Если почуешь на дворе что-нибудь недоброе, беги...

И она вышла.

XXXII. АВРАМ

Огнянов остался один. Он решил и с Аврамом говорить начистоту. Приходилось целиком довериться этому человеку — будь он честный или нечестный. Но задачу необходимо было выполнить хотя бы ценою сотни таких жизней, как его жизнь. К тому же Огнянов рассчитывал на то, что все-таки Аврам болгарин: он может отказать, но выдать — не выдаст. Услышав негромкие шаги в сенях — шаги одного человека,— Огнянов понял, что это идет Аврам, и спокойно стал у двери.

Дверь открылась, и корчмарь вошел. Его полное румяное лицо расплылось в улыбке. Он закрыл за собой дверь.

— А, добро пожаловать, Граф, добро пожаловать! Как здоровьечко?.. Хорошо сделал, что зашел повидаться,— потолкуем с тобой о том, о сем... Очень приятно, что зашел; и сказать не могу, до чего приятно!.. Да и не мне одному — жена тоже обрадовалась. И ребята будут рады. Нанко не видался с тобой уже

полгода... А ведь ты ему учитель и наставник... Добро пожаловать, добро пожаловать! Вот гость так гость!

Восторгам и радостным излияниям корчмаря не было конца.

Огнянов обрадовался. Он смело приступил прямо к делу и коротко изложил Авраму просьбу, с которой раньше обратился к его жене.

Улыбка все шире расплывалась по лицу Аврама; оно сияло довольством и счастьем.

— Ладно, ладно, сделаем! Как не сделать? Очень хорошо! Тут и спрашивать нечего... Кто не захочет помочь народному делу?

— Благодарю вас, дядя Аврам,— растроганно промолвил Огнянов.— В этот великий час каждый болгарин обязан чем-нибудь пожертвовать или хоть как-нибудь да помочь родине.

— Как не помочь! Да разве найдется такой болгарин, что откажется помочь родине? Кто пожалеет себя ради такого святого дела, будет проклят богом. Доброе дело, доброе дело. Кто из моих ребят тебе нужен?

— Лучше послать Нанко... Он старше, да и смышленей.

— Ладно, ладно. Твой ведь ученик... Он ради твоей милости голову положит... И как же он обрадуется, когда я ему скажу!.. А записку ты написал?

Голос Аврама дрожал от радостного волнения.

— Сейчас напишу.— Огнянов порылся в боковом кармане.— Нет ли у тебя бумаги?

Корчмарь вытащил из-за пазухи смятый клочок бумаги, поставил перед Огняновым свою чернильницу и сказал:

— Ты напиши записочку, а я заскочу в корчму,— как бы эти собаки чего не стянули — сущие грабители!

— Скорей возвращайся с моим Нанко, дядя Аврам! Я тебе уже говорил, мне мешкать нельзя, нужно трогаться в путь.

— Сию минуточку!

И, бросив последний сияющий взгляд на гостя, корчмарь захлопнул за собою дверь.

Огнянов быстро написал записку. В ней было всего несколько строк:

«Восстание вспыхнуло; оно в полном разгаре! Не мешкайте ни минуты. Подымайтесь немедленно. Одна чета должна ударить в спину Тосун-бею, другая — поднять ближние села... Будьте бодры и верьте!.. Немного погодя я к вам приду — отдать свою жизнь за Болгарию. Да здравствует революция!

Огнянов».

Он уже поздравлял себя с успехом. Кто мог ожидать от Аврама такой готовности, такого патриотического порыва?

Огнянов нетерпеливо ждал, не послышатся ли шаги отца и сына, но слышал только глухой уличный шум да лай собак... Лампочка горела тусклым мигающим светом, и над ней поднимался столбик вонючей копоти.

Но вдруг в соседней комнате раздался душераздирающий визгливый крик, потом женский плач.

Огнянов вздрогнул.

Он узнал голос Аврамицы.

Почему она плачет?

Огнянова охватил невольный страх.

Стоя в полутемной каморке, он напряженно прислушивался. За дверью, под навесом, послышался негромкий топот удаляющихся шагов.

Огнянов подошел к низкой дверце и рванул ее.

Она не открывалась. Он рванул сильнее, но дверца не поддалась. Ужас охватил Огнянова, и волосы зашевелились у него на голове.

— Предали! — простонал он.

В этот миг по ту сторону дверцы что-то зашуршало. Казалось, кто-то всунул ключ в замок. Дверца открылась, и свежий ночной ветер пахнул в каморку. Огнянов впился глазами в темный сад. В дверном проеме показалась чья-то голова.

Это была Аврамица.

— Выходи,— прошептала она тихо.

Как ни тускло освещала лампочка лицо женщины, Огнянов заметил слезы в ее глазах.

Он вылез наружу и очутился в садике.

— Туда...— едва слышно проговорила Аврамица, указав рукой на сливу, растущую у изгороди.

И она исчезла во мраке.

Огнянов перескочил через терновую изгородь и вышел на заднюю улицу.

Она была пуста.

Дойдя до ее конца, Огнянов свернул на другую улицу и снова очутился перед корчмой.

Там он столкнулся с толпой вооруженных турок. Они хлынули в ворота корчмы и скрылись из виду в глубине двора...

Огнянов тоже потерялся во тьме.

XXXIII. НОЧЬ

Было уже далеко за полночь, когда Огнянов после бесчисленных мытарств вернулся на свое укрепление.

Защитники еще бодрствовали, лежа в темноте на принесенных из дому родными половиках и рогожках. Укрывшись плащами, люди негромко переговаривались, устремив глаза в безлунное звездное небо. Огнянов бесшумно пробрался между ними и, надломленный физически и нравственно, рухнул на землю как убитый. Он старался сосредоточиться, собраться с мыслями или хотя бы забыться сном, столь необходимым ему для того, чтобы встретить завтрашний день бодрым и крепким... Но мысли его, как потревоженный пчелиный рой, беспорядочно витали в пространстве, и сон бежал от него. Не так-то легко заснуть накануне сражения, или, вернее, накануне катастрофы.

Между несколькими повстанцами, лежавшими поблизости, завязался приглушенный разговор, сразу привлекший внимание Огнянова.

— Говори, что хочешь, наше дело гиблое,— начал один.

— Обманули, одурачили нас, браток,— со вздохом сказал другой.

— Должно, совсем нам разум отшибло,— послушались бродяг... Сами свои дома подожгли,— откликнулся третий.

— На кой черт сдалось нам это восстание!

— Теперь уж поздно панихиду служить.

— А что же делать?

— Спасения, спасения искать.

— Спасение одно: давай бог ноги! — услышал Огнянов знакомый голос.

— Вот, вот! Бежать — горя не видать.

— На месте стоять — пропадать,— дополнил другой.

— Завтра улизнем через Вырлиштницу.

— Лучше бы сегодня...

— Не выйдет, охрана задержит...

— Ну, так завтра; завтра обязательно.

— Да, да, в общей кутерьме.

— Но ведь тогда все удирать будут,— как бы нас другие не упредили.

— Только вот этот Огнянов... сущий пес!.. Как бы он не заметил.

— Огнянов? Да он еще вчера сам сбежал!

— Сбежал?

— Одни мы, бедные, в дураках остались...

Но тут Огнянов встал во весь рост и крикнул:

— Лжете, несчастные, я здесь!

Этот грозный голос, прозвучавший во мраке, заставил всех притаиться.

Огнянов с ужасом и возмущением слушал эти разговоры. Не было сомнений, что они выражали общее настроение повстанцев и здесь, и на других укрепленных пунктах. Голос одного из говоривших показался Огнянову очень знакомым. Но чей это был голос, он припомнить не мог.

«Боже мой, боже! — думал Огнянов, закрывая грудь полой плаща, чтобы холодное дыхание ночи не проникло под платье.— Как неудачно все сложилось! Какие разочарования! Какие измены!.. Живи после этого, дорожи этой проклятой жизнью!.. Завтра будет бой, и я уже предвижу, чем он кончится... Паника объяла сердца, страх смерти ослабил руки и затемнил разум тех, кто пришел сюда, чтобы отдать свою жизнь... Народ был так воодушевлен, он надеялся, он верил, как дитя, а теперь трепещет, как дитя... Подлость одних увлекает и других на путь подлости... Бяла-Церква и ей подобные обманули наши надежды, деморализовали Клисуру. Это — подлость, это — коварная измена общему делу... Бяла-Церква — город интриганов, способный лишь на то, чтобы изменять и порождать изменников. Он может производить на свет только Кандовых да Аврамов, и он породил Раду! Ах, эта Рада, она отравила последние часы моей жизни. И я сам ищу смерти, я прощаюсь с жизнью, проклиная ее. О боже мой, как гордо, как радостно встретил бы я смертный час, если бы умирал с сознанием, что я любим, озарен лучами верной любви, что хоть одна чистая слеза упадет на мою безвестную могилу... Но умереть в тот час, когда все для тебя умерло в этом мире, когда видишь свои кумиры затоптанными в грязь, свои идеалы погребенными! Любовь... революция!.. Как тяжка, как печальна такая смерть! О, как она желанна, как необходима таким несчастным, как я!»

Горный ветер угрюмо выл над дремлющими полями. Листва окрестных лесов шелестела глухо и печально, и шелест ее в ночной мгле казался особенно зловещим. Вся природа, горные вершины, долы и ущелья кругом настороженно вздыхали. Звезды на небе мигали быстро и беспокойно. Время от времени раздавался крик ночной птицы в чаще, потом снова наступало мертвое молчание... Подобный далекому стону, горный ветер завывал протяжно и уныло над головами лежавших в окопах повстанцев. Этот стон болезненно отзывался в сердцах, и люди

вздрагивали и озирались во мраке ночи. Потом снова погружались в беспокойную дремоту, исполненную смутных и страшных сновидений, но то и дело просыпались, дрожа от ночного холода и ледяных лобзаний ветра.

Наконец горластый хор клисурских петухов разорвал тишину и огласил горную глушь своим веселым приветом; это был предвестник зари, золотого солнца, пробуждающейся жизни, праздника природы, обновленной весною.

XXXIV. УТРО

Огнянов, как он ни был встревожен, все-таки заснул и спал крепким сном два часа подряд. Говорят, что таким глубоким сном забываются осужденные на смерть в ночь накануне казни. На рассвете Огнянов проснулся и огляделся кругом. Природа тоже пробуждалась ото сна. Все вокруг посветлело. С белесовато-голубого неба исчезла последняя трепещущая звездочка. На востоке небо белело все больше и больше. Багровая огненная полоса протянулась за горными вершинами, напоминая зарево далекого пожара. Прозрачный туман еще стлался в складках Рибарицы, но ее снежная корона уже зарделась, воспламененная утренней зарей... Один лишь Богдан еще был окутан туманной пеленою, и вид у него был холодный и суровый. Но мало-помалу туман рассеялся; все светлее и ярче становились дали; под лазурным небом зеленые горы, леса и холмы радостно улыбались весеннему утру. В лесу пели ранние соловьи.

Огнянов встал, окинул взглядом лежащих в окопах повстанцев, закутавшихся в подстилки из козьей шерсти или в суконные плащи и все-таки дрожавших от холода, и пошел на Зли-дол, чтобы обсудить положение в военном совете.

Скоро он спустился в ущелье и скрылся из виду.

Уже совсем рассвело. Взошло солнце.

На укреплении все уже встали и под надзором десятников принялись за работу — надо было рыть новые окопы, так как ночью сюда пришел новый небольшой отряд, и число защитников увеличилось. Повстанцы немного воспрянули духом. Марчев по секрету рассказал им, что Огнянов произвел рекогносцировку, дошел до окраины Текии и узнал наверное, что сегодня в Бяла-Черкве начнется восстание... Это сообщение немного ободрило повстанцев. У людей поднялось настроение, лица их прояснились, повеселели; некоторые замурлыкали шуточные

песни. Свойственный болгарину юмор не замедлил пробудиться... Посыпались насмешки по адресу четверых клисурцев, приговоренных к тому, чтобы расстрелять цыгана.

— С пяти шагов не могли попасть в Мехмеда!.. Пришлось второй раз стрелять!.. Грешно вам было так мучить горемыку... Подарили ему одну минуту жизни, а эта минута целого века страданий стоит. Он ею все свои грехи искупил,— сказал один повстанец.

— Черт бы вас побрал! — отозвался другой.— Мученика мы из него сделали. Он теперь в раю возле своего Мохаммеда.

— Чего врать-то! — возразил третий.— Он теперь у лягушек,— ведь Дичо и Стамен-Ворона бросили его в болото.

Взрыв хохота.

— Ну и стрелки — с такого расстояния палили, и ни одна пуля не попала! — откликнулся еще кто-то.— Да я с этого места плевком бы в него угодил.

— Даю голову на отсечение, что вы и не целились.

— Что правда, то правда, на таком расстоянии и баба не промахнулась бы.

— Нет, целились,— оправдывался один из четверых.

— Может, и целились, да зажмурившись.

— Верно, я зажмурился, но уже потом, когда взводил курок.

Опять смех.

Потом принялись задевать Рачко, насмехаться над его именем.

— Эй ты, Прыдле, кто тебя украсил таким славным именем? — спрашивал один.

— Рачко! Ты врешь, это не твое имя! — дразнил его другой.

Рачко обиделся.

— Кто врет? Да спросите хоть Графа.

— Нет, нет, врешь... докажи, что ты и в самом деле Прыдле...

И насмешник объяснил, какого рода доказательства он требует.

— А знаете, он вчера принял нас за разбойников...

— И правильно,— заметил кто-то.— Боримечка его обобрал: вынул у него из торбы ножницы и аршин.

— Да, да, вынул, правда, из торбы стянул, украл, пакостник,— подтвердил Рачко.

— А зачем они ему понадобились?

— Покрошил их, сделал снаряд для пушки.

— Эх, с такими снарядами мы до Севастополя доберемся!

— Если наша батарея будет палить не хуже злидольской, ни одного турка в живых не останется! — пошутил кто-то.

— И клисурское царство будет на веки нерушимо,— смеялся другой.

— Чего это там машут? — спросил кто-то, посмотрев на восток.

Все обернулись в ту сторону.

Дальние дозоры подавали укреплениям условные знаки, что показался неприятель. В тот же миг двое часовых со всех ног пустились к Зли-долу, чтобы сообщить об этом военному совету.

Не успели вестовые добежать до злидольского укрепления, как со стороны Рахманлари показались два турецких конных отряда, человек по двадцати в каждом. Один отряд ехал по дороге, другой — полем. Повстанцы с волнением ждали, не появятся ли вслед за конницей и другие силы. Но никто больше не появлялся.

Тотчас же два пеших отряда, числом превосходящие неприятеля, спустились с укреплений, чтобы встретиться лицом к лицу с турками. Более крупный отряд был выслан из злидольского укрепления.

— Кто командует? — спрашивали повстанцы, вглядываясь в командира.

— Да Огнянов же, не видите разве? — отозвалось несколько голосов.

— Граф, конечно. Граф, готов побожиться, что он,— сказал Рачко.— Пусть хоть что хочет на себя напялит, все равно я его узнаю... На Карнарском постоялом дворе, хотите верьте, хотите нет...

Но никто не слушал Рачко.

Завидев болгарские отряды, турки на минуту остановились, затем повернули вспять.

— Жарко им стало, сукиным детям! — радостно заметил кто-то.

— И сегодня боя не будет.

— Бяла-Черква, сдается мне, наделала им хлопот.

И под веселый гул разговоров работа на укреплениях снова закипела.

XXXV. БОЙ

Настал полдень. Солнце было в зените.

На укреплении Огнянова повстанцы после всухомятку и теперь торопливо запихивали в сумки и торбочки остатки

хлеба и другой снеди. Их измученные, пыльные, с неделю уже немытые лица выражали беспокойство. После первого успеха они немного прояснились, но лишь на короткий срок; снова их искажала душевная тревога. Повстанцы знали, что если не сегодня, то завтра обязательно все должно решиться. Предчувствуя, что буря надвигается быстро, они то и дело бросали беспокойные взгляды на восток, где по широким склонам чернели рассыпанные там и сям дальние дозоры.

Солнце пекло нещадно. Справа от батареи, доставленной сюда и установленной еще накануне, Огнянов, только что вернувшийся со элидольского укрепления, обливаясь потом, усердно работал вместе с несколькими повстанцами,— они торопились закончить рытье нового окопа. Как мы уже говорили, военный совет прислал сюда накануне подкрепление — десять человек, и ранее вырытых окопов было недостаточно.

— Учитель! — окликнул Огнянова крестьянин лет пятидесяти, родом из Вергова.

Огнянов обернулся.

— Что, дядя Марин?

Крестьянин подал ему листок бумаги, сложенный вчетверо.

— Тебе письмо,— сказал он.

— Кто принес? — спросил Бойчо, прежде чем развернуть листок.

— Иван Боримечка. Он тебя вечером здесь искал, но не нашел и отдал мне это письмо, велел передать тебе, когда ты вернешься.

— Не сказал, от кого?

— От учительницы.

Что-то кольнуло Огнянова в сердце, точно змея укусила. Судорожно скомкав бумагу, он хотел было бросить ее, не читая, но подумал, что это могут заметить, и сунул письмо в карман. И еще быстрее и лихорадочнее заработал лопатой, чтобы заглушить душевную боль и успокоиться.

«Только этого не хватало,— думал он.— Зачем она мне пишет, чего от меня хочет? Скорей бы в бой, навстречу смерти... и все будет кончено».

В эту минуту среди повстанцев поднялся переполох. Все столпились на насыпях перед окопами, устремив глаза на восток.

Огнянов поднял голову и тоже стал всматриваться в обнаженные холмы. Оттуда дальние дозоры подавали сигналы тревоги. В тот же миг раздался ружейный залп — знак того, что замечены крупные силы неприятеля.

Вскоре дозоры начали спешно отступать, крича на бегу:

— Турки!.. Турки идут!.. Видимо-невидимо!..

Произошло замешательство. Защитники укрепления, бледные, растерянные, метались из стороны в сторону.

— По местам! Приказываю! — заревел Огнянов, выхватив свое ружье из общей груды оружия.

Повстанцы очнулись от его крика и заняли места в окопах.

В критические минуты присутствие духа и отвага одного человека магически действуют на массу и подчиняют ее. Тогда командиром становится тот, кто хочет командовать.

С аванпоста прибежало несколько человек. Они задыхались. Огнянов подошел к ним.

— Что вы видели? — спросил он.

— Турки! Идут сюда... Целая орда... не меньше тысячи... Дорога вся почернела от башибузуков...

Огнянов сделал им знак замолчать.

— Стой! — крикнул он в сторону окопов, увидев, что многие, не выдержав, стали вылезать наружу.

— Турок-то тьма-тьмущая,— говорили некоторые, глядя с насыпи вдаль.

— По местам! Все к оружию! — властно скомандовал Бойчо.

Люди снова полезли в окопы.

— Уже видать их!

И в самом деле, вдали, на большой дороге, там, где она огибала пологий холм, показалась голова густой колонны; с каждой минутой колонна все больше и больше вытягивалась, все ползла и ползла вперед, как бесконечно длинная гусеница... То была орда Тосун-бея. Чем ближе она подходила, тем ясней было видно, как она многолюдна... Турки шли по четыре в ряд; три больших знамени и десятка два маленьких флажков — белых, красных, зеленых и других цветов — развевались над колонной. Растянувшись чуть не на два километра, она заполнила собой всю дорогу от Кулы до Бяла-воды.

В рядах повстанцев опять начался переполох. Никто не мог усидеть на месте; все поднимались на ноги, пугливо озираясь.

Только Огнянов кое-как еще сдерживал людей гневным взглядом.

Черная колонна продолжала двигаться по дороге, пока не подошла к укреплению на ружейный выстрел.

Со Зли-дола стража дала по ней несколько залпов из дальнобойных ружей; тотчас же по команде Огнянова дали залп и

с его укрепления. Рявкнула пушка. Густой дым окутал насыпи, грохот выстрелов разорвал воздух и эхом отдался в горах.

Несколько турок в передних рядах колонны рухнуло на землю...

В этот миг Огнянов заметил головы трех человек, спускавшихся по дороге к долине Стара-реки. Это были повстанцы, которые, воспользовавшись суматохой, под прикрытием дымовой завесы покидали укрепление. Огнянов каким-то чутьем узнал в этих дезертирах своих соседей, ночью обсуждавших план бегства.

В несколько скачков он добежал до обрыва, нависшего над ущельем. Беглецы шли гуськом по узкой, изрытой ливнями тропинке.

— Назад! Вернитесь, или я вас прикончу! — закричал Огнянов, целясь в них из ружья.

Те обернулись и замерли на месте. Ружья свои они оставили в окопах. Огнянов узнал в одном из дезертиров дьякона Викентия; теперь он был выбрит, одет в повстанческую форму. Несчастный покраснел до ушей от стыда.

Все трое покорно повернули назад.

— Дядя Марин, приведи этих трусов сюда и посади в окоп... Чуть кто пошевельнется, размозжи ему голову.

И Огнянов поспешил снова занять свой пост.

— Эх вы, сукины дети, хоть бы по одному разу выстрелили, для очистки совести, а потом уж улепетывали,— укорял беглецов дядя Марин, конвоируя их к окопу с ружьем, наведенным им в спину.

Строгость начальника удержала на месте остальных повстанцев. Они старались скрыть свой страх, но если это и удавалось им, то ненадолго. У большинства губы потрескались до крови.

Турки еще не выпустили ни одной пули. Первый залп с укреплений, сваливший несколько человек, произвел минутное замешательство в их рядах. Раненых отнесли к оградам ближайших розовых насаждений, и вся толпа стала спешно отступать. Эта первая удача ободрила повстанцев, и они продолжали вести интенсивный огонь против неприятеля. Казалось, будто горы и холмы сотрясаются от непрерывных залпов.

Белые облачка дыма, поднимавшиеся там и сям над высотами, открывали местонахождение укреплений. Стрельба с них продолжалась и тогда, когда турки удалились на значительное расстояние, за пределы досягаемости ружейных выстрелов... Вдали, в самом хвосте турецких полчищ, виднелось несколько

конников. Они составляли главный штаб Тосун-бея. Вся орда сгрудилась вокруг них и долго стояла на месте. По-видимому, в штабе происходило совещание, и план нападения был изменен. Действительно, спустя некоторое время орда пришла в движение и разделилась на несколько частей. Затем, словно по данному сигналу, все эти отряды рассыпным строем с бешеными криками стремительно ринулись вперед... Одни бежали по голым холмам, чтобы подняться на гору, другие — к обрыву Зли-дола, третьи — в сторону Средна-горы, к долине, из которой вытекает Стара-река, образуя ворота в Клисуру, четвертые — к виноградникам и укреплению Огнянова. Повстанцы издалека встретили их громом ружейных залпов, но турки начали отвечать, лишь приблизившись на расстояние выстрела. В несколько минут клубы дыма заволокли все укрепление; число стрелков стало уменьшаться. По лицу Огнянова ползли черные потоки обильного пота, смешанного с грязью и пороховой копотью. Опьяненный запахом крови и свистом пуль, пролетавших над его головой, он то выпрямлялся, то пригибался к земле, скрываясь в окопе, и ружье его выплевывало белый дым.

Он никого не видел в дыму, но, быть может, сам того не замечая, беспрерывно кричал:

— Бей! Пали! Смелей, братцы!

И вдруг он услышал рядом с собой голос дяди Марина, говорившего кому-то:

— Ниже, ниже нагнись, парень!.. Попадут в тебя!

Огнянов невольно повернулся вправо и сквозь разреженный ветром дым увидел повстанца, который встал во весь рост и, не прячась за укрытие, стрелял в неприятеля, сам подставляя грудь его пулям. Эта дерзновенная смелость граничила с безумием.

Огнянов с изумлением узнал Кандова.

Пораженный, он подошел к студенту и порывисто протянул ему руку.

— Дай руку, брат! — сказал он.

Студент обернулся, молча посмотрел на Огнянова застывшим взглядом и крепко стиснул ему пальцы. Это рукопожатие двух соперников было символом их примирения перед лицом окровавленной родины, а быть может, на пороге прощания перед вечной разлукой.

Струйка крови обагрила пальцы Огнянова, когда он пожимал руку Кандова. Она сочилась из-под рукава студента.

Огнянов заметил это, но не удивился, не вздрогнул, даже не подумал о том, что означает эта струйка теплой крови... Гораздо больше поразило его, что Кандов здесь.

А между тем студент вскоре после ухода Огнянова тоже ушел от Рады и направился к пункту раздачи оружия, а оттуда на укрепления у Стара-реки. Ночью он был прислан сюда в составе пополнения, но Огнянов, поглощенный своими заботами, не заметил его.

Огнянов отбежал в сторону и оглянулся вокруг.

Только сейчас он обнаружил, что окопы почти опустели... Повстанцы исчезли. Осталось всего пять-шесть человек, и в их числе Кандов; они еще продолжали стрелять, но огонь их заметно ослабел. Поредели залпы и с других укреплений, также покинутых своими защитниками. Зато вражеские пули сыпались все обильнее, и высовываться из окопов становилось опасно.

Обезумев от ярости, Огнянов отчаянно вел неравную борьбу вместе с кучкой храбрых товарищей, решив умереть на этой высоте. Его укрепление теперь оставалось единственным пунктом на востоке, еще продолжавшим дымиться.

— Ой, боже! — крикнул кто-то неподалеку.

Вздрогнув от этого крика, Огнянов повернулся влево.

Насмерть пронзенный пулей, Викентий упал навзничь в окопе. Алый поток крови струился по его груди, окрашивая рыхлую землю и смывая его позор.

Дядя Марин отнес труп в сторону под укрытие, рассчитывая, что там его возьмут другие и отнесут в город. Но там уже никого не осталось. Высота была безлюдна...

Опустевшие окопы хранили угрюмое молчание. Только редкие выстрелы с других, еще не простреливаемых высот, к северу и западу от города, вторили — впрочем, без всякой пользы — стрельбе с укрепления Огнянова, привлекавшего к себе вражеские пули, как магнит — железную стружку. Турки толпами продолжали наступать и стреляли беспрерывно. Они осторожно пробирались через виноградники и розовые плантации, отделявшие их от укрепления, и то прятались под случайные укрытия, то ложились, едва заметив, что с какой-нибудь высоты еще стреляют. Они уже занимали покинутые в панике окопы. Вместо повстанцев или их трупов турки находили здесь оружие, патронташи, сумки, одежду и другую добычу. Нашли они и черешневые пушки, доставленные вчера на укрепления,— по две-три на каждое. Все пушки, кроме двух, были заряжены, но никому и в голову не пришло запалить фитили, да и духу на это не хватило.

Теперь турки появились на высотах Шайковца и под самым городом. С улиц его в наступающих посыпались выстрелы, сва-

лившие знаменосца и еще одного человека. Но судьба боя и участь города, уже пылавшего в нескольких местах, были решены в пользу Тосун-бея и его полчищ. С криками и гиканьем турки темным роем обрушились на несчастную Клисуру, как черная стая воронов на свежий труп.

XXXVI. РАДА

Как только первые залпы с высот возвестили городу, что роковой бой начался, народ, охваченный безумной паникой, пустился бежать в Копривштицу. Путь туда лежал через Вырлиштницу — узкое среднегорское ущелье, из которого вытекает речка того же названия, впадающая на юго-западной окраине Клисуры в Стара-реку.

Приютившая Раду госпожа Муратлийская наскоро собрала наиболее ценные вещи, решив бросить свой дом и вместе с детьми бежать по примеру других. Она зашла к Раде, чтобы взять и ее с собой. Но, невзирая на все ее уговоры, Рада отказалась за ней последовать. Добрая госпожа Муратлийская, обливаясь слезами, на коленях просила Раду бежать с нею. Как могла она покинуть девушку, когда ей грозила такая страшная участь? Турки уже показались на обрывах у города; каждая минута была дорога.

— Иди, иди, тетя Аница, уведи детей... А меня оставь, умоляю тебя! — настаивала Рада, подталкивая свою хозяйку к двери.

Госпожа Муратлийская, с ужасом взглянув на девушку, безнадежно стиснула руки. В окна уже было видно, как турки спускаются в город. Она не знала, что делать.

Видно, только отчаяние могло довести девушку до такого безумного упрямства. Так оно и было: Рада впала в глубочайшее отчаяние.

С той минуты, как произошло то ужасное столкновение между Огняновым и студентом, она все время чувствовала себя убитой, раздавленной тяжестью презрения своего возлюбленного. В первую минуту она была так ошеломлена, что не смогла оправдаться, а больше она не видела Огнянова. Значит, Огнянов доныне остается в ужасном заблуждении, доныне испытывает к ней отвращение и беспредельную ненависть... Если он погибнет в бою, он умрет с проклятием на устах, в жестоких, нестерпимых нравственных муках. Раду эта мысль приводила в ужас. У нее не было ни минуты покоя. Она знала, что могла бы сразу же

рассеять его подозрения и успокоить его; могла бы, но не сделала этого, и теперь мучилась угрызениями совести. Этот благородный человек умрет неумиротворенный, с отчаянием в душе, думала она; ведь он для того и пошел в бой, чтобы умереть,— он не боится смерти. И она, Рада, обязана была хотя бы постараться, чтобы он умер спокойно, утешенный сознанием, что он любим, обожаем... А может быть, она обязана вырвать его из когтей смерти — сохранить для себя и для родины. Ведь если бы он верил в ее любовь, он не стал бы искать гибели...

Но все эти дни Огнянов не появлялся в городе. Напрасно Рада пыталась под разными предлогами — и не раз — проникнуть в окопы, чтоб хоть на минуту увидеть Бойчо,— пусть бы даже лишь для того, чтобы встретить его негодующий огненный взгляд; но ее упорно отказывались пустить на укрепления.

Единственным утешением для Рады служили свидания с соседкой — Стайкой, женой Боримечки. Сам Боримечка три раза приходил в город с разными поручениями и, мимоходом забегая к жене, приносил кое-какие сведения об Огнянове. Таким образом, Рада узнала через Стайку, что Бойчо жив и здоров, что он чрезвычайно занят, но — ничего больше... За эти шесть дней, долгих, как вечность, вместе со страданиями Рады возрастала и ее любовь к Бойчо, такому отважному и несчастному. Эта любовь перешла в культ. Бойчо казался ей еще более прекрасным, чем раньше,— его рыцарский образ снял красотой мужества, окруженный лучезарным ореолом славы, и Рада видела в своем воображении, как там, на этих высотах, он с горькой усмешкой встречает смерть, ни разу не оглянувшись назад, в прошлое, чтобы шепнуть хоть последнее прости той, которая не может жить без него и которую он убил своим презрением... В ночь накануне боя, впервые встретившись с Боримечкой, Рада дала волю своим чувствам и выплакала перед ним свое горе. Добряк Иван утешал ее как мог и обещал незамедлительно передать Огнянову ее письмо, наспех написанное карандашом. Нам уже известно, почему оно было передано Огнянову только в начале боя. Но Рада не получила в ответ ни словечка, ни письменно, ни устно,— и не было предела ее скорби, ее отчаянию... Она чувствовала, что не сможет остаться жить, если Бойчо унесет свое презрение в могилу, к которой она его толкнула; и жизнь, в которой родник любви и счастья высох навсегда, казалась ей теперь ненавистной. Что у нее впереди? Безутешные муки, горькие сожаления, презрение окружающих и безнадежность... На что нужна ей та-

кая жизнь? Да и кому она нужна? На кого сможет она опереться, не подвергая себя унижениям? Бяла-Черква представлялась ей теперь страшной и мрачной, как могила... Вернуться к Хаджи Ровоаме? Снова покориться ей? Или пойти к Марко Иванову? К нему обратиться за покровительством? Но какими глазами будет она смотреть на него? Она умерла бы от стыда перед этим добрейшим человеком,— ведь он, конечно, слышал гнусную клевету и теперь раскаивается в своей доброте. Надо сказать, что Рада в самый день своего отъезда из Бяла-Черквы узнала про мерзкие слухи, позорящие ее честь... Нет, нет, один лишь Бойчо может ее утешить, спасти... Но если он погиб? Правильно делает Муратлийская, стараясь сохранить себе жизнь... У нее есть для кого и для чего жить, потому что есть кому плакать о ней, кому любить ее. А она, Рада? Она не в силах влачить тяжкое бремя своего горя, она слишком слаба. Ей нечего делать в этом печальном мире, с которым ее ничто уже не связывает... А если Бойчо останется в живых? Как жестоко он будет презирать ее,— ведь она не сумела тогда оправдаться, обстоятельства были против нее. Оскорбленное его самолюбие не сможет ее простить. Удар, нанесенный его сердцу, его гордости, был слишком жесток. И Бойчо ни за что на свете не захочет ее видеть. В вопросах чести он непреклонен,— она это хорошо знает. Нет, нет, надо умереть... Сегодня можно умереть легкой, даже славной смертью, погибнуть под развалинами, под благородными развалинами этого героического города. Пускай госпожа Муратлийская уходит — она, Рада, останется здесь, чтобы тут найти смерть!.. Что ж, раз Бойчо не сказал ей, чтоб она жила, не почтил ее ни единым словом, она умрет. И если смерть пощадит его, пусть он узнает, что болгарки тоже не боятся смерти, что Рада была честной девушкой и пожертвовала собой ради своей любви к нему.

Эти и подобные им размышления — плод отчаяния, охватившего эту нежную и впечатлительную душу, сломленную горем,— носились у нее в голове, как тучи, гонимые ветром, когда госпожа Муратлийская с рыданиями умоляла ее бежать вместе. Но Рада была неумолима.

В это время на улице послышались крики. Выглянув в окно, госпожа Муратлийская увидела кучку повстанцев.

— Христо, что слышно там наверху? — спросила она одного из них.— Где сейчас Огнянов? Куда ты так бежишь?

— Гиблое дело! Крышка нам, Аничка,— ответил повстанец, еле переводя дух.— Огнянов, бедняга, остался там... Все к черту полетело!.. Бегите поскорее к Вырлиштнице!

И повстанцы скрылись из виду. Очевидно, Христо еще недавно был на укреплении Огнянова. Рада вскрикнула как безумная. Госпожа Муратлийская, потеряв всякую надежду увести ее с собой, бежала из дома.

И было уже давно пора. Вскоре Рада услышала отчаянные женские вопли на северной окраине города, куда уже ворвались турки. Ошеломленная, подавленная, стояла она у окна и вдруг увидела, как из соседнего переулка выбежали башибузуки с обнаженными ножами в руках, нагнали двух болгар и зарезали их... Рада увидела, как алая кровь хлынула из ран, увидела, как люди упали, увидела смерть в самом страшном ее обличье, и безумный страх овладел ею. Любовь к жизни с непреодолимой силой проснулась в этой молодой девушке, заглушила в ней все другие чувства, сломила всю ее решимость умереть, порожденную отчаянием. Рада бросилась бежать, чтобы спастись от смерти или от той позорной жизни, которую могли бы подарить ей кровожадные сластолюбцы... Она уже отворила дверь, чтобы спуститься по лестнице, как вдруг услышала, что ворота открылись с оглушительным треском; в ту же минуту она сквозь ветви фруктовых деревьев во дворе разглядела вооруженного мужчину. За ним показался еще кто-то, и оба быстро направились к лестнице, на которой Рада стояла как вкопанная. Очнувшись, девушка бросилась назад, в комнату, быстро захлопнула за собой и заперла дверь и, полуживая от ужаса, отбежала в дальний угол, ища, где бы спрятаться. Тотчас же в дверь начали стучать, потом ломиться, и за нею раздался какой-то страшный звериный рык... Дверь не поддавалась, и тот, кто стоял за нею, принялся ее ломать и крушить чем-то вроде топора. Наконец дверь заскрипела, затрещала, и в одном месте образовалась щель, в которую нападавший сунул ружейный ствол, стараясь взломать развороченную створку. Рада услышала, как под напором железа затрещали сухие доски, увидела, как огромная ножища просунулась в дверь... Еще миг, и нападающий ворвется в комнату...

И тут невыразимый ужас охватил Раду, помрачив ей рассудок. Смерть показалась ей стократ желаннее той страшной минуты, что приближалась неумолимо... Девушка бросилась к кноту, зажгла восковую свечу о мигающий пламень лампадки, потом кинулась обратно в угол. Там на столе лежал мешок пороха, забытый повстанцами. Держа свечу в правой руке, Рада указательным пальцем левой принялась ковырять в том месте, где мешок был завязан, чтобы проделать отверстие и поднести пламя к пороху. Это ей быстро удалось.

В этот миг дверь с оглушительным треском рухнула на землю, и в комнату ворвался человек богатырского роста.

Это был Иван Боримечка. Из-за его спины выглядывала Стайка.

Но Рада их не видела. Она поднесла свечу к пороху.

XXXVII. ДВЕ РЕКИ

А в это самое время Огнянов был уже далеко в горах.

Отступив последним,— когда турки уже взбирались на насыпь укрепления, а другой их отряд стрелял с ближайшей высоты,— окровавленный, черный от порохового дыма, с двумя дырками в одежде, он каким-то чудом избежал вражеских пуль и вырвался из рук неприятеля... Он искал смерти, но инстинкт самосохранения, который в такие минуты действует сильнее всякой сознательной воли, спас его.

Теперь Огнянов стоял в верховьях Вырлиштницы, на левом склоне ущелья, по дну которого протекала река.

По лицу его, покрытому кровью и потом, пороховой копотью и пылью, струились слезы.

Огнянов плакал.

Он стоял с непокрытой головой, взирая на ужасающее зрелище крушения революции.

Внизу, в долине, беспорядочная толпа повстанцев, женщин, детей, охваченная паникой, искала спасения в горах. Вопли и крики несчастных ясно доносились сюда.

Напротив лежала Клисура, объятая пламенем.

Случайно Огнянов бросил взгляд на свою правую руку, запачканную кровью, и понял, что это кровь Кандова. В ту же минуту мысли его от Кандова переметнулись к Раде... Волосы зашевелились у него на голове; он сунул руку в карман, вынул скомканное письмо Рады и развернул его.

Он прочитал следующие строки, написанные карандашом слабой, дрожащей рукой:

«Бойчо!

Ты с презрением отвернулся от меня. Я не могу жить без тебя. Умоляю тебя, ответь мне хоть единым словом... Если прикажешь, я останусь жить... Я невинна... Ответь мне, Бойчо. Я переживаю страшные часы... Если нет, прощай, прощай, обожаемый. Я похороню себя под развалинами Клисуры.

Рада».

Невыразимая скорбь отразилась на лице Огнянова. Он устремил глаза на город. Пожар все разгорался. В разных местах на крышах то и дело вспыхивали все новые и новые его очаги, и пламя, поднимаясь вверх, лизало воздух бледно-алыми языками. Черные клубы дыма расстилались над городом, сливаясь с тучами, покрывавшими небо; сумерки сгустились раньше обычного. Огонь распространялся во все стороны с необычайной быстротой. Его кровавые отблески лежали на обрывах и скалах Рибарицы, отражались в волнах Стара-реки... Поискав глазами двухэтажный дом, в котором жила госпожа Муратлийская, Огнянов вскоре нашел его и с трепетом узнал оба окна комнаты Рады. Этот дом еще не был объят пламенем, но огонь быстро добирался до него — соседние здания уже горели.

— Боже мой! Бедняжка, наверное, она там!.. Ужасно! Ужасно!

И он бросился вниз, в долину. Спустившись, вернее, стремительно скатившись с поросших кустарником обрывов, он побежал назад, к устью реки, к Клисуре.

Вырлиштницкое ущелье было запружено беженцами обоего пола, всех возрастов и состояний. Перепуганная толпа, растянувшаяся вдоль берега реки на всем ее протяжении, сама походила на реку, но текущую в обратном направлении. Панический ужас в какой-нибудь час обезлюдил Клисуру и наводнил людьми это ущелье. Все бежали, все неслись вперед, задыхаясь и не помня себя, как люди, за которыми кто-то гонится по пятам. Одни выбежали из дома в чем были, с пустыми руками, другие несли одеяла, домашнюю утварь, всевозможное тряпье, нередко даже — совсем ненужные вещи, захваченные впопыхах. У многих это доходило до смешного. Вот зажиточный домохозяин, покинув на произвол судьбы свой дом и все добро, тащит под мышкой одни лишь стенные часы, хотя в такое время они ни на что не нужны... Вот вслед за ним женщина несет сито, которое только мешает ей бежать... Иные старухи и девушки бегут босиком по камням, держа обувь в руках, чтобы она не истрепалась в дороге... Огнянов на каждом шагу сталкивался с этими смятенными толпами, порой спотыкался о тела упавших на землю выбившихся из сил женщин; они отчаянно вопили о помощи, но никто их не поднимал. Волосы становились у него дыбом при виде всех этих ужасов, и он, потрясенный, с непокрытой головой, все бежал и бежал к городу с одной мыслью, всецело овладевшей его сознанием,— спасти Раду. Он инстинктивно искал ее глазами и здесь, всматриваясь в обезображенные страхом лица встречных женщин и девушек, и бежал все вперед и впе-

ред. Но все эти люди были ему теперь чужды; они были как призраки; они для него не существовали. Он даже не пытался понять, отчего бегут эти люди,— он просто не думал о них, так же, как они о нем. И никто не удивлялся, не спрашивал, почему он бежит в город, тогда как все бегут в противоположную сторону... Он не думал, не рассуждал, он знал лишь одно: скорее в город! С каждым его шагом страшные картины становились все чудовищнее. Огибая один утес, Огнянов увидел маленького мальчика, упавшего в реку; обезумевший от страха, обессиленный бегом, окровавленный, он с душераздирающим криком взывал о помощи. Чуть подальше при дороге валялся грудной младенец, посиневший от крика,— быть может, мать бросила его, чтобы легче было бежать. Старухи, мужчины, женщины перепрыгивали через несчастного ребенка, не замечая его, не слыша его плача. Каждый думал только о себе. Страх, этот сильнейший и отвратительнейший вид эгоизма, ожесточает сердце. Позор и тот не отмечает лицо человека такой печатью подлости, как страх. Огнянов невольно нагнулся, поднял младенца и пошел дальше... Под кустом, в стороне от дороги, какая-то женщина прежде времени родила и с лицом, искаженным болью, простирала руки к беженцам. Вопли, детский плач, хриплые крики оглашали ущелье... В довершение всего дождь полил как из ведра. Грозовой ливень обрушился на обессиленных беглецов, а гром отзывался в горах диким эхом. С каждой минутой ненастье приносило все новые беды: с обрывов в реку ринулись мутные потоки, заливая промокших до нитки, окоченевших от холода несчастных беженцев, а дождь хлестал им в лицо. Дети, которых матери тащили за собой, жалобно кричали, едва волоча ноги, и падали под напором воды... Стоны, рыдания звучали все громче и громче...

Скалы, нависшие над ущельем, многократно повторяли эти дикие крики и шумы разбушевавшихся стихий, слившиеся с ревом реки.

Неожиданно Огнянов разглядел сквозь завесу дождя и узнал среди встречного потока людей одну женщину — первую, кого он узнал в этой сутолоке. То была госпожа Муратлийская с грудным ребенком на руках; трое старших детей плелись вслед за ней. Огнянов перебрался через мутный поток и пошел навстречу измученной матери.

— Где Рада? — спросил он.

Женщина раскрыла было рот, но, едва дыша от усталости, не смогла вымолвить ни слова и только указала рукой на город.

— Она у вас? — проговорил Огнянов.

— Там, там, скорее,— едва слышно пробормотала она.

В другое время госпожа Муратлийская, женщина слабого здоровья, едва ли смогла бы выдержать такое путешествие. Глаза ее выкатились от напряжения. Но на помощь мускулам пришла воля... Волю к жизни поддерживали в ней прелестные, как ангелы, дети.

— Куда ты несешь ребенка? — спросила она Огнянова слабым голосом, заглушаемым дождем.

Огнянов удивился. Он только теперь заметил, что подобрал где-то ребенка и тащит его неведомо куда... Только теперь почувствовал он тяжесть этого крохотного существа и услышал его писклявый голосок.

Он растерянно посмотрел на госпожу Муратлийскую.

— Давай его! Давай сюда!..

Взяв у Огнянова ребенка, она прижала его к мокрой груди и, по-прежнему прижимая своего собственного младенца к другой стороне груди, снова тронулась в путь!..

Было уже совсем темно, когда Огнянов добежал до устья реки Вырлиштницы. Отсюда Клисура была видна как на ладони. Дождь погасил пожар; только там и сям еще рдели притаившиеся под крышами огоньки, меча сквозь окна красноватые снопы света на потемневший город... Слышался отдаленный грохот рушившихся домов. Огонь перебегал с одних зданий на соседние. И вдруг Огнянову бросился в глаза новый огромный пожар, вспыхнувший в южной части города. Громадные языки пламени с треском взметывались вверх и миллиардами искр рассыпались в воздухе. Огнянов вспомнил, что в том месте стоял дом госпожи Муратлийской... Да, это он горит... В тот же миг верхний этаж дома обвалился, рухнув в море огня и желтого дыма. Там, наверху, была комната Рады!

Очертя голову, Огнянов бросился бежать по пылающей улице, кишмя кишевшей свирепыми турками, и скрылся в их толпе.

I. ПРОБУЖДЕНИЕ

В течение нескольких дней восстание было подавлено повсеместно.

Борьба окончилась полным поражением, паническим страхом.

Революция и... капитуляция.

История дает нам примеры восстаний хоть и неудачных, но овеянных славой; таких трагически бесславных восстаний, как это, она еще не знала.

Апрельское восстание было недоноском, зачатым в упоении пламенной любви и задушенным родной матерью в муках рождения. Оно умерло, не начав жить.

У этого восстания нет даже истории — так оно было кратковременно.

Золотые надежды, глубокая вера, титанические силы, энтузиазм — все это богатство, нажитое веками страданий, мгновенно пошло прахом.

Страшное пробуждение!

А сколько мучеников! Сколько жертв! Сколько смертей и крушений! — И немногие примеры героизма. Но какого героизма!

Перуштица — вторая Сарагосса.

Но мировая история не знает Перуштицы.

Батак!

Только это название осталось от борьбы, от пожаров, от руин и, облетев всю вселенную, было увековечено в памяти наро-

дов. Батак! Это имя — и как собственное и как нарицательное — характеризует всю нашу революцию.

Судьба иной раз создает подобные каламбуры.

В данном случае она стала для нас провидением: это она потрясла нас ужасами Батака, но она же призвала войска Александра II, освободившие Болгарию.

. . . . . .

Если бы это движение и его трагические последствия не вызвали Освободительной войны, над ним нависло бы неумолимое осуждение; здравый смысл назвал бы его безумием, народы — позором, история — преступлением. Ибо история, эта старая куртизанка, тоже поклоняется успеху.

Одна лишь поэзия могла бы простить и увенчать лаврами его героев из уважения к тому энтузиазму, который увлек мирных анатолийских портных на среднегорские высоты,— высоты, отныне священные,— с черешневыми пушками...

Поэтическое безумие!

Ибо молодые народы, как и молодые люди,— поэты.

Уже три дня и три ночи скитался Огнянов по Стара-планине. Он продвигался все дальше и дальше на восток, чтобы спуститься в Бяла-Церкву, о которой не имел никаких сведений. От Клисуры до Бяла-Церквы всего шесть часов пути для мирного гражданина, но для мятежника, спасающегося от пули, и шестидесяти мало.

Огнянов днем пробирался сквозь леса и буковые заросли, спал, как зверь, в дуплах деревьев, скрываясь от карательных отрядов, а ночью шел по глухим местам и пустошам, под дождем, во мраке, дрожа от холода, веявшего с покрытых снегом балканских вершин; шел, не выбирая направления, нередко возвращаясь назад, вместо того чтобы идти вперед. Питался он травами, иначе говоря, голодал хуже волка. Просить гостеприимства в изредка попадавшихся горных хижинах он не смел. Двери многих хижин охраняли беспощаднейшие стражи — предательство или страх, этот цербер, чей лай всегда грозит опасностью.

В сумерки, стоя на какой-нибудь горной вершине, Огнянов видел, как на юге багровеет небо. Вначале он принял это странное явление за вечернюю зарю. Но чем больше темнела ночь, тем ярче рдел мутно-багровый свет, тем шире разливался он по небу, напоминая северное сияние, чудом запылавшее на юге.

Это было зарево пожаров, испепелявших цветущие селения.

Зрелище величественное и страшное!

Однажды ночью Огнянов забрел в такое место, откуда между двух горных вершин открывался широкий вид на юг, и с ужасом увидел пожары и на самой Средна-горе. Она походила на вулкан, изрыгающий огонь из двадцати кратеров. Дым стлался голубым туманом по всему небосклону.

Огнянов рвал на себе волосы.

— Погибла Болгария, погибла! — в отчаянии говорил он, глядя на пожары.— Вот плоды всех наших святых усилий. Вот в чем потонули наши гордые надежды — в крови и пламени! Боже, боже! А там,— он махнул рукой в сторону Клисуры,— погибло и мое сердце. Оба мои идеала, оба кумира, которым я поклонялся, рухнули одновременно; один — в бездну панического страха, другой — в позор измены и в могилу. Теперь я — бездушный призрак, блуждающий в безуспешных поисках своей могилы!..

Действительно, он походил если не на призрак, то на скелет.

По всем овечьим загонам кочующих пастухов, по всем болгарским зимовьям был разослан приказ не давать приюта никаким странникам, если они покажутся подозрительными. Но сами болгары шли еще дальше: они прогоняли таких путников и оповещали о них карательные отряды. Нередко жестокость местных жителей доходила до того, что они собственноручно приканчивали пулей какого-нибудь раненого или полужившего от голода повстанца. Две недели назад те же самые люди встречали апостолов как самых дорогих гостей. Легендарная добрая мать юнаков, Стара-планина, теперь стала для них коварной мачехой... Всюду были засады... Ужас и подлость перекинулись из городов и сел в самые глухие ущелья, поселились в буковых лесах и чащах, где некогда скрывались гайдуки.

II. ЛОМОТЬ ХЛЕБА ОТ ЧЕЛОВЕКА В БЕЛОМ КОЖУХЕ

В этот день Огнянов встретил рассвет в буковой рощице, покрывавшей северный склон холма, к востоку от безлесной Амбарицы, у подножья которого вьется один из притоков Осыма.

Он совершенно обессилел от голода и усталости, желудок его переваривал какие-то горькие травы.

А в сотне шагов от него стояла хижина, в которой было много хлеба, брынзы, молока, творога... Огнянов чувствовал себя,

как Тантал, который, стоя над прохладным ручьем, изнывал от жажды, но не мог выпить ни капли воды.

Волк не станет околевать с голоду, когда поблизости пасется стадо овец. Зубы псов кусают не так жестоко, как зубы голода.

И Огнянов решил взять пример с волка. Он вышел из рощи, и, перебравшись через речку, решительно направился к хижине.

В ней сидели две женщины — старуха и молодица, чинившие одежду, и две девочки, занятые вязаньем. Собаки, вероятно, были неподалеку, при стаде.

Женщины взвизгнули при виде незнакомого человека с запавшими глазами, с непокрытой головой, облаченного в какое-то странное одеяние.

— Чего тебе здесь надо? — послышался чей-то голос за стеной.

В дверях появился пастух, коренастый седой старик, с ружьем наизготовку.

Огнянов узнал кира Яне, часто приезжавшего в Бяла-Черкву продавать масло. Яне также знал Огнянова.

— Добрый день, кир Яне! Ради бога, дайте кусок хлеба,— поспешил сказать Бойчо, чтобы уверить пастуха в своих миролюбивых намерениях.

Кир Яне осмотрел Огнянова с ног до головы. Узнал ли он гостя или нет, неизвестно, но осмотр не произвел на него благоприятного впечатления. Старик, насупившись, вошел в лачугу, отломал полкаравая и, позвав сынишку, что-то сказал ему вполголоса.

— На вот, бери,— строго проговорил он, подавая Огнянову хлеб,— да уходи подальше, чтобы не нажить беды. Здесь тебя увидят.

Поблагодарив, Огнянов быстро спустился в лощину, чтобы укрыться в буковой роще, в которой он ночевал.

«Боже,— с горечью подумал он,— грек, этот полудикарь, сжалился надо мною, а болгары вчера прогнали меня с ругательствами, чуть не затравили собаками».

Огнянов быстро и с аппетитом уплетал хлеб, и глаза его горели от жадности. Голод придал его огненному взгляду тупой, звериный отблеск. В этот миг Огнянов не пощадил бы и отца родного, попытайся тот отнять у него ломоть хлеба.

Некогда граф Уголино съел собственных детей, чтобы не умереть с голоду.

Голод — более опасный советчик, чем само отчаяние.

В лощине Огнянов напился воды из речки и стал подниматься по круче, чтобы добраться до буковой рощи. Теперь, после того как он поел, силы к нему вернулись. Подходя к роще, он невольно оглянулся, так как вдали послышались чьи-то голоса. С холма, на котором стояла хижина пастуха, спускались черкесы, знаками приказывая беглецу остановиться. Перед черкесами бежало несколько гончих собак. (Известно, что в те печальные дни карательные отряды, состоявшие большей частью из черкесов, имели при себе гончих собак, приученных бросаться на людей и выслеживать их, как дичь). На вершине холма стоял кир Яне в своем белом кожухе, с любопытством наблюдая за этой охотой, устроенной по его же почину. Ведь, подавая Огнянову кусок хлеба, он в то же время послал своего сынишку дать знать о беглеце карательному отряду, сидевшему в засаде поблизости.

Гостеприимство и предательство! Зачерствелая душа этого кочевника совмещала и то и другое. Обе эти обязанности он выполнил вполне добросовестно: накормил голодного знакомца, чтобы исполнить нравственный долг, и предал бунтовщика, чтобы отвести от себя неприятности. И теперь он спокойно взирал на охоту.

Огнянов понял, что гибель его близка, и со свойственным ему самообладанием, обычно покидающим большинство людей во время опасности, немедленно взвесил свои шансы. Небольшой холм у лощины может на одну-две минуты скрыть его от преследователей, когда они спустятся во впадину. Этих минут ему достаточно, чтобы пробраться в буковую рощу. Но какой толк? Все равно его догонят. Невозможно спастись бегством от пуль и от гончих. В речном русле, между крутыми подмытыми берегами растет низкий кустарник. Однако прятаться в нем бесполезно — он может сбить с толку преследователей, но не собак. И тут и всюду — гибель! Но у Бойчо не было времени для колебаний: надо было принять какое-то решение. Он инстинктивно выбрал лощину и стрелой помчался туда. Бежать вниз по склону было легко, и минуту спустя Огнянов уже был в кустарнике, росшем на дне лощины. Речные берега были скалисты, а в нижней их части зияли продолговатые пещеры, которые, казалось, были кем-то выдолблены. Огнянов быстро юркнул в одну из них, видимо служившую логовом для диких зверей. Здесь он приготовился дорого продать свою жизнь.

С револьвером в руке Огнянов прислушивался несколько секунд, и они казались ему вечностью. Лай сначала приближался, потом становился все глуше и наконец умолк... Огнянов

ждал. Что это? Вероятно, погоня сбилась со следа, но, если так, все равно это ненадолго. Огнянов догадался, что каратели сейчас ищут его в буковой роще; но там они его не найдут и, естественно, вспомнят о лощине. Да собаки и сами приведут их сюда,— инстинкт этих животных не дает обмануть себя дважды... Как долго длилось это ожидание, казавшееся Огнянову бесконечной агонией, он не мог бы сказать. Он впился глазами в лощину и засохший кустарник, шуршавший на берегу, ожидая, что вот-вот увидит в отверстии пещеры морду гончей — это животное играло роковую роль в его судьбе — или услышит ее лай.

И вот лай раздался вблизи.

Глаза Огнянова стали огромными, страшными; волосы встопорщились на голове.

Судорожно сжимая револьвер, он приготовился.

III. НА СЕВЕР!

Лай, услышанный Огняновым, раздался неподалеку, где-то вправо, но больше не повторился. Вместо него послышались чьи-то шаги. Да, сюда шли люди, и сейчас они, очевидно, спускались в лощину,— с обрыва сыпался песок, докатываясь до устья пещеры, в которой укрывался беглец. Вскоре ноги человека, обутого в царвули, промелькнули перед ним и исчезли; затем показались еще ноги и тоже прошли мимо; третий человек прошел так же бесшумно, как и первые два. Показался четвертый. Но этот не ушел.

Он остановился и нагнулся.

Огнянов увидел в профиль лохматую длинную голову, напоминавшую череп гориллы. Тот, кому принадлежала эта голова, принялся завязывать бечевки своих онучей, волочившиеся по земле.

Огнянов застыл с наведенным револьвером в руке.

Голова повернулась лицом к пещере, но лишь на миг. Человек выпрямился, и в тишине раздалось громкое шипенье. Это был условный знак другим, призывающий их вернуться.

Человек снова наклонился и заглянул в пещеру. Огнянов решил выстрелить.

— Эй, кто ты? — рявкнул громовый голос.

— Иван! — воскликнул Огнянов.

И в самом деле это был Иван Боримечка.

— Учитель! — закричали его вернувшиеся спутники, тоже наклонившись.

Не дожидаясь приглашения, Боримечка первым протиснулся в пещеру и со слезами на глазах принялся пожимать руки Огнянову. Влезли и другие трое — это были жители Клисуры.

— Что это за собака тут лаяла? — первым долгом спросил Огнянов.

— Это не собака, это Боримечка лаял,— ответили клисурцы.

Огнянов усмехнулся, вспомнив привычку этого великана. И он стал осыпать товарищей вопросами.

— Плохи наши дела, будь оно неладно! — со вздохом рявкнул Боримечка.

— Мужайся, Иван; бог не оставит Болгарию.

— Но Клисура погибла,— мрачно отозвался один из клисурцев.

— Один пепел от нее остался... а все еще горит,— добавил другой.

— Ох! — простонал третий.

— Братья, что проку терзаться? Мы хотели лучшего... не удалось... Мужайтесь и терпите!.. Жертвы наши не пропадут даром... Вы что-нибудь ели?

— С тех пор как ушли, крошки хлеба не видели,— уныло ответили клисурцы.

Незачем было и говорить об этом,— Огнянов сам видел, как изможденны их лица, как ввалились щеки. Он разломил на куски остаток хлеба и роздал их гостям.

Те жадно вонзились в хлеб зубами. Боримечка от своей доли отказался.

— Береги хлеб для себя, а то ты совсем отощал, как святой постник... А у меня обед есть.

И Боримечка вынул из сумки ободранного зайца, покрытого запекшейся кровью. Отрезав кусок мяса, Боримечка посолил его и принялся рвать острыми зубами.

— Ты что? Ведь мясо-то сырое!

— Сырое не сырое,— голод не тетка. А огонь разводить беглым бунтовщикам тоже не полагается,— объяснил Иван, разжевывая жесткое мясо.— Эти вот благочестивые христиане гнушаются скоромного, так они бурьян жевали — ни дать ни взять черепахи,— добавил Иван, слизывая с губ заячью кровь.

— Как же ты убил зайца? — полюбопытствовал Бойчо.— Стрелял?

— Я убил зайца потому, что не встретил кабана; а попадись мне кабан, я бы и его задушил своими руками.

И в самом деле, напав на след зайца, Боримечка, не решаясь стрелять, ухитрился поймать его в кустарнике.

— Чего ради ты забрался в эту медвежью берлогу? — спросил он, осматриваясь.

— За мной гнались черкесы,— ответил Огнянов,— я до сих пор не понимаю, как они меня не нашли: у них были гончие.

— Так вот почему ты спросил, кто это лаял!.. Понятно. А гончие, надо думать, завидели другую дичь, может, зайца какого, ну и взяли его след. В этих делах Иван кое-что смыслит.

— Так, значит, это и были те мерзавцы, которых мы видели вон там, на той стороне? — сказал один клисурец.

— Убей их господь! — проговорил другой.— Из-за этих карателей головы нигде не высунешь... Балканы кишат черкесами и турками... Дай тебе бог здоровья, Огнянов, за хлеб, а то я уж на ногах не стоял.

Только теперь Огнянов успокоился. Он видел, что спасся лишь каким-то чудом, как не раз уже спасался по милости судьбы.

— Куда же вы теперь?

— В Румынию. А ты?

— Вот уже три дня, как иду в Бяла-Церкву, и видите, как далеко я ушел...

— Хитрые сукины сыны эти бяло-черковцы! — проговорил один из клисурцев.— Сидят себе спокойно и в ус не дуют!

Он сказал это со злобой. И не столько гневаясь на Бяла-Церкву за то, что она не восстала, сколько в досаде на то, что она не пострадала, как другие. Такова уж человеческая природа!.. Легче переносить мученья, когда знаешь, что и другие, хотя бы твои друзья и близкие, терпят то же, что и ты. Это жестокое чувство, сильно развитое в нашей душе,— один из стимулов того героизма, который побуждает воина ринуться в бой, не содрогаясь перед лицом смерти, косящей направо и налево. Оставь этого героя одного, лицом к лицу с опасностью, и он, быть может, бросится бежать в паническом ужасе. Недаром говорит пословица: «На миру страдать, что на свадьбе гулять».

— Что вы знаете о Бяла-Церкве? — спросил Огнянов.

— Мы уже тебе говорили... Они хитрые бестии! Одни мы взялись освобождать болгарское царство!

— А все-таки непонятно как-то: ведь Бяла-Церква была совсем готова! — задумчиво промолвил Огнянов.

— Что об этом толковать?.. Уцелела — и ладно; тем лучше. Что проку, если бы она тоже сгорела? — сказал один клисурец.

— Эх, сколько сел погорело! И какие села! — отозвался другой.— Видал, как ночью полыхает небо?

— Видал,— мрачно ответил Огнянов.

— Все вдребезги разбито... Да разве это было восстание? Срам один! И мы, старые ослы, еще надеялись... А те, что обманули народ, пусть дадут ответ перед богом. Раз не все было готово, надо было сидеть тихо-смирно.

Молча слушал Огнянов эти упреки, эту клевету. Они огорчали его, но не сердили. Быть может, они были недостаточно обоснованы, но, во всяком случае, вполне понятны в устах этих обездоленных людей... Да он и сам в душе не раз осуждал народ, подобно тому как теперь народ осуждал своих вожаков. Таковы печальные, но неизбежные последствия неудачи.

— Эй, вы, чего раскисли? Чего нюни распустили, словно бог знает что случилось? — старался подбодрить товарищей Боримечка.— Видно, так было угодно богу и пресвятой богородице... По-вашему, если погибла Клисура, так, значит, и вся Болгария погибла?

— Иван, а как твоя жена? Куда ты ее отправил? — спросил Бойчо.

— Стайка? Будь оно неладно! Она уцелела. Я ее отвел в Алтыново, а оттуда... Да, я и забыл тебе сказать, какая штука вышла с учительницей!

Огнянов вздрогнул. Он и сам догадывался, что сталось с Радой, но боялся услышать страшную правду из чужих уст. Он видел, как той ночью обрушилось жилище Рады, как горели развалины дома, под которыми она погибла, если только не покончила с собой раньше... Поздно собрался он спасать ее. Мысль об этом тяжким бременем ложилась на его душу. Другое чувство, в котором он и сам не хотел отдать себе отчет, тоже смущало и мучительно тревожило его.

— На волосок от смерти была твоя красавица,— сказал Боримечка.

— Как, неужели она жива? — вскрикнул Огнянов.

— Жива, жива, учитель!.. А не будь Боримечки...

— Где она теперь? — нетерпеливо спросил потрясенный Бойчо, пытаясь поскорей прочесть ответ на большом, добродушном рябом лице Ивана.

— Не беспокойся, я ее передал в надежные руки,— поспешил успокоить его Боримечка.

Всем сердцем почувствовал Бойчо благодатное облегчение. Лицо его просияло, и он растроганно сказал великану:

— Спасибо тебе, Иван! Ты меня избавил от невыносимой муки.

— Ну вот,— перебил его Иван,— хорошо, что моя Стайка вовремя дала мне знать... потому что Аничка, хозяйка-то Радина, как бросилась бежать, встретила мою Стайку и говорит: «Вот что, Стайка, передай Ивану (мне, значит), что Рада не хочет бежать, сколько я ее ни умоляла, так уж вы не оставьте учительницу, насильно уведите ее с собой...» Как услышал я это, будь оно неладно, так и подумал: «Неужели же я ее оставлю?..» Помчался туда во всю прыть, а она дверь на запор... Стучу, кричу — не отворяет. Я дверь сломал и врываюсь в комнату... Гляжу, она стоит у стола со свечкой в руке, а на столе мешок какой-то...

— Мешок с порохом? — воскликнул Огнянов, ужаснувшись мысли о том, какую смерть готовила себе Рада.

— А как же, конечно, с порохом,— на куски бы ее разорвало, до облаков подбросило!.. Вот ведь глупая девчонка какая! А я сразу не догадался, что там порох,— продолжал Боримечка.— Вхожу и прямо к ней. От бога ли то было, только ветер подул в открытую дверь, и свечка потухла. «Что ты тут делаешь, учительница? Все бежать пустились, а ты чего тут канителишься?» Да как схватил ее в охапку и айда на Балканы, а наша Стайка следом бежит. Стайка ее успокаивает, Раду-то, а она только плачет да охает. Эх, учитель, сколько слез она по тебе пролила! Я, конечно, думал, что ты убит, а ей вру (без хитрости ведь не обойдешься), говорю: «Учитель жив и здоров, учительница, не беспокойся, учительница...» Но мы маленько замешкались. На Вырлиштнице уже турки — туда не пойдешь... Эх, трудненько пришлось!.. Что прикажешь делать?.. Тогда мы — в лес и посреди ночи привалили в наше село. Я отвел учительницу и Стайку к нашему Вылко, шурину моему, а сам опять подался на Стара-планину! Так, значит, ты жив-здоров, а? Будь оно неладно!

Огнянов молча стиснул руку Боримечки.

— Оставил я их в Алтынове,— продолжал Иван,— но теперь они, должно быть, уже в Бяла-Черкве. Вылко хотел их доставить туда, переодетых турчанками. В Алтынове опасно, там много турок. А в Бяла-Черкве, говорят, все тихо-мирно. Ты, учитель, как придешь туда, отыщи и мою Стайку, молодуху-то мою, и передай ей от меня поклон. Скажи, что видел меня тут живым и здоровым. Скажи, что я тут все жареных зайцев ем, да свежую брынзу, так что пусть не беспокоится.

— Я, Иван, теперь вряд ли пойду в Бяла-Черкву.

Боримечка удивленно взглянул на него.

— Да ты же собирался туда?

— Раздумал...

— А куда ж ты?

— Еще не знаю, посмотрю...

— Пойдем с нами в Румынию.

— Нет, идите без меня. И вам разделиться надо. Не следует так идти — по нескольку человек вместе.

Вечерняя мгла окутала лощину и проникла в пещеру. Жалобно журчала речка. Уже темнело. Скитальцы едва различали друг друга. Иван Боримечка и клисурцы поднялись, чтобы продолжать свой путь.

— Давай, учитель, облобызаемся троекратно! Господь знает, кто из нас останется в живых,— сказал Боримечка.

Они попрощались, и путники ушли.

Огнянов остался один.

Он припал лицом к земле и разрыдался, как женщина.

Все, что накипело у него в душе, изливалось теперь потоками горючих слез. Впервые в жизни этот железный человек плакал навзрыд. Мужество его было надломлено. Страдания, горькие разочарования, угрызения совести, скорбь о напрасных жертвах и вместе с этим безнадежно погибшая любовь, озлобление, безутешная тоска, сознание своего одиночества и бесцельности жизни, рой воспоминаний — и светлых и мрачных, но в одинаковой мере мучительных — все было в этих слезах. Только что он подбадривал несчастных, эти жертвы пожара, раздутого им, Огняновым и его друзьями, но сам он был раздавлен и разбит. В их присутствии он, не жалуясь, переносил постигшую его жестокую кару. При клисурцах он старался сохранить самообладание, хотя сердце его истекало кровью и корчилось, как недобитая змея. И еще одно... Рада, которую он не мог забыть... Которая плакала там... Он сам на себя негодовал оттого, что сердце его, скорбя о родине, сжималось и болело и от другого горя. Но он не может приказать сердцу не болеть, когда все уже кончено и нет ни прощения, ни примирения, когда нет для него больше Бяла-Черквы, колыбели его любви; теперь она для него черна, как могила. Тогда, в Клисуре, он сказал Раде, что навсегда порывает с ней, изменницей. Он уничтожил ее своим взглядом, растоптал своим презрением. Во время клисурского пожара он рисковал жизнью, чтобы спасти ее; но не любовь побудила его к этому, конечно, не любовь, а что-то другое. Быть может, рыцарские чувства. И делал он это бессознательно, не отдавая себе отчета в своих действиях. Неужели же теперь он пой-

дет в Бяла-Церкву лишь для того, чтобы посмотреть, хотя бы и издали, на оплеванный им кумир? Нет, гордость его не допускала этого. Он уйдет в Румынию, как-нибудь доберется — ведь туда уходит столько людей. В Бяла-Церкве ему пришлось бы прятаться, как зверю; там его могут выдать враги, да и делать ему там нечего. В Румынию, в Румынию — в гостеприимную страну свободы! Там он снова сможет работать на благо Болгарии, покуда не исцелятся ее раны... Там можно дышать свободно... На север, на север!

И Огнянов тронулся в путь на север.

Небо было затянуто тучами. Мрак окутал горную глушь.

Всю ночь шел Огнянов по горам и долам, чтобы как можно дальше отклониться от прежнего своего пути. Новое решение окрылило его, влило в него свежие силы, да и хлебом он подкрепился.

Рано утром он поднялся на гребень одного горного хребта. Отсюда открывался вид на юг — на чудесную зеленеющую долину. И Огнянов узнал Стремскую долину. У его ног, под горой, раскинулась Бяла-Церква!.. Он не ушел от своей судьбы...

IV. ЗНАМЯ

Огнянов словно очнулся от тяжкого сна и понял, что сбился с пути. Он думал, что идет на север, а на самом деле шел в обратном направлении! Но возвращаться было уже поздно...

Неожиданно очутившись над Бяла-Церквой, стоя среди бела дня на этой голой балканской вершине, где не было ни буковой рощи, ни другого укромного места, куда можно было бы спрятаться, он понял, что возвращаться назад безумие,— это значило бы добровольно идти на верную гибель. Единственное, что ему оставалось, это спуститься в глубокую долину Монастырской реки, где можно было надежно укрыться, а оттуда уже пробираться в Бяла-Церкву. Волей-неволей он вынужден был покориться судьбе и решил идти туда, откуда в течение всей ночи старался уйти подальше.

Огнянов, как и Кандов, любил первый раз в жизни. Он был новичком в борьбе за любовь, которая не походит ни на какую другую борьбу.

Раненый человек всегда ненавидит врага, который нанес ему удар.

Измученное сердце нередко все сильнее любит своего мучителя.

Больше того, оно оправдывает его. Альфред де Мюссе сказал бы — прощает.

Уязвленное самолюбие — а когда речь идет о любви, вернее будет назвать это чувство ревностью — убивает того, кто нанес ему удар или в нем же ищет лекарства для своей раны. Первое средство исцеляет рану, или, точнее, заглушает боль еще более острой болью; второе покрывает рану бальзамом и в то же время терзает ее раскаленным железом. Но к этому второму средству прибегают чаще.

Любовь, это самое эгоистическое из чувств, склонна к компромиссам.

К счастью для Огнянова, сердце его было ранено его собственным воображением, а вовсе не изменой Рады. Первое же разумное объяснение положило бы конец его страданиям. На помощь должен был прийти случай.

И этот случай представился.

Но Огнянов увидел в нем лишь насмешку судьбы.

Поэтому, спустившись во впадину, из которой вытекала Монастырская река, и завидев на каменистом обрыве реденькую хвойную рощу, он тут же изменил свое решение.

«Нет,— сказал он себе,— весь день я буду укрываться в этой роще, а вечером махну назад... Переоденусь в какой-нибудь горной деревне и — в Румынию!.. А к Раде никогда, ни за что на свете!..»

И он улегся на землю между стволами сосен, переплетенных тощим кустарником и высокой травой, делавших его невидимым. Много часов пролежал он там, терпеливо ожидая наступления ночи.

Под вечер Огнянов заметил на соседнем холме что-то темное, колеблющееся, реющее в воздухе. Казалось, какая-то исполинская птица, не снимаясь с места, машет крыльями. Удивленный, он широко раскрыл глаза.

— Знамя! — воскликнул он вдруг, вне себя от изумления.

При свете заходящего солнца Огнянов ясно увидел красное знамя, прикрепленное к скале на вершине холма. Полотнище развевалось на ветру; надо полагать, оно было хорошо видно и из Бяла-Черквы.

У знамени никого не было. Кто водрузил его? И для чего? Или это сигнал к восстанию? Огнянов так именно и подумал. Другой разумной причины для появления знамени он не мог себе представить.

Тут Огнянов не выдержал. Забыв об осторожности, он выскочил из рощи и быстро вскарабкался на ту вершину, с кото-

рой спустился утром. Он хотел еще раз посмотреть на Бяла-Черкву. И вот ему почудились отдаленные глухие звуки выстрелов... Откуда они доносятся? Он впился глазами в город... Воздух был необычайно чист и прозрачен, и вскоре Огнянов заметил вдали белые дымки, подобные дыму выстрелов; поднимались они над верхней частью Бяла-Черквы!

— Мятеж! Мятеж в Бяла-Черкве! — радостно воскликнул Огнянов.— Верные мои друзья: Соколов, Попов, Редактор, дядя Мичо — все они, значит, не сидели сложа руки... Очевидно, восстание вспыхнуло сегодня и в других местах... И это знамя — условный знак!.. Угасавший пожар вновь разгорелся... Восстание, бог мой! Надежда не потеряна!..

И он, как на крыльях, ринулся по скользкой траве вниз, к подножию головокружительно крутого обрыва.

V. КЛАДБИЩЕ

Ночной мрак уже спустился на землю, когда Огнянов вышел из темной скалистой долины Монастырской реки.

Он проходил мимо монастыря, но к игумену Натанаилу не зашел: и без того он потерял много драгоценного времени. Мысль о том, что в Бяла-Черкве началось восстание, вдохнула в него новые силы, вернув ему всю его прежнюю физическую и нравственную мощь.

Сначала Огнянов пошел торной дорогой, ведущей в город, и вскоре стал различать в ночной тьме ветхие домишки, печные трубы, плодовые деревья. Тогда он свернул с дороги и поднялся на холм, который с севера господствовал над городом. Здесь стояло здание городского училища.

С высоты этого холма Огнянов окинул взглядом Бяла-Черкву. Город спал. Нигде ни огонька... Не слышалось никакого шума, кроме обычного собачьего лая, и вообще не было ни малейших признаков того, что в городе вспыхнуло восстание. Огнянова это удивило. Он стал обдумывать, что делать дальше. Проникнуть в город и постучаться к кому-нибудь из друзей было бы неблагоразумно. И он решил пойти в мужское училище, благо оно было недалеко. Там он мог узнать у старушки сторожихи, что творится в Бяла-Черкве. Огнянов направился к училищу и перескочил через ограду двора с западной его стороны. Осмотревшись, он убедился, что попал на кладбище, занимавшее большую часть двора. Среди могил возвышалась старинная церковь. Безлюдная и темная, она сама походила на исполинскую

гробницу. В глубине двора виднелись темные очертания училища и других строений. Все было погружено во мрак и глубокий сон.

Эта мертвая тишина вместо шума и сутолоки, неизбежных в городе, охваченном мятежом, поразила Огнянова; она наводила на самые мрачные размышления. Каким-то холодом веяло от жуткого безмолвия и мрака этого кладбища. Надгробия одно за другим выступали из тьмы, и их причудливые очертания, неясные в ночной мгле, напоминали не то живых людей, не то мертвецов, по пояс высунувшихся из своих могил. Сердце у Огнянова неприятно сжалось; он не мог побороть желания как можно скорее уйти из этого холодного царства тайны и тьмы... В такие часы душу человека охватывает невольный трепет. Природа наша не может без содроганья соприкасаться с потусторонним миром... Могильная плита над мертвецом разделяет два мира, которые не знают друг друга, которые враждуют между собой. Таинственность и мрак страшны. Ночь — это враг, могила — это тайна. Нет храбреца, который может бестрепетно войти на кладбище ночью, нет безбожника, который способен смеяться в такой час,— он сам испугался бы своего смеха. Вряд ли у Гамлета хватило бы духа острить с черепом в руках, будь он на кладбище ночью и один!

Но вот в ночной темноте, к которой Огнянов уже привык, блеснула неподвижная светлая точка, похожая на глаз. Свет пробивался наружу из церкви сквозь низкое окно. Очевидно, там горела лампада или восковая свеча. Этот тусклый огонек — единственный признак жизни среди всепоглощающей тьмы и мертвой тишины города — казался каким-то приятным контрастом всему окружающему. Он мерцал так приветливо, так дружелюбно, почти весело. Толкаемый неодолимым любопытством, Огнянов стал осторожно пробираться между могилами и, подойдя к освещенному окну, заглянул внутрь.

У одной из колонн, подпирающих своды, в большом бронзовом подсвечнике горела свеча. Тусклый свет ее падал на пол, выделяя из тьмы небольшое округлое пространство. Остальная часть церкви тонула во мгле. Здесь, в этом слабо освещенном кругу, Огнянов увидел что-то бесформенное, распростертое на полу. Несомненно, там что-то лежало. Но что именно? Огнянов прильнул лбом к холодному стеклу и стал всматриваться еще пристальнее. И он понял, что это такое. На рогоже лежали три человека. Три покойника. И тела и рогожа были покрыты темными, слегка поблескивающими пятнами — это была кровь. Пламя свечи бросало на них трепетный, робкий свет. Лица покой-

ников, искаженные, с открытыми ртами, носили следы мученической кончины. Глаза одного, широко раскрытые, смотрели угрюмо и строго куда-то в темные своды церкви. Другой чуть повернулся на бок. Один его глаз, освещенный отблеском пламени, был устремлен прямо в окно, у которого стоял Огнянов. Мурашки пробежали по спине апостола, но он был не в силах оторваться от окна; взгляд мертвеца приковал его к месту. Чудилось, будто это смотрит живой человек, который узнаёт Огнянова и хочет, чтобы его узнали.

Огнянов охнул. Он узнал Кандова. На шее покойного зияла черная дыра — Кандов был заколот.

Отвернувшись от этого страшного зрелища, Огнянов быстро пошел обратно. Во мраке он то и дело спотыкался о надгробия, и всякий раз ему чудилось, будто они издают сердитый крик.

Снова добравшись до ограды, Огнянов попытался объяснить себе, что все это значит. Зачем и каким образом очутился в Бяла-Черкве раненый Кандов? Как он был здесь убит, и он, и его товарищи? Быть может, тут началось восстание и он пал в бою; или он просто искал убежища, но его обнаружили и убили? И что это было за знамя на горе? Почему стреляли в городе? А эта тишина, что она означает?

Огнянов не мог найти ответа на все эти вопросы. Так или иначе, было ясно, что случилось какое-то большое несчастье. Он стал обдумывать, что ему теперь делать. Войти среди ночи в этот замерший город, не зная, что там происходит, и постучаться к кому-нибудь казалось Огнянову опасным и безрассудным. Зловещее безмолвие, сковавшее Бяла-Черкву, леденило ему кровь — оно было грознее самого грозного шума. Это безмолвие походило на капкан. Наконец Огнянов решил дождаться рассвета в Монастырской долине, а утром обдумать, как ему действовать дальше.

И он снова перескочил через ограду.

VI. ПОСЛАННИЦА

Огнянов переночевал в одной из водяных мельниц, стоявших на Монастырской реке.

Как только рассвело, он поднялся на крутой обрыв, нависший над криницей и весь ощетинившийся огромными камнями, похожими на истуканов самых разнообразных очертаний. За этими камнями он и укрылся.

Отсюда он, сам никому не видимый, мог видеть все, что творилось внизу.

Долина была еще безлюдна. Шум реки эхом отдавался в гранитных обрывах; теперь с ним смешался грохот водяных колес на мельницах и в шнуровых мастерских, и в горном ущелье стоял гул. Небо весело голубело, залитое лучами утреннего солнца, которое уже озарило вершины гор. Ранние ласточки стрелой носились в воздухе, гонялись друг за дружкой, делая причудливые бесследные зигзаги и купаясь в невидимых волнах. Дохнул и утренний ветерок, расшевелив дички, росшие на скалах. Золотая волна солнечных лучей скользнула по зеленой северной круче, залила светом черную толпу елей, спустилась по гладкой мураве и позолотила края обрыва, на котором стоял Огнянов.

Но по дороге, пролегавшей через долину, еще не прошло ни одного путника. У Огнянова вся душа изныла от этого томительного ожидания, от этой длительной неизвестности... Он не отрывал глаз от долины, надеясь увидеть хоть одного человека, у которого он мог бы узнать, как обстоят дела в Бяла-Черкве, и, если будет удобно, попросить какую-нибудь одежду, чтобы незаметно проникнуть в город. Однако в долине никто не появлялся, и нетерпение Огнянова возрастало. Только шум реки отзывался на беспокойное биение его сердца.

Но вот глаза Огнянова засияли. Дверь одной из шнуровых мастерских, стоявших на берегу, открылась, и во двор вышла девочка-подросток; подойдя к воротам, она принялась умываться.

«Марийка!» — радостно сказал себе Огнянов.

Его острый глаз сразу же узнал в этой девочке осиротевшую дочку покойного деда Стояна. Он вспомнил, что девочка после смерти отца жила в мастерской у своего дяди. Само провидение шло на помощь Огнянову.

Он в мгновение ока спустился к реке и, укрывшись за большим камнем, окликнул девочку по имени.

Марийка уже вытирала лицо передником. Она обернулась на голос и, сразу же узнав Бойчо, который наполовину высунулся из-за камня, стремглав бросилась к нему.

— Братец Бойчо, ты ли это?

— Иди сюда, Марийка! — позвал ее Огнянов.

Девочка смотрела на Огнянова широко раскрытыми, радостно изумленными глазами. Лицо у него было совершенно изможденное, одежда запачкана грязью и кровью, голова не покрыта, и весь его вид обличал в нем человека, который вот уже

десять суток борется с трудностями и лишениями, с голодом и бессонницей, с людьми, со стихиями, с опасностями, грозящими на каждом шагу. Всякого другого в этот час и в такой глухой местности девочка испугалась бы до смерти, всякого, но не Огнянова; слишком велико было обаяние этого человека.

— Что слышно в городе, Марийка? — спросил он прежде всего.

— Турки пришли, братец Бойчо.

Огнянов обхватил руками голову и задумался.

— Почему там стреляли вчера?

— Вчера, братец Бойчо?.. Не знаю, братец Бойчо.

— Ты не слышала стрельбы?

— Я вчера не ходила в Бяла-Церкву.

Марийка не могла ответить на его вопрос, но Бойчо уже догадывался о том, что произошло: была попытка начать восстание, но турки, которые держат Бяла-Церкву в своих руках, тотчас подавили его.

Значит, он опоздал. Приди он одним-двумя часами раньше, он, может быть, направил бы все по другому руслу. Это опоздание было одной из тех роковых случайностей, которые иногда влияют на судьбы целого народа.

Подумав минуты две, Огнянов спросил:

— Марийка, в мастерской есть еще кто-нибудь, кроме тебя?

— Дядя Минчо. Он еще спит.

— А ты знаешь, Марийка, где живет доктор Соколов?

— Знаю, у бабки Якимицы.

— Правильно. А знаешь, где живет Бырзобегунек,— помнишь, немец, бородатый такой?

— Тот, что черных человечков малюет?

— Он, он самый, Марийка! — подтвердил Огнянов, улыбнувшись этой простодушной насмешке над бедным фотографом.— Можешь ты, голубка, отнести ему кое-что? — спросил он.

— Конечно, братец Бойчо,— с радостью согласилась девочка.

Порывшись в карманах, Огнянов вынул карандаш и помятый клочок бумаги. То было письмо Рады. При виде его Огнянов побледнел, и пот выступил у него на лбу. Дрожащей рукой оторвал он от письма чистую половину листка, положил ее на камень и, написав несколько слов, сложил записку.

— Марийка, эту записку ты отнеси доктору Соколову, а если не застанешь его, то — немцу. Хорошенько спрячь ее за пазухой.

— Ладно.

— Если тебя спросят, где я скрываюсь, скажи, но только им одним скажи, поняла? Скажи, что я вон в той заброшенной водяной мельнице, что стоит за Хамбаревой мельницей.

Марийка посмотрела на северный склон долины, под которым одиноко стояла полуразрушенная водяная мельница.

Огнянов не подписался и не указал в записке, где он находится, из боязни, что по несчастной случайности письмо может попасть не по назначению, а в чужие, враждебные руки. В безусловной преданности Марийки он был уверен, но не решился передать через нее весть о себе только на словах, опасаясь, как бы она не натворила бед по простоте душевной.

Стараясь получше объяснить Марийке, как важно возложенное на нее поручение, Огнянов тихо добавил:

— Понимаешь, Марийка, если ты потеряешь записку или по ошибке скажешь кому-нибудь другому, что видела меня и знаешь, где я скрываюсь, турки придут и зарежут меня... Будь осторожна, голубка!

Марийка выслушала его, и лицо ее внезапно приобрело серьезное, испуганное выражение, а рука невольно потянулась к тому месту, где под одеждой была спрятана записка Огнянова.

— Я пойду скажу дяде, что иду за хлебом,— промолвила она.

— Ладно, Марийка! Только хорошенько запомни то, что я тебе говорил.

Марийка вернулась в мастерскую.

Бойчо притаился за камнем, чтобы увидеть, как Марийка отправится в путь.

Он ждал целый час в мучительном беспокойстве.

Наконец, Марийка вышла и, босая, побежала вприпрыжку по острым камням, устилавшим тропинку, направляясь в Бяла-Церкву.

VII. НЕУДАЧА МАРИЙКИ

Выйдя на полянку перед монастырем, Марийка остановилась, перевела дух и беспокойно огляпулась кругом, но, убедившись, что никто ее не видал, снова побежала по дороге. До самого города ей не попалось навстречу ни одной живой души; безлюдны были поля, опустела и улица, что начиналась у окраины города. Но вот Марийка снова остановилась. Она увидела, что в дальнем конце улицы показались три турка. Испугавшая, она, не долго думая, повернула назад и пустилась бежать между огородами и розовыми насаждениями, чтобы войти в город с за-

падной стороны, по другой улице. Оттуда было гораздо дальше до дома Соколова, и девочке пришлось сделать большой крюк. Наконец Марийка попала на западную окраину города. Справа простиралось обширное поле, слева, между двумя рядами низеньких лавчонок, тянулась узкая уличка. Она была совершенно безлюдна — ни болгары, ни турки на ней не появлялись. Все лавчонки были закрыты, двери заперты на замок, ставни на окнах спущены. Но это безлюдье успокоило простодушную девочку, и она быстро побежала по улице. Однако не успела Марийка пробежать и десятка шагов, как что-то заставило ее обернуться, и она остановилась, как громом пораженная. Невдалеке от нее, в поле, высоко поднималось большое облако пыли, а из этого облака доносился глухой топот конских копыт и разноголосый людской гомон. Вскоре стало понятно, откуда этот шум и пыль: это шла орда Тосун-бея. Разгульная, победоносная, возвращалась она с клисурского пепелища после трех дней грабежа и разбоя. Пешие двигались вперемежку с конными, отягощенные оружием и добычей... Вскоре орда мутной волной докатилась до улицы, наполнила ее и потекла по ней с диким шумом и грохотом. То была лишь часть орды Тосун-бея — несколько сотен башибузуков из деревень, расположенных к востоку от Бяла-Черквы.

Теперь орда-победительница шла со знаменами, с трофеями, с добычей — каждый тащил сколько мог на себе, прочее везли на телегах, бесконечной вереницей тянувшихся сзади. Стараясь облегчить свою ношу, башибузуки напялили на себя все наиболее ценное из одежды, награбленной в несчастной Клисуре. И теперь вид у этого кровожадного сброда был и страшный и смешной. Орда походила на карнавальное шествие в азиатском вкусе. Несмотря на томительную жару, многие вырядились в богатые женские жупаны, украшенные рысьим мехом. Иные башибузуки,— быть может, желая поглумиться над христианами — надели на себя церковные облачения из золотой парчи, похищенные из клисурских церквей. Сам предводитель, Тосун-бей, красовался в сшитом по европейской моде роскошном домашнем халате из серого кашемира, отороченном алым сукном, с длинными малиновыми кистями на поясе. Как выяснилось впоследствии, Тосун-бей, не имея понятия о назначении этого костюма, принял его за какое-то богатое одеяние для торжественных случаев и в этом парадном виде решил показаться в Бяла-Черкве.

Один лишь живой трофей украшал это триумфальное шествие — пленник со связанными за спиной руками. То был Рачко Прыдле.

Зрелище грозное!

Но Марийка не успела разглядеть его как следует. Как только показалась орда, девочка незаметно шмыгнула на другую улицу, оттуда на третью. Все они были одинаково безлюдны и безмолвны. Наконец она добралась до ворот того дома, где жил Соколов. Марийка толкнула ворота, но они не открывались, и она стала стучать.

— Кто там? — послышался старушечий голос за воротами.

— Бабушка Якимица, отвори! — еле переводя дух, промолвила Марийка.

— Чего тебе здесь надо?

— Доктора Соколова... Да отвори же! — плачущим голосом крикнула девочка.

Старуха что-то сердито забрюзжала, однако открыла ворота.

— На что он тебе? Нет его! — проворчала она недовольным голосом.

— А где он, бабушка?

— Почем я знаю? Со вчерашнего дня его разыскивают, а о нем — ни слуху ни духу... Ну, ступай!

И старуха захлопнула ворота.

Растерянная Марийка осталась на улице.

Она помчалась дальше. Фотография помещалась неподалеку. Марийка добежала до нее и постучалась.

— Кого тебе, девочка? — спросила вышедшая ей навстречу оборванная, бледная, сгорбленная женщина.

— Немца...

— Чего тебе от него надо?

— Пусти меня к немцу! — проговорила Марийка, отпихивая женщину, чтобы протиснуться во двор.

— Ты что, рехнулась? Немца-то ведь зарезали...— злобно крикнула оборванная женщина и вытолкнула Марийку на улицу.

Девочка оцепенела от ужаса... Теперь она вообразила, что, значит, и братца Бойчо зарежут,— за ним-то и пришли сюда турки. И они перехватят его письмо... Наверно, кто-то им сказал, что она несет письмо братца Бойчо... Что же теперь делать? Оглянувшись, она лишь теперь заметила, что улица совершенно пуста — ни живой души кругом... Марийка оторопела и разрыдалась, подавленная безнадежностью, но вдруг почувствовала толчок в спину и обернулась.

Перед нею стоял Колчо.

Он один брел по улице, постукивая палкой по мостовой. Лицо его было задумчиво и озабоченно.

— Что ты плачешь, девочка? — спросил слепой и устремил свои белые зрачки на Марийку, точно желая узнать, кто она такая.

Если бы Марийка лучше знала Колчо, она решилась бы нарушить строгий наказ Огнянова, рассказала бы ему все, и тогда Колчо заменил бы Соколова. Но она испугалась этого чужого человека и, перебежав на другую сторону улицы, шмыгнула в переулок.

— Девочка! Марийка! — закричал Колчо.

Его удивительное чутье мгновенно помогло ему узнать по одному лишь плачу дочку деда Стояна. Надо сказать, что он непосредственно после Марийки постучался в ворота Соколова, чтобы спросить о нем старуху, и от нее узнал, что доктора только что разыскивала какая-то девочка. Теперь он догадался, что эта девочка — Марийка и что если она искала доктора, то, надо полагать, по очень важному делу; а ее испуганный плач можно объяснить только ее неудачей... Кто мог послать ее к Соколову в такое время? Лишь тот, кто не знает, что здесь делается, кто прибыл сюда издалека... Неужели это Огнянов? Еще накануне распространился слух, что он не погиб, что он бежал в горы и, вероятно, скитается там до сих пор. Быть может, Бойчо спустился с гор, вышел к Монастырской реке, у которой живет Марийка в мастерской своего дяди, и послал девочку известить Соколова? Да, да, эта Марийка — орудие провидения! Тут любящая душа Колчо пришла в страшное смятение. Он тронулся с места и закричал:

— Девочка! Марийка! Марийка! Девочка, эй!

Но никто не ответил.

Колчо застонал, охваченный безнадежным отчаянием.

Вскоре он дошел до площади.

Здесь уже кончились и тишина и безлюдье. Шум, говор, топот копыт по мостовой... Словом, людское сборище.

Всюду звучала турецкая речь.

Что тут творится?

Удивленный Колчо остановился возле кофейни и стал прислушиваться.

Чей-то голос кричал в кофейне по-болгарски:

— Так вот до чего нас довели! Предать огню наш город!.. Ведь мы были на волосок от того, чтоб нас всех перебили, как собак, а от города камня на камне не оставили! Где они, эти негодяи? Я хочу спросить их: кто их уполномочил бунтовать? Приведите их сюда — я им покажу!.. Бунтовать вздумали! Против кого? Против султана, нашего отца и благодетеля, который бере-

жет нас как зеницу ока и не дает волосу упасть с нашей головы!.. Сколько сотен лет мы жили под сенью султанского трона и благоденствовали,— и мы, и отцы, и деды наши,— да и для внуков наших нет ничего лучшего! Надо же иметь голову на плечах, черт нас побери!.. Кому здесь не по душе, пускай убирается в Московию!.. Нам и тут хорошо...

Колчо узнал голос чорбаджи Юрдана.

— Да здравствует его величество султан! — воскликнул кто-то.

На этот раз Колчо узнал голос господина Фратю.

Оба эти человека стали теперь выразителями того общественного мнения, которое создается паническим страхом, превращающим людей в скотов. Слова первого были искренни — ведь то же самое он говорил и думал до восстания,— и потому он возбуждал только ненависть; второй же внушал отвращение: он изменил своим.

Здравица Фратю не встретила отклика. Лучшим ответом на нее было последовавшее за ней молчание. Наступили такие времена, когда Юрданы оказались правы, а люди, подобные Фратю, считались честными. Допускалась любая низость по отношению к поверженному, ибо все насилия победителей были узаконены. Vae victis! [1]

Апрельская катастрофа была не столь страшна батакской резней, сколь позором нравственного падения.

Колчо глубоко вздохнул. Потом повернул назад и отправился к Гишке.

VIII. ЛУЖАЙКА

Было около полудня. На чудесной лужайке, расположенной прямо за городом, под сенью зеленых ветвей сидела одна семья.

С юга к лужайке примыкал сад, и на нее выходили открытые ворота его каменной ограды; с противоположной стороны открывался вид на Стара-планину, с ее голыми вершинами, крутыми обрывами, скалами и живописными цветущими склонами.

И лужайка и сад принадлежали чорбаджи Юрдану, и здесь сидела его семья.

Редко кто показывался теперь в этих местах. Правда, после капитуляции в Бяла-Черкве наступило некоторое успокоение, и улицы оживились вновь. Но никто еще не осмеливался выйти за черту города — ни по делам, ни за тем, чтобы погулять и полюбоваться солнечной красотой природы.

[1] Горе побежденным! *(лат.)*

На это дерзал только Юрдан со своими домочадцами.

Надо сказать, что после смерти Лалки жена Юрдана опасно заболела с горя и несколько дней не вставала с постели. По настоятельному требованию врача сегодня ее наконец вывели из дома и задворками провели в загородный сад Юрдана, чтобы она здесь немного походила и подышала чистым воздухом. Благотворное действие этой прогулки сказалось быстро. Вся семья вышла на лужайку, где паслись два крупных красивых буйвола, также принадлежавшие Юрдану.

В стороне сидел полицейский, охранявший покой этой чорбаджийской семьи.

На лужайке были и две посторонние женщины: одна — здоровая, полная, толстощекая крестьянка, другая — Рада.

Крестьянка была не кто иная, как жена Боримечки, Стайка. Вчера ее взяла в услужение Гинка.

Она же приютила у себя и Раду. Против этого не возражали ни Юрданица, ни другие члены Юрдановой семьи. Присутствие Рады, любимой подруги покойной Лалки, доставляло им грустное утешение, и на смену презрению и ненависти пришло другое, более доброе чувство к злосчастной бездомной девушке.

Как мы уже знаем, Стайка и Рада, познакомившись еще в Клисуре, одинаково пострадали от ее разгрома... Ивану удалось вовремя спасти Раду только благодаря жене. По дороге Стайка всячески старалась утешить Раду, и когда они вместе добрались до Бяла-Черквы третьего дня, то решили не расставаться. Женщина простая, наивная, Стайка, однако, понимала тяжелое душевное состояние Рады и принимала в ней живое участие.

На лужайке зашла речь о Бойчо, и госпожа Хаджи Ровоама сказала, что он убит в бою. Стайка с состраданием посмотрела на изменившееся, побледневшее лицо Рады и лютой ненавистью возненавидела монахиню, с таким легким сердцем говорившую о смерти Бойчо.

— Что, она своими глазами, что ли, видела, как учитель погиб? — сердито шепнула Стайка Раде.— Так чего же она так обрадовалась, эта сова?

— Молчи, молчи! — тихо отозвалась Рада.

Стайка стала прислушиваться к разговору; вскоре она снова шепнула Раде:

— Рада, глянь-ка, а у этой чернухи-то усы растут! Чего она их не бреет?

Рада невольно усмехнулась.

— Молчи, сестра.

Впервые увидев госпожу Хаджи Ровоаму, Стайка еще не

знала, что она приходится теткой ее хозяйке Гинке, и в отместку монахине потихоньку взяла несколько бусин из ее рассыпавшихся янтарных четок; теперь Стайка лукаво поглядывала, как монахиня шарит вокруг себя, разыскивая эти бусины. Наконец Стайка не выдержала и, расхохотавшись, потянула Раду за рукав.

— Чего ты смеешься, Стайка? — спросила ее Гинка.

— Глянь, как она мучается из-за пары кукурузных зерен, эта Хаджи Ворона!

— Хаджи Ровоама, милая,— шепотом поправила ее Рада.

К счастью, никто не расслышал непочтительных слов Стайки — в эту минуту все смотрели на Стефчова, который шел к ним со стороны города. Бывший зять чорбаджи Юрдана еще не уехал в Гюмюрджин. Он не мог занять свой пост, пока не улеглись волнения.

Когда он пришел, все обернулись в его сторону. Он стал с жаром рассказывать о подвиге, совершенном депутацией, в составе которой был и он. Эта депутация, возглавляемая Юрданом Диамандиевым, сегодня была отправлена навстречу Тосун-бею, который грозил разгромить город как очаг бунта, и ей был дан наказ выпросить помилование. С большим трудом удалось депутации спасти Бяла-Церкву от участи Клисуры, но пришлось согласиться на три условия, очень тяжелых: во-первых, город должен был немедленно выплатить Тосун-бею тысячу лир, чтобы утихомирить его орду, которой он обещал выдать Бяла-Церкву на разграбление, и чтобы отправить турок по домам; во-вторых, сдать все оставшееся у населения оружие, вплоть до перочинного ножика; в-третьих, передать в руки властей всех подозрительных. Безоговорочная капитуляция в свое время не спасла Батак от Мехмеда Тымрышлии, но Бяла-Церкву она спасла. Тосун-бей вступил в город только с частью своей орды и лишь для того, чтобы принять оружие. Таким образом, чорбаджи Юрдан и отчасти Стефчов оказались теперь спасителями города. Рассказывая об этом с каким-то особенным самодовольством и тщеславием, Стефчов время от времени бросал злобные взгляды на Раду, а та даже не оборачивалась к нему. Но присутствие этого ненавистного ей человека было ей очень тяжело. Вызывающий тон Стефчова действовал ей на нервы, и каждое его слово болью отзывалось в ее сердце. Она видела в Стефчове роковой образ преследующего ее несчастья; этот человек внушал ей непреодолимый ужас и отвращение. «Боже, боже! — думала она.— Столько хороших людей погибло и погибает, а этот живет и наслаждается жизнью. Не оттого ли он теперь в таком почете, что

он так зол и отвратителен?» Но вдруг она обернулась к нему, и глаза ее оживились,— Стефчов заговорил о Бойчо, и его слова глубоко обрадовали девушку.

— Да разве этот негодяй еще жив? — удивленно спросила госпожа Хаджи Ровоама.

— Он остался в живых и бежал в горы,— объяснил Стефчов,— но жив ли он сейчас, не могу сказать. Быть может, орлы где-нибудь уже клюют его тело.

Рада прижала руки к сердцу, защемившему от мучительного волнения.

— А я вам говорю, Граф жив, Граф и не думает умирать!..— откликнулся Хаджи Смион.— Столько раз уж его хоронили, а он опять воскресал... Нет, слухам о его смерти я не верю... В бытность мою в Молдове все говорили, будто разбойник Янкулеску умер, и даже в газетах об этом писали... И что же, как-то раз я его встретил. «Бупа димпняца [1], домнуле Янкулеску»,— говорю я ему. А он только часы у меня отобрал,— это за мое «доброе утро». Я хочу сказать, не убил он меня... Так вот я и говорю: разбойник не умирает.

И Хаджи Смион дружелюбно подмигнул Раде, словно желая сказать: «Ты мне верь, Граф жив».

— Только бы этот мерзавец не пробрался сюда; чего доброго, он и наш город подожжет, не хуже Клисуры...

— Пусть только посмеет сунуться!.. Досадно, что и «медвежатника» не удалось поймать, а то б и с ним разговор был короткий, как с Кандовым и другими,— сказал Стефчов.

— Жалко людей, но ничего не поделаешь; приходится жертвовать единицами, чтобы спасти тысячи,— заметил кто-то.

— И зачем только эти бродяги лезут сюда, к нам?

— Как зачем? — с живостью подхватила Гинка.— Они приходят, чтобы здесь укрыться.

Стефчов с удивлением посмотрел на нее.

— Значит, по-твоему, Гина, дед Юрдан плохо поступил?

— Прекрасно поступил!.. Очень хорошо поступаете вы оба, и ты и мой отец... Можно подумать, что вы не болгары, а турки или христопродавцы какие-то... Вы подумайте только, за кого и за что идут на смерть эти люди!

Лицо у Гинки разгорелось, в глазах ее блеснул огонек.

— Одурела ты, дочка, совсем с ума сошла! — простонала ее больная мать.

— Значит, по-твоему,— злобно отозвался Стефчов,— если

---

[1] Доброе утро *(румынск.)*.

эти *твои* люди, эти патриоты, соблаговолят нас посетить, надо вывести им навстречу детей из училища, надо встретить их с песнями, распахнуть перед ними двери наших домов, может быть, пирогов им напечь, как некоторые готовили для них сухари?

— Я знаю, знаю все, что ты скажешь! — гневно прервала его Гинка.— Ну что ж, пейте их кровь, выдавайте их туркам, рубите их, режьте на куски, как вы вчера зарезали тех ребят!.. Видали вы, как мать Кандова грохнулась наземь посреди дороги?.. Ох, сестрица моя родная, ох, Лалка!.. Ах, боже, боже!.. Боже милосердный!..

И, прислонившись к стволу орешины, Гинка закрыла платком глаза, из которых ручьем полились слезы. Она плакала навзрыд. В этих внезапных рыданиях она изливала свое горе по убитым вчера повстанцам; но окружающие подумали, что она плачет о Лалке, имя которой назвала. Рада со слезами на глазах бросилась утешать Гинку. Упоминание об умершей дочери взволновало старуху Юрданицу; она тоже разрыдалась.

Все эти слезы и рыдания привели Стефчова в ярость; он понял, что женщины оплакивают убитых повстанцев.

Полицейский уразумел, о чем идет речь, и, подойдя к Стефчову и Хаджи Смиону, шепнул им:

— Слыхали? У Монастырской реки опять шляется какой-то клисурский бунтовщик.

— Как? Кто тебе сказал? — встрепенулся Стефчов.

— Цыганка Арабия видела его, когда рвала черемуху.

— Когда это было?

— Сегодня, в обед.

— Начальству сообщили?

— Не знаю.

— Необходимо как можно скорее дать знать властям,— пробормотал Стефчов, хватая свой фес, лежавший на траве.— Сегодня мы были на волосок от гибели, черт возьми... и вот опять какой-то негодяй прилез!

— Он и есть, дело ясное,— неожиданно проговорил Хаджи Смион.

— Кто? — спросил Стефчов.

— Граф... Я же говорил, что он жив.

— Тем лучше: придется опять кинжалу поработать.

Хаджи Смион пришел в ужас от своих слов, вырвавшихся у него как-то непроизвольно, бог весть почему. Он побледнел.

— Кириак, ты идешь туда?

— Иду.

— Да на что он тебе нужен? Не трогай ты его,— с мольбой в голосе проговорил Хаджи Смион.— Неужто во всей Бяла-Черкве не найдется укромного местечка, где бы его спрятать? Конечно, найдется, ведь Графа все любят.

— Ты с ума сошел, Хаджи! — крикнул Стефчов, пронизывая его ненавидящим взглядом.— Надо спасать Бяла-Черкву.

И, не попрощавшись с родственниками, Стефчов поспешил в город, на ходу разговаривая вполголоса с полицейским, который пошел проводить его до ограды.

Хаджи Смион стоял как громом пораженный.

IX. СОЮЗНИК

Почти никто не заметил внезапного ухода Стефчова. Все окружили расстроенную бабку Юрданицу, всячески стараясь ее успокоить.

— Хозяйка, перейдите-ка лучше в сад, а то наши турки уже показались на бахчах,— сказал полицейский, подходя к женщинам и забирая свое ружье; Стефчов поджидал его, чтобы вместе идти в город.

Юрданица встала, чтобы перейти в сад. Гинка взяла ее под руку и повела. Остальные последовали за ними. Позади всех шли Рада и Стайка. Крепко стиснув руку подруги, Стайка шепнула:

— Слыхала, Рада? Учитель-то жив!

Но Рада, опять терзаемая опасениями, не отозвалась.

Предчувствие говорило ей, что эта новая жертва клисурской катастрофы, этот беглец, который сегодня спустился с гор и которого Стефчов так храбро шел предавать, не чужой ей человек, что это может быть он, ее Бойчо, и сердце у нее замирало от невыразимой тревоги и страха.

— Глянь-ка, чего она бежит со всех ног, эта девчонка? — спросила Стайка, остановившись и указав рукой на босоногую девочку, быстро пробегавшую по лужайке.

То была Марийка. Истерзанная заботой, девочка возвращалась домой, потратив несколько часов на бесплодные поиски доктора Соколова. Не мудрено, что она обрадовалась, завидев Раду, ведь Рада была здесь единственным человеком, близким Огнянову, и у нее можно было попросить помощи. Марийка помнила наказ Бойчо, но она чувствовала, что Рады опасаться нечего и с ней можно говорить откровенно; очевидно, братец Бойчо просто позабыл направить ее, Марийку, к сестрице Раде.

Рада пошла навстречу девочке.

— Иди сюда, Марийка! Как ты живешь?

Девочка остановилась и, боязливо озираясь по сторонам, спросила:

— Сестрица Рада, ты не знаешь, где доктор?

— Соколов? Нет, Марийка, не знаю. А что? Кто-нибудь заболел?

Марийка хотела было что-то сказать, но запнулась в смущении.

— Кто тебя послал за доктором, сестричка? Или кто-нибудь заболел? — повторила Рада свой вопрос.

— Нет, сестрица Рада. Меня послал... братец Бой...

И Марийка испуганно оборвала речь на полуслове.

Но Рада поняла все. Она была не в силах вымолвить ни слова и опасливо оглянулась кругом.

В ту же минуту к ним подошел Стефчов. Он издали заметил девочку и вернулся, чтобы допросить ее.

— Девочка, что у тебя в руке? — спросил он, впиваясь в Марийку ястребиным взглядом.

Марийка побледнела. Испуганно отпрянув от него, она спрятала руки за спину.

— Дай-ка мне эту бумажку, девочка, посмотрим, что на ней написано! — сказал Стефчов, вплотную подойдя к Марийке.

Девочка отчаянно взвизгнула и пустилась бежать по лужайке к розовым кустам.

Темное подозрение мелькнуло у Стефчова в голове. Он узнал в девочке дочь деда Стояна и подумал, что записка, с которой она убегает, вероятно, содержит какую-то важную тайну... Зачем она подошла к Раде? От кого принесла ей записку в такое время? Уж не от Огнянова ли? Не он ли и есть тот бунтовщик, что спустился с гор? При этой мысли лицо Стефчова загорелось злобной радостью, и он погнался за девочкой.

Рада, тяжело дыша, следила за перепуганной Марийкой, а та, завидев мальчика, который пас буйволов, бросилась назад и свернула в сторону. Таким образом, она сама шла в руки Стефчова, который бежал ей навстречу.

Заметив новую опасность, Марийка взвизгнула, как бы прося защиты от своего жестокого преследователя...

Стайка с величайшим недоумением смотрела на то, что происходило перед ее глазами. Сначала она не могла понять, зачем Стефчову нужна какая-то бумажка, но догадалась по лицу Рады, что бумажка ни в коем случае не должна попасть в руки этого человека. И как только догадалась, легкой серной понеслась по

лужайке и, нагнав Стефчова, схватила его за полу сюртука, чтобы задержать его и дать время девочке спастись бегством.

Обернувшись, Стефчов окинул взглядом крестьянку. Он глазам своим не верил. Какая дерзость!

— Дядя, ты чего гоняешься за девчонкой? — сердито спросила Стайка, не выпуская полы его сюртука.

— Пусти меня, свинья! — презрительно крикнул Стефчов и вырвался из ее рук.— Ах ты, мужичка! Это та тебя послала? Понятно, все понятно... Коста, эй ты, Коста, хватай ее! — громко крикнул он мальчику-пастуху, который дремал, но теперь проснулся от криков Марийки.

Мальчик бросился наперерез беглянке. Бедная девочка в испуге остановилась перед новым преследователем, но лишь на миг; как загнанный зверек, она кинулась назад и укрылась за буйволами, словно ища у них защиты от людей.

В Стайке проснулись инстинкты дикарки. Она хотела было кинуться и на Стефчова и на пастушка,— в сравнении с ней они были словно куры перед орлицей,— но вдруг остановилась как вкопанная: Рада отчаянно махала рукой, призывая ее вернуться.

Стайка оторопела и не осмелилась бежать на помощь Марийке. С болью в сердце увидела она, как девочка, полуживая от страха, упала на траву рядом с буйволами и лишилась чувств. С той страшной ночи на водяной мельнице Марийка страдала нервной болезнью, и любое потрясение вызывало у нее истерический припадок. Буйвол наклонил огромную голову над неподвижно лежащей девочкой, кротко и как бы сострадательно обнюхал ее лицо и, снова подняв влажную морду, спокойно зажевал жвачку, бесстрастно устремив куда-то вдаль свои большие синие глаза.

В поисках записки Стефчов быстро расстегнул полузастегнутую кофточку Марийки,— он заметил, как девочка на бегу сунула бумажку за пазуху. Однако он ничего не нашел и вместе с мальчиком-пастушком принялся шарить по земле — и рядом с девочкой, и под нею. Но записка исчезла, точно в воду канула.

Стефчов зло оглянулся.

— Уж не этот ли черт ее слопал? — сказал он, сурово посмотрев на буйвола.

Голю — так звали буйвола,— словно поняв, что его подозревают в краже, широко раскрыл пасть, но на его мокрых губах висели только разжеванные, слюнявые обрывки травы.

Стефчов был в полном недоумении. Он никак не мог понять, куда девалась бумажка.

— Не иначе как эта дрянь уронила ее где-нибудь на

лужайке,— сказал Стефчов и, наклонив голову, вместе с Костой принялся искать записку в траве.

Марийка скоро пришла в себя. Первым ее движением было поискать у себя за пазухой. Не найдя ничего, она испугалась и заплакала. Потом встала и, всхлипывая, отправилась домой.

Стефчов и пастушок долго искали бумажку. Но вот Стефчов выпрямился и быстро зашагал в сторону города. Очевидно, он нашел записку. Проходя мимо Рады, он со звериной злобой проговорил:

— Сегодня его голова будет на шесте!

Вне себя от беспокойства, Рада стояла в каком-то оцепенении. Стайка же не отходила от буйвола. Она разделяла опасения Рады, но никак не могла взять в толк, почему Рада не позволила ей кинуться на выручку Марийке. Она с ненавистью смотрела в ту сторону, где скрылся из виду Стефчов, и, сама того не замечая, гладила Голю по лбу, поросшему темной волнистой шерстью.

Голю понюхал гладившую его незнакомую руку, подался в сторону и переставил ногу.

— Рада! Держи свою записку! — вскрикнула крестьянка, поднимая с земли смятую бумажку.

В самом деле, Голю, обнюхивая бесчувственную Марийку, наступил на оброненную ею бумажку.

Рада схватила записку, развернула ее дрожащей рукой и быстро пробежала глазами.

— От Бойчо! — воскликнула она и, схватившись за грудь, замерла.

Записка была без подписи и содержала всего-навсего две строки:

«Спустился с гор. Принеси или пришли одежду и сведения. Как можно скорей!»

Подписи не было.

Рада прочитала эти строки раз, другой, третий и тут только с трепетом заметила, что записка написана на чистой половине того самого письма, которое она в те страшные часы послала Огнянову через Боримечку. На этом клочке бумаги, оторванном Бойчо, сохранилась даже подпись «Рада», написанная карандашом. Слезы брызнули из глаз у девушки.

— Ну, что в бумажке-то сказано? — спросила Стайка.

— Жив, жив, сестрица! — задыхаясь, проговорила Рада.

Стайка радостно засмеялась.

— Жив учитель! Я же тебе говорила, что эта чернуха ничего не знает, только зря языком трепала про учителя...

— Жив, жив, Бойчо, жив, сестрица! Скажи Гинке, что мне стало дурно и я ушла... А про записку ничего не говори.

И Рада побежала к бахчам.

X. ЛЮБОВЬ — ГЕРОИЗМ

Прежде всего Раде необходимо было на свободе собраться с мыслями и быстро принять решение. Она спряталась неподалеку, за купой деревьев, скрывавшей ее от взглядов, и стала напряженно обдумывать положение. А положение было критическое. Жизнь Бойчо висела на волоске, он ни о чем не подозревал, а ведь тот человек, которого видела цыганка, это, несомненно, он... Да, да, конечно, он! Поэтому надо как можно скорее предупредить его об опасности и помочь ему спастись. Но для нее, девушки, это была нелегкая задача,— все поля вокруг были теперь безлюдны, и там рыскали одни лишь башибузуки в поисках добычи. Волосы встали дыбом у Рады при одной мысли о встрече с этими злодеями. Но, когда речь идет о спасении Бойчо, ее ничто не остановит... Силой любви своей она отразит и удары судьбы, и козни людей... Да, она пойдет к нему, не медля ни минуты... Но он просит принести одежду, обыкновенную одежду мирного человека, чтобы не возбуждать подозрений... Переодетый, он сумеет войти даже в Бяла-Церкву... Как же быть? Где сейчас искать одежду? Кто согласится подвергнуть себя опасности и отдать свою? Да и где взять время на поиски, если каждая минута дорога?.. И тут только Рада вспомнила о том, о чем следовало спросить себя в первую очередь: а где же скрывается Огнянов? В записке об этом ничего не сказано. Надо полагать, что Марийке он свою тайну доверил, но из предосторожности велел сообщить ее Соколову на словах... А Марийка уже убежала. И как это Раде сразу не пришло в голову спросить Марийку, где Бойчо? Слава богу, что она хоть от полицейского узнала, что он в Монастырской долине. Правда, Монастырская долина велика, но Рада ее обшарит вдоль и поперек и найдет Бойчо. К несчастью, у врагов большое преимущество, им не придется тратить много времени на поиски, они точно знают, где он ждет ответа на свое письмо... Но она найдет Бойчо, она опередит врагов, намного опередит, потому что у нее вырастут крылья... Одного лишь она не может сделать — достать одежду. А ему прежде всего нужна одежда!.. Боже, боже... А время летит так быстро... И посоветоваться не с кем.

Все эти мысли и соображения пронеслись у нее в голове с

быстротой молнии. Рада решила покинуть свое укрытие и поспешить в Монастырскую долину. Прежде чем уйти, она внимательно огляделась. Сквозь листву деревьев она рассмотрела, что у садовых ворот стоит человек в большом фесе, одетый в европейский костюм из серой грубошерстной ткани. Сначала Рада приняла его за Стефчова. Но нет, этот был пониже ростом, и весь его облик был другой... Наконец она узнала слепого Колчо. Сердце ее затрепетало от радости, хотя, в сущности, Колчо, слепец, мало чем мог помочь в таком деле. Но, по крайней мере, Рада могла с ним посоветоваться. Сам бог, видно, послал сюда Колчо.

Но вот Рада с испугом увидела, что Колчо перешагнул порог и входит в сад.

Она громко крикнула:

— Колчо, Колчо, погоди! — и стрелой помчалась к нему.

Колчо, услышав крик, остановился.

В одно мгновение Рада очутилась возле него.

— Колчо!

— Рада! Тебя-то я и искал,— сказал слепой. И, подойдя к ней вплотную, шепнул: — Бойчо жив!

— Жив, жив, Колчо! — подтвердила Рада, еле переводя дух.

— Он, наверное, в горах,— добавил Колчо.

— Нет, Колчо, он спустился в Монастырскую долину.

— Неужели правда, Рада? — взволнованно проговорил слепой.

— Там, там, Колчо, он и теперь там. Я получила от него записку... Просит одежду; ему нужна одежда, Колчо... О нем уже дали знать туркам, его видели цыгане... Но я побегу предупредить его... Он убежит... Его не поймают... Но ему нужна одежда,— не то люди всюду будут догадываться, что он из повстанцев... Боже, боже... А время не ждет!

Пока Рада отрывисто и чуть не плача говорила о своих тревогах, Колчо уже нашел выход.

— Одежду достать можно, Рада,— сказал он.

— Ах, Колчо, говори скорей! Где же мы ее достанем?

— Тут поблизости, у одного товарища.

— Только поскорее, Колчо...

— Постой здесь минуточку.

И Колчо торопливо ушел.

Рада, стоя под навесом ворот, нетерпеливо ждала. Прошло не более двух минут, но ей они показались часами. К тому же она боялась, как бы кто-нибудь не вышел из сада и не застал ее одну в таком волнении. Из груди ее невольно вырвался стон.

В этот миг к ней подошла какая-то девочка с узлом в руке.

Слепой увязал в этот узел фес, длинный сюртук и брюки из серой грубошерстной ткани. Две-три минуты назад все эти вещи были на нем.

Добрая душа! Он предусмотрел еще кое-что, о чем Рада в своем смятении позабыла: в узле лежал каравай хлеба, а в карман сюртука было вложено сто грошей.

Но Рада даже не развязала узла. Она выхватила его из рук девочки и бегом пустилась на север через бахчи.

— Боже мой, боже милосердный! — с горечью шептала она.— Он меня и видеть не хочет!.. Чем я перед ним провинилась? А я его так люблю!..

Как уже говорилось, поля были безлюдны. Только башибузуки маячили кое-где. Никто из болгар не отваживался выйти из города, а для девушки, да еще одинокой, опасность была еще страшнее, еще грознее.

Но Рада об этом и не подумала.

У великой любви есть лишь одно мерило — самопожертвование.

XI. БАШИБУЗУК

Спрятавшись в пустой мельнице, Огнянов ждал появления кого-нибудь из товарищей или хотя бы Марийки.

Эта заброшенная полуразрушенная водяная мельница стояла одиноко на дальнем возвышенном конце долины, невдалеке от грохочущего водопада, и за нею не было больше никаких строений.

В стенах ее, там, где раньше были окна и двери, зияли дыры, часть крыши была снесена ветрами.

Стоя у этих дыр, Огнянов держал под наблюдением тропинку, которая шла вдоль реки до самого водопада и справа от него поднималась в горы.

Он ждал долго, сгорая от нетерпения и беспокойства; но часы проходили, перевалило уже за полдень, а долина, насколько хватал взгляд, все еще была безлюдна.

Огнянов не знал, что и подумать.

Грозная неизвестность тревожила его все больше, беспокойство нарастало.

Он старался отгадать причину задержки. Но худшее, что приходило ему в голову, было, что Марийка просто не нашла ни доктора, ни Бырзобегунека, быть может, вынужденных скрываться. Огнянов и не подозревал о той грозной опасности, что

уже нависла над ним, не догадывался, что о его возвращении уже знают и друзья и недруги, не знал, что судьба его зависит от того, кто явится раньше — друзья или враги.

Но вот на тропинке показался человек, один лишь вид которого привел Огнянова в смятение.

К мельнице шел турок!

Это был плотный человек высокого роста, в зеленой чалме и широких шароварах, перепоясанный кушаком, из-за которого торчал длинный ятаган. На спине путник нес мешок.

Вероятно, это был один из тех турок, о которых Огнянову говорила Марийка.

Башибузук.

Что ему здесь надо?

Выхватив револьвер, Огнянов наблюдал за турком, а тот большими шагами поднимался вверх по тропинке.

Он прошел мимо заброшенной мельницы, шагах в пятидесяти от нее, но не обернулся, а продолжал идти дальше.

Огнянов пришел в совершенное недоумение. Разрешить его он не мог, так как был обречен на полную неподвижность и бездействие.

Оставалось одно — наблюдать и выжидать.

Турок все шел вверх по течению реки.

Но вот он перешел ее по камням, углубился в густой бурьян, зеленевший у самого подножия обрыва, и остановился.

Как отметил про себя Огнянов, он остановился как раз там, где начиналась тропинка, ведущая в горы.

Огнянов побледнел.

Это была единственная тропинка, по которой он, в случае нужды, мог бы вернуться в горные дебри. Ни в каком другом месте подняться было нельзя — крутые утесы преграждали дорогу. Огнянов вздрогнул. Может быть, турок хочет заградить ему путь? Не идут ли вслед за этим человеком другие?

И тут турок снял чалму, чтобы заправить внутрь болтавшийся конец.

Теперь голова и лицо башибузука были открыты, и Огнянов мог рассмотреть его как следует.

Он увидел красивое молодое лицо с широким белым лбом, на который падали густые русые кудри.

Невольно вскрикнув от удивления, Огнянов стал у окна, засунул два пальца в рот и свистнул.

Пронзительный свист огласил долину и раскатистым эхом отдался в скалах.

Башибузук, выпучив глаза, смотрел на мельницу, из кото-

рой доносился свист, и, заметив наконец Огнянова, махавшего руками, стремительно бросился бежать назад. То был Соколов.

Друзья горячо обнялись.

— Бойчо, Бойчо, так ты жив, братец! Что ты тут делаешь? — кричал Соколов, растроганный до слез.

— Ну и хорош же ты, доктор, в этом наряде!

— Что ты тут делаешь, брат? Когда пришел?

— Ночью... Почему ты так замешкался?

— Я? — в недоумении спросил Соколов.

— Марийка тебя нашла не сразу?

— Какая Марийка?

— Как, значит, она тебя не нашла? — спросил изумленный Огнянов.— А я нынче утром послал тебе с ней записку...

— Никто меня не нашел,— ответил Соколов,— да и невозможно было меня найти.

Огнянов, удивленный, взглянул на него.

— Но как ты здесь очутился? Куда ты идешь?

— Бегу.

— Бежишь, доктор?

— Мог бы и сам догадаться по моему наряду.

— И ты в таком виде вышел из Бяла-Черквы?

— Из Бяла-Черквы я вышел ночью, а потом укрывался в Хамбаревой мельнице.

— Вот как! Значит, мы были соседями, не подозревая об этом. Чудеса, да и только!.. И Марийка куда-то запропастилась...— сказал Огнянов, в душе у которого зародилась новая тревога.— Ну, так куда же ты идешь?

— Хотел идти в горы. Только того и ждал, чтобы мне принесли паспорт и деньги. Но теперь уж мы с тобой не расстанемся. На жизнь и на смерть — вместе!.. Ах, Бойчо, Бойчо, ах, брат мой! До каких ужасов дожила наша несчастная родина! Кто бы мог подумать!

— Садись, садись, поговорим.

XII. ИСТОРИЯ ОДНОГО НЕВОССТАВШЕГО ГОРОДА

Прижавшись к стене в углу, два товарища подробно рассказали друг другу о событиях, случившихся в Клисуре и Бяла-Черкве в течение последних девяти дней. Из рассказа Соколова,— точнее, из его отчета,— Огнянову все стало ясно. Он понял то, что до сих пор было для него загадкой.

Действительно, Бяла-Черква не восстала, так же как и многие другие города и села, хотя они были подготовлены к восстанию не хуже, чем она, а иные даже лучше. Установленный срок был нарушен, и преждевременная вспышка погубила все дело...

При первом же известии о клисурском восстании мнения в местном комитете разделились: одни считали, что надо только готовиться отразить нападение, не подавая для него повода, и восстать лишь в том случае, если будет прислан отряд для подкрепления; другие ратовали за то, чтобы знамя восстания было поднято немедленно и — будь что будет! Третья же точка зрения, широко распространенная среди видных горожан, была — капитулировать. В тот самый момент, когда комитет решал вопрос о поднятии знамени, капитулянты обманным путем захватили и посадили под замок в подвал попа Ставри самых горячих членов комитета — доктора, Попова и Редактора. Они же послали в К. депутацию с чорбаджи Юрданом во главе, дав ей наказ выразить покорность и верноподданнические чувства султану от имени населения Бяла-Черквы и просить о защите города.

Местные власти,— а они в те дни сами растерялись,— с радостью приняли заявление депутации и послали в Бяла-Черкву пятьдесят башибузуков с приказом отобрать у населения оружие и остаться в городе для его охраны. Вскоре во дворе конака выросла целая гора ружей, пистолетов и ятаганов. Итак, громоотвод, имя которому капитуляция, был установлен, и Бяла-Черква была спасена. Она принесла в жертву только одного человека — Марко Иванова. Его заковали в кандалы и отвезли в Пловдив — держать ответ за черешню... Кто его выдал, неизвестно.

Пять дней спустя — это было вчера — на горе появилось знамя, и снова пошли всякие разговоры да толки, снова блеснула надежда. Все волновались, разнесся слух, что несколько тысяч повстанцев идут с гор на помощь Бяла-Черкве... Этими вооруженными силами якобы командуют русские и сербские офицеры... Никто не знал наверное, откуда идет эта неожиданная помощь,— казалось, она с неба упала... Каблешков столько раз говорил о какой-то таинственной армии, готовой примчаться в указанный час, что ему поверили даже маловеры. Все радостно смотрели на знамя, реявшее на одной из балканских круч... Некоторым уже мерещились на горных склонах люди с винтовками; но это были просто кустарники. Другие, обладавшие более острым зрением, уверяли, будто они даже разглядели русских

солдат, узнав их по большим мохнатым шапкам. Тогда к арестованным пришел поп Ставри и, отперев дверь, сказал:

— Грешно, чада мои, держать вас под замком. Мичо был прав. Идите поглядите, что творится в горах...

Три узника стрелой вылетели из дома. Полчаса спустя они, во главе двух десятков сапожников, захватили копак, а вместе с ним бея, оружие и власть! Город пришел в восторг. Бяла-Черква восстала! Знамя с вышитым львом — рукоделье Рады — развевалось над площадью. Но в то же самое время пришло тревожное известие, которое произвело на всех ошеломляющее впечатление: спустившийся с горных пастбищ пастух сообщил, что на Балканах никаких войск нет. А Тосун-бей уже идет к Бяла-Черкве, чтобы разрушить ее до основания! Одновременно с этим пришло другое известие, усилившее растерянность и панику. Трое клисурских повстанцев, спустившись с гор, укрылись в училище, в верхней части города. То был Кандов, раненный в руку, и с ним еще два клисурца. Старуха сторожиха поместила их на чердаке и накормила хлебом,— они двое суток питались только травами,— потом, по их просьбе, сообщила о них Бырзобегунеку, который принес им одежду, фесы и табак. Но не успели они выкурить по цыгарке, как увидели сквозь щели в крыше, что училище со всех сторон обложено турками. Бырзобегунек в это время тоже находился на чердаке. О бегстве нечего было и думать. Турки начали стрелять со двора, целясь в окна и чердак. Оба клисурца были ранены. Они спустились во двор и сдались. Их изрубили на месте. Бырзобегунек, спрыгнув во двор, двумя выстрелами ранил турка, но тотчас упал, сраженный десятками пуль. Его тоже изрубили... Один лишь Кандов не сходил с чердака. Турки навели ружья на дыру, в которой он должен был показаться. Но он не показывался. Неожиданно гнилой потолок провалился, и Кандов упал на крытую галерею. Выпрямившись во весь рост, он оперся о перила галереи и, скрестив руки на груди, закричал:

— Я готов, стреляйте!

Турки решили, что это начальник и что он сдается,— он говорил по-болгарски. И турки ждали.

— Варвары! Стреляйте! Всех болгар вам не перестрелять! — крикнул он.

Теперь они поняли.

И в ответ раздался залп из тридцати ружей по этой близкой мишени. Но ни одна пуля не задела Кандова. Он помчался по галерее, сбежал с лестницы и ринулся через двор прямо к церкви, куда дорога была открыта. Снова раздался залп, и опять

впустую. Но едва Кандов ступил на церковный порог, как в него попали две пули, и он рухнул на пол... Его тоже изрубили...

После этого принялись разыскивать доктора, причем к башибузукам присоединилось много горожан. Живого или мертвого, но доктора надо было поймать,— только этим удалось бы избавить город от страшного гнева Тосун-бея. Доктор должен был пасть искупительной жертвой. Он скрывался в одном доме, но, когда стемнело, испуганный хозяин попросил его уйти немедленно... На улице Соколова заметили и стали преследовать каратели, но ему удалось оставить погоню далеко позади. Мчась по длинной Мюхлюзовой улице, он по дороге толкнулся в несколько ворот, надеясь скрыться в чьем-нибудь дворе, но все ворота были заперты, и он продолжал бежать. Добежав до площади, он увидел, что за ним охотится уже не один, а два отряда карателей; наперерез ему бежало человек десять. Тогда Соколов кинулся назад и свернул налево, на другую улицу; погоня сразу же потеряла его след, и он получил возможность остановиться на несколько секунд, чтобы перевести дух. Но опасность не уменьшалась. Он знал, что погоня не замедлит выследить его, настигнуть и пристрелить, если не на этой, то на другой улице,— ночь выдалась звездная, светлая. Попытаться бежать за город было тоже безрассудно: все выходы из него охранялись стражей. Остался лишь один путь к спасению — скрыться в доме какого-нибудь друга... К счастью, доктор вспомнил, что недалеко дом попа Димчо. Добежав до его двора, Соколов постучался в ворота. Они открылись. Навстречу беглецу вышел сам поп Димчо, член комитета.

— Батюшка, укрой меня! — попросил доктор.

— Не могу, доктор, не могу! Они уже видели, что ты толкнулся сюда, мне тоже несдобровать,— прошептал поп Димчо, легонько выталкивая Соколова за ворота.

Ошеломленный Соколов тоже почувствовал приближение погони, появившейся на перекрестке, и бросился бежать без оглядки. Он влетел в глухой тупик, в конце которого жил его родственник, дядя Нечо. Постучавшись в дверь, доктор попросил убежища.

Дядя Нечо тотчас оценил положение.

— С ума ты спятил, доктор! — сказал он.— Погубить меня хочешь! Ты же знаешь,— у меня жена, дети.

И, схватив Соколова за руку, Нечо вывел его за ворота.

Доктор поспешил выбраться из тупика и побежал на Петканчову улицу. Но злая судьба толкнула его как раз к тем, от кого он бежал. Теперь каратели гнались за ним по пятам.

— Стой, а то стрелять будем! Стой, доктор! — крикнул полицейский-болгарин.

И Соколов остановился, но не там, где ему предлагал усердный болгарский служака, а дальше, перед воротами дома Сарафова. Как домашний врач Сарафова и его близкий друг, Соколов решил попытать счастья здесь и постучал наудачу.

— Кто там? — послышался голос хозяина.

Доктор назвал себя.

И в тот же миг он услышал, как Сарафов, вместо того чтобы пойти открыть ворота, захлопнул за собой дверь; никаких других звуков беглец больше не услышал.

XIII. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ

— Какой позор! Боже, какой позор! — простонал Огнянов.

— Теперь, братец, в городе царят паника, предательство и подлость,— мрачно проговорил Соколов.— Эх, не та теперь Бяла-Церква, не та...

Огнянов глубоко вздохнул.

— Предательство и подлость, говоришь? Да, это неизбежные последствия всякой неудачной революции, ее исчадия... Они следуют по пятам поражения, как волки и вороны на полях битв... Но кто же водрузил знамя на вершине горы? Красное полотнище на шесте?

— Не знаю.

— А все же кто, по-твоему?

— Турки.

Огнянов с сомнением посмотрел на друга.

— Да, да, турки,— настаивал доктор.— Недаром знамя появилось именно вчера, когда Тосун-бей возвращался из Клисуры, собираясь напасть на Бяла-Церкву и превратить ее в груду развалин. Говорили, будто он угрожал Бяла-Церкве еще тогда, когда шел на Клисуру. Теперь ему нужен был только повод. С той же провокационной целью кто-то посеял слухи о многочисленных подкреплениях, будто бы идущих к нам. А на самом деле это шли орды Тосун-бея.

— Стало быть, он теперь в Бяла-Церкве?

— Да.

— Там, должно быть, творятся неслыханные ужасы? — взволнованно проговорил Огнянов.

— Ужасов нет,— ответил доктор,— но подлости хоть отбавляй. Сегодня я посылал в город человека, и он рассказал, что

Тосун-бей помиловал Бяла-Церкву, когда навстречу ему была выслана торжественная депутация. Тот же человек проходил мимо конака и своими глазами видел во дворе огромную кучу оружия: оно было сдано самим населением... Туда же попала и черешневая пушка... Бедный дядюшка Марко, его жаль больше всех.

Огнянов вздохнул.

— Да, жаль Марко, за него особенно душа болит,— продолжал Соколов.— Он пал жертвой гнусного предательства... И Кандов тоже.

— А кто выдал Кандова и его товарищей? — спросил Огнянов.

Глубокие морщины избороздили его лоб.

— Как, разве я тебе не сказал? Их выдал Юрдан Диамандиев... Глупая старуха пойди да и расскажи о них по секрету попу, а поп — Юрдану. Юрдан сам кричал башибузукам снизу, с площади: «Стреляйте! Чего капителитесь? Разбойников не принимаем в свой город, султановы вороги нам не нужны!»

— Боже, боже! Бедный Кандов! Он геройски сражался на клисурских позициях и здесь пал смертью героя... Какое страшное потрясение пережил я почью, когда увидел его мертвым!.. Ну, а ты как вырвался в конце концов?

— Меня спрятали в одном доме... И где бы ты думал, Бойчо?

— Очевидно, у какого-нибудь друга,— не у чорбаджи Юрдана, конечно.

— Нет, друзья и товарищи прогоняли меня самым бессовестным образом,— желчно ответил доктор.— Впрочем, я уже рассказывал тебе об этом. Передо мною захлопывались все двери.

— Но кто же тогда?.. Расскажи.

— Ладно! — продолжал доктор.— Погоня приближалась, а я уже дошел до последней черты. И тут я принял отчаянное решение — сделать попытку прорваться сквозь стражу, что охраняет выход из города, и бежать в открытое поле. Я был между двух огней, и у меня остался один лишь этот шанс на спасение... Мне оставалось этак шагов тридцать до двора Вылко, где у старого деревянного забора стояла в засаде стража, когда приоткрылись чьи-то ворота... Я услышал скрип и остановился... Присмотрелся и узнал,— оказывается, я у ворот Милки Тодоркиной, и она сама стоит на пороге. Я к ней и говорю: «Милка, погоня бежит за мной по пятам. Можешь ты укрыть меня?» — «Входите, господин доктор!» — отвечает она. Я вошел. Минуту спустя погоня промчалась мимо ворот и побежала дальше.

— Значит, это Милка тебя спасла? — воскликнул Огнянов.

— Да, Бойчо, Милка, распутная Милка!.. На этот раз провидение воплотилось в Милку Тодоркину, погибшее создание, отверженную и презренную Милку Тодоркину... Бедняжка! Впрочем, ей, пожалуй, и бояться-то нечего. Что ей терять, о чем жалеть?..

— Все равно,— заметил Огнянов,— высок героизм этой блудницы, когда всюду так много добродетельной низости... Боже, боже! Так вот где только и могла найти убежище доблесть!

— Меня все еще ищут; в Бяла-Черкве, надо полагать, во все норы заглядывают... Но шалишь, не найдут!

— А теперь что ты собираешься делать, доктор? Куда путь держишь?

— В Румынию, конечно.

— И я было собрался туда, да вот знамя заставило меня спуститься с гор.

— А меня, наоборот,— подняться в горы... Но как тебе идти в таком наряде?.. Шапки и той нет!

— Затем-то я и послал к тебе Марийку с письмом, чтобы ты мне принес все, что требуется. Странно, куда она могла деваться?..

— Теперь все это не к спеху,— сказал доктор.— Как стемнеет, пойдем на Хамбареву мельницу, и Лилко тебя снабдит всем, чем нужно. У меня, к счастью, есть еще один старый паспорт... Пригодится для тебя... А в мешке кое-какие съестные припасы.

— Отлично! Я, правда, не для того пришел сюда, чтобы снова бежать... Я думал, что здесь уже началось восстание.

— А вместо восстания получилась какая-то каша,— ожесточенно прервал его доктор.— Подняли шум, а дела не сделали, только беду на город накликали.

— А насчет других городов вы имели сведения?

— Ходили какие-то туманные слухи. Повсюду одни и те же проклятые неудачи... Восстание не смогло широко распространиться... Всюду провалы... Да ты, надо думать, больше меня знаешь.

— Я видел с горных высот пожары. Они пылали чуть не в двадцати местах одновременно,— отозвался Огнянов.

— Да, брат, не созрел еще наш народ для такого дела!.. Обманулись мы, страшно обманулись...— сказал доктор.— Тяжкие жертвы приносит теперь Болгария, и, главное, понапрасну.

— Что мы обманулись, это правда... Но революция была необходима, а жертвы неизбежны. Я даже хотел бы, чтобы их было еще больше, чтобы зверства были еще чудовищнее. Мы не можем своими силами сокрушить Турцию, но можем снискать сочувствие всего мира хотя бы своими великими страданиями, мученичеством и кровавыми реками, которыми истекает тело Болгарии... Все-таки это признак того, что мы существуем. О мертвецах никто и думать не станет. Только живой имеет право на жизнь. Если теперь европейские государства за нас не заступятся, то они не заслуживают названия христианских и цивилизованных!.. Но если бы даже ничего этого не было, нам не в чем раскаиваться... Мы выполнили наш гражданский долг, мы кровью своей попытались завоевать свободу... Не вышло... Об этом приходится жалеть, но стыдиться нечего... А вот если мы теперь будем сидеть сложа руки, если мы станем оплевывать свой идеал, если забудем про кровь и пламя пожаров, в которых теперь гибнет Болгария, это будет позор и преступление.

— Огнянов,— сказал доктор после короткого молчания,— сдается мне, что одни мы с тобой так думаем в этот час: вся Болгария проклинает нас за то, что мы обрушили на нее эти бедствия... Послушал бы ты, что говорят. Всякий теперь считает, что прав был Стефчов.

XIV. ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР

Впервые услышал сегодня Огнянов имя Стефчова и поморщился.

— Как, он еще дышит, эта презренная тварь?

— Презренная тварь? — прервал его доктор.— Да Стефчов у нас теперь умнейший человек, преданнейший родине... им гордиться надо! Жаль, не удалось мне испить его крови... Знаешь, ведь я было хотел натравить на него свою медведицу Клеопатру... Он теперь торжествует вместе с чорбаджи Юрданом. Его теперь почитают спасителем города. А нас, как собак, передушат, если найдут...

— Подлая тварь!.. Бедная Лалка, наверное, очень несчастна...

— Как? Разве ты не знаешь? Лалка умерла.

— Умерла? Что ты говоришь?

— Умерла восемнадцатого апреля,— глухо проговорил доктор.

— Сколько несчастий за такое короткое время!.. Это он ее убил, подлец! — крикнул Огнянов.

— Да, он ее убил.

И доктор со слезами на глазах рассказал Огнянову, отчего Лалка заболела и умерла.

Огнянов, растроганный, схватил его за руку.

— Брат, мы одинаково несчастны.

Соколов вопросительно посмотрел на него.

— Лалка, женщина, которую ты любил, умерла,— скорбно промолвил Огнянов,— другая женщина, любимая мною, тоже... в могиле... потеряна для меня.

— Нет, твоя Рада жива, она в Бяла-Черкве! — воскликнул доктор.

— Жива?.. Да, жива, но для меня она умерла.

Соколов удивленно посмотрел на него.

— Да, навсегда умерла,— угрюмо повторил Огнянов.— Несчастный Кандов... мир праху его!.. Зачем я его пережил?

Соколов широко раскрыл глаза от изумления.

— Скажи, Бойчо, уж не поссорился ли ты с Кандовым в Клисуре?

— Да... Не на жизнь, а на смерть.

— Из-за Рады?

Огнянов нахмурился.

— Не будем говорить об этом теперь,— сказал он.

— Да ты с ума спятил, Бойчо! Ты подозреваешь Раду? Но это возмутительно.

— Возмутительно? Ошибаешься. Я, брат, тоже думал когда-то, что Рада — это сама невинность; и что же оказалось?..— Огнянов глубоко вздохнул.— А я-то верил, я любил ее, да еще как любил! В те дни и родина мне была милее, и больше у меня было веры в свои силы, и мужество мое было несокрушимо... Но какой удар мне нанесли! Ты и представить себе не можешь. Достаточно сказать тебе, что после этого я сражался в Клисуре не столько для того, чтобы победить врага, сколько затем, чтобы самому погибнуть от его пули... Не напоминай мне о ней.

И Огнянов грустно поник головой.

— Нет, ты ошибаешься! Рада тебя верно любила и любит, но она очень несчастна. Ее оклеветали, и первый клеветник — ты! — с негодованием воскликнул доктор.

Огнянов окинул его укоризненным взглядом.

— Доктор, не будем больше говорить об этой печальной истории, чтобы не оскорблять памяти бедного Кандова.

— Нет, именно память Кандова я и хочу очистить от твоих подозрений... Ты не должен допускать и мысли, что он поступал

подло... Правда, он действительно влюбился в Раду... Ты ведь знаешь, какой это был мечтатель. Он мог увлекаться до самозабвения. Эта пленная страсть заставила его отойти от общества, забросить комитетские дела... Но она ничего не изменила в чувстве Рады к тебе: он не оскорбил ее никаким бесчестным предложением. Рада стеснялась сказать тебе об этом, но Лалке она жаловалась на его платоническое ухаживание. Да, кстати, хорошо, что я вспомнил, возьми вот, почитай письмо, которое он написал девятнадцатого апреля, в тот самый день, когда уехал вслед за нею в Клисуру. Это письмо мне передал Недкович...

И вынув письмо Кандова, Соколов протянул его Огнянову.

Бойчо быстро прочел письмо, и в глазах его блеснули слезы. Лицо его мгновенно засияло счастьем.

— Спасибо тебе, Соколов! Ты все объяснил, и теперь у меня словно гора с плеч свалилась. Ты обновил и озарил мою душу.

— Бедная Рада,— проговорил Соколов.— Как она будет счастлива, когда узнает об этом! Мне не удалось повидаться с нею, но я знал, что она в отчаянии... очевидно, из-за тебя. Она, как и все мы, считала тебя погибшим... Напиши ей, черкни хоть несколько слов, прежде чем мы тронемся в путь, обрадуй ее, бедняжку.

— По-твоему, я должен написать ей?

— Конечно, напиши, этого требует нравственный долг.

— Нет, нравственный долг требует другого: надо не письма ей писать, а встать и пойти к ней, пасть перед нею на колени и молить о прощении. Я поступил с Радой жестоко, до подлости жестоко! — воскликнул Огнянов.

— Я бы и сам посоветовал пойти к ней, но сейчас это невозможно...

— Пусть невозможно, я все-таки пойду! — решительно заявил Огнянов.

— Как? Пойдешь в Бяла-Церкву? — вскричал пораженный доктор.— Но сейчас это безумие! В Бяла-Церкве теперь все кипит... Юрдан и Стефчов играют роль спасителей города... Ты идешь на верную смерть!

— Ты знаешь, доктор, что, когда надо спасти честь, я не думаю о спасении жизни. Вся Тосун-беева орда сейчас меня не остановит... Я должен просить прощения у Рады... бедняжка, своей жестокостью я довел ее до такого отчаяния, что она хотела умереть под развалинами Клисуры.

Огнянов в двух словах рассказал Соколову о том, что он знал о Раде.

— Ну, если так, брат, не смею тебя удерживать,— сказал растроганный доктор.

Немного помолчав, Огнянов проговорил негромко:

— А кроме того, есть еще одно обстоятельство... Рада — моя жена. Я повенчался с ней, когда в последний раз уезжал отсюда; повенчался с ней... перед богом; и мы обменялись не кольцами, но клятвами... Я не могу ее оставить, понимаешь? И если только я благополучно доберусь до Румынии, я вызову ее к себе делить со мной бедность, лишения — словом, все трудности эмигрантской жизни... О, она приедет с радостью, чтобы разделить мою судьбу, как она делала это здесь... Она, дорогой доктор, подлинная героиня в своей любви: я не взял бы весь мир в обмен на ее сердце...

Лицо доктора сияло восторгом.

— Пойду, как только стемнеет,— продолжал Огнянов,— и этой же ночью вернусь... И, смею тебя уверить, вернусь в целости и сохранности. Я не хочу умирать, доктор, нет, не хочу. Ведь Рада теперь снова жива в моих глазах, и Болгария еще не освобождена!

XV. ВСТРЕЧА

Доктор приник глазом к щели в степе.

— Кто-то идет,— сказал он,— должно быть, Марийка.

Огнянов тоже устремил глаза на долину.

— Нет, это не Марийка. Марийка меньше ростом, и она в голубом платье.

— А эта в черном и с каким-то узлом в руке.

— Рада! — воскликнул Огнянов, вскакивая.

Доктор тоже вскочил.

Огнянов встал во весь рост у входа и замахал обеими руками.

Рада потеряла немало времени, блуждая по камням в поисках Бойчо; и вот наконец увидела его. Она бросилась бежать и в мгновение ока очутилась на мельнице.

— Рада!

— Бойчо, Бойчо! — плакала девушка, едва дыша и прижимая его голову к своему лицу.

Доктор был глубоко растроган.

— Но как ты попала сюда, Рада? — торопился расспросить ее Огнянов, с трудом овладевая собой.

— Твою записку к доктору Марийка передала мне... Ах, Бойчо, зачем ты меня так измучил? — говорила Рада, плача от

счастья.— Ты больше не сердишься на меня?.. Ты не имеешь права на меня сердиться... Ты знаешь, что для этого нет причины...

— Прости меня, пташка моя, прости! — говорил Бойчо, целуя ее руки.— Только сейчас Соколов объяснил мне, как я ошибался, а я ведь и сам мучился... Я хотел идти в город, чтобы просить у тебя прощения... за эту жестокость... Я недостоин любви такого ангела... Но ты ведь забудешь, Рада, ты простишь?

И Огнянов с восторгом смотрел в ее влажные глаза, сияющие счастием и беспредельной любовью.

Но Рада вдруг побелела, как стена, и, отпрянув от Бойчо, крикнула:

— Беги, Бойчо! Я и забыла сказать вам... Бегите!.. Вас здесь видели, и турки уже идут! Скорее бегите в горы! — повторяла Рада, вне себя от страха.

— Не может быть! — воскликнул Соколов, не веря своим ушам.

— Слушай, Бойчо, тебя видела цыганка и сообщила об этом властям еще раньше, чем я встретилась с Марийкой... Когда я шла к тебе, со стороны виноградников спустилась толпа башибузуков и направилась прямо сюда... Они идут за тобой... Ах, боже, я и позабыла сказать об этом сразу... Я целый час потеряла, пока искала тебя в долине... Увидимся где-нибудь в другом месте. А теперь бегите!

Велико было самообладание Огнянова в минуты грозной опасности, но страшное известие потрясло его, и на этот раз он не смог быстро принять решение. Ведь это известие пришло в миг высшего блаженства, в миг неожиданной встречи с девушкой, которая сегодня, в ореоле героического подвига любви, казалась Огнянову еще милее и пленительнее, чем раньше. И он был не в силах решиться на немедленную разлуку, не в силах прервать вожделенное свидание. А между тем был дорог каждый миг.

— Бежать? А ты? — проговорил Бойчо.

— На меня не смотрите, обо мне не думайте... Бегите скорей... На, возьми вот это — здесь одежда — и беги, Бойчо, прощай, нет, мы еще увидимся, мы будем вместе, Бойчо, милый мой... где укажет судьба... Прощай...

И, подав узел Огнянову, Рада схватила его за руку и потащила к выходу из мельницы.

— Нет! — решительно сказал Огнянов.— Я не могу в такое время оставить тебя одну... Если эти варвары идут за тобой следом...

— Да, идут, Бойчо!

— Что, если они найдут тебя одну в этих диких местах? Эти звери!.. Нет, лучше я умру здесь, защищая тебя...

Но он тут же понял, что это отчаянное решение безрассудно. И он спросил Раду:

— Рада, можешь ты идти с нами?

На это неожиданное предложение Рада с восторгом ответила:

— Конечно, конечно, Бойчо! С вами я готова хоть на край света... Бежим, бежим, Бойчо!

Глаза Огнянова засияли.

— Только бы нам добежать до Малого стула, что над водопадом,— сказал Соколов.— А там уж я один удержу их до вечера. пока ты отведешь Раду в горы.

Действительно, над водопадом возвышалось несколько островерхих скал, названных «Малым стулом». Укрываясь за ними, один хорошо вооруженный человек мог бы оборонять от целого отряда ту единственную тропинку, что, извиваясь по круче, вела в горы.

Нельзя было терять ни секунды.

— Наверх, на гору! — крикнул, почти скомандовал Огнянов.

И он первый ступил на порог мельницы и окинул взглядом долину из конца в конец.

Но было уже поздно.

На противоположном обрыве между острыми скалами показались турки. Они укрывались за камнями и кустами, так что виднелись только их головы да ружья. Повыше стоял кто-то в белых шароварах и указывал рукой на мельницу. То была цыганка. Турки заняли обрыв и на другой стороне. Эти тоже присели на корточки за камнями.

Огнянов и доктор поняли, что они окружены, и перестали думать о бегстве; да о нем и нечего было думать.

Турки начали осторожно спускаться по обрыву под прикрытием камней и кустов. Их было человек сто.

Тропинка, пролегающая по долине, еще оставалась свободной.

— Рада,— сказал Бойчо, повернувшись к ней,— иди по тропинке и держись берега.— Но тотчас же страшная мысль омрачила его лицо, и он добавил: — Нет... лучше оставайся здесь...

Он прочитал в глазах Рады согласие.

— С тобой, с тобой, мой Бойчо...— прошептала она, скрестив руки на груди.

И столько скорби, любви и жертвенной преданности светилось в ее глазах! Такая в них была готовность умереть!

Огнянов и Соколов пересчитали свои патроны.

— Восемнадцать выстрелов,— сказал Соколов.

— Хватит, чтобы умереть с честью,— вполголоса промолвил Огнянов.

Сам Тосун-бей привел сюда свою орду, и сам ею командовал. Прежде чем подняться на обрывы, он закрыл выходы из долины и, таким образом, стянул железный обруч вокруг мятежников, точнее — мятежника, ведь Тосун-бей был убежден, что на мельнице скрывается один Огнянов.

Прежде чем дать приказ открыть стрельбу, Тосун-бей распорядился, чтобы осажденному крикнули по-турецки:

— Главарь бунтовщиков, сдавайся!

Но только скалы откликнулись гулким эхом на это предложение.

Рада забилась в угол, недвижная, онемелая.

— Крепись, Рада! — печально сказал ей Бойчо.

Она отозвалась на это только взмахом руки. Казалось, она хотела сказать: «В Клисуре, где я была одинока и отвержена, мне было очень страшно. Теперь мне не будет страшно умереть с тобой, потому что ты меня любишь... Вот увидишь!»

Огнянов понял этот мужественный немой ответ, и глаза его увлажнились.

Шли мгновения. Огнянов и Соколов, крепко сжав револьверы в руках, стали у стены так, чтобы укрыться от пуль. Они смотрели то на тот, то на другой обрыв: оттуда каждый миг можно было ожидать ружейных залпов.

Прошла минута. По-видимому, это был срок, данный Тосун-беем.

И вот загремели выстрелы с западного обрыва, потом с восточного и наконец из долины. Осажденные слышали, как над ними свистят пули, проникая сквозь дыры в крыше, сквозь щели в стенах; слышали, как эти пули ударяют о камень и, расплющенные, падают к их ногам.

Гул стоял в этой балканской долине.

Внезапно пальба прекратилась.

Стены мельницы, хоть и были полуразрушены, все же послужили укрытием для троих обреченных. Пока что пули не задели никого. Одна лишь Рада упала, потеряв сознание. Душевные силы изменили несчастной девушке. Косынка соскользнула с ее головы, и волнистые черные волосы рассыпались по ее плечам и по земле.

С минуты на минуту надо было ожидать нового залпа. Между тем Рада лежала в таком месте, куда легко могли попасть пули.

Огнянов наклонился и, взяв девушку на руки, отнес ее в дальний угол мельницы, наиболее защищенный от обстрела. Там он подложил ей под голову узел и попытался привести ее в чувство, но она не приходила в себя: она лежала, не ведая, что творится вокруг. И в эту минуту, глядя на ее прекрасное лицо, покрытое смертельной бледностью, на ее закрытые веки и побелевшие губы, на эту несчастную девушку, связавшую свою судьбу с его судьбой, он мучился адскими муками в предвидении ожидающей ее участи. Ведь он должен будет сейчас расстаться с ней и уже не сможет защитить ее от этих зверей. На его лице отразились отчаяние и несказанная скорбь.

«Может быть, лучше мне самому убить ее?» — подумал он.

Не получая ответа из мельницы, осаждающие осмелели, спустились еще ниже по камням и приблизились ко дну долины. Все теснее стягивалось кольцо вокруг мельницы. Приближалась минута решительных действий.

— Сдавайся, бунтовщик!

Ответа не последовало.

На мельницу посыпался град пуль. Огонь усиливался, и турки придвигались все ближе... Мельница молчала по-прежнему, и турки решили, что укрывшийся внутри мятежник безоружен. Пули все чаще ударялись о стены, наступление переходило в штурм.

Турки были теперь совсем близко. Настала последняя минута. Огнянов стоял у окна, доктор — у входа.

Товарищи переглянулись и одновременно разрядили револьверы в густую толпу врагов. Этот неожиданный ответ уложил на месте трех турок и показал неприятелю, какими силами располагает мельница. Турки поняли, что осажденный не один. Это их смутило, но только на мгновение. Клисурские победители с ревом кинулись к мельнице. Одни еще стреляли с обрывов, другие — уже из долины, целясь в оконные и дверные проемы, чтобы осажденные не могли высунуться и вновь открыть стрельбу по осаждающим. Это был уже настоящий штурм.

— Ну, доктор, придется нам сейчас умереть, брат. Прощай навеки! — сказал Огнянов.

— Прощай, брат!

— Доктор, ни один из нас не должен попасть к ним в руки живым!

— Конечно, Бойчо! У меня еще четыре патрона; один оставлю для себя...

— А я, доктор, оставлю два.

И Огнянов невольно обернулся к Раде. Она лежала все так же недвижно, но лицо ее теперь побелело как полотно; по ее груди медленно текла струйка крови, застаиваясь красными лужицами в складках платья... Шальная пуля попала в девушку рикошетом. Рада была уже мертва. Ее обморок перешел в вечный сон.

Покинув свой пост, Огнянов подошел к ней, преклонил колена. взял ее холодные руки в свои и долгим поцелуем приник к ее ледяным устам; он осыпал поцелуями и ее лоб и рану, на которой уже застывала кровь. Быть может, он что-нибудь сказал Раде, быть может, шепнул во время этих прощальных поцелуев: «До свидания в мире ином, Рада»,— но если и так, слов его нельзя было расслышать из-за стрельбы за стеной, из-за ударов пуль внутри. Он покрыл ее своим плащом. Когда Бойчо выпрямился, по щекам его двумя струйками катились слезы.

И в каждой из этих слез был целый океан мук... А может быть — кто знает? — и какая-то доля благодарности провидению...

XVI. ГИБЕЛЬ

Немое прощание длилось всего каких-нибудь полминуты, и в это время Соколов один сражался с сотней врагов. Случайно он повернулся и увидел Раду... Волосы встали у него дыбом, глаза загорелись, как у тигра, и, ничего уже не боясь, он выпрямился во весь рост, стал у входа и, словно бросая вызов пулям, крикнул на чистейшем турецком языке:

— Псы шелудивые! Дорого вы заплатите за каждую каплю болгарской крови!

И разрядил револьвер..

В новом припадке бешенства толпа ринулась на полуразрушенную мельницу, ставшую неприступной крепостью. Звериный рев, сопровождаемый дружным залпом, огласил долину.

— Ох! — простонал доктор и уронил револьвер.

Пуля попала ему в правую руку. Неописуемый ужас и отчаяние исказили его лицо. Огнянов, который тоже обливался кровью. но еще продолжал стрелять в толпу, заметил это.

— Тяжко, брат? — спросил он.

— Нет, но я выпустил последний патрон... забыл...

— У меня еще два, бери...— сказал Огнянов, подавая Соко-

лову свой револьвер.— А теперь пусть посмотрят, как умирает болгарский апостол!

И, выхватив у него из-за кушака длинный ятаган, Огнянов выбежал из мельницы и ринулся в толпу, нанося страшные удары направо и налево...

. . . . . .

Полчаса спустя свирепая орда с бешеным весельем победоносно возвращалась из долины с головой Огнянова на шесте. Череп доктора, раздробленный на куски ударами кинжалов (первый удар, пулей, доктор нанес себе сам), не мог послужить трофеем. Не тронули и голову Рады, но по соображениям политического такта. Тосун-бей был хитрее Тымрышлии.

Сзади везли на телеге убитых и раненых турок.

С дикими криками вернулась орда в Бяла-Церкву. Город был пустыннее и безмолвнее заброшенного кладбища. Трофеи водрузили на площади.

Только один человек маячил на этой площади, как призрак.

То был Мунчо.

Узнав голову своего любимого Руссиана, он вперил в нее безумный, полный ярости взгляд и, вместе с дождем плевков, осыпал неслыханно дерзкой бранью пророка Мохаммеда и султана.

Его повесили на скотобойне.

Этот помешанный оказался единственным человеком, который осмелился выразить протест.

Одесса, 1888 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

Основная часть романа И. Вазова «Под игом» («Под игото») была написана в 1888 году в Одессе, где писатель находился в эмиграции. По возвращении на родину И. Вазов дорабатывал текст романа и вносил в него поправки. Впервые он был обнародован в серийном издании Министерства народного просвещения «Сборник за народни умотворения, наука и книжнина» («Сборник народного творчества, науки и литературы»), кн. I—III, в 1889—1890 годах. Первое отдельное издание «Под игом» появилось в 1894 году.

У болгарских читателей роман имел большой успех, выдержав при жизни автора пять изданий. В условиях монархо-фашистского режима, в 20—30-е годы, роман перепздавался около пятнадцати раз. Его жадно искал демократический читатель, и он был своего рода идейным оружием народа в сопротивлении болгарскому и немецкому фашизму. В современной Болгарии роман «Под игом» пользуется исключительной популярностью. Он издавался свыше десяти раз массовыми тиражами, каких никогда ранее не было в стране.

«Под игом» — первое художественное произведение болгарского автора, получившее сразу же после его издания мировую известность. Во второй половине 90-х годов роман был переведен на многие европейские языки, вызвав горячие симпатии к автору и героическому народу Болгарии. Особым успехом роман пользовался у тех славянских народов, которые боролись за национальное освобождение,— поляков, словаков, чехов, хорватов, украинцев, словенцев. Роман болгарского писателя

помогал им осознать свои национальные цели и задачи в освободительном движении. С наибольшей определенностью это было выражено в предисловии к словацкому изданию 1902 года. «Для нас, словаков,— писал переводчик,— чтение «Под игом» будет особенно интересным и близким. Несчастный несчастного лучше всего понимает — и мы униженны, и мы терпим... Будем же учиться на примере наших братьев болгар не поддаваться». Подобные высказывания можно найти и в польской критике, которая не без оснований сравнивала изображенные в романе события 1876 года с событиями в Польше в 1863 году.

На русский язык роман «Под игом» был впервые переведен в 1896 году в журнале «Мир божий»; в том же году он вышел и отдельным изданием. Третье петербургское издание появилось в 1899 году. Большой интерес к роману болгарского писателя проявило вятское земство, которое, по выражению В. И. Ленина, «носило более мужицкий характер» и в культурной жизни которого заметную роль играли политические ссыльные. В 1898 году на страницах «Вятской газеты» роман печатался из номера в номер, а несколько позднее, в 1904 и 1906 годах, издательство «Вятское товарищество» дважды выпустило его массовым тиражом для народных библиотек. По свидетельству русской прогрессивной критики тех лет, роман «Под игом» привлекал русского читателя пафосом национально-освободительной борьбы. «И здесь,— писал критик в 1907 году в журнале «Образование»,— мы видим борьбу болгар не с турецким народом, а с турецкими чиновниками, с которыми рука об руку идет и болгарский чиновник».

Выход в различных европейских странах перевода «Под игом» в конце 90-х и начале 900-х годов представлял подлинную литературную сенсацию и всюду пробуждал живейший интерес самых широких слоев читателей. Успех этого романа был одним из ярких свидетельств того, как Болгария после пятивекового ига «возвратилась к жизни индивидуальностью яркой, полной творческих сил, и быстро заняла достойное ее место в семье культурных наций» (М. Горький. «Несобранные литературно-критические статьи», М. 1941, стр. 452).

Глубокий интерес к творчеству И. Вазова, к его роману «Под игом» проявляют и советские читатели. В 1928 году роман вышел на русском языке с предисловием Васила Коларова в серии исторической библиотеки. После второй мировой войны в новом переводе, который воспроизводится и в этом издании, он выходил в 1950, 1954 и 1956 годах. Кроме того, он выходил у нас на языках народов Советского Союза — на армянском, грузинском, белорусском, молдавском, литовском, латышском, казахском, украинском.

В. Злыднев

Для настоящего издания текст перевода заново отредактирован и сверен по последнему болгарскому собранию сочинений И. Вазова: Иван Вазов. Събрани съчинения в 20 тома. Том 12. Под игото. София, 1956.

Стр. 9. *Чорбаджи,* или *чорбаджия.*— В турецком языке слово «чорбаджи» (от чорба — похлебка) означало: начальник, ведавший довольствием солдат. В Болгарии этим словом стали называть зажиточных болгарских торговцев, землевладельцев и хозяев ремесленных мастерских, то есть представителей нарождавшейся национальной буржуазии; в широком смысле: богатый человек.

Стр. 13. *Царвули* — крестьянская обувь из сыромятной кожи.

Стр. 20. *Фармазон.*— Прозвище «фармазон» (искаженное франкмасон, то есть член тайного мистико-политического общества «вольных каменщиков») означало в обывательском языке вольнодумца, безбожника. Ср. в «Горе от ума»: «Что? К фармазонам в клоб? Пошел он в бусурманы!»

...на казацкий манер.— Быть остриженным «по-казацки», то есть в кружок, считалось признаком русофильских настроений.

Стр. 21. *Бяла-Черква* — перевод турецкого названия города Сопота: Акча-Клисе.

Стр. 22. *Конак* (турецк.) — дворец, особняк, здание правительственных учреждений и присутственных мест.

Стр. 24. *Диарбекир* — город в юго-восточной части турецких владений в Малой Азии (Курдистан), цитадель которого служила местом заключения политических преступников, в частности — деятелей национально-освободительного движения в Болгарии.

Стр. 25. *...помочиться на синий камень.*— По существовавшему в старину народному поверью, это вылечивало детей от последствий испуга.

Онбаши (турецк.) — начальник полиции в маленьком городе.

Стр. 28. *Сукман* — женское платье без рукавов из грубой ткани.

Стр. 29. *Эмексиз-Пехливан.*— По словам Вазова, таково было настоящее имя проживавшего в Сопоте жестокого, как зверь, турка, гигантского роста. В переводе: «бездельник-силач».

Стр. 31. *Топал-Хасан* — хромой Хасан.

Стр. 35. *Кырджалии и делибаши* (турецк.) — турецкие разбойники, грабившие и терроризировавшие население Балканского полуострова.

Стр. 36. *Левский* Васил (1837—1873) — один из крупнейших деятелей и руководителей национально-освободительной борьбы в Болгарии, создатель сети тайных комитетов и мощной «внутренней» (то есть действовавшей на территории порабощенной Болгарии) революционной

организации. Прославился своим личным мужеством и выдающимся даром конспирации. В 1873 г. был предательски выдан турецкой полиции и повешен в Софии.

Стр. 39. *Султан Абдул Меджид.*— Абдул Меджид правил с 1839 по 1861 г. Период его правления отмечен попытками провести некоторые реформы, регулирующие положение христианских подданных империи (так называемый «Танзимат» — новое устройство) с целью ослабить нараставшее национально-освободительное движение.

Крымская война... Альма... Евпатория... Силистра.— Иначе: восточная война 1854—1856 гг., то есть война России с Англией, Францией, Турцией и Сардинией. Неудачный для русских войск бой при реке Альме произошел 8 сентября 1854 г.; Силистра — турецкая крепость на Дунае.

Стр. 40. *Местный комитет.*— Незадолго до освобождения Болгарии повсюду в стране стали создаваться тайные комитеты, руководившие подготовкой восстания против турок.

Стр. 42. *Гарибальдийка* — куртка, в какой изображали вождя итальянского национально-освободительного движения Джузеппе Гарибальди (1807—1882).

Восстание в Герцеговине — произошло в 1875—1876 гг.; оно дало сильный толчок к подъему национально-освободительного движения на Балканском полуострове.

Стр. 43. *Князь Никола* — князь Черногории Николай I Негош, правивший страной с 1860 по 1918 г.

Стр. 45. *Совет конака* — совет при турецкой городской администрации, в состав которого включались известные своей преданностью султанскому режиму представители местной болгарской буржуазии.

Стр. 46. *«Независимость»* — газета, издававшаяся Любеном Каравеловым в 1873—1874 гг. в Бухаресте и фактически бывшая органом Центрального революционного комитета, объединявшего вокруг себя болгарских революционных демократов.

Стр. 52. *Воевода* — руководитель повстанческого движения, командир повстанческого отряда.

Стр. 53. *Агаряне* — то есть мусульмане, считавшиеся потомками Агари, жены библейского пророка Авраама.

Стр. 57. *Сокровищница Халима* — баснословные сокровища, о которых говорится в сборнике арабских сказок «Халима».

Стр. 59. *Бухарестский комитет.*— Имеется в виду Центральный революционный комитет, руководивший подготовкой народного восстания в Болгарии в 1870—1875 гг., основанный Л. Каравеловым и В. Левским.

Паша — высший гражданский и военный титул в Турции.

Князь Куза — правитель княжеств Валахии и Молдавии Александр Куза; с 1861 по 1886 г.— князь объединенной Румынии.

Стр. 60. *...нет у нас Любобратичей.*— Мичо Любобратич — один из главных руководителей Герцеговинского восстания 1875—1876 гг.

Стр. 63. *Иван Богоров* — Иван Андреев Богоров (1818—1892), видный болгарский патриот-просветитель, врач по профессии, журналист, составитель разнообразных учебников, научно-популярных книг, одной из первых грамматик болгарского языка и издатель первой болгарской газеты «Былгарски орел» (1846).

Стр. 72. *Кирилл и Мефодий* — знаменитые в истории славянской культуры братья Кирилл (Константин) и Мефодий, уроженцы г. Солуни (Салоники), с именем которых связывается составление славянской азбуки. Были признаны православной церковью святыми. Посвященный их памяти день 11/24 мая отмечается в Болгарии как праздник национальной культуры.

Стр. 76. *Болгар крестил болгарский царь Борис!* — «Крещение», то есть признание Болгарией христианства по восточноправославному византийскому обряду как государственной религии, произошло в царствование Бориса-Михаила, в 865 г.

Стр. 77. *От греческого рабства болгар избавил царь Асен...*— Братья Петр и Асен, представители крупной болгарской феодальной знати, подняли в 1185 г. восстание против византийского владычества, закончившееся признанием независимости Болгарии и вступлением на болгарский трон в 1187 г. Асена I, принявшего титул царя. Основанное братьями Петром и Асеном так называемое «второе болгарское царство» просуществовало до 1393 г., когда страна была захвачена турками-османами.

Стр. 86. *Нимфа Калипсо* — по древнегреческим преданиям, была владетельницей сказочного острова Огигии, где она в течение нескольких лет удерживала своими чарами полюбившегося ей Улисса (Одиссея), мечтая стать его женою.

Капуя — город в Италии. Древняя Капуя славилась роскошью и изнеженностью своих жителей.

Стр. 88. *Балканский лев* — лев, как деталь болгарского герба, служил символом болгарской государственности.

Стр. *89. «Захотел гордый Никифор»* — одна из наиболее популярных народных песен в Болгарии в 50—70-е годы, в которой говорится о поражении и гибели византийского императора Никифора I в войне с болгарами в 811 г.

Шейх-уль-ислам (арабск.) — буквально «вождь ислама», глава мусульманского духовенства.

Стр. 90. *Экзарх* (г р е ч.) — владыка, глава болгарской православной церкви.

Стр. 91. *Тропарь* (г р е ч.) — церковное песнопение.

Стр. 92. *«Геновева».*— Имеется в виду пьеса «Многострадальная Женевьева» немецкого писателя Фридриха Геббеля (1813—1863). Пользовалась огромной популярностью на любительской болгарской сцене в 60—70-х годах.

Читалище.— Народные библиотеки (читалища) стали возникать в Болгарии в 50-х годах прошлого века; их организация и деятельность явились одной из своеобразных форм борьбы за национальную болгарскую культуру; многие из подобных читалищ в городах и селах Болгарии, руководившиеся местной демократической интеллигенцией, служили центрами подпольной революционной работы.

Стр. 93. *Хэшовская одежда.*— Имеется в виду принятая «хэшами» — болгарскими повстанцами, участниками вооруженной борьбы против турок — полувоенная форма.

Стр. 95. *Апостольство* — то есть пропаганда и организация национально-освободительной борьбы на территории порабощенной Болгарии.

В Стара-Загоре мы так оскандалились...— Имеется в виду восстание, поднятое 16 сентября 1875 г. в районе города Стара-Загоры под руководством Ст. Стамбулова, З. Стоянова и Г. Икономова; недостаточная подготовленность этого выступления послужила причиной его быстрой ликвидации турецкими властями.

Димитр Общти — один из сотрудников Васила Левского. Находясь во власти стихийно-бунтарских и авантюристических настроений, встал во главе оппозиционной группировки по отношению к В. Левскому и Центральному революционному комитету; самочинно организовал в сентябре 1872 г. нападение на правительственную турецкую почту на Арабоконакском перевале близ города Орхание (ныне Ботевград) и вскоре был схвачен турецкой полицией; данные Общти предательские показания позволили турецким властям разгромить ряд революционных комитетов в Болгарии и напасть на след Левского, который и был арестован 28 декабря 1872 г.

Стр. 102. *«Александрия», «Хитрый Бертольд», «Михал».*— «Александрия» — анонимная повесть о жизни и подвигах Александра Македонского, известная уже в средневековой Болгарии по переводам с византийского оригинала; «Хитрый Бертольд» — немецкая народная юмористическая повесть; «Михал» — комедия Савы Доброплодного (1856), переделанная из пьесы сербского драматурга Йована Поповича.

Стр. 104. *«Райна княгиня»* — пьеса болгарского драматурга Добри Войникова (1866), созданная на основе популярной у болгарских чита-

телей исторической повести русского писателя А. Ф. Вельтмана «Райна, королевна болгарская».

Стр. 106. *Каблешков* Тодор (1853—1876) — один из видных руководителей Апрельского восстания. Возглавив революционную работу, он 20 апреля поднял восстание, захватив в Копривштице со своим отрядом конак и уничтожив турецкий полицейский пикет. Он же направил в город Панагюриште знаменитое «кровавое письмо», написанное кровью убитых турок, с призывом к скорейшему выступлению. После подавления восстания скрывался в горах, был схвачен турками и покончил жизнь самоубийством.

Стр. 107. *Драндабур,* искаженное Бранденбург — провинция Пруссии.

Стр. 110. *«Пылай, пылай, душа, любовью огневою»* — строки из популярного патриотического стихотворения болгарского поэта Добри Чинтулова (1822—1886) «Где ты, верная народная любовь», написанного в 1856 г. и ставшего настоящим народным гимном в Болгарии в 60—70-х годах.

Стр. 113. *Божо Петрович* (Божидар Петрович) — один из видных вождей Герцеговинского восстания 1875 г., черногорский воевода.

Подгорица — турецкая крепость на черногорской границе, в районе которой оперировали повстанческие отряды Божо Петровича.

Стр. 114. *Горчаков А. М.* (1798—1883) — князь, русский дипломат.

Дерби.— Эдуард Генри Стенли, граф Дерби (1826—1893), английский государственный деятель, консерватор; в 1874 г.— министр иностранных дел; поддерживал реакционную Турцию.

Стр. 115. *Подумогушой* — центральная улица Бухареста.

Стр. 116. *«Ах, мама, милая мама!»* — начало стихотворения Христо Ботева «Прощанье» (1868), ставшего в Болгарии народной песней.

Стр. 117. *Мартын Задека* — мнимый автор книжки пророчеств о политических событиях ближайшего столетия, изданной на немецком языке в конце XVIII века и пользовавшейся известной популярностью в Болгарии в годы турецкого владычества, так как в ней «предсказывалось» падение Турецкой империи.

Дед Иван.— «Дедом Иваном» в Болгарии называли Россию, русский народ, как грядущего освободителя болгар от турецкого ига.

...до самой святой Софии! — то есть до Константинополя (Стамбула), в то время столицы Турции с ее мечетью Айя-София, бывшим византийским храмом св. Софии.

Стр. 118. *«Век»* — болгарская газета, издававшаяся в Константинополе (1874—1876) Марко Балабановым; орган сторонников «мирного»

разрешения национального вопроса в султанской Турции путем частичных реформ.

Стр. 120. *«Иванко-убийца»* — известная историко-патриотическая драма «Иванко, убийца царя Асена» (1872) болгарского писателя Васила Друмева.

Стр. 126. *«Дунав»* («Дунай») — газета, издававшаяся в Русе (1864—1876) на болгарском и турецком языках.

...волнениях 1868 г.— Имеются в виду усилившиеся в 1868 г. действия болгарских повстанческих отрядов.

Стр. 157. *...со времен Хаджи Димитра...*— то есть со времен боев повстанческого отряда Хаджи Димитра Асенова, проникшего на болгарскую территорию из Румынии для борьбы против турок в 1868 г.

Стр. 161. *Келейные школы.*— До открытия в Болгарии первого светского училища (гимназии) в Габрове (1833) дело национального образования находилось в руках монастырей и церковноприходских организаций. Содержавшиеся при них на добровольные пожертвования и общественные средства «келейные школы» учили детей церковнославянской грамоте и элементарным началам других наук. Демократические по составу своих учащихся школы эти были одной из форм национального сопротивления ассимиляторским мероприятиям турок и греческого духовенства.

Стр. 168. *Троянский перевал* — перевал через Балканский хребет, соединяющий долины Среднегорья с придунайской частью Болгарии. Название его связано с именем римского императора Трояна, завоевателя Дакии (нынешней Румынии). Троянский перевал уже во времена владычества римлян на Балканском полуострове служил главным путем из Фракии в придунайские земли.

Стр. 169. *Прыдле* — вонючка.

Стр. 170. *Дьякон Левский* — Васил Левский по настоянию родных в ранней юности стал готовиться к церковной деятельности и принял сан дьякона. После того как, став революционером, он отказался от этого сана, за ним сохранилось прозвище «дьякон».

Стр. 172. *Иван Рильский* (ум. в 946 г.) — монах-отшельник, основавший обитель в Рильских горах. Близ предполагаемого места его кельи был выстроен большой монастырь Ивана Рильского, представляющий одну из крупных исторических и архитектурных достопримечательностей Болгарии.

Стр. 177. *Кавал* — большая свирель.

Стр. 194. *Клепало* — железная доска, заменяющая колокол.

Амбарица — ныне Левский, одна из высот Стара-планины, господствующая над районом городов Сопот и Карлово.

Стр. 198. *...прозвище «Боримечка» подходит к нему как нельзя лучше.*— «Боримечка» значит по-болгарски «борись с медведем», «побеждай медведя».

Стр. 205. *«Жена Пентефрия»* — согласно библейскому преданию, жена египетского вельможи Пентефрия, Путифера, влюбилась в купленного ее мужем раба — Иосифа Прекрасного.

Стр. 215. *Панагюриште* — значительный торгово-ремесленный город Среднегорья на реке Луда Яна. В дни подготовки Апрельского восстания был центром революционного округа, а во время восстания объявлен столицей независимой Болгарии. При подавлении восстания был разорен и разгромлен турецкими башибузуками.

Стр. 221. *Табла* — игра в кости на особой доске.

Стр. 232. *Каравелов* Любен (1837—1879) — выдающийся политический деятель, один из крупнейших идеологов и руководителей национально-освободительного движения болгарского народа, блестящий публицист, классик болгарской художественной прозы. В 1870 г. стоял во главе Болгарского Центрального революционного комитета в Бухаресте. В 1874 г. Каравелов, под влиянием разгрома «внутренней» революционной организации в Болгарии и разочарования в возможности осуществления национально-освободительных задач революционным путем, сложил с себя руководство БЦРК, перейдя на позиции просветительства.

Ботев Христо (1849—1876) — великий болгарский поэт-революционер, крупнейший идеолог и организатор национально-освободительного движения и революционно-демократической борьбы болгарского народа. В 1874—1875 гг. стоял во главе Болгарского Центрального революционного комитета и издавал газету «Знаме» («Знамя»), отстаивавшую последовательно революционную тактику национально-освободительной борьбы. Погиб 2 июня 1876 г. в горах близ города Врацы во главе организованного им повстанческого отряда.

Стр. 234. *Вся Болгария поднимется...*— Устами Тодора Каблешкова Вазов излагает в основном план народного восстания, разработанный так называемым Гюргевским революционным комитетом в 1875 г.

Стр. 238. *Бенковский* Георгий (Гавриил Хлытев) (1841—1876) — один из руководителей Апрельского восстания, главнокомандующий вооруженными повстанческими силами в Панагюрском округе. После подавления восстания пытался во главе небольшого отряда пробраться в Румынию, но был убит в стычке с турецкой полицией близ города Тетевена.

Стр. 241. *Революционный устав* — положение о работе тайных революционных комитетов и обязанностях их членов, составленное Василом

Левским и утвержденное в 1872 г. Центральным революционным комитетом в Бухаресте.

Стр 248. *Раковский* Георгий (1821—1868) — один из крупнейших деятелей болгарского национально-освободительного движения, организатор и руководитель вооруженной борьбы с турками. Его неутомимая революционная деятельность является связующим звеном между периодом партизанско-повстанческой борьбы 50—60-х годов и так называемой «комитетской эпохой» национально-освободительного и революционно-демократического движения 70-х годов. Перу его принадлежит революционно-патриотическая поэма «Лесной путник».

Стр. 250. *Афон* — Афонская гора (в северной части нынешней Греции), на которой расположен ряд православных — греческих, болгарских, русских и др.— монастырей и обителей.

Стр. 254. *Паисий* — Паисий Хилендарский (1722—1798), монах, составил в 1762 г. «Историю славяно-болгарскую», то есть историю болгарского народа, проникнутую пламенным патриотизмом и идеей независимости Болгарии. Распространявшаяся в рукописных копиях по всей Болгарии «История» эта сыграла огромную роль в развитии национального самосознания.

Неофит Бозвели (1785—1848) — один из видных представителей раннего болгарского Возрождения, монах и педагог, активный деятель в борьбе болгарской буржуазии за не зависимую от греческой патриархии болгарскую церковь; автор ряда публицистических диалогов, в том числе известного патриотического «Плача бедной матери Болгарии» (1846).

Стр. 256. *Метох* (г р е ч.) — монастырь.

Стр. 268. *...на главном собрании.*— Имеется в виду собрание представителей всех местных революционных комитетов Панагюрского округа, состоявшееся 13—15 апреля 1876 г. в уединенной котловине Оборище близ с. Мечка и обсудившее план назначенного на 1 мая восстания.

Стр. 271. *«Менэ, текел, фарес»* — по библейской легенде, слова, начертанные на стене огненной рукой во время пира вавилонского царя Валтасара и предсказавшие гибель Вавилонского царства.

Стр. 279. *«Даживейлердены»* — иронически-насмешливое болгаро-турецкое словообразование, приблизительно означающее: «люди, бессмысленно дерущие горло, предающиеся бессмысленному ликованию».

...в честь самостоятельности болгарской экзархии...— Фирманом (указом) султана Абдула Азиза 12 марта 1870 г. была признана автономия болгарской национальной церкви, возглавлявшейся избранным болгарскими церковными органами экзархом.

Крали (или Королевич) *Марко* — герой южнославянского эпоса, неустрашимый борец против турок и защитник сербского и болгарского народов.

Стр. 280. *«Drang nach Osten»* (нем.).— «Натиск на восток» — завоевательный, направленный против славянских народов лозунг германского империализма.

Стр. 284. *...апокалипсический зверь.*— Апокалипсис — «Откровение Иоанна Богослова» — пророческо-публицистическое сочинение (ок. 95 г.), направленное в основном против римских властей и написанное нарочито затрудненным аллегорически зашифрованным стилем; обличает, между прочим, жестокости «зверя из бездны», в образе которого дано иносказательное изображение римского императора Нерона или императора Домициана, преследователей христианства.

Стр. 294. *Капасыз* (одно из прозвищ Беспортева) — по-болгарски значит «разбойник».

Стр. 295. *Мускал* — маленький стеклянный сосуд для розового масла.

Стр. 309. *Волов* Панайот (1847—1876) — один из главных организаторов и руководителей Апрельского восстания. После его подавления долгое время скрывался в горах и, пробираясь к румынской границе, погиб в реке Янтре близ города Бяла.

Стр. 325. *Азраил* — в мусульманской мифологии ангел войны и смерти.

Тосун-бей — представитель турецкой военно-административной власти в городе Карлово, начальник Карловского округа, в состав которого входили города Сопот и Клисура; отличался неимоверной жестокостью; один из главных палачей Апрельского восстания.

Стр. 352. *Перуштица — вторая Сарагосса.*— Перуштица — большое село в районе Пловдива, в предгорьях Родопского хребта. Население Перуштицы приняло участие в Апрельском восстании. Село подверглось нападению большой орды башибузуков и регулярных турецких войск. Жители Перуштицы выдержали жестокий артиллерийский обстрел и вели уличные бои с превосходящими турецкими силами. Часть руководителей восстания со своими семьями заперлась в сельской церкви и предпочла самоубийство сдаче врагу. 2 мая Перуштица была разграблена и сожжена дотла башибузуками.

Сарагосса — город в Испании на реке Эбро, столица провинции Арагон. Прославилась своей героической обороной в 1808—1809 гг., во время войны за независимость против Наполеона.

Батак — большое село Пловдивского района в западных Родопах. Восстало 21 апреля 1876 г. под началом воеводы П. Гаранова и выдержало бешеный натиск орды башибузуков и окрестного турецкого населения. В жестоких уличных боях 29 апреля бо́льшая часть жителей села

и сдавшиеся в плен остатки повстанцев были перебиты. Село было сожжено дотла. Кровавая расправа с населением Батака вызвала возмущение всей передовой европейской общественности. Слово «батак» по-болгарски значит: болото, гиблое дело.

Стр. 353. *...анатолийских портных...*— Анатолия — малоазиатская часть Турции. В данном случае «анатолийские» значит подданные Турецкой империи.

Стр. 355. *Кир* (г р е ч.) — господин.

Н. Державин

К иллюстрациям

Иллюстрации к роману были выполнены болгарским художником Тодором Панайотовым (р. 1927 г.) для книги, выпущенной издательством «Български писател» специально для Международной выставки искусства книги в Лейпциге в 1965 году; книга была отмечена на выставке бронзовой медалью.

Портрет Ивана Вазова и суперобложка— работы советского художника А. Тарана.

СОДЕРЖАНИЕ

Петр Динеков. Выдающееся произведение болгарской литературы. *Перевод М. Михелевич* 5

ПОД ИГОМ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Перевод М. Клягиной-Кондратьевой и В. Володина

I. Гость 19
II. Гроза 26
III. Монастырь 34
IV. Снова у Марко 38
V. Ночь продолжается 43
VI. Письмо 48
VII. Геройство 50
VIII. У чорбаджи Юрдана 56
IX. Все объяснилось 62
X. Женский монастырь 66

XI. Волнения Рады 72
XII. Бойчо Огнянов . 78
XIII. Брошюра 83
XIV. Силистра-Йолу . . . 86
XV. Неожиданная встреча 92
XVI. Могила говорит . . 96
XVII. Представление . 102
XVIII. В кофейне Ганко 112
XIX. Отклики . . . 119
XX. Тревоги 123
XXI. Козни 127
XXII. В гостях у попа Ставри . 131
XXIII. В ловушку попался другой . 137
XXIV. Два провидения 142
XXV. Нелегкое поручение 148
XXVI. Незваные гости . . 151
XXVII. Скиталец . 154
XXVIII. В Вернгове . . . 159
XXIX. Беспокойный отдых . 165
XXX. Общительный знакомый . 168
XXXI. Посиделки в Алтынове . . . 172
XXXII. До бога высоко, до царя далеко . . 179
XXXIII. Победители угощают побежденных 186
XXXIV. Метель 194
XXXV. В зимовье 197

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Перевод М. Клягиной-Кондратьевой, В. Володина (главы I—X) и Я. Слонима (главы XI—XXXVII)

I. Бяла-Черква 203
II. Больные доктора Соколова 205
III. Два полюса 212
IV. Тесть и зять . 217
V. Предательство 221
VI. Женская душа 228
VII. Комитет . . . 231
VIII. Волнения Колчо . . . 236
IX. Огнянов председательствует 238

X. Шпион образца 1876 года . 240
XI. Викентий 245
XII. Зеленая сумка 250
XIII. Радостная встреча . . . 255
XIV. У ствола 265
XV. Новая молитва Марко . 272
XVI. Опьянение народа 277
XVII. Пощечина 280
XVIII. Кандов 282
XIX. Утренний визит 286
XX. Кандов недоумевает все больше . . 289
XXI. Отпевание 292
XXII. Философия и воробьиная чета 294
XXIII. Лекарство 296
XXIV. Буря перед грозой . 302
XXV. Восстание 307
XXVI. Батарея на Зли-доле . 310
XXVII. Допрос 313
XXVIII. На укреплениях . . . 317
XXIX. Крещение кровью . . . 319
XXX. В Стремской долине . 322
XXXI. Еще одна попытка . . 327
XXXII. Аврам . . 331
XXXIII. Ночь . . 334
XXXIV. Утро . 336
XXXV. Бой . . 338
XXXVI. Рада . . 344
XXXVII. Две реки . . 348

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Перевод М. Клягиной-Кондратьевой и Я. Слонима

I. Пробуждение 352
II. Ломоть хлеба от человека в белом кожухе . 354
III. На север! . 357
IV. Знамя . . . 363
V. Кладбище 365
VI. Посланница . . 367
VII. Неудача Марийки . 370

VIII. Лужайка 374
IX. Союзник 379
X. Любовь — героизм 383
XI. Башибузук 385
XII. История одного невосставшего города 387
XIII. Продолжение истории 391
XIV. Важный разговор 394
XV. Встреча 397
XVI. Гибель 402
Примечания *В. Злыднева* и *Н. Державина* . . . 407

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СЕРИЯ ВТОРАЯ

Том 70

Иван Вазов

ПОД ИГОМ

*

Редактор Н. Глен

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Суперобложка и портрет И. Вазова
А. Тарана

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
Л. Фейлер

Корректоры
А. Новикович и В. Широкова

*

Сдано в набор 6/X 1969 г. Подписано к печати 19/III 1970 г. Бумага типогр. № 1. Форм. 60 × 84¹/₁₆. 26,5 печ. л. 24,73 усл. печ. л. 25,26 уч.-изд. л. + 8 накидок + 1 вкл. = 26,28. Тираж 300 000 (1—150 000) экз. Заказ № 2873.
Цена 1 р. 33 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

*

Ордена Ленина
типография «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.